2.1974

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

№ 2

Февраль 1974

СОДЕРЖАНИЕ

ЙОРДАН РАДИЧКОВ — Рассказы *(Из книги «Пороховой букварь». Перевод с болгарского Н. Глен)* 3

Из венгерской поэзии—ЛАСЛО БЕНЬЯМИН. ДЮЛА ШИПОШ *(Переводы с венгерского Бориса Слуцкого, Натэллы Горской, Олега Чухонцева. Предисловие Е. Малыхиной)* 38

МАРИО СОЛДАТИ — Актер *(Роман. Окончание. Перевод с итальянского и послесловие Г. Брейтбурда)* 49

ЯСУСИ ИНОУЭ — *Сны о России (Главы из романа. Перевод с японского и вступление Б. Раскина)* 92

МАРТИН ВАЛЬЗЕР — Дуб и кролик *(Немецкая хроника. Перевод с немецкого Елены Якушкиной)* 121

Рассказы финских писателей. ВЕЙО МЕРИ. ЮХА МАННЕРКОРПИ. ОЛЛИ *(Переводы с финского В. Смирнова и Б. Рейхмана)* 164

Литературное наследие

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО — Стихи *(Перевод с испанского Сергея Гончаренко. Предисловие И. Тертерян)* 182

Критика

ГЕРМАН КАНТ — Наши слова — аргумент в классовом споре *(Перевод с немецкого М. Сергеева)* 190

В. БРИТАНИШСКИЙ — Путь к простоте (Поэзия Ярослава Ивашкевича) 201

В. БЕЙЛИС — Дорога (Заметки о современной нигерийской драме) 209

Заметки писателя

БОРИС АНАШЕНКОВ — Этот холодный, холодный, холодный мир 217

Культура и современность

Заметки на полях

А. Желоховцев — Литературный конвейер 226

Публицистика

Мы с тобой, Чили (По страницам чехословацкого сборника) 229

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — Имени его не будет на площади *(Отрывки из книги. Перевод с английского И. Гуровой)* 242

Изобразительное искусство за рубежом

Н. ПОЛЯКОВА — Эмиль Нольде 261

Среди книг

Издано в СССР

И. Млечина — Роман: прошлое и современность. М. Вашкевич — Розы и розги 262

Издано за рубежом

Т. Мотылева — Критическая проза поэта. А. Брагинский — «Великолепная восьмерка» классиков стиля 266

Из месяца в месяц 271

Авторы этого номера 286

На обложке: монгольский художник Ц. ДОРЖСҮРЭН «Сюда, солнце». Чеканка по латуни.

На цветной вкладке: из работ Эмиля Нольде.

© «Иностранная литература», 1974.

ЙОРДАН РАДИЧКОВ

Рассказы

Из книги «Пороховой букварь»

■

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

Бурка

На наших холмах все мелкая скотинка копошится, животному, какое покрупней, трудно по козьим тропам карабкаться. Овца, которую мы держим, молока дает с пригоршню, а когда весной острижешь ее, и шерсти всего пригоршня набирается. Трава у нас низкая, колкая, скотине с утра до вечера щипать ее приходится. С тех пор как я себя помню, мы все такую скотину держим. Как говорит Два Аистенка, это вам не Германия, где скотину откармливают со слона величиной.

Ну ладно, а потом наши, деревенские, раздобыли эту черноголовую овцу, плевенскую. У черноголовой овцы морда длинная, точно у лошади, и ноги длинные, и копыта большие. Мы думали, что как зарядят дожди, копыта у нее сгниют от грязи и она заболеет ящуром. Но дожди пошли, дороги развезло, плевенская черноголовая овца бродит по колено в грязи, однако копыта у ней что твой кремень, и ящуром она не заболела. Мужики стали один за другим менять свою скотину, и я своих старых овец, сколько у меня их было, спустил и купил плевенских, черноголовых. Голова у овцы черная и вымя черное (зато большое, как у козы), а шерсть белая. Одна только овца мне попалась сивая.

Когда подошло время стрижки, жена мне и говорит: «Давай-ка, Лазар, возьмем этой шерсти, и белой столько же, и сделай ты себе бурку! Ты уже в годах, в твои годы без бурки нельзя!» Это верно, в молодые годы человеку не к лицу в бурке ходить, но как войдет в возраст, самое время буркой обзаводиться. А я-то, уж конечно, в возрасте — два землетрясения помню и одно солнечное затмение.

Ну вот, взяли мы шерсть от сивой овцы и от одной белой, жена ее выпряла, наладила свой ткацкий стан и соткала полотнище — полосу белую, полосу сивую, потом опять белую — сколько их там требуется на одну бурку. Понес я тканину на валяльню (мы валяльней сукновальню называем). Давидко мне приятель, вместе в севлиевских казармах служили, он сразу и запустил мою тканину в валяльню. «На бурку?» — спрашивает. «На бурку,— говорю,— я уж человек в годах, мне без бурки никак нельзя!» «Так и знай,— говорит мне Давидко,— эта шерсть для бурки самая лучшая! Прежняя овца — она хилая, коли

возьмешь от нее шерсть, как тканину через валяльню ни пропускай, все равно войлока не получишь. А от этой черноголовой пропустишь разок — войлок и готов. Хоть воду в нем неси на вершину холма — не протечет! Да и молодка твоя, гляжу, густым бердом ткала!» «Окстись,— говорю я ему,— какая ж она у меня молодка! Да она как турецкая черепица ссохлась, а ты говоришь — молодка. Хотя ткать-то она умеет». «Что ж ты думаешь,— возражает Давидко,— коли моя толстая, так от нее больше проку? От толщины тоже радости никакой!» «Так-то оно так,— говорю,— чересчур толстая тоже ни к чему, а все ж когда потолще, оно приятнее! Бурку надумаешь справить, уж на что нехитрое дело, и то стараешься, чтоб потолще вышла». «Насчет бурки,— говорит Давидко,— оно, конечно, верно!»

Войлок получился на славу, да только у нас в деревне портного нету, так что пришлось мне идти в соседнее село, а там портных целых двое. Один шьет по-городскому, позаковыристей шьет, лацкан какой тебе посадит или другую фиговину, а второй больше по старинке работает. Я пошел ко второму. Тот похвалил мой войлок, сшил мне бурку и, когда я за ней пришел, говорит мне: «Ну и войлок у тебя, Лазар, я об него все иголки пообломал! Игла его не берет, и утюгом его не прогладишь!» — «Это потому, что он из шерсти черноголовой овцы, той, плевенской, да и Давидко мне друг, на совесть в валяльне прокатал. Мы с Давидко вместе в армии служили, и в карцере три раза вместе сидели, и под ружьем вместе стояли». «Что правда, то правда,— говорит портной,— по уставу он тебе войлок свалял, но и я по уставу бурку сшил, будешь носить и меня добром поминать!»

Накинул я бурку, а она на мне как литая. Полоса белая, полоса сивая, полоса белая... И все пригнано как полагается, и наголовник тоже складно посажен.

В бурке, я вам скажу, сразу чувствуешь себя как-то основательнее, и шаг становится вроде внушительней. По дороге домой — я и сам замечаю — иду я медленней, ступаю с достоинством, проходя мимо валяльни, говорю только: «Здорово, Давидко!»— а поболтать не останавливаюсь, потому что человеку в бурке болтать уже не к лицу. Бурку коли надел, двигайся с достоинством, говори поменьше, если кто встретится и скажет: «Добрый день!» — отвечай только: «День добрый!» И больше ни слова, и гляди прямо перед собой. Встречный тогда подумает: «Этот-то, в бурке, серьезный, видно, человек; кто его знает, куда он направился и по какому делу! Поговорить даже не останавливается и с дороги не сворачивает, а прет себе вперед, точно паровоз».

А я вовсе никуда и не направился, просто к себе в деревню возвращаюсь, но бурка мне внушительности прибавляет... Вот так, стало быть, обзавелся я буркой. Овец прошло через мои руки без счету, но надо было появиться плевенской черноголовой, чтоб и я, наконец, сумел сшить себе одежду, подобающую моему возрасту.

Осенью вся наша деревня отправляется в город на базар. Погода сырая, холодная, я, бывало, сколько лет в эту пору в своем вытертом полушубке ежился, а теперь шагаю в бурке и внимания на сырость и холод не обращаю. Снег уже выпал, мужички гонят скотину по снегу, другие перец несут на продажу, я тоже с низкой перца иду по тропке, в снегу протоптанной, но мне в моей бурке холод не страшен. Два Аистенка тоже идет со мной, весь скукожился от холода, хоть и в плаще,— гонит на продажу свинью. (Никакой он не Два Аистенка, звался он раньше Цеко, но поработал год в Германии — шоссе там какие-то прокладывали — и привез из Германии этот плащ и инструменты марки «Два аистенка». И все про них рассказывал, отсюда и прозвище пошло.) Два Аистенка подгоняет свинью, шмыгает носом и ежится в своем плаще. Плащ, хоть и германской работы, от холода

коробится, твердый стал, что твоя жесть, а моей бурке хоть бы что — ни холод ее не берет, ни дождь. «Знаешь, Лазар,— говорит мне Два Аистенка,— продам я эту чертову свинью и возьму-ка я да тоже куплю себе плевенскую черноголовую. Разведу овец и сошью себе бурку. В этом плаще у меня все жилы померзли!» «Стоящая скотинка,— говорю я ему,— шерсть дает, и молоко дает, и сглазу не боится. Прежних наших овец, сам знаешь, сглазить ничего не стоило, а эта, черноголовая, хоть на русалочьем лугу пастись будет, ничего ей не станется». «Непременно разведу,— говорит Два Аистенка и шмыгает носом,— только бы мне эту холеру продать!»

Это бы так, да только никто не хочет у Двух Аистят свинью купить. Кто на нее ни глянет, тут же спрашивает: «Небось скотина эта кур жрет, вон у нее какие клыки собачьи!» Два Аистенка бьет себя в грудь: «Как это кур жрет? Ширицу жрет, лебеду, свеклу кормовую, все, что свинье положено, то и жрет, а кур никогда! Кровопийца она, что ли, чтоб курей жрать! Чего говоришь зря?» «Жрет она их, жрет,— говорит человек, который к свинье приценивался,— стоит на ее собачью морду посмотреть, сразу видно, что жрет!»

И покупатель проходит дальше.

А она действительно жрет курей, как собака на них кидается. Говорю я Двум Аистятам: «Прирежь ты ее лучше, свинью эту, и на мясо продай. Так у тебя никто ее не купит». «Да у ней и мяса нет,— жалуется Два Аистенка.— Одни кости растут».

Коли не везет кому, так уж не везет.

Два Аистенка гонит обратно свою свинью, я несу обратно перец, но мне хоть не холодно, я не ежусь зябко, а шагаю по тропке с достоинством, так, что снег под ногами поскрипывает.

Так я и перезимовал эту зиму в бурке. Тот, кто носил бурку, знает, что это такое, кто не носил, даст бог, еще обзаведется и сам почувствует, что значит бурка. В лес за дровами пойти, на мельницу сходить, на край света, коли надо, отправиться — всюду в бурке пройдешь, и ничего тебе не сделается. Какие только вьюги меня не настигали, но я наголовник нахлобучу поглубже, и плевать я хотел на все вьюги. В деревне все мою бурку знают, да и в соседних деревнях тоже, потому как я и к кузнецу в ней ходил, и на свадьбы, и даже в церковь ходил раз. Так что, можно сказать, все уже мою бурку перевидали, да и одалживать ее случалось. Придет сосед. «Так и так,— говорит,— Лазар, одолжи мне бурку, на маслобойню еду». Может, мне и не слишком приятно, но что делать — одалживал.

Отправился я однажды резать кукурузные листья, совсем рано еще было, до свету. Жена говорит: «Кинь бурку в телегу, утро пасмурное, может, и задождит». Кладу я бурку в телегу и еду в поле; когда приехал — чуть светать начинало. Кукурузные листья надо резать рано и тут же их в снопы вязать, пока роса не сошла, потому что, как солнце взойдет, они высыхают и делаются ломкими. Распрягаю я буйволов на опушке — моя полоска рядом с Керкезским лесом — и слышу: на соседней полосе кто-то кашляет. Два Аистенка меня опередил, тоже приехал кукурузные листья резать. Серп у него так и повизгивает — вжик, вжик. «Эй, сосед! — кричу я ему.— Ты что, в поле, что ль, ночевал?» «А, это ты,— откликается Два Аистенка,— да я тоже только что распряг. Такой туман, что и не разберешь, рассвело или нет!»

И он снова берется за серп — вжик, вжик.

Я вешаю бурку на боковину, закатываю штаны и принимаюсь по росе резать кукурузу. Туман стелется низко, я вижу только спины своих буйволов, да на соседней полосе нет-нет да покажется шляпенка Двух Аистят. Потом туман подымается, скрывает шляпенку, и долгое время ничего не видно, и кукурузы не видно, а потом вдруг в одном

месте туман разойдется, и я вижу даже лес. Еще время проходит, слышу сквозь туман, как Два Аистенка чем-то чиркает — чирк, чирк. Почиркает, почиркает, да и выругается.

Гляжу — идет ко мне, спрашивает: «Нет у тебя огонька, Лазар? Трут, паскуда, намок от росы». Трут у меня был, Два Аистенка закурил цигарку, подымил немного и опять пошел кукурузу резать. Довольно долго мы так резали, и то я что-нибудь соседу скажу, то он мне, потом я его спрашиваю, не хочет ли он перекусить, а он отвечает, что дома еще поел. А я проголодался, присел на дышло позавтракать. Еда у меня — одно название, что завтрак, но пожевал кой-чего всухомятку и только взял кувшин, чтоб напиться, из тумана вынырнул человек.

Ни одного глотка не успел я из кувшина сделать.

Человек прижимал к губам палец — чтоб я молчал, значит; к поясу у него была граната прицеплена, в руке — карабин. Поверх рубашки безрукавка надета, вся рваная. Когда он подошел ближе, я разглядел, что он совсем еще молодой, парнишка, можно сказать, давно нестриженный, глаза больные, губы потрескались. Я понял, что он из тех, что скрываются в лесах.

«Дядя,— говорит парнишка,— помалкивай!» И спрашивает, не могу ли я ему дать хлеба, воды, одежку какую. Лихорадка его бьет, дрожит весь, и мне его дрожь передалась, и я дрожу и крещусь. Крещусь я в уме, отдаю ему весь хлеб, брынзу даю, и яйца вареные у меня были, так и яйца даю, только соли не было, жена забыла соль положить. «Ничего, дядя,— говорит парнишка,— и без соли сойдет!»

«Эй, Лазар,— окликает меня Два Аистенка,— что это ты притих?» «Да вот незадача,— говорю ему,— серпом порезался». «Какое место?» — спрашивает, и я скорей отвечаю, что ногу окорябал. «Так и покалечиться недолго, возьмешь да и перережешь жилу какую»,— слышу я голос Двух Аистят. И он снова начинает чиркать огнивом — чирк, чирк. А вдруг у него трут опять намок?.. «Дашь мне закурить, я к тебе сейчас подойду, а то у меня весь табак вышел»,— говорю я Двум Аистятам. Он отвечает, что даст, и я встаю с дышла, чтоб идти к нему, потому что боюсь, как бы он не пришел ко мне. Парнишка прижимает палец к губам, а я киваю ему головой: буду, мол, молчать!

Кукурузные листья хлещут меня по лицу, а я и не чувствую и вкуса табака не ощущаю. Два Аистенка толкует мне о чем-то, а я все смотрю в сторону моей полоски и молю господа бога, чтоб туман не разошелся и Два Аистенка не увидел бы чего не надо. Но туман лежит густой, белый как молоко, и, как я ни вглядываюсь, я не вижу ни телеги, ни буйволов, ни парнишки. Бреду вслепую назад и вроде бы старался идти по тому же ряду, между стеблями кукурузы, но, видно, сбился, потому что вышел к задку телеги.

Парнишка стоял хоронясь за боковиной, накинув на себя бурку, чтобы согреться, но, несмотря на бурку, его по-прежнему била дрожь. Карабин держит дулом вниз. Как увидел я на нем свою бурку, мне вдвое страшнее стало. Отдать ему бурку — не годится, назад затребовать — тоже не годится. Два Аистенка кашляет в тумане, чуть не в пяти шагах от меня, и мне все кажется, что вот сейчас туман рассеется и мы с парнишкой откроемся всему свету.

«Беги, парень,— говорю я тихо,— беги вон туда, к Керкезскому лесу!» Парнишка пошел как-то боком и на ходу делает мне знаки руками, и я тоже знаки ему делаю, но я не понимаю, какие он делает знаки, а он — какие я. Знаки я делаю бессмысленные, крещусь в уме и молю бога, только чтоб туман не поднялся и мы не открылись бы вдруг Двум Аистятам.

Парнишка исчез в тумане, бурка моя тоже исчезла. Парнишка,

бурка, кувшин и хлеб с брынзой пропали из виду в невидимом Керкезском лесу.

Тогда я перекрестился уже не в уме, а по-настоящему, даже, кажется, два раза перекрестился, взял серп и принялся резать кукурузные листья. Вроде бы и режу, а сам одно ухо наставил в сторону Керкезского леса. И все мне чудится, будто кто-то шепчет в тумане: «Дядя, а дядя!» Перестаю резать, прислушиваюсь, никто меня не зовет, только Два Аистенка шуршит на соседней полосе.

И я снова принимаюсь резать.

«Лазар, а Лазар!» — окликает меня кто-то. Оборачиваюсь — за моей спиной стоит Два Аистенка, по пояс в тумане. «Чего?» — спрашиваю. «Послушай, Лазар, давай, пока туман не поднялся, сходим в Керкезский лес, срубим жердей. Положим их в телеги на низ, сверху кукурузными листьями завалим, никто и не увидит!» «Что ты,— говорю я Двум Аистятам,— в тумане дерево рубить — на пять километров слышно. Больно далеко в тумане слышно, не знаю почему, но больно далеко!» «Слышно,— говорит Два Аистенка,— да не видно. А когда не видно — это важней. Я пойду нарублю жердей».

Вскоре слышу — его топор ухает в Керкезском лесу. Только бы, думаю, не наткнулся на парнишку, и все прислушиваюсь, не завопит ли Два Аистенка или карабин не стрельнет ли... Нет, ничего, только топор ухает да вскрикивает, и деревца, что он валит, тоже вскрикивают, да в этом тумане разве кто придет на помощь? И как услышал я эти вскрики в тумане, вдруг у меня зазвенело в ушах, будто во мне кто-то вскрикнул: «Лазар, а с буркой-то как же? Твою бурку ведь все знают! А ну скажи, где твоя бурка?»

Так меня и прошибло потом, а во рту пересохло, языком не могу шевельнуть. «А ну-ка скажи, где твоя бурка!..» Два Аистенка идет со своими жердями, бурчит себе под нос: «Гм! Гм!» — и посматривает на меня искоса, точно хочет что-то понять или скрыть что-то хочет. «Ну, срубил жерди?» — спрашиваю я его, а он: «Гм! Гм! Срубил!» И все посматривает на меня искоса. «Больно быстро!» — говорю я ему. «Еще бы не быстро! Ты б на моем месте был, и ты бы быстро нарубил. Гм! Гм!»

Тащит он свои жерди дальше в туман, а я думаю, что, наверно, он встретил парнишку и узнал мою бурку. Спрашивать не хочется, а сам он ничего мне не говорит. Прислушиваюсь я, серп Двух Аистят режет в тумане — вжик, вжик,— но не так шустро, как раньше: видно, он тоже режет да прислушивается. Порядочно времени так прошло, оба мы на своих полосах режем и прислушиваемся.

Стал я грузить кукурузные листья в телегу, Два Аистенка меня окликает: «Грузишься, Лазар?» «Гружусь»,— отвечаю. «Что ж не говоришь, вместе б поехали!» И начинает скорей свою телегу нагружать, видно, боязно ему одному в поле оставаться. Поглядел я — а телеги, что моя, что его, только по боковины нагружены. Двинулись мы в тумане. Два Аистенка нет-нет да и обернется назад, я делаю вид, будто ничего не замечаю, но про себя уже совсем уверился, что он видел в лесу парнишку. Дай-то бог, чтоб он бурку не признал, начинаю я снова креститься в уме.

Когда я сгрузил кукурузные листья, жена спрашивает: «А где же бурка и кувшин?» «Эх, да я их, верно, в поле забыл! Как же это я так?» «Ты б лучше голову забыл!» — запричитала жена. «Ладно тебе,— говорю,— не за горами небось, вернусь погляжу». Иду я назад в тумане, а чего идти, когда я и так все знаю. Шел я, шел, потом присел в поле у стога сена, взял в рот сухую травинку и задумался. Парнишка, стало быть, побродит по лесам, нарвется на жандармов, те схватят его и проведут по деревне как он есть, в бурке. Вся деревня увидит, что бурка — моя. Если его проведут по соседней деревне, и там мою бурку узнают,

портной первый узнает, он помнит, как полосы подгонял. Как я буду оправдываться, коли спросят, каким образом моя бурка у парнишки оказалась? Сказать, что я ее потерял, а парнишка нашел — никто не поверит. Они бьют и, что им ни скажешь, ничему не верят. Сказать, что парнишка у меня бурку силой отнял, так тут же спросят: «Что же ты сразу не пришел и не сказал? Укрывательством занимаешься!» И опять-таки бить будут.

Посидел я у стога и пошел домой. Жене говорю, что, верно, обронил бурку и кувшин по дороге, а кто-нибудь подобрал. «Ты б лучше голову обронил по дороге! — разоряется жена.— С двух овец шерсти напряла я для этой бурки!» Сказала б она мне другой раз что-нибудь этакое, я б замахнулся и она б у меня, благо вся ссохлась, на крышу бы отлетела, а сейчас знаю, что виноват, отдуваюсь только и молчу. До вечера отдувался, всю ночь проохал, а наутро рассказал жене все как есть. «Ой, беда,— говорит жена,— пропали мы теперь!» И тоже заохала.

Такие вот дела.

Несколько дней прошло, Два Аистенка меня спрашивает: «Слыхал?» — «Про что?» — «Да какая история в Белимеле вышла». Я ни про чего не слыхал, и Два Аистенка рассказал мне, что в Белимел заявились жандармы и поручик пошел в один дом побогаче, где для него угощенье собрали. Заходит в дом и видит, что под кроватью сапог лежит неестественно. «Как это неестественно?» — спрашиваю я у Двух Аистят. «А так, что лежит на голенище носком вверх. Раз он так лежит, значит, он на ногу надет и, значит, под кроватью — человек»,— объясняет мне Два Аистенка. И поручик как саданет из автомата — та-та-та — по сапогу, а сапог подпрыгнул, и человек из-под кровати: тах-тах!— по поручику. Поручик вылетел в дверь, тот — в окно, поднялась стрельба, да темно уже, видно плохо. Жандармы гонятся за человеком, тот бежит по улице, потом выскочил на открытое место, кусты только какие-то там были, бросился промеж них, да так и повис на одном кусте. Те постреляли, постреляли, человек висит на кусте, больше не шевелится, а как подошли поближе, смотрят, человека-то и нет, одна бурка (услышал я про бурку, и что-то оборвалось у меня внутри) на кусте болтается, в решето превратилась. Человек, когда убегал, кинул свою бурку на куст и сбил жандармов с толку. Поручик от этого дела в ярость пришел, вернулся со всеми жандармами в дом, арестовал хозяина, и той же ночью закопали его в землю живьем, а дом облили керосином и подожгли — за то, что хозяин был связан с партизанами. «Откуда ты это знаешь?» — спрашиваю я Двух Аистят. «От зятя,— говорит он мне,— зять вчера вечером пришел и рассказал всю историю. Тот, закопанный, еще жив, говорит, слышно, как он стонет под землей».

У зятя Двух Аистят передвижной котел для варки сливовицы, он с ним села объезжает, так когда проезжал через Белимел, узнал про все про это. Спросить если у зятя Двух Аистят, какая была та бурка,— нет, нельзя, он усомниться может, с чего это я спрашиваю. Пробую я вспомнить, парнишка мой в сапогах был или без сапог. И не могу вспомнить, хоть ты что! Стараюсь, стараюсь и самое большее вспоминаю его до пояса, как он стоит по пояс в тумане, а с пояса граната свисает. Ниже никак не могу вспомнить, в чем он был. Потом припоминаю, как я его в спину увидел, когда он к лесу шел, но и со спины не видно, в сапогах он или без сапог, потому как перед глазами у меня одна бурка мельтешит, в белую и сивую полосу. Белые полосы первые пропали в тумане, а за ними и сивые.

Ну ладно, но если это был тот самый парнишка и если в Белимеле на кусте висит моя бурка, в Белимеле наверняка найдется кто-нибудь, кто скажет, чья это одежда. Тогда жандармы загребут меня, а как за-

гребут... Что-то начинает меня глодать изнутри, в голове жар, не могу усидеть на месте. Пойду-ка погляжу, что за бурка в Белимеле. А чтоб никто не догадался, что я из-за бурки, насыпаю я в мешок кукурузы, запрягаю буйволов и через Керкезский лес прямиком на белимелскую мельницу. По дороге встречаются мне двое конных. «Стой! — кричат.— Куда, дядя, с мешком собрался?» «На мельницу»,— говорю. «До мельницы ли теперь, дядя? — говорят мне конные.— Не видишь разве, что земля под ногами горит!» «Горит-то горит,— говорю,— но скотина у нас, кормить ее надо, то, другое требуется, без мельницы никак не обойтись». Конные едут дальше своей дорогой, я веду буйволов дальше и все думаю про этот неестественный сапог и удивляюсь, как же это поручик догадался, что сапог лежит под кроватью неестественно. Я б увидел, что лежит сапог носком вверх, ни за что б не сообразил, что он лежит неестественно, а поручик сообразил и тут же — тра-та-та из автомата. Но и сапог тут же вскочил и тоже начал по поручику палить. Пальба на всю округу, а как поглядишь, никого и не убили, только что бурку продырявили.

Чем ближе я к Белимелу, тем муторней у меня на душе, а перед глазами все этот неестественный сапог торчит, носком вверх. На мельнице помольщиками и не пахнет, мельник отбивает жернов. Вода гудит, но постукиванья коника не слышно. «Не мелешь?» — спрашиваю у мельника. «Что молоть-то,— говорит,— народ оробел, у меня мельницу паутиной затянуло. Никто не едет молоть».

Высыпает он мою кукурузу в ковш, пускает воду, коник начинает стучать, а я все смотрю на Белимел (деревня пониже мельницы). Со стороны Белимела тянет горелым, и я спрашиваю мельника про то дело. Он мне все рассказал, и все вышло точь-в-точь, как мне Два Аистенка рассказывал. А горелым тянет, так это от дома партизанского связного. Мельник сказал, что сам он еще жив и что из-под земли слышно, как он стонет, но чтоб это услыхать, надо подойти поближе, да не всякий может — дурно становится. Часовые там стоят, охраняют, а народ старается это место стороной обходить. Я про бурку спросил — бурка, говорит, за церковью выставлена. Если я спущусь в деревню, я ее увижу. «Я, пожалуй, и правда спущусь, табачку куплю»,— говорю я мельнику. А он мне советует не крутить цигарку из газеты, в деревне полно акцизных, как увидят, что кто-нибудь скручивает цигарку из газеты, так тут же и штраф. Курить положено табак, обклеенный государственной бандеролью, а за необклеенный штрафуют всех подряд.

Так я и сделал: купил в деревне бандерольных сигарет и пошел к церкви — ни жив ни мертв. Гляжу — там народ толпится, ну и я к народу, хочу побыстрей, а иду еле-еле, ноги к земле приклеиваются, оторвать не могу, все равно как жернова к ним привязаны. Потом в ушах зашумело, ну, думаю, плохо дело. Коли окажется, что бурка моя, не знаю, удержусь ли на ногах, не брякнусь ли там прямо посреди народа. Да, но уж раз пошел, назад тоже не повернешь, вот я и передвигаю ноги и стараюсь на себя бодрый вид напустить, чтоб никто ни в чем меня не заподозрил. Подхожу к толпе, но толпы не вижу, потому что глаза мои высматривают, что там за церковью откроется. Высматриваю, высматриваю и вдруг вижу: на кусте — бурка.

Бурка была вся сивая, потрепанная, одна пола порвана. Жернова свалились у меня с ног, какой-то мужичок рядом со мной курит, я прошу у него прикурить, а он мне говорит: «Да у тебя, дядя, цигарка-то зажженная!» Смотрю, и правда цигарка у меня зажженная и дымится. До того я, значит, был не в себе, что не заметил, как у меня цигарка дымится.

На этот раз пронесло, думаю, и мне понемногу легче делается. По ту сторону церкви на холме часовые стоят — там, где человек живьем

закопан, но туда у меня не хватает духу идти, услышать, как он стонет из-под земли. Возвращаюсь я на мельницу, кукуруза моя уже смолота, вскидываю мешок на плечо — перышком он мне показался,— кладу на телегу, запрягаю буйволов и даже насвистываю потихоньку. Мельник смотрит на меня вроде испуганно, но я на него и внимания не обращаю. Мельница, запах горелого, часовые — все остается у меня за спиной.

Только бурка стоит перед глазами, но не моя, а та, что на кусте, сивая, потрепанная, с рваной полой. А потом и свою бурку увидел, новехонькую, в сивую и белую полоску. И обе бурки вместе двинулись по дороге. Так и идем: впереди бурки, за ними буйволы, а я позади всех. На дороге — ни живой души. Обе бурки шли рядом до самого Керкезского леса. Когда же мы вошли в лес, одна бурка свернула в одну сторону, другая — в другую. Моя исчезла среди деревьев, а сивая зацепилась за куст и осталась на нем висеть. Я пырнул буйволов: «А ну, шевелись!» — и мы заторопились домой в деревню.

С этого дня я стал обходить села Берковской околии, всякие дела себе придумывал, ходил и расспрашивал, не поймали ли где в лесу человека, не расстреляли ли кого. В одно село привезли на площадь троих убитых, я тут же придумал себе дело в этом селе — отправился к бочару кадушку заказывать — и видел всех троих. Все трое были в одних рубахах. Потом услышал, что в другое село привезли молодого парнишку, и его тоже ходил смотреть, парнишка оказался гимназистом, в старой шинельке и в одних носках. Жандармы, как убьют кого-нибудь, кладут на площади и заставляют народ проходить мимо, опознавать. Народ проходит молча, смотрит, но не опознает. Я тоже прохожу и смотрю, но не для того, чтоб человека опознать, а на тот случай, что вдруг я свою бурку увижу. Еле иду, на сердце камень, но как только бурки не оказывается, так мне сразу легчает. В сущий кошмар превратилось для меня это дело. Чтобы не навлекать на себя подозрений тем, что я все шатаюсь по селам, пришло мне в голову заняться перекупкой коз. Два Аистенка, как узнал, говорит мне: «И я с тобой!» Отправились мы по селам, я куплю в деревне козу за двести, гоню в город и там продаю за двести. Два Аистенка несколько раз со мной ходил, и он так же: купит за двести и продаст в городе за двести. Однажды он и говорит: «Нет, Лазар, больше я этим не занимаюсь! Какая ж тут выгода — купить за двести и продать за двести! Никакого барыша!» «В торговле всегда так,— говорю ему,— не знаешь, на чем повезет!»

Два Аистенка отстал, а я продолжал перекупать коз. Только узнаю, что куда-то привезли убитого, сразу иду, покупаю козу и с козой прохожу через эту деревню. Когда с козой идешь, никто в тебе не усомнится. Веду я козу, смотрю в ту сторону и, как увижу, что бурки моей нет, тут же ускоряю шаг, да так, что козе приходится бежать за мной. Не одну пару царвулей я на этом деле сносил, но когда за шкуру свою дрожишь, тут уж не до царвулей!

А однажды, как у меня сердце не разорвалось, и сам не знаю. Перекапываю я огород, слышу, посреди деревни в барабан бьют, рассыльный кричит что-то, да где ж мне расслышать, что он кричит. Потом смотрю — со стороны деревни идет полевой сторож, выгоняет мужиков одного за другим на улицу и ко мне подходит, с винтовкой в руках. «Лазар,— говорит сторож,— так и так, мол, привезли на площадь человека, каждый должен пройти и посмотреть, не опознает ли он его. Кончай копать и иди!» У меня горло пересохло, обтер я руки об штаны, и пошли мы со сторожем. Он идет немного позади, винтовку держит, и мне мерещится, будто я уже арестованный. А бежать некуда, поле вокруг ровное, голое, разбойник этот тут же меня и пристрелит. И на

площадь идти тоже нельзя — если там моя бурка, вся деревня ее знает, люди тут же и скажут: «Это Лазара бурка!» Иду я впереди сторожа, сам все съеживаюсь, вот я уже с букашку величиной, а как вошли в деревню, чую, у меня уж и сердце перестало стучать. На улице народ толпится, среди народа жандармы снуют, мы со сторожем идем прямо к площади, а сердце у меня захолонуло и не бьется. Так и шагаю без сердца, народ расступается, и я вдруг вижу в просвет, что на площади лежит женщина. Сердце у меня забилось так сильно, что подскочило к самому горлу.

Еще как-то раз веду я одну из этих перекупленных коз, а животина попалась упрямая, верещит всю дорогу, упирается, не желает идти. Тяну я за веревку, коза верещит, но все же кое-как двигаемся. Потом коза снова уперлась, оборачиваюсь я, чтоб хлестнуть ее веревкой по морде, и вдруг вижу: вдали на дороге моя бурка, в белую и сивую полосу. Под буркой человек в онучах и шапчонке, низко надвинутой на глаза. Я так сильно дернул за веревку, что коза упала на колени. Я поволок ее, коза верещит что есть мочи, а я тащу что есть мочи и больше не оборачиваюсь, потому как если обернусь, то опять увижу человека в бурке. Коза поверещала, поверещала, потом замолкла и затрусила за мной. И я прибавил шагу, иду, не оборачиваюсь, только прислушиваюсь, как там этот — не догоняет ли.

А он все ближе. Ступает тяжело, потом слышу — прокашлялся, и как услышал я, что он кашляет, еще больше ускорил шаг. Но и он, видно, ускорил, потому что я слышу его шаги за спиной. Дорога входит в лес, а в лесу-то еще страшней. И мало того, что дорога в лес входит, она еще тут большую петлю делает. А там, где эта петля, есть и прямая тропка, тот может пройти по тропке и выйти мне наперерез. «Побегу»,— думаю и, только дошел до поворота, сразу бегом. Ладно, да слышу я — и тот за мной бежит, топ-топ, а потом как закричит: «Эй, дядя, подожди!» Но я ждать не стал, а только оглянулся через плечо. Он бежит, бурка на бегу развевается. «Погоди, дядя, пойдем вместе,— кричит человек,— а то через этот лес страшно одному идти!»

Оказался мужик из другой деревни. «Больно спешишь»,— говорит он мне. «Спешу, чтоб засветло добраться!» — отвечаю. «А я спешу тебя догнать, как раз, думаю, с этим человеком вместе пойдем, да все никак не догоню...» Жуть как напугал меня тогда этот человек, бурка у него как моя, в полоску, только не так хорошо полосы пригнаны, как у меня, прилажены сикось-накось.

Так и шел день за днем, и жизнь моя из-за этой проклятой бурки стала адом. Провались она в тартарары, эта чертова плевенская овца черноголовая, и кто ее только выдумал! Жили бы мы с прежней скотинкой, от которой по пригоршне шерсти настригали, не шил бы я себе бурки и горя бы не знал! И в этом аду корчился я до самого Девятого сентября. Девятого сентября началась кутерьма, народ сбежался, пальба винтовочная, ну и ясное дело — куда народ, туда и я; гляжу — на площади незнакомые люди, с карабинами. И среди людей вижу вдруг парнишку в моей бурке, у меня словно свет перед глазами вспыхнул, и я кинулся прямо к нему. «Эй, парень,— кричу,— дай я тебя обниму, дал ведь бог свидеться живыми и здоровыми!» И хватаю я парнишку, обнимаю его вместе с буркой, да так крепко обнимаю, что у него аж кости трещат. И мы стоим на виду у всей деревни, но от того, что мы на виду у всей деревни, сердце у меня больше не сжимается, а как-то мне все это чудно́, и глаза у меня делаются мокрые, точно у бабы. «Дядя, а дядя! — говорит парнишка.— Ликованье ликованьем, но ты уж так ликуешь, что все кости мне переломаешь!»

А я себе ликую, что из того, если я ему какую-нибудь косточку сломаю! Народ вокруг шумит, все тут же узнали мою бурку, и боль-

шое удивление наступило. Два Аистенка знай переступает с ноги на ногу и все повторяет: «Ты смотри, ты смотри-ка! Лазар уж на что несуразный мужик, никто про него такое бы не подумал, а вот поди ж ты — когда еще связь установил! Ну и ну!»

Телега

Вокруг меня всегда ночь, темно вокруг, в темноте мне ничего не видно, но слышно, как тарахтит телега, как поют насаженные на оси диски-звончатки, слышен стук копыт и ржание. Пусть я лежу в темноте, зато я слышу свою телегу, и кажется мне, будто и я лечу с ней вместе, рядом с ботевским отрядом, а австрийский капитан вытянулся на боковине и отдает мне честь. Обнаженная сабля тоже несется на боковине, и кто ни попадется на пути, шарахается в сторону, чтоб его не задавили или не зарубили ненароком.

И пароход тоже — и он несется галопом вместе с телегой. Наверное, пообветшал уже, потрескался от дождей, но все равно несется! А какой это был пароход! Говорю я тележному мастеру: «Нарисуешь мне на боковинах телеги весь ботевский отряд, и воеводу, и знамя, и всех львов до единого; и пароход нарисуешь, с капитаном австрийским, и черкесов туда всадишь, и турок... всю историю, как она тогда приключилась»[1]. А тележный мастер мне отвечает: «Э, Флоро, ты так говоришь, будто в чем сомневаешься! Да я видимо-невидимо телег сделал и с отрядом, и с пароходом, и с башибузуками, и никто еще не жаловался, а все только благодарят!»

И что правда, то правда — постарался мастер, изобразил все в наилучшем виде. Пароход по колено в Дунае шлепает у козлодуйского берега, весь блестит, и дым из трубы валит, как из маслобойни, рядом австрийский капитан — звали его как-то вроде Эглендер — стоит навытяжку и честь отдает, дальше башибузуки, черкесы, а на другой боковине сам отряд со знаменем и с воеводой. Воевода стоит посреди отряда, саблю обнажил, на знамени — лев на задних лапах, на воеводу смотрит. Я и говорю мастеру: «Славно ты мне все нарисовал, были б у меня лошадки покрепче, так бы и помчался вместе с отрядом!» «А ты и скачи,— говорит мне мастер,— на наших дорогах много уклонов, как доберешься до уклона, так и скачи. А где в гору, там езжай помедленней. Только там, где дорога уж очень разбита, там не скачи, а то башибузуки начнут зубами лязгать!»

Так вот и обзавелся я разрисованной телегой, картинки на ней все бунтарские, боковины сплошь оружием набиты. Телега бунтарская, а товар в ней вожу мирный. Нагружаю в нее расписные берковские миски и кувшины — ряд посуды, слой сена, потом покрываю все сверху дерюжкой, запрягаю лошадок и объезжаю деревни нашей бедной Берковской околии. Где дорога в гору, еду медленно, лошадки мои напружатся, едва тянут. Я иду рядом с телегой, кое-где подталкиваю, помогаю скотинке, рядом со мной на боковине отряд и лев тоже рядом.

[1] Великий болгарский поэт-революционер Христо Ботев (1848—1876) сформировал в мае 1876 года на территории Румынии из среды болгарской революционной эмиграции отряд, переправился с ним на австрийском пароходе через Дунай и высадился на болгарском берегу близ деревни Козлодуй, чтобы вступить в открытую борьбу за освобождение родины. Однако в продолжавшемся несколько дней неравном бою с турецкими войсками и черкесами из турецких военных поселений почти весь болгарский отряд и сам воевода — Ботев — погибли. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

С другой стороны пароход дымит, я его не вижу, но знаю, что он там, в мелкой воде у берега; на него как ни посмотришь, он всегда дымит. А позади парохода черкесы и башибузуки толпятся, пароход им дымом глаза застилает, но они не отходят, а знай напирают и готовы уже стрелять по отряду.

Это когда в гору. Но только выезжаем на гребень, я сажусь в телегу, она сама катится вниз, лошади бегут все быстрей, и тут ободья как затарахтят, звончатки как запоют, даже я им подпевать начинаю: «Плещется Дунай наш тихий, весело шумит...»[1] Где со словами, где без слов (потому как всех слов-то я не знаю) подпеваю телеге, она тарахтит вовсю, белая пыль за нами вьется, по обе стороны дороги бегут назад подсолнухи и кукуруза, а мы себе мчимся во весь дух. Были это одни из лучших дней в моей жизни, хотя жизнь — она такая: знай подстегивает, вот и мотаешься по свету как неприкаянный. «Н-но, н-но, па-рарам! Отряд-то ведь с тобой, Флоро, не унывай, брат! Выше голову, за свободу будем биться, вражью кровь прольем!» Ободья телеги тарахтят, лошади бьют копытами, из-под подков летят искры, звончатки гудят, ровно колокола, и я уж и не пойму, телега ли вторит моей песне, я ли подпеваю телеге... Так летим мы с отрядом Ботева — за свободу, все быстрей и быстрей.

Иногда ночью мне чудится, что отряд сходит с боковин вместе с дымящим пароходом, тихо ступает в темноту и совсем тихо, приглушенно запевает ту же песню. Дорога немощеная, колеса бесшумно тонут в мягкой пыли, меня одолевает сон, и сквозь сон я слышу, что отряд поет. Просыпаюсь от толчка — в ушах еще звучит песня. Останавливаю лошадей, вслушиваюсь — никакой песни нет. Где-то далеко в темноте лают собаки, сонно позвякивают овечьи колокольцы, невидимая река шумит меж невидимых берегов. Но песни нет. Часто слышалась она мне ночью — вздрогнешь, бывало, протрешь глаза, прислушаешься и — н-но, лошадки. Чтобы не задремать снова, начинаю насвистывать, и опять ту же песню. Знаете, иной раз даже про себя ее напеваю или насвистываю про себя — до того я с ней свыкся, что она все время во мне живет.

Так разъезжаю я с моим отрядом, колесим по дорогам, приедем в село — остановимся. Распрягаю лошадей. «А ну, кому горшки, кому миски, кому кувшины!» — кричу, бабы подходят посмотреть товар, спрашивают, нет ли глазурованных. А товар у меня все больше неглазурованный, годы военные, материалу нигде не достанешь. «Нету глазури, бабоньки,— объясняю я им,— ей нынче пушки глазируют. Как война кончится, одну глазурованную посуду привозить буду». Бабы поглядят, поглядят, да и начнут покупать. Торговля у меня простая. Беру за посудину столько, сколько в ней помещается. Тетка наполнит миску зерном — это и будет цена миски. Кувшины малость подороже продаю, потому что они больше разрисованы — на одних цветы, на других птички, так женщины добавляют еще: кто фасоли, кто кукурузы, так и идет торговля.

Под вечер разведу костер, хлеб подогрею, подойдет какая-нибудь тетка, принесет миску с горячим и останется у телеги поболтать. В каждом селе такие тетки встречаются, любят прохожих, любят поговорить, порасспросить о том о сем, хлеба дадут прохожему человеку, еды принесут. Про все расспрашивают. Есть ли у меня жена, дети есть ли (есть дети), какой у меня дед, уж не турок ли тот, что на боковине нарисован, и про все такое. «Не турок он,— говорю,— а австриец, капитан парохода. Турки там, за дымом, и черкесы там есть». «Вот и я

[1] Народная песня на слова Ивана Вазова, которая рассказывает о высадке ботевского отряда на болгарском берегу.

говорю,— отзывается тетка,— вроде бы и турок, а не то чтоб турок, но и на банатца тоже не похож. По одеже видно, что не банатец. А эти парни тут — наши». «Наши,— говорю,— это Ботева отряд, а тут вот сам воевода с саблей обнаженной и со знаменем». «Знаю,— говорит тетка,— это знамя Райна-княгиня шила...» Так разговариваем мы под вечер с какой-нибудь теткой, другие женщины подойдут, остановятся, тогда я начинаю рассказывать об отряде: как он захватил пароход, как воевода стал и капитаном и воеводой, как они, ступив на берег, преклонили колени и поцеловали землю и как потом двинулись к горам. А черкесы из-за плетней выследили, выстрелили из засады и пошли за отрядом — может, какая добыча достанется. Башибузуки, как только узнали, в чем дело, тут же схватили оружие и тоже кинулись вслед отряду. Регулярные войска тоже строятся; тут пашей полно, отдают команды, целые телеги пороха подвозят, а позади тащатся цыгане — авось и им что из добычи перепадет! Отряд, однако, шагает вперед, на знамени колышется «Свобода или смерть!» и лев стоит на задних лапах. В воздухе порохом пахнет, кровью, но отряд не останавливается, воевода подбадривает своих парней, сабля его сверкает, точно молния. Все сильнее пахнет порохом и кровью, все круче становится земля под ногами у отряда, все круче уходит вверх, некуда уже карабкаться парням, только небо выше их, на небо никак не вскарабкаешься! Повсюду засады, из-за каждого камня стреляют, все застлало пороховым дымом, нигде ни капли воды — так и погиб отряд вместе с воеводой. Башибузуки и войска расходятся по домам, черкесы тоже возвращаются домой и начинают мазать пол навозом — против блох; но от навоза блох еще больше разводится, потому что он держит тепло, а блоха любит тепло. «Мы тоже навозом мажем,— говорит какая-нибудь тетка,— но потом белим! Блохи от известки и дохнут. А черкесы не белят, что ли?» — «Станут они белить! Черкесы хуже цыган. А цыгане, те, что деревянную посуду режут, как увидели, что никакой добычи им не досталось, разбрелись вдоль реки рубить вербу для своей посуды. Рубят они вербу, долбят миски и поглядывают, не появится ли откуда еще какой отряд».

Женщины, перекрестившись, расходятся, я остаюсь один с лошадками и телегой. Мои горшки булькают сейчас на огне, дети и молодки ходят по воду с моими кувшинами, на столах блестят мои миски. Все вышло из моих рук, у каждой посудины я помню и роспись и характер, много я их понаделал, но вот остаюсь я один и, бывает, задумаюсь: много намастерил ты, Флоро, да больно мирный у тебя товар! Сделал бы и ты что-нибудь, как тот отряд, чтоб и тебя когда-нибудь на телегах рисовать стали и чтоб кто-нибудь объяснял народу: «Это вот черкесы, это австрийский капитан, это отряд, а это Флоро, он несет в кувшине воду для отряда». Подумаю так, и самому смешно становится. Те-то какие люди были — воеводы, с саблями, с галунами, оружием до зубов увешаны, на шапке у каждого лев и под шапкой лев! Бравый народ, огневой! А я — стоит только на мою шляпенку взглянуть, и все яснее ясного! Жалкое у меня занятие, весь я глиной замазюкан, и вся моя жизнь в глине прошла, над гончарным кругом да по дорогам. Кто для чего рожден, так и проведет жизнь: одним — свободу или смерть, другие будут горшки продавать. Дай бог здоровья тележному мастеру, что вдохнул жизнь в ботевский отряд, посадил его на телеги, пустил парней бродить среди народа! И я стал бы отряд на кувшинах рисовать, да не подходят к кувшинам сабли и все такое прочее. К баклаге это больше подходит, из баклаги вино пьют, а вино с бунтом в родстве. На баклаге я и Ботева видел нарисованного, и Хаджи Димитра видел. Из такой баклаги, когда пьешь, вино порохом пахнет. Жалко, что нельзя кувшин бунгарский сделать, никто его не купит! Народ хочет, чтоб

на кувшинах петуньи да ноготки были нарисованы либо птички. И Флоро сажает на свои черепки птичек либо петуньи да ноготки! Да еще хочет, чтоб за это дело его самого когда-нибудь на телеге нарисовали! Те-то стреляют один пуще другого, а Флоро сидит посередке и расписные горшки перебирает.

Вот о чем я думаю, пока не стемнеет и отряд не растворится во мраке. Я вижу, как глаз черкеса щурится, целясь в меня, потом глаз закрывается, я подбрасываю лошадям сена и ложусь в телегу. В телеге мне хорошо, боковины меня защищают, с одной стороны целый отряд сторожит, с другой — пароход с капитаном и башибузуки. Кто посмеет подойти к телеге, когда такие грозные стражи ее охраняют? Ветер только иногда задует, тогда я закутываюсь в дерюжку и зарываюсь поглубже в сено. И еще, когда задует ветер, проклятые кувшины так начинают свистеть, что тут уж не до сна. Один свистит басом, другой тонким голоском, третий посвистит, помолчит, опять посвистит — словно вся телега заполнена дудками и все они дудят взапуски. Посвистит ветер в кувшинах проклятых, я поворочаюсь, поворочаюсь, да и сяду в телеге — цигарку выкурю. А кувшины все свистят, ровно нечистая сила, аж страх разбирать начинает. Я переложу кувшины, навалю сена, они замолкают. Я снова закутываюсь, минута еще — и засну, и тут вдруг один кувшин голос подаст: фьюить. Фью-фью — отзывается другой... С ветром разве справишься, все найдет какую-нибудь щель, заберется в кувшины и знай свистит.

Когда ветра нет — тихо, и я и не замечаю, как проходит ночь. Только когда выпадает роса, холодает, я встаю до рассвета и разжигаю костер. Жизнь наша кочевая, всего и не расскажешь. Были б дети постарше, начали бы помогать, я б засел в мастерской и никуда б не вылезал. Но детишки малы еще, телегу им не передашь. Был бы я сам помоложе, бросил бы все, взял бы винтовку — и айда в лес, как другие. Башибузуков и черкесов в нашей стране хватает, есть в кого стрелять, да еще налоговых властей развелось видимо-невидимо, обдирают народ как липку. У лудильщиков олово реквизировали, нечем медную посуду лудить. Вода в медных ведрах медью отдает, молоко от котелков тоже медью отдает, народ стал избегать медной посуды. Одни мои черепки еще в ходу. Такая вот жизнь, а все равно никуда не денешься! Племянник у меня в лесу. «Дядя Флоро,— говорит,— ты нам будешь помогать, ты по всей Берковской околии колесишь, будешь оставлять нам на явках муку, постолы нам обещали резиновые, фабрики братьев Пантевых, брынзы, может, подкинут или еще что понадобится, я тебе буду сообщать». Время от времени он меня находит, скажет мне, где что взять и где оставить, и я беру и оставляю, как уговорено — или под каким-нибудь мостом, или в дупле. Людей не вижу, ничего не знаю, доходят только слухи, что по горам много народа бродит. Балканы — старый разбойник, да умеют молчать! Жандармы носятся по селам — и моторизованные, и пешие, и конные,— устраивают облавы, вызывают мужичков на допросы, но на меня и внимания не обращают, никуда не вызывают, ни о чем не спрашивают, а как увидят, говорят: «Катись отсюда подальше!» Запрягаю я лошадок и качусь вместе с пароходом и ботевским отрядом. Иногда жандармы поджигают дома партизан или помощников ихних, мы с отрядом едем мимо пожара, от пожара воевода весь становится красный, и сабля его обнаженная становится красной, а глаза у парней вспыхивают, словно все вдруг ожили и смотрят с моей телеги, как дымится и стонет эта многострадальная земля. Еще чуть — и отряд соскочит с боковины и как взмахнет саблями, как начнет крушить направо и налево...

...Но он не соскакивает. Сжимает зубы на боковинах, глаза постепенно гаснут, обнаженная сабля меркнет, воевода впадает в задумчи-

вость. Австрийский капитан берет под козырек и таращит глаза, турок прячется за пароходной трубой и, верно, думает: черт возьми, эти и нас переплюнули!

Фью-фью! — грустно свистят кувшины в телеге.

Иногда в дороге мне попадаются и другие телеги с отрядами на боковинах. На Ионичовом постоялом дворе я встретил одного, на его телеге весь отряд был нарисован на коленях, на козлодуйском берегу, готовится поцеловать родную землю. Парохода у него не было. Да и сама телега была другого устройства, без звончаток. Этот человек мне пожаловался, что ему велели замазать отряд черной краской, той краской, которой красят дерево, чтобы не гнило. Человека, значит, вызвали в участок и приказали ему перекрасить телегу, потому как власти не желают, чтоб по всем дорогам шастали отряды. «Чтоб их черти взяли,— думаю,— меня-то еще не вызывали и дай-то бог, чтоб не вызвали!» Ездил я в монастырь посмотреть, какие там телеги. На боковинах у них ничего не нарисовано, а на задних щитках — Софроний Врачанский в окружении грешников. Бунтарского в монастыре ничего не оказалось. На обратном пути меня поджидал в лесу мой племяш, сказал мне, чтоб я поехал на паровую мельницу, там меня вечером разыщет один человек и передаст мне кое-что, а я это должен оставить под мостом. Человек скажет мне пароль. Это что такое — пароль? «Слово,— говорит племяш,— он тебе одно слово скажет, ты ему другое, это и будет ваш пароль». Говорит он мне пароль и ныряет в чащу — бравый паренек, боевой, как те ребята из ботевского отряда. Ему б еще папаху меховую да галуны, совсем как они был бы.

Н-но! — говорю я лошадкам и еду на паровую мельницу.

А на мельнице толпа — как на мельнице. Народ, скотина, телеги, костры — все смешалось, я ищу, где бы распрячь лошадей, и все повторяю про себя слово, которое тот человек мне скажет, и слово, которое я ему должен сказать. Нашел место, распрягаю, задаю лошадкам сена, но от телеги не отхожу, потому как человек тот, может, уже здесь и ищет меня. Стою у телеги и все поглядываю, не подойдет ли кто ко мне и не скажет ли слово.

Гляжу — появляется один, еще невзрачней, чем я, ну, думаю, из нашенских — наверное, он! Но на поверку вышло — не он. Про что только не наговорил мне, а того слова не сказал. И я тоже про что только не говорил с ним, но слово — ни-ни. Побалакали мы с ним, он отошел к другой телеге и принялся там языком чесать, а моего человека нет как нет.

Под вечер на дороге появилась телега, лошади крупные — чистые драконы, упряжь с бубенчиками — звенят, заливаются. И телега тоже большая, с высокими боковинами, все железом обковано и разрисовано. Сразу видно, что хозяин телеги знает толк в конях и в упряжи. Едет в мою сторону, заворачивает и — тпруу! — еле удержал лошадей. Гляжу — он и сам богатырь, соскакивает с телеги, хлопает лошадей по холкам, распрягает, растирает им брюхо горстью сена, подвязывает им торбу и идет в гущу телег и народа. Тут остановится, там остановится, на голову выше всех, и все у него крепкое, ладное. И к моей телеге подходит, только с другой стороны, остановился, поглядел на отряд на боковине, потом на меня поглядел. Глаза веселые, кепка на затылок сбита, видать, славный человек. «На совесть сделано»,— говорит он мне про телегу и спрашивает, чья работа. Я объясняю ему, чья работа. «Неплохо, неплохо!» — кивает он одобрительно и идет мимо моих лошадок, слегка похлопывает их рукой и, похлопывая, говорит мне слово. Столько времени я ждал, когда мне это слово скажут, а как сказали, я так и обомлел, дыханье сперло, и немало времени прошло, пока и я сказал ему свое слово.

Он спросил у меня, привез ли я на мельницу зерно, я сказал, что привез один мешок, около пуда, но народу вон сколько, когда еще до меня очередь дойдет! «Сейчас дойдет»,— говорит и берет из телеги мой мешок. Я за ним, проходим сквозь толпу помольщиков на мельницу. Мой знакомый кричит: «Йосо, Йосо!» Ремни свистят, колеса вертятся, повсюду лотки. Среди ремней показался механик, на один глаз чуть косит, в руке разводной ключ. «А, это ты, здорово!» «Есть у тебя мука готовая? — спрашивает мой знакомец.— Отсыпь ему пуд, что ж ему ждать из-за одного пуда!» Йосо положил разводной ключ и насыпал мне пуд муки, а мое зерно забрал. Знакомец мой взял мешок и — назад к телеге. «Как стемнеет,— говорит он мне,— запряжешь и подъедешь к моей телеге, кое-что к тебе переложим, и потом ты своей дорогой, а я своей. Понял?» «Понял,— говорю,— пока светло, этого не сделаешь, будем темноты дожидаться».

Когда ждешь, темнеет медленно, но все-таки темнеет. Мой человек нашел знакомых, подсел к их костру, а я стою у телеги и смотрю, когда он встанет и пойдет к своей телеге. Наконец он встал, но на меня не смотрит, стоит ко мне спиной. Я начал запрягать, кашляю через силу, чтоб он меня понял, он, видно, понял, повернулся и пошел к своим лошадям. Ладно, но я гляжу: к его телеге еще какой-то человек идет, с керосиновым фонарем. Человек с фонарем подошел первый, обошел телегу со всех сторон, покачал головой. Незнакомый, видно,— стал расспрашивать моего, где ему делали телегу, сколько с него взяли и т. д. Тот ему объясняет. Я гляжу на телегу, она тоже расписана, как и моя, только на свой манер. Другой, видно, мастер руку приложил. Фонарь освещает высокую боковину, и я вижу на боковине Летучий отряд Бенковского [1]. Красиво нарисовано, с чувством, и хорошо это придумал мастер — посадить на боковину Летучий отряд. Человек с фонарем порасспрашивал, порасспрашивал и ушел. Мой знакомец вздохнул, снял со своей телеги какую-то длинную штуковину, я засунул ее промеж сена и мисок, сверху уложил кувшины, потом опять слой сена, потом он дал мне узел в промасленной бумаге. Узел был тяжелый, но что там — не спросишь, в таких делах спрашивать не полагается. Снова сверху сено, несколько горшков, и я тоже забираюсь на телегу.

«В добрый путь!» — говорит мне человек. «В добрый путь!» — говорю я ему, и мы оба трогаем. Он впереди, я за ним, и так выезжаем на шоссе. На шоссе человек повернул в одну сторону, я — в другую. Он вытянул лошадей, они обратились в драконов и помчали галопом Летучий отряд. Я хлестнул своих лошадок, бедняги затрусили, тележонка запела. Были б у меня такие драконы, как у того человека, запряг бы я их в мою телегу, да как встал бы в ней во весь рост, да взмахнул бы кнутом, да как полетел бы вместе с отрядом и пароходом — все бы так и шарахались с дороги... Да, но тогда от моих горшков и мисок одни черепки бы остались!

Нет уж, так, как есть, для меня и лучше.

Еду я и перебираю в уме всякую всячину, но как стал подъезжать к мосту, ни о чем другом уже думать не могу. Не впервой мне оставлять что-нибудь под мостом, но на этот раз не выходит он у меня из головы. Со стороны реки потянуло ветерком, стало прохладно, я закутался и хлестнул лошадок, чтоб бежали веселей. Кто-то свистнул сзади, оборачиваюсь — никого. Кувшин свистнул. Снова свистнули, я знаю, что это кувшин, но все же снова обернулся. На дороге никого — ни позади, ни спереди.

---

[1] Бенковский, Георгий (1841—1876) — один из руководителей Апрельского (1876) восстания болгар против османского ига.

Только мост передо мной.

Останавливаюсь я перед мостом, здесь ветер сильнее дует. «Ну, Флоро,— говорю я себе, вытаскиваю ту штуковину, длинную, завернутую, и узел тоже вытаскиваю. Кувшины рассвистелись на ветру — который басом, который тонким голоском,— но мне сейчас не до кувшинов. Спускаюсь с обрыва, споткнулся два раза, ныряю под мост, чтобы спрятать свертки, а кувшины наверху свистят, проклятые, надрываются. Лезу вверх по обрыву, кувшины свистят изо всех сил. «Н-но!» — кричу я лошадям, на ходу прыгаю в телегу, потому что увидел, что на другом конце моста впереди — люди.

«Стой!» — заорали люди, а я хлестнул лошадей и прямо на них. Кувшины улюлюкают на все голоса, те палят из винтовок, на глаза мне упала пелена, темно стало — ничего не видно. Ничего я не вижу, но слышу и чувствую. Слышу, как кувшины еще свистят подо мной, я упал назад на кувшины, они свистят и бьются один за другим. Все побились, один только кувшин остался, то замолкает, то посвистывает, точно удивляется чему-то. «Видать, это засада была, Флоро,— говорю я себе,— из засады палили гады, хуже тех черкесов, что стреляли когда-то по отряду, а потом шли свои дома навозом мазать! А ты, Флоро, не бойся темноты, в своей ведь телеге лежишь, и кувшины не жалей, другие кувшины понаделаешь! Один кувшин-то ведь у тебя остался, свистит в темноте, напоминает, что не один ты на свете.

Да и как же ты можешь быть один, Флоро! Ты только посмотри: с одной стороны весь ботевский отряд выстроился, и лев в строю вместе с отрядом, с другой стороны пароход дымит, точно паровоз, дым у него никогда не иссякает. Черкесы и башибузуки щурятся от дыма и смотрят через боковину, как величественно лежит Флоро в своей телеге. Ведь кабы не было величественно, Флоро, разве стал бы австрийский капитан вытягиваться в струнку и брать под козырек!»

Два Аистенка

Не знаю, кто наградил меня этим прозвищем, пожалуй что я сам себя наградил. Один год я ездил работать в Германию, шоссе там, значит, прокладывали, и оттуда навез всякого инструмента — пилы, бритву, топор, два тесла (одно себе, другое для свояка — очень был доволен свояк. «Знаешь,— говорит,— свояк, такого тесла мне еще не попадалось, ну прямо-таки идеал!»), рулетку полутораметровую, хотел еще шлямбур купить, да деньжат не хватило. Германцы — не то, что мы, особенный народ: как сделают инструмент, тут же на него марку сажают — «Два аистенка»; даже лопаты, которыми мы шоссе копали, простецкие лопаты,— а и на них «Два аистенка» посажены! Мы паровоз построим и то не догадаемся «Двух аистят» на него посадить, а германец догадывается. Самую разобыкновенную пилу сделает, а все равно найдет, куда марку посадить. Ясное дело, для этого и сталь нужна, золинген, и все такое прочее. Я раз носил мой топор к кузнецу поточить, так топор весь брусок съел и так и не наточился. Куда уж простому бруску, сделанному в каменоломне, наточить «Двух аистят»! Как я посмотрю, для этого дела по крайности наждачный круг нужен! Да где уж нам! У нас и бруски самые простые, и железо простое, никакой тебе выделки; нашим инструментом поработаешь, все руки себе отмахаешь! Я ведь вижу, когда мы со свояком в лес по дрова ходим: я уже три дерева срублю, он — одно, я — три, он — одно. И вроде бы точил он свой топор, вроде бы отбивал, а все

равно дерево не берет. Как же ему взять, когда железо все стертое и заношенное, ровно солдатское белье. «Слышь, свояк,— говорит мне свояк,— мой топор марки «Один аистенок», где ему с твоим равняться!»

Вот от этого инструмента и вышло мне прозвище.

Я и еще кой-чего оттуда привез, барахлишка разного, только его я и сам не одобряю. Дождевик привез, тоже германской работы, но как ударят холода, он все равно что жестяной становится. Куда немецкому дождевику против нашей бурки! Сосед у меня есть, Лазар, пошли мы с ним как-то зимой на базар, гляжу — он себе новую бурку сшил. Наголовник надвинул пониже, тепло ему, а я в своем дождевике ежусь, и чем больше ежусь, тем холодней мне делается. Один паренек к нам прибился, Чукле по прозвищу, несет в корзине два десятка яиц — продавать на базар. Так вот Чукле и говорит: «Как по моему рассуждению, дождевик лучше — от ветра защищает и дождь по нему скользит!» «Ты мне только дай бурку,— говорю я ему,— я тебе тут же этот дождевик подарю! Вот эту свинью как продам на базаре, так куплю в чесальне шерсти и тоже себе бурку справлю. Германец инструмент может сделать, но дождевик этот — дрянцо. И вся одежа у них дрянная — древесина одна, по древесине разные финтифлюшки пущены и сзади разрез. Германец себе пиджак каждый год перелицовывает!» Чукле и говорит: «Так он его лицует, чтоб пофигуристей быть! Как перелицует, так пиджак все равно что новый и фигуристей становится! А у нас кто ж тебе фигурять будет! Как по моему рассуждению, у нас никто пиджаков и не лицует!» Лазар тут говорит: «И перелицуешь даже — он и получится подкладкой вверх. А коли портному дать, чтоб распорол, так зачем же пиджак пороть, когда он и сам рано или поздно порвется». «Еще бы не порвется,— говорю я Лазару,— я вон свой дождевик в двух местах уж порвал».

Коли и дальше так дело пойдет, пусть он и в трех местах порвется, все равно в нем ходить буду, потому что никто не хочет у меня свинью купить. Она, паскуда, приспособилась курей жрать, всех моих курей сожрала да еще трех уток. Кто на нее ни посмотрит, тут же и говорит: «Э, дядя, твоя свинья, видать, курей жрет!» — и никто ее у меня не берет, напрасно только по холоду с ней таскаюсь и в снегу по колено вязну. Правда, как я погляжу, Лазар свой перец тоже не продал, хоть его перец кур и не жрет. Только этот, Чукле, всю корзину распродал. Не успел на базар прийти, продал яйца и тут же куда-то смылся. Может, купить что надумал — кто его знает!.. На обратном пути Чукле снова нас догнал, купить ничего не купил, а все деньги от яиц парикмахеру отдал за прическу. Завил волосы мелкими кудряшками, как девушка, и такая голова у него стала — впору наседку на яйца сажать. «Ишь ты какой фигуристый стал!» — говорю я ему. «Подумаешь, дело большое,— мотает головой Чукле.— Как по моему рассуждению, лучше двадцать яиц на голову свою употребить, чем на жратву! Не одним женщинам фигурять, мы тоже не желаем как звери какие ходить».

Я объясняю Лазару и Чукле, как, значит, германка фигуряет. Там, брат, все сплошная канбинация, и на резинках всё, женщины, как ужи, блестящие да скользкие, пальцем боязно дотронуться. У нас разве увидишь канбинацию да резинки! Одна пенька да веревки, подвязывают чем ни попадя, а юбки ровно из фанеры сделаны. А у германки канбинация, резинки, да еще сверху что-нибудь тонкое наденет — как ветер дунет, так ей все до ляжек и задерет. Это, я понимаю, фигурять! Наши разве в фигурянье что понимают? А те понимают, мать их за ногу, порядок на все установили; куда ни поглядишь,

всюду порядок. Уж чего проще — налог заплатить, так германец тут же идет и платит, а мы волыним, волыним, пока сборщики не придут и не начнут секвестровать. А германец на все порядок навел. Там и по шоссе, к примеру, идешь, посмотришь — все по правой стороне шагают. А мы вот идем по тропке втроем, и никто правой стороны не держится. Германец, пусть хоть на дороге живой души не будет, ни за что тебе посередке, по чужой тропке, не пойдет. Все равно он будет держаться правой стороны и новую тропку по снегу протаптывать, потому как порядок такой.

«У нас такому в жизни не бывать! — говорит Лазар.— У меня мысли, может, занеслись неведомо куда, только мне и делов что думать, справа мне идти или не справа. А насчет налогов, так это, я тебе скажу, надо, чтоб деньги были. Порядок сколько хошь можешь наводить, а коли денег нету, налог все равно не заплатишь. Вот вкатят тебе сейчас наряд — два бидона сала с этой свиньи, попробуй натопи с нее два бидона!» — «Ишь ты, два бидона! Да у ей только кости растут, не видишь, что ль, какая она, паскуда, тощая. С нее и полбидона не натопить!»

А, где наша не пропадала!

Прирезал я эту свинью, полбидона сала натопил, остальное на шкварки пошло, мясо — когда с капустой, когда с рисом — тоже все подъели, даже до весны не хватило, так что всю весну и все лето на одном постном сидели. Германец, как зарежет свинью, всю на колбасу пускает, два года, значит, может свинью лопать, а мы за два месяца целую свинью умнем и потом пробавляемся травкой. Хотя, если поглядеть, нам еще не так туго приходится; грекам, к примеру, или сербам куда хуже. Тем летом привезли в нашу деревню грека одного, в ссылку, значит. Вроде он табаком торговал и одет вроде побогатому, а германец на греков лапу наложил, и этого — в ссылку. Так он и живет в нашей деревне. А свояк мой в Сербию ездил, вернулся и говорит: «Слышь, свояк, насчет того, что ты про германца рассказываешь, никак я поверить не могу! Германец — похуже животное, чем мы!» И узнал я у него, что германец в Сербии тьму народа и скотины перебил. Куда ни придет, поливает овец бензином, поджигает и пускает их в разные стороны. Овцы горят, на землю кидаются или подпрыгивают на три метра, в кошары и сараи забиваются, кошары и сараи вспыхивают, села, точно порох, горят.

«Ну и ну! — говорю я свояку.— Если война или там оккупация, человека убить — куда ни шло, но чтоб скотину палить, это уж ни в какие ворота не лезет! Я германца совсем другого видел». Раз работали мы на шоссе, лошади уперлись и не хотят телегу везти. Германцы кричат: «Но! Но!» — а лошади только прядут ушами и ни с места. Тут мы как взяли наши лопаты, как саданули лошадей лопатами, ты б видел, как они рванули и полетели — прямо ветер, телега еле земли касается. Ух, как тут эти германцы взъярились, залопотали: «Цвайциг! Цвайциг!» — убить нас готовы были за то, что мы их лошадей разок лопатой двинули... Потому как в Германии — порядок, скотину бить нельзя. Скотине объяснять можно, уговаривать ее, коли она тянуть не хочет, сам впряжешься и потащишь, но чтоб ударить ее — никогда! И чтоб германец скотину поджигал — ну, никак на него не похоже! Может, они когда в другом государстве окажутся, тогда и лошадей бьют, и овец поджигают. Хотя скотина — она всюду скотина, при чем здесь государства!

Поди их разбери!.. Народ! С одной стороны подойти, всякий тебе инструмент мастерят, на каждый инструмент «Двух аистят» посадят, а с другой стороны — такой дождевик сделают, что его только надень, сразу начнешь от холода зубами лязгать! Поди их разбери!..

Говорю я свояку: «Слышь, свояк, ты, значит, коли на чужой земле окажешься, глазей только да крестись. А коли на что позаришься, пусть у тебя лучше рука отсохнет! У нас если на что позаришься — оно и ничего, бревно можешь украсть, коли тебе требуется, и телегу целую можешь украсть; лес — государственный, государства не убудет оттого, что ты малость дровишек нарубил. Однако на человека или на скотину руку подымать негоже. Государство пусть подымает, а ты — не смей!» Государство и вправду то здесь, то там руку на людей подымает, в нашей деревне еще нет, но по другим деревням одного в тюрьму посадили, другого в лагерь отправили, а в Железне, слыхал я, даже застрелили одного.

Наша деревня мирная, только вот грека того привезли, ссыльного, но он тихий человек, миролюбивый, улыбается во весь рот и поболгарски ни хрена не смыслит. Чукле учил его говорить: «Шестьдесят шесть козьих кож», но он и этого не может сказать, потому как ни «ш» выговорить не может, ни «ж»!.. Так вот, деревня у нас мирная. Бедность, конечно, но когда все тихо и мирно, терпеть еще можно.

Я и Лазару про это толкую. Как-то режем мы с ним кукурузные листья в поле у Керкезского леса, трут у меня намок от росы, пошел я к Лазару за трутом, он растирает зеленые листья табачные в порошок и сворачивает цигарку. «Паскуда табак — никак не раскуришь,— жалуется Лазар,— а закуришь, цыганом воняет. Грек наш, ссыльный, даром что ссыльный, а все сигареты курит. Видно, денег у него куры не клюют!» «Знаешь, Лазар,— говорю я ему,— все одно нам лучше: бедность, конечно, и табак дрянной, и сажаем его нелегально, но по крайности мы не ссыльные. Пока ты дома и никто тебя не трогает, на хлебе и воде перебиться можно». «Верно»,— соглашается Лазар и дает мне свой трут и объясняет, как его завернуть, чтоб не намок. Я-то сам промок аж до пупа, потому как ночью роса густая выпала и туман густой. «Туман сегодня так и не подымется,— говорит Лазар.— Если только ветер разгонит, но как я погляжу, сегодня ветра не будет».

Пусть себе держится туман, кукурузные листья так лучше резать и в снопы вязать удобнее. А то, если туман подымется, солнце подсушит кукурузу, и листья начнут сыпаться, как порох. Кукурузные листья сподручней всего в туман резать. Я люблю наш туман, в нем все становится невидимым. Сам он чистый, белый, все равно что в вате двигаешься, и в двух метрах ничего не видно. Слышать слышишь, а видеть ничего не видишь, хоть и светло!

В Германии туман совсем другой. Даром что Европа и не знаю, что еще, а туман чернее дегтя. Я-то знаю — когда мы работали на шоссе, спустился как-то раз туман, и ничего не стало видно, и дышать нечем. Мы завязали носы платками, да толку никакого. Туман едкий, кислый, черный, промозглый, мы все в трубочистов превратились. Сплюнуть захочешь, так и плевок тоже черный. Куда ихнему туману до нашего! Наш туман чистый, все в нем светлое, так что и на душе светлеет, и потихоньку-полегоньку становишься невидимкой. Говорю я Лазару: «Лазар, так и так, в тумане нас не видно, отчего бы нам не пойти в Керкезский лес, не срубить жердь-другую». Он говорит: «Видеть-то нас не видно, но как застучишь топором, тебя знаешь где услышат. В туман далеко слышно».— «Слышно не слышно, я пойду. Важней, что нас не видно!»

И пошел я с топором, тем, что с «Двумя аистятами», к лесу, а позади меня Лазар режет серпом кукурузные листья: вжик, вжик. Режет, а сам прислушивается, не застучит ли мой топор. Лес вдруг обступил меня. Зашел я в чащу, там деревья покрепче, присмотрел

одно и стал рубить. Рядом еще кто-то до меня рубил, но высоко брал, с полметра над землей. Я так не люблю. Коли рубишь, руби низко, тогда весной крепкие побеги полезут, а если высоко срубить, побеги будут хилые. Срублю еще две-три жерди и вернусь сюда подправить этот пень, не люблю я такую рубку; хоть ты и крадешь, рубить надо как на своей лесосеке.

Свалил я несколько стволиков и вернулся срубить пониже тот пенек, а рядом с ним куст шиповника. Занес я топор, но промахнулся, потому что рукавом зацепился за шиповник. «Чтоб тебя!» — сказал я шиповнику и обернулся, чтоб наступить на него и тяпнуть по нему «Двумя аистятами», но не наступил и не тяпнул, а так на месте и обмер.

Рядом с шиповником лежал кувшин, на траве была разбросана яичная скорлупа и обрывки газеты. Трава была примята — видно, лежали на ней люди, хоронились за кустом. Известно, какие люди ходят нынче по лесам; слыхал я, что в других деревнях их уже видели, но кто ж мог подумать, что они явятся в Керкезский лес! Поглядел я — похоже, что здесь стоянка у этих людей, здесь они, значит, спят, едят и пьют воду из кувшина, а потом отправляются либо по сыроварням, либо архив у какой сельской общины спалить, либо жандарма какого пристукнуть. И как покончат с этим, пробираются обратно в наш лес, рядом с самым моим полем. Никому и в голову не придет, что они в Керкезском лесу, потому что у нас все мирно, деревушка тихая, никто из нас еще на государство не замахивался, да и государство ни на кого еще руку не подымало. Разве только тот грек, ссыльный, но как уж он там может руку поднять! Он даже шестьдесят шесть козьих кож выговорить не может, куда ему руку подымать... Я дергаю рукав, чтоб от шиповника отцепиться, шиповник тоже меня дергает, того и гляди рукав оторвет. Выбрался я наконец с другой стороны, но к кувшину подойти не смею. Откашлялся для храбрости, оглянулся — ничего не видно, повсюду туман. А вдруг они стоят в тумане за деревьями и выскочат оттуда все разом и увидят, что я стою рядом с их кувшином с топором в руке, что они подумают? «Что это ты здесь делаешь, дядя?» — скажут они и упрут винтовки мне в живот.

Меня прохватила дрожь, и я стал потихоньку пятиться. Сучок треснет под ногой, я подпрыгиваю, как заяц. И даже мне показалось, будто за кустами человек мелькнул, вроде я и лицо какое-то увидел. Вернулся я к моим жердям, обрубил наскоро ветки, а одним глазом все поглядываю, не появится ли откуда человек. Взвалил жерди на плечо, тащу их лесом, а они волочатся за мной и шуршат. Выбраться бы только из леса, и больше я за жердями не ходок. Струсил я, потому как они-то меня видят, а я их нет.

Вот тебе и туман, белый да приятный! Радуйся теперь туману!

Еле выбрался я из лесу.

«Больно быстро ты нарубил!» — говорит мне Лазар. «Конечно,— говорю,— ты б на моем месте был, и ты бы нарубил быстро». Но как все было, ему не объясняю. Отнес жерди к своей телеге, положил на днище и сел на дышло выкурить цигарку. Лазар режет серпом, но то и дело останавливается. А вдруг он тоже видел человека и теперь затаился на своей полоске? Или кувшин видел? Нет, не может быть, Лазар не ходил в лес. Сижу я на дышле, курю и ничего не вижу, и меня никто не видит — слышу только, как Лазар серпом работает. Те, что в лесу, тоже небось слушали, как мы с Лазаром разговариваем. И вдруг я весь похолодел — а что, если я сболтнул что лишнее про германца, похвалил его за что-нибудь, а те там слушали да решили под конец: «Больно он германца нахваливает, отчего бы нам его не шлепнуть в

тумане!» Перебираю я все в уме — про грека мы говорили, про туман и что германский туман — мерзость, чернота одна, все себе носы завязывают. Если те слышали, что мы про туман говорили, верно, подумали: «Наш человек!» А может, они еще стоят в лесу с винтовками и гранатами и ждут, о чем мы дальше с Лазаром разговаривать будем, и тогда уж будут нам приговор подписывать. Лазар-то не больно разговорчивый, пришибленный он мужик, ничего он такого никогда и не скажет, чтоб приговор ему подписать. Я — другое дело, я шоссе в Германии прокладывал, среди всякого народа терся, газетку почитать могу, порасспросить о том, о сем, а Лазар что — где ему шоссе в Германии прокладывать! Да Лазар и поезда-то сроду не видал!

«Вот паскуды!» — говорю я громко, а сам все сижу на дышле. «Кто?» — спрашивает меня Лазар с соседней полосы и перестает резать кукурузу. «Как кто, германцы! Подсунут тебе, паскуды, дождевик, сверху глянец наведут, а наденешь его, он тут же в лапшу превратится. Трещит весь и лопается, оглянуться не успеешь, а на тебе лохмотья одни висят! Паскуда этот германец, у себя не дает до скотины пальцем дотронуться, а в Сербии поджигает овец и гонит их в деревни, чтоб и деревни пожечь. Коли он в Сербии овец поджигает, в России, значит, он бог весть что жгет. И думает, что коли жгет, так он порядок наводит. Огнем разве порядок наведешь?! Должно, туман ихний его гонит, в ихнем тумане дышать нельзя, вот он и подался к нам, наш туман ему почище показался».

Рассуждаю я так, сидя на дышле, Лазар слушает, а потом зашуршал чем-то. «Ты кончил резать?» — спрашиваю. «Кончил, нагружаю уже».— «Так и я тогда грузить буду, вместе поедем, в такой туман лучше вместе ехать». И я тоже начинаю грузить телегу, нагрузил и веду буйволов к Лазаровой телеге. Лазар запрягает, сейчас тронемся. Гляжу я на него и думаю: «Эх, Лазар, знал бы ты, что в лесу делается, так бы и упал на месте и язык бы у тебя от страха отнялся. Стоянка лесовиков в одном метре от нас, они стоят с винтовками, слушают, о чем мы говорим, и приговор нам подписывают. Ты, как ты есть несуразный мужичонка, лучше ничего и не говори, кашляй только, чтоб они знали, что нас двое, а разговор я на себя возьму».

Думаю я так и гляжу — у Лазара руки трясутся, не может притыку вставить. Ну до чего ж несуразный мужик! «Дай,— говорю ему,— запрягу!» — вставил притыку, и зашагали мы с ним в тумане. Я иду, а сам нет-нет да обернусь, стараюсь только, чтоб Лазар не заметил, что я оборачиваюсь, а он хоть и несуразный, да замечает. И все мне кажется, что сейчас то ли сзади нас, то ли спереди выйдет кто из кукурузы, скажет: «Стой!» — и прочитает нам приговор. Меня прихлопнут, а Лазара отпустят. Меня потому прихлопнут, что я видел, где их стоянка, кувшин ихний видел. Царь Траян с козьими ушами потому ведь отрубал юношам головы, что юноши видели его уши. Попробуй, коли увидишь, что у царя Траяна козьи уши, не сказать про эти уши. Вот и со мной примерно такая история приключилась. Начну хиреть, один меня спросит, другой меня спросит: «Эй, Два Аистенка, что это ты приуныл — или скрываешь что, или тебя что точит?» Тут я и скажу: «Так и так, пошел я в Керкезский лес и увидел в том лесу козьи уши...»

Ну да, скажу! Пусть хоть с живого шкуру сдирают, все равно не скажу.

«Эта паскуда германец,— начинаю я снова вслух,— только и знает, что одежду перелицовывать. И разрез сзади посадит, схватить бы его за этот разрез и швырнуть не знаю уж куда. Он думает, что коли он такой разрез посадил и пиджак перелицовывает, так он может на

какое хошь государство руку поднять...» Лазар молчит, сопит, кто его знает, где сейчас его мысли бродят!

Кое-как добрались мы по туману до деревни, Лазар к своему дому свернул, я — к своему. Велел я жене разгружать телегу, а сам пошел по деревне пройтись, потому как не сидится мне на одном месте. Туман редеет, дома проступают один за другим, и то за одним домом мелькнет человек, то за другим, то за сараем каким. То это мужчина, то женщина, и как всмотрюсь попристальней, вижу, что у всех у них козьи уши. И у женщины козьи уши, хотя какие уж там козьи, они с ослиные величиной! Поджидают за домами, чтоб я их увидел, и как только я их увижу, тут же прячутся. «Плохо твое дело,— думаю,— раз тебе царь Траян с козьими ушами стал мерещиться!» Думаю я эдак, иду по улице, те все мелькают, потом исчезли, как сквозь землю провалились, а вместо них вдруг слышу крики и вопли, будто кого-то режут.

Побежал я по улице в ту сторону, где режут, и вижу в тумане хозяина дома, где ссыльный грек живет,— бегает взад-вперед, как оглашенный. На втором этаже дома что-то вроде балкона, на балконе стоит грек, ломает руки и повторяет испуганно: «Сестьдесят сесть козьих коз! Сестьдесят сесть козьих коз!» Снизу к нему рвется отец нашего Чукле, посинел аж от ярости, размахивает над головой топором и орет во все горло: «Зарублю! Разнесу башку его вдребезги, узнает тогда эта паскуда греческая, как на чужого парня зариться!..» Несколько мужиков держат его и не дают подняться по лестнице к ссыльному. Тот все твердит испуганно с балкона: «Сестьдесят сесть козьих коз!» Под балконом стоит Чукле, завитой еще с зимы, сжимает под мышкой календари с царской фамилией и объясняет, хотя никто его не слушает: «Как по моему рассуждению, отец напился. Чем же грек виноват — я предложил ему купить календарь с царским семейством, он два купил. Как по моему рассуждению, чем же он виноват!»

Отец снова стал рваться наверх, на этот раз больше с помощью мата. Я схватил хозяина за воротник и поволок его во двор: «Будет тебе топтаться без толку, пойдем наведем порядок! А ты,— говорю я Чукле,— катись отсюда со своими календарями!» Оттаскиваем мы его отца назад, а он, как увидел календари, подскочил да как обрушится на них с топором — клочья полетели. Это бы ничего, но тут входит полевой сторож с винтовкой. «Ты что царскую семью рубишь?» — спрашивает сторож и готовится снять винтовку с плеча. Тогда Чуклев отец как врезал ему кулаком по шее, сторож не то что винтовку не успел с плеча снять, а отлетел шагов на пять, а фуражка его на десять или даже на все одиннадцать метров. Государственная фуражка, форменная, с кокардой, а отлетела! «Вот как заарестую я тебя и составлю акт, будешь тогда знать, как кулаками размахивать!» А Чуклев отец только пыхтит, глаза кровью налились, но молчит — видать, как ударил сторожа кулаком, успокоился малость. Вывели мы его на улицу, отпустили, он пошел и снова начал ругаться.

За ним петушком Чукле с порубленными календарями, и то у него царица выпадет, то престолонаследник, то еще кто-то — и не разглядишь, царь ли это, княгиня Эзекия или царица.

Долго не ходил я в поле, кукурузные стебли стояли неубранные, Лазар все звал меня резать кукурузные листья, но я тянул — на мельницу, мол, надо или в город. Лазар занялся перекупкой коз: дай, думаю, и я перекупать буду, и несколько раз мы вместе по деревням ходили. Ладно, но мы купим козу за двести левов, гоним ее в город и там продаем за двести: никакого интересу! Отказался я от перекупки коз, кукурузные листья срезал, и пошли мы как-то с Лазаром на то

самое поле пахать. Я пашу и посматриваю в сторону леса, не появится ли оттуда кто-нибудь. Потом оставил соху, прошелся по опушке, и охота мне поглубже зайти, посмотреть, там ли еще кувшин. С одной стороны, боязно, а с другой — тянет меня в лес. «Лазар,— говорю,— давай ореховых прутьев в лесу нарежем, а?» Но Лазар не захотел. Я себе насвистываю, захожу в лес, дальше, дальше, к кусту шиповника, гляжу — кувшин на том же месте. Отрезал я один прут и пулей из лесу, прямо к Лазару. Посидели с ним рядом, покурили, поговорили о том, о сем, и я все стараюсь, как бы германца посильней уязвить, чтоб если те вдруг слушают, так сказали бы: «Два Аистенка — свой в доску, вон он как германцев разделывает! В порошок стирает!» А я ведь шоссе в Германии прокладывал, так я всю их германскую подноготную знаю!

Вот так, значит, всякий раз, как случается у Керкезского леса быть, я на то место заглядываю, и кувшин все там и лежит. Так потихоньку я стал соучастником событий. Теперь, конечно, легко бить себя в грудь и говорить, как Лазар, что с плеча своего бурку снял, что связь поддерживал, кидать шапку в небо и ликовать! Теперь все ликуют и все в грудь себя бьют, а в те годы ой как нелегко было, я-то все это пережил, знаю, что говорю. И если уж так подходить, каждый принял тогда участие в событиях. Кто жизнью своей заплатил, кто с винтовкой в руках участвовал, а кто ни того, ни другого не мог, тот участвовал молчанием.

Меня коли спросите, так я и Чукле не виню, что он календари с царским семейством продавал. Когда нашу деревню блокировали, и солдаты никого из нее не выпускали, и скотина в хлевах стала от голода реветь, и шелковичные черви стали дохнуть, оттого что кончились шелковичные листья, мы целой депутацией пошли к офицеру. Думали, думали, как нам лучше к этому делу подступиться, и под конец догадались взять календарь с царской фамилией и идти к офицеру с этим календарем. Берем мы, значит, царское семейство и — айда к офицеру просить его, чтоб он пустил народ в поле набрать шелковичных веток, потому как шелковичный червь начал дохнуть. Шелковичному червю как раз время переходить на куст, чтобы завить кокон (мы его кутанкой называем), а когда червь готовится переходить на куст, он жрет больше, чем лошадь.

Ух, как тут этот офицер подскочил, как разорался — чуть всех не перестрелял. Мы повернулись кругом и, как были с царским семейством, так и пошли все по домам. Не помогло нам в тот раз царское семейство, а в другой раз, может, и помогло бы, лепят же его зачем-то на календари!.. Войско постояло в деревне и ушло, и я тут же — в Керкезский лес; гляжу — кувшин на месте, и ничуть он войска не испугался. Лежит себе в лесу и молчит. Срубил я деревце, взвалил на плечо, посвистываю себе и тоже молчу. Иду я с тем деревцем обратно в деревню, с одним остановлюсь побалакать, с другим цигарку выкурю, а как дошел до дома Чукле, гляжу, Чукле сидит во дворе, а рядом — отец, стрижет его овечьими ножницами. «Как по моему рассуждению»,— раздается голос Чукле, но отец стукает его ножницами по голове, чтоб молчал, и продолжает стричь. «Ты что,— говорю,— делаешь этими ножницами?» «Обкорнаю до самой кожи!» — свирепо отвечает отец. Чукле знай моргает и снова голос подает: «Как по моему рассуждению...» — но отец снова стукает его ножницами, чтоб молчал. Тогда придумал я одно изречение и все повторял его потом: «Молчи, Чукле, коли отец велит! Мир теперь на молчании держится!» А сам думаю: «Мне-то каково про кувшин молчать!»

И иду я дальше с деревцем на плече, посвистываю, а время от времени до меня доносится: «Как по моему рассуждению...»

Парнишка

Когда мы спустились с Зеленой Головы, в первой же деревне зашел разговор о бурке и кувшине — единственных чужих вещах, которыми я воспользовался. Помню, что в то время я должен был связаться с дядей Флоро; у дяди Флоро была телега, он развозил по окрестным селам гончарную посуду и был вне всяких подозрений. Один раз я дождался его у монастыря, сказал ему, что надо поехать на паровую мельницу, туда явится человек, скажет ему пароль, передаст то, что нужно, а ночью дядя Флоро оставит свертки под мостом. Речь шла об оружии. Я должен был взять оружие из-под моста и через два дня доставить в отряд, на Зеленую Голову.

Поздно вечером я отправился к мосту, пробираясь среди подсолнухов. Головки их были уже срезаны, торчали одни стебли. Я шел полем, держась недалеко от дороги, чтобы наблюдать за движением и в то же время оставаться незамеченным. В сущности, движение было не бог весть какое, со стороны городка проехало двое велосипедистов да одна пролетка. Дул ветерок, и вот он стал порывами доносить до меня тарахтенье телеги и бренчанье звончаток. Я знал этот звук — это была телега дяди Флоро. Шел я по полю не спеша, не выпуская дороги из виду, и вот далеко впереди послышался плеск невидимой пока реки. Тарахтенье телеги замерло, я подумал, что дядя Флоро уже на мосту, вероятно, сейчас оставляет свертки. Всматриваюсь в темноту, где-то на краю поля будто мелькнул красный огонек, мелькнул и погас. Светлячок — нет, не светлячок, так поздно они в поле не попадаются. Сигарета — тоже едва ли, кто же может сейчас курить в поле!

Я остановился, присел на корточки и стал вслушиваться. Ни звука, только река монотонно плещет в темноте. И огонек больше не появляется. Верно, почудилось мне, думаю, и я снова встал, чтоб идти дальше к мосту. Решил только не с шоссе подходить, а пробраться через прибрежные вербы и ракиты. Тогда я смогу наблюдать и за шоссе, и за мостом, а меня видно не будет. С шоссе лучше поосторожней, всякий народ может там оказаться. Обдумываю я все это и забираю по полю подальше от дороги. Но не сделал я и десяти шагов, как услышал, что телега снова затарахтела, кто-то крикнул: «Нно!» — тотчас несколько голосов заорали: «Стой!» — и затрещали выстрелы. Лошади заржали, я кинулся через подсолнухи прямо к дороге, но споткнулся и упал. И хорошо, что упал, а то бы выскочил прямо на шоссе. Упал, и словно какой-то голос мне шепнул: «Лежи и не двигайся!»

Так я и остался лежать на краю поля.

Передо мной белело шоссе. Телега с бешеной скоростью несется по шоссе, сзади топочут сапоги, дядя Флоро сначала, вижу, стоит в телеге во весь рост, те сзади кричат и стреляют, дядя Флоро выпускает поводья и падает как подкошенный. Лошади не остановились, мчались все так же бешено, телега пронеслась совсем близко от меня, обдала меня гулом звончаток, грохотом железных шин по настилу шоссе, а когда она проехала, я услышал, как она свистит на разные голоса. Ветер задувал в кувшины, и они отчаянно завывали в телеге. Что-то сжало мне горло, перед глазами все поплыло. Я беззвучно поплакал в холодном поле над судьбой дяди Флоро, меня терзало бессилие и злость, эта пуля была предназначена мне, и засада на мосту тоже поджидала меня.

Солдаты на мосту зажгли электрические фонарики, огоньки задвигались, одни наверху, у перил, другие спустились по откосу под

мост, я слышал далекие голоса, но не мог разобрать, что они говорят. Я быстро пополз по полю назад, продолжая наблюдать за мостом. Электрические огоньки сверкали в темноте, как волчьи глаза, мне следовало держаться подальше от них. Какое-то время я полз, потом встал и сделал большой крюк, чтоб отойти подальше и от моста, и от шоссе. Подсолнухи кончились, я свернул в заросли ракитника у реки и шел так довольно долго, пока впереди не показались кукурузные поля. Кукурузные листья кое-где были срезаны и собраны в копны, кое-где еще нет, но початки всюду были уже убраны.

Я пошел напрямик, по полю с неубранными кукурузными стеблями, местность я примерно знал, решил добраться до леса, отсидеться там до утра, а наутро, пораньше, идти к Зеленой Голове. Лес был старый, густой, я не стал забираться вглубь, а нашел впадинку, плотно прикрытую ветвями, и притаился в ней. Я был в одном пиджачке, похолодало, но о костре нечего было и думать. Я лежал в затишке, пытался заснуть, но стоило мне закрыть глаза, как передо мной вырастал мост, телега, дядя Флоро падает, те стреляют сзади, а кувшины завывают страшными голосами. Я, пятясь, отползаю между подсолнухами, потом пробираюсь среди ракит, электрические фонарики позади гаснут один за другим. Открываю глаза, смотрю на темный лес надо мной, в ветках темных деревьев сидят галки, бормочут во сне что-то, понятное им одним. Веки у меня постепенно становятся как деревянные, и глаза больше не закрываются.

Не помню, когда, может уже перед рассветом, слышу, что-то двигается по лесу, прямо на меня. Оказался заяц, он пробежал совсем близко, я мог бы дотронуться до него рукой, но он меня не заметил. Чуть только заяц скрылся в темном лесу, с той же стороны снова послышался шум, на этот раз более сильный. Я затаил дыхание. Из темноты показалась лиса, она гибко скользила по заячьему следу. Лиса была так увлечена преследованием, что тоже меня не заметила. Темнота поглотила и ее, стало тихо, я снова попытался закрыть глаза. В горле у меня пересохло, если б было хоть немножко воды — смочить губы, сделать глоток, может, эта горечь во рту прошла бы. Во рту у меня загорчило, еще когда я увидел телегу, и, сколько я ни сглатывал слюну, горечь оставалась.

Мышиный писк заставил меня вздрогнуть. Он был такой громкий, что я приподнялся и схватился за винтовку. Откуда же здесь мыши? Да это заяц! Он запищал как мышь, видно, лиса догнала его. Галки надо мной зашевелились, стали шумно переговариваться, зашуршали перьями, но не улетели. Они болтали довольно долго, некоторые перепрыгивали с места на место, видно, выспались всласть. Густой туман пополз по лесу, стало холодно и сыро, но руки у меня все равно были сухие и горячие. И глаза, мне казалось, были сухие и горячие, и рот. Я понял, что меня лихорадит. Я встал и потоптался на месте, чтобы согреться, галки посоветовались между собой и решили подняться с деревьев. Они заполнили пространство над моей головой шелестом перьев и криками и улетели в туман. Тьма постепенно редела, где-то далеко шел поезд, и в тумане отчетливо слышался стук колес и пыхтенье паровоза.

Светало. Хотя лес был окутан густым туманом, он понемногу светлел — между деревьями проглядывало утро. Теперь я уже видел, как у меня дрожат руки. Во рту пересохло, так что трудно было глотать, в ногах — слабость. И все же надо было идти, как-нибудь полегоньку доберусь до Зеленой Головы. Удерживал меня только скрип упряжи. Телега приближалась к лесу, человек остановил скотинку, распряг — я не вижу его, но слышу его движения. Вот он сошел с дороги и начал резать кукурузные листья. Я слышу, как его

серп с размаху врезается в стебли, время от времени человек кашляет, потом останавливается покурить, огниво чиркает по кремню — он прикуривает с помощью трута. Я пробираюсь поближе к полю, выхожу на самую опушку, но сквозь туман не могу разглядеть ни телегу, ни скотину, ни человека. На проселочной дороге показывается вторая телега, мягко поскрипывает, хозяин остановился вдалеке, стал распрягать, говорит что-то буйволам. Потом, слышу, спрашивает: «Два Аистенка, это ты, что ль, спозаранку в кукурузе шуршишь?» — а тот человек, что поближе ко мне, тоже спрашивает: «А, Лазар, это ты?» «Больно ты рано сегодня...» — отзывается тот, и начинается обычный разговор двух крестьян, которые работают на соседних полосах.

Тот, что приехал позже, нарезал немного стеблей для буйволов, буйволы начали жевать, упряжь равномерно позвякивает. Крестьянин вошел в кукурузу, и серп его проворно завжикал. Оба режут, перекликаются иногда, и это мне только на руку, потому что я понимаю, кто из них где находится. Я осторожно подбираюсь к телеге первого крестьянина со странным прозвищем Два Аистенка, из тумана выступают боковины, колеса, два буйвола оборачиваются и фыркают сердито. Смотрю — в телеге ни воды, ни торбы с едой, ничего нет, один топор зацеплен за боковину. Телега и боковины разбитые, дышло в нескольких местах стянуто проволокой — видать, хозяин еле концы с концами сводит. Буйволы, взъерошенные от сырости, сердито фыркают и смотрят на меня недружелюбно красными глазами. Я отступаю назад в кукурузу, потом по опушке, по опушке подбираюсь к другой телеге.

Другая телега тоже вроде первой, только на буйволов накинута грязная попонка из козьей шерсти. Эти буйволы, как увидели меня, тоже зафыркали. На боковину брошена бурка в белую и сивую полоску. Оттого ли, что я бурку увидел, или еще отчего, но мне стало еще холодней, даже подбородок задрожал. У заднего колеса стоит кувшин, с боковины свисает торба. Во рту у меня совсем пересохло. Надо было сделать еще несколько шагов, и я мог бы напиться, но я не двигался — боялся, что ветер разгонит туман, все откроется и я вдруг окажусь на виду у обоих мужичков. В поле в это время полно народу, крестьяне режут кукурузные листья, перекапывают огороды, кое-где пашут, и, если эти поднимут крик, вода из кувшина мне дорого обойдется.

Мысль о том, что меня вдруг могут увидеть, погнала меня обратно в лес, и я сел там на пенек.

Сижу я на пне и как бы и не сижу, потому что меня так трясет, что я аж подскакиваю, а в глазах бурка и кувшин стоят. Мужички мои переговариваются, вернее, говорит больше один, а тот, чья бурка, только отвечает ему время от времени. Но о чем они говорят, до меня почти и не доходит. Не помню, сколько прошло времени, туман все держится, такой же густой и неподвижный. Слышу, что тот крестьянин, который с буркой, предлагает другому позавтракать. Тот завтракать не хочет, чиркнул огнивом, закурил и пошел резать дальше. Тот, чья бурка, резать перестал и направился к телеге, кукуруза шуршит за его спиной.

Я встал с пня и тоже пошел к телеге, но медленно и бесшумно. Буйволы первые меня учуяли — они, видно, как собаки,— зафыркали снова, и, когда я сделал еще несколько шагов, они повернули ко мне головы и уставились на меня.

Крестьянин сидел на дышле, в ногах у него стоял кувшин, рядом была разостлана торба с едой. Человечек был тщедушный, фуфайка на локтях продрана, шапчонка блином, и показался он мне вдруг похожим на дядю Флоро, так что я в первую минуту даже вздрогнул от

этого сходства. Он отпил воды из кувшина, перекрестился и отломил хлеба. Жевал он медленно, без охоты. Кусок, видно, не шел в горло, и он снова поднял кувшин, но не отпил, а замер, сидя на дышле.

Он увидел меня и открыл рот, меня резанула мысль, что сейчас он закричит, вскочит и кинется в туман. Я прижал палец к губам: молчи, мол, он закивал головой — будет молчать то есть,— попытался встать с дышла, но ноги не держали его, и он снова сел. И меня ноги не держат, едва стою, но сжимаю зубы и стараюсь поменьше дрожать. Прошу мужичка дать мне хлеба и воды, прошу его молчать, он только головой кивает, а в это время другой крестьянин окликает его со своей полоски. Мой, заикаясь, объясняет тому, что у него кончился табак и что он сейчас придет к тому за табаком. Он встает, делает мне знаки руками, чтоб я не беспокоился или что-то в этом роде, и исчезает в тумане.

Я взял хлеб и кувшин, обошел телегу с другой стороны, снял с боковины бурку и накинул ее на себя, но теплей мне не стало. Бурка была новая, из хорошего материала и сшита хорошо, но давила мне на плечи, как чугунная. Я стал за телегу так, чтобы справиться с теми двумя, если они попытаются на меня напасть или устроить мне ловушку. Стою, прислушиваюсь, кукуруза глухо шелестит, буйволы смотрят на меня с неприязнью. Если мой мужичок не вернется, я через несколько минут скроюсь в лесу. Несмотря на туман, опасно торчать около его телеги, того и гляди, появится кто-нибудь третий.

Только я это подумал, как слышу за собой шаги. Оборачиваюсь — это мой крестьянин идет, рот приоткрыт, смотрит на меня выпучив глаза, еще больше перепуган, чем раньше. Перепугался, видно, из-за бурки. Я наклонил ствол винтовки вниз, повел плечами, чтоб бурка лучше держалась, прошу снова мужичка, чтоб он молчал, а он делает мне руками непонятные знаки, сам весь какой-то прибитый, беспомощный, будто его ранили и он вот-вот упадет. Я почувствовал себя, точно накануне, когда увидел, как дядя Флоро падает в телеге, сжал зубы и, едва переставляя ноги, повернул в лес.

Лес шумит вокруг меня, в лесу мне стало как-то спокойнее. Идти дальше пока нельзя, надо подождать у опушки, посмотреть, останутся ли крестьяне в поле или тут же кинутся в деревню. Закутался я в бурку, сел у куста шиповника, долго пил из кувшина, может половину выпил. Вода была горькая, хуже хины. И одно яйцо съел, вкуса его не помню, помню, что было оно твердое и застревало в горле, так что пришлось его тоже запивать той горькой водой. Посидел я около куста шиповника, слышу в тумане голоса обоих крестьян и, как серпами работают, слышу. Не мой, а другой крестьянин предлагает пойти в лес, нарубить жердей. Мой отвечает ему, что в тумане далеко слышно, в деревне могут их услыхать. А тот говорит, что слышать-то слышно, зато не видно, а раз не видно, кто ж тебя поймает. Он перестал резать кукурузу, слышу, идет по полю, кашляет, входит в лес и движется прямо на меня. Остановился, поплевал на руки и стал рубить топором одно деревце. Ух, ух — ухает топор. Дерево тоже постанывает, потом взревело: аааа — и упало со свистом. Убийца прокашлялся, и я услышал, как он снова поплевывает на ладони.

Я поставил кувшин у куста шиповника, поднялся и пошел лесом все дальше и дальше от опушки. Позади я слышал стук топора и шум падающих деревьев. «Подальше от всякого человеческого шума, подальше от всякого жилья,— подумал я,— беги подальше от всех дорог и мостов!» Сойка закружилась в воздухе над моей головой с предательским криком. Она полетела вперед, исчезла в тумане, не переставая кричать, потом вернулась, повертелась вокруг меня и снова

улетела вперед. «Ладно, окаянная, такого еще не бывало, чтоб птица предала человека! Лети и выдай меня кому надо! Лети, лети...»

Сойка, однако же, меня не выдала, покричала, покричала в лесу и умолкла, а я продолжал пробираться сквозь густой белый туман, и лихорадка не отпускала меня, и ноги подгибались. Во рту держалась горечь, и в душе держалась горечь. С этой горечью я пробирался все вперед и вперед к Зеленой Голове, но вместо того, чтобы выйти к Зеленой Голове, снова оказался у моста, где убили из засады дядю Флоро. Я был очень болен, видел все, как во сне, снова повернул назад в туман, брел через ракитник, кукурузу и убранные конопляники, мимо раскисших пугал, потом, помню, прошел через виноградник, виноград был убран, но на концах лоз оставались незрелые виноградины, я освежил рот виноградом и побрел дальше в туман. Другие мелочи я забыл, два раза, кажется, я переходил реку, вода была очень холодная, но приходилось идти вброд: не мог же я искать мост, от мостов я бегал как от чумы. До Зеленой Головы я добрался только через два дня.

Во второй раз ступил я на мост, только когда мы спустились с Зеленой Головы. Это был тот самый мост, где погиб дядя Флоро. На мосту наш отряд остановился, все опустились на колени, и несколько человек дали залп из винтовок — раз, второй, третий. И во многих еще местах останавливались мы по дороге, во многих местах опускались на колени и во многих местах давали залп из винтовок.

Пороховой букварь

Начали власти устраивать в разных местах засады, охранять дороги, а по деревне каждую ночь кружил патруль из доверенных людей. Лежу ночью, соломенный тюфяк шуршит подо мной — раньше я вообще его не слышал, но с некоторых пор он шуршит все громче и громче; то ли он неудобный сделался, то ли я стал ночами слишком много ворочаться, не знаю. Во всяком случае, очень стал шуршать мой соломенник. Так вот, лежу я ночью и время от времени слышу, как деревенский патруль окликает: «Кто идет?» — щелкает затворами карабинов или вдруг гаркнет что есть мочи: «Стой!» Патрулю редко попадается среди ночи человек, каждый старается засветло добраться до дома и в темноте уж носа не высовывать. Но деревня есть деревня, то собака где пробежит, то чья-нибудь корова отвяжется и пойдет бродить по улицам, а патруль, как услышит шаги, тут же спрашивает в темноте, кто идет, и заряжает оружие, потому что такая патрулю дана инструкция.

Однажды ночью на дороге к деревне появилась телега, лошади несут во весь опор, патруль залег у дороги и орет телеге: «Стой!» Телега, однако, не останавливается, лошади несутся в темноте, и тогда патруль, согласно инструкции, стреляет. Одна лошадь, перевернувшись, падает, телега останавливается, другая лошадь, порвав постромки, с ржанием начинает бегать вокруг телеги. Патруль кричит: «Кто идет?» — но на дорогу выйти не смеет. С телеги никто не отзывается.

Тогда патруль стал звать меня, благо мой дом ближе всех: «Велико! Эй, Велико!» Я вскочил со своего соломенника, вышел из дому как был, в исподнем, и спрашиваю, что случилось. «Вынеси фонарь!» — кричит мне патруль.

Надел я на босу ногу галоши, накинул пиджак, зажег фонарь — у меня хороший керосиновый фонарь пятый номер — и вышел на до-

рогу. Патруль лежит в кювете, на дорогу вылезти не смеет, а мне велит посветить фонарем, посмотреть — вдруг в телеге кто притаился и сейчас стрелять начнет. Гляжу — одна лошадь лежит в дорожной пыли, голову поднять не может, и, когда выдыхает, пыль перед ней вздымается. Другая лошадь стоит у задка телеги и смотрит прямо на меня. «Эй, кто там есть в телеге, отзовись!» — кричит патруль из кювета, но вылезти не смеет. Слышу, кто-то в темноте говорит: «Берегись, как бы гранату в нас не кинули!» Я стою с фонарем и думаю, что если в телеге есть люди и они решат бросить гранату, так они ее прежде всего в меня бросят, потому как я ближе всех стою и свет фонаря на меня падает. «А ну, Велико,— кричит мне патруль,— посмотри, есть там кто в телеге!»

Я подхожу с фонарем, но не больно спешу — кто его знает, что в телеге за человек. Боковины стали отсвечивать, на них всякий народ намалеван, а когда я подошел еще ближе, с той стороны, где лошадь упала, то увидел, что на боковине нарисовано, как отряд Ботева сходит на козлодуйский берег, и знамя тоже нарисовано, и лев на задних лапах. «Да это Флоро-гончара телега!» — кричу я патрулю. «Ну да!» — удивился патруль и вылез из кювета. «Флоро, эй, Флоро! — кричу я.— Если ты здесь, отзовись!..» Никто, однако, не отозвался. Лошадь, что стояла сзади, заржала и посмотрела прямо на меня. «Флоро, это ты?» — спрашивает патруль и тоже подходит к телеге, только с другой стороны. Я сделал еще шаг, и, когда поднял фонарь и посветил в телегу, волосы у меня встали дыбом.

В телеге лежал убитый Флоро, на спине лежал, а все его кувшины под ним — разбитые. Повсюду кровь, глаза Флоро глядят в темное небо. «Ваша работа?» — спрашиваю я патруль и ставлю фонарь рядом с Флоро, чтобы закрыть ему глаза, потому что мертвые глаза не должны смотреть, да и нам негоже смотреть в мертвые глаза. «Как это наша? — оправдываются патрульные.— Мы, значит, кричим: «Кто идет? Стой!» — а он не останавливается, несется на телеге, и мы, значит, как по инструкции, стреляем, потому откуда ж нам знать, что это Флоро. Лошадь упала, а Флоро молчит...» Я пытаюсь закрыть ему глаза, но глаза не закрываются, и лицо у Флоро холодное, как железо. Кровь на теле засохла, спеклась, видно, не сейчас его убили. Кто-то из патруля догадывается: «А может, его раньше застрелили и он в деревню уже убитый въехал?»

Я покрываю Флоро рядном из телеги и снова беру в руки фонарь. Упавшая лошадь тяжело дышит и все смотрит на меня одним глазом. Другая лошадь заржала тихонько, словно человек вскрикнул. Вокруг пахнет смертью. Патруль переминается с ноги на ногу, кто-то говорит: «Эту лошадь нельзя так оставлять. Когда у лошади кость сломана, ее надо добить, молотком по лбу, а то животное зря только мучается». «Верно,— соглашаются другие.— А ну, Велико, иди покличь кузнеца, а мы здесь будем на посту стоять!»

Я иду с фонарем звать кузнеца, дом его неподалеку. Кузнец у нас — цыган, двора у него нет, домишко стоит прямо на поляне. Посреди поляны лежат три гуся; когда я пошел к дому, они поднялись и загоготали, а гусак подлетел и давай шипеть — меня пугать. «Тико, эй, Тико!» — зову я, а гусак идет за мной по пятам и шипит. В сенях зашевелились люди, Тико спросил: «Что там такое?» — я подошел с фонарем поближе и объяснил ему, в чем дело и что он должен взять большой молот и пойти со мной, потому что одна из Флоровых лошадей сломала себе кость. Вся семья цыганская разлеглась в сенях — погода еще теплая, под одеялами возятся дети, женщины. Одна старая цыганка, услышав имя Флоро, села на полу. «Хороший человек Флоро! Мимо едет, миску мне даст, горшок даст, ничего за

них не просит. Шибко хороший человек Флоро! Ступай, Тико, добей его лошадь, услужи человеку, он нам тоже услуживал!..» «Сейчас,— говорит Тико,— только оденусь». Он одевается, вернее, обувает рваные постолы, потому что спит он одетый, в чем ходит. Цыганка набивает трубку, разжигает ее. «Смотри, Велико,— жалуется цыганка,— что с нами власти сделали. Всех как есть остригли!»

Она острижена ножницами наголо, Тико тоже острижен. Власти остригли всех цыган и намазали им головы керосином, чтобы уничтожить вшей, потому что цыгане якобы разносят сыпной тиф. Тико берет большой молот и объясняет старухе: «Против властей не попрешь! Как власти скажут, так и будет! Скажут — стричь, враз обстригут, скажут — не стричь и не обстригут! Вот беда, значит, кость сломала! Когда лошадь кость сломает, ее надо молотом по голове шарахнуть. Не то намучается животная, все равно шевельнуться не может. Овца коли ногу сломает, у ей зарастет, а лошадь сломает, так уж кончено дело. Лошадь коли сломает, надо ее, значит, тут же и прикончить! Зачем животной мучиться!»

Мы выходим из дому, и всю дорогу Тико все повторяет мне — как убивают лошадей ударом молота по голове. «Раз шарахнешь, ей и довольно,— говорит Тико.— И поросенок, коли кость сломает, у него тоже не зарастает, но поросят режут. Поросенка съешь, не пропадет добро, а лошадь ведь не съешь. Только что шкура останется. А с одной шкуры ничего Флоро не сделает, на одну шкуру другую лошадь не купишь. Когда одна лошадь кость сломает, видишь, хлопот сколько: и телегу переделывать на одноконную, и оглобли ладить, и упряжь другую. На двух лошадей одна упряжь нужна, на одну лошадь совсем другая. Оглобли-то я ему сделаю, а упряжь уж и не знаю, кто ему сделает!..»

Там, где стоит телега и где лежат Флоро и лошадь, гляжу — собрался народ, растерянный и напуганный, посвечивают фонари, мелькают мундиры, блестят винтовки. Подошли солдаты, несколько полицейских, один унтер. Я слышу голос Двух Аистят: «Случись такое в Германии, не знаю, что б это было! В Германии за лошадь убьют, кого хошь убьют!» «А вот и кузнец с молотом, господин унтер!» — говорит один из патрульных. Я спрашиваю тихонько, откуда взялись солдаты, и один из патрульных объясняет мне, что на мосту была устроена засада и что там-то Флоро и убили, за то, мол, что он перевозил оружие. Потому-то, когда патруль кричал: «Кто идет?» и «Стой!» — никто из телеги и не отзывался. Услышал я это, и у меня аж рубаха к спине прилипла. Флоро, значит, был связан с партизанами, где-то вышел провал, теперь офицеры и полиция начнут вызывать людей по одному. И меня, может, вызовут, начнут расспрашивать, меня есть о чем порасспросить.

«Как, и Флоро убили?! — спрашивает кузнец.— Ой-ей-ей-ей! Моя-то башка понял, что одна лошадь кость сломала! Ой-ей-ей!» Унтер спрашивает его, чего он зря топчется, вместо того чтоб снять молот с плеча, и Тико снимает молот и протягивает его унтеру. «На тебе молот!» — говорит он. «Зачем он мне?» — спрашивает унтер. «Лошадь приканчивать!» — говорит Тико. «Как это — приканчивать? — не понимает унтер.— Ты ведь ее приканчивать будешь!» «Э-э, нет,— качает головой Тико.— Это не для меня занятия. Я знаю, что коли лошадь кость сломает, ее надо молотом по голове шарахнуть, только я такого никогда не делал. Я цыпленка и того зарезать не могу! У цыгана какие уж там цыплята, господин унтер, да ежели и случится какой, не могу его резать, жена выносит цыпленка на дорогу и ждет, пока пройдет кто и его зарежет».

«Кто здесь в этом деле понимает?» — спрашивает унтер. Кто-то говорит: «А вот Два Аистенка, он в Германии был, среди всякого народа терся, он, наверно, понимает». «Да что вы! — протестует Два Аистенка.— Кто ж тебе даст в Германии лошадь забить! Германец ее пальцем тронуть не даст. Раз, когда мы работали на шоссе, лошади никак телегу сдвинуть не могли, германцы кричат: «Но! Но!» — ухватились сами за колеса, толкают что есть мочи, а лошади — ни с места. Хотя лошади здоровые, две телеги могли б везти. Мы смотрели, смотрели, потом как саданули лошадей лопатами, они так понесли, что телега за ними по воздуху полетела. Ух как эти германцы тут на нас навалились. «Цвайциг! — вопят.— Цвайциг!» — чуть не убили нас за то, что мы ихних лошадей ударили. Кто ж тебе даст в Германии лошадь забить! Германцы, чай, это не то, что мы!»

В деревне нашей еще никогда не убивали лошадей. Мужики, что столпились с фонарями у телеги, объясняют унтеру, что слыхали про такое дело, но в деревне ни разу не случалось, чтоб лошадь кость ломала, так что и убивать ее молотом нужды не было. Но что бить надо молотом, это все слыхали.

Унтер стоит рядом с лошадью, мы с фонарями стоим чуть позади, рядом с телегой, свет выхватывает с боковин то повстанцев, то черкесов, то лев мелькнет, то знамя со словами «Свобода или смерть!» «Никакой свободы, никакой свободы, Флоро,— думаю я,— одна смерть завладела твоей телегой». Лошадь лежит и тяжело дышит в пыли, молот валяется рядом, удар по голове—и вокруг снова запахнет смертью. Я чувствую, как у меня сводит челюсти, словно они коченеют, повстанцы с боковины гневно на меня смотрят, фонари вокруг качаются и качаются...

«Дай я попробую, господин унтер,— слышу я незнакомый голос, оборачиваюсь: один из полицейских подходит к лошади.— Я одно время вроде как ковалем был, знаю, что у лошади голова слабая».

Он берет молот, примеривается к его тяжести. Два Аистенка снова вмешивается: «Самая крепкая голова у барана. И у коровы голова крепкая, но у барана крепче. Барана никогда солнечный удар не хватит, а с коровами бывает. В былые времена бараньи головы ставили на стенобитные машины».

Полицейский шумно плюет на ладони, пробует ручку молота, вскидывает его высоко над головой. Лошадь смотрит на него одним глазом. Я отворачиваюсь и слышу только мягкое «хр». Лошадь, что стоит у задка телеги, начинает ржать — еще и еще. Желудок у меня сделался твердый, как доска, к горлу подступила тошнота. Тико быстро пошел сквозь толпу мужиков, покачивая стриженой головой и приговаривая: «Ой, беда!.. Ой, беда!..» Молот волочился за ним, стукаясь о камни, подскакивая и высекая искры. В той стороне, куда шел Тико, небо уже белело, на деревню наползал редкий туман.

Люди стали расходиться по одному, солдаты и полицейские пошли к дому старосты, около телеги остался только деревенский патруль. Патруль расселся в кювете, позвали и меня выкурить по цигарке. Я пошел, сажусь с фонарем рядом с патрульными — их двое, промеж колен у них винтовки. Сидим втроем и курим, вокруг становится все светлее и светлее, винтовки меж колен у патрульных кажутся теперь серыми. По соседним дворам бабы начали выпускать кур, петухи кукарекают на заборах, где-то верещит коза, словно с нее шкуру сдирают, а туман реденький все ползет и ползет...

Солнце вот-вот выплывет, а меня стог сена ждет, не кончил я стог накануне. Вылезаю из кювета, патруль спрашивает: «Куда, Велико?» — я объясняю, что мне надо сено стоговать, поворачиваюсь и иду по дороге, а навстречу мне солнце встает, бледное, окутанное тума

ном. Из труб синий дым поднимается прямо кверху, я смотрю на этот синий дым и думаю: «Это за упокой души Флоро!..» Кто-то спрашивает меня: «Велико, ты куда средь бела дня с зажженным фонарем?» Забыл я, значит, погасить фонарь. Я отодвигаю стекло и задуваю пламя. Кончилась ночь, кончилась тьма, не свистят больше пули, не тарахтят телеги, не разносится конское ржание. Кончилась ночь, но лень не может стереть в памяти ни телегу, ни Флоро, ни лошадь. Оставшаяся в живых лошадь ржет одиноко, но никто не отзывается на ее голос. Я толкаю калитку, она совсем разваливается, еле отворилась, пропуская меня во двор. «Как в поле работа кончится, надо будет калитку починить или новую сколотить».

Гляжу, а у меня во дворе все разваливается, через забор скотина всюду лазы проделала, солома на сарае сгнила, на крыше подсолнухи цветут. Старую солому тоже надо будет снять, свежей соломой сарай перекрыть. Но это все после, а пока надо стог закончить, не то дождь пойдет, и пропал корм для скотины. Достаю я из сарая железные вилы и залезаю на стог.

Отсюда я вижу деревню, как с наблюдательной вышки: телегу на дороге, патруль, соседские дома и сараи, соломенные крыши у них тоже сгнили, где рожь проросла на крыше, где подсолнух; дальше вижу дом кузнеца, большое колесо крутится, верно, кто-то пришел к цыгану что-то поточить. Три гуся важно бредут по поляне, переговариваясь друг с другом. Дальше тянутся другие домишки, другие сараи, вся деревня как на ладони — лежит, притихнув, в неглубокой ложбине. Людей на улицах не видно, только клочья тумана тянутся, тут задержатся, там помедлят, заползут в чей-нибудь двор, овцы и куры исчезнут в тумане. Здесь дом в тумане утонет, там дерево, на какое-то время и Флорова телега исчезла, слышу только лошадиное ржание и голоса патруля. С трех сторон нашу деревню окружают холмы, поросшие жесткой травой и кое-где — терновником. От моего двора вверх тоже начинается холм, и в конце его темнеет Керкезский лес. Заросшие тропки, переплетаясь, уходят вверх по холму, эти тропки я знаю больше ночью, чем днем, потому что только по ночам хожу по ним иногда на явку, иногда продукты отношу, так же как и Флоро по ночам оружие перевозил. Какой-то ночью и меня из засады выследят?

Иван Татаров выкатил во двор бочку, начал набивать обручи, и я перестал думать о засаде. Бочка грохочет почище пушки. «Все село своей бочкой оглушишь!» — говорю я Ивану Татарову, а он набивает обручи и в промежутках мне рассказывает, что он собрался на Пестрину скумпии набрать, бочки уж пора запаривать. Жена моя выходит во двор, тоже берет вилы и начинает мне снизу сено подавать. Я железными вилами принимаю сено, держусь одной рукой за стожар и хорошенько сено ногами приминаю, чтоб воду не пропускало. Занимаюсь я этим делом, а одним глазом все посматриваю, не замечается ли в деревне какое движение, не грозит ли какая неожиданность. Пока деревня живет спокойно, колесо у цыгана крутится равномерно, Иван Татаров наколачивает обручи на свои бочки, патруль сидит в кювете и курит. Сено у меня под ногами похрустывает, так же как хрустнула лошадиная голова, когда на нее опустился молот: хр, хр. И вроде бы под ногами у меня сено, вроде должно бы оно быть душистым, всякими травами пахнуть, а как вдохну — чую запах смерти. Кручусь вокруг стожара, приминаю сено, а сам не спускаю с деревни глаз. Туман уползает, рассеивается, воздух становится все прозрачней.

И тогда я вижу, что солдаты и полицейские выводят людей по одному из домов и гонят их к управе. Верно, про Флоро расспрашивать будут. В висках у меня застучало, да и Иван Татаров заколотил

тут сильнее по своей бочке. Дан-н-н — гремит бочка. «Пусть гремит,— думаю,— это вместо звона погребального по Флоро». А те со двора во двор переходят и сгоняют людей. Потом гляжу — вокруг деревни солдат расставляют: у обоих мостов поставили и у брода через речку, где скотину обычно перегоняют. И с другой стороны деревни тоже и дороги перекрыли и тропки, какие пошире,— все, что из деревни выводят. Вроде мешка получилось, только со стороны моего дома мешок еще не завязан.

«Снова драпать придется, Велико!» — думаю я и спешу закончить стог. К драпанью я привычный. Раз полицейский меня вел, так тогда меня буйволица спасла. В нашей деревне была одна бодливая буйволица — как увидит кого, сразу пыхтит: пфу, а иногда и боднуть норовит. Так вот полицейский ведет меня по улице, навстречу буйволица и еще издали как запыхтит: пфу. «Ну-ну!» — грозит ей полицейский, но буйволица смотрит на него красными глазами и предупреждает: пфу! И вдруг как рванула — прямо на полицейского, на меня даже и не глянула: верно, не видала раньше мундиров, и чем-то этот мундир ей не понравился. «Стой!» — заревел полицейский и выстрелил, но буйволице хоть бы что — прямо на него несется. Я во мгновение ока перемахнул через ближний забор и поминай как звали. Потом уж вспоминал: «Смотри-ка, простая буйволица, валяется как свинья в лужах, в шкуре блох полно, а тоже вот мундира не переносит!..» Другой раз вел меня полицейский, а из-под ног у нас заяц выскочил. На винограднике это было. «Держи его, удерет, сукин сын!» — заорал полицейский. Я как дунул через виноградник, за мной листья летят сорванные, усики виноградные, и кричу во всю глотку: «Стой, держи, удерет, сукин сын!» Потом слышу — полицейский что-то мне вслед кричит, но я уже скатывался в овраг, и перед глазами у меня замаячил лес. Полицейский спохватился, что заяц в одну сторону бежит, а я — в другую, да поздно. Вот и теперь, если придут за мной, буду опять удирать по холму, хотя холм чересчур голый и длинный, чтобы по нему бегством спасаться.

Думаю я так и вижу: идет по дороге синий мундир, но во двор к Ивану Татарову не сворачивает, а шагает прямо ко мне. Полицейский пнул ногой калитку, калитка сорвалась с петель и упала во двор. «Ты что калитку не починишь? — спрашивает полицейский.— Все политикой занимаетесь, калитку некогда починить, так и живете нараспашку, ровно цыгане!»

Иван Татаров тюкнул еще раз по бочке и обернулся посмотреть, что делается в моем дворе.

«Бедность одолела, господин унтер,— говорю я полицейскому.— Пока одно починишь, другое рушится!» «Я тебе покажу бедность! — говорит полицейский.— Давай слезай со стога. Ты арестован!»

«Боже-е!» — заревела жена, бросила вилы и кинулась в дом. Иван Татаров стоит у своей бочки, щурится из-под кепки и ждет, как будут развиваться события.

Помню, я сказал: «Хорошо, господин унтер!» Я всегда полицейских унтерами называю, привычка такая. Жена зашла в дом, вышла и снова зашла, все повторяя свое: «Боже-е-е! Боже!» Иван Татаров стукнул раз молотком по бочке, но наугад, не глядя, глядел-то он на полицейского. По ту сторону двора патруль все так же сидел в кювете, мертвая лошадь лежала в пыли, а другая лошадь замолчала и стояла рядом с телегой, повесив голову. Со стога мне не видно Флоро, видно только рядно, которым я прикрыл ему глаза.

«Если это насчет Флоро, господин унтер,— говорю я полицейскому,— так я ничего не знаю. Сколько патруль знает, столько и я. Зря только от дела отрываете, а у меня вот стог неконченный. Мы все лето

надрывались, чтоб один стог сложить, а тут вон какие события, один стог кончить не дают».

«Это вам-то кончить не дают! — кричит полицейский снизу.— Мелешь языком, как баба! Где нужно, там и поговоришь, а мне это все без интереса». «Хорошо,— говорю,— раз я арестованный, так я слезу»,— но слезать не спешу, а держусь себе за стожар. Держусь и смотрю, куда мне лучше дерануть, в какую сторону. Пожалуй, лучше всего через двор Ивана Татарова, потому что с другой стороны сидит патруль. В патруле доверенные люди, тут же стрелять начнут. Думаю я про это, поворачиваюсь наверху на стоге, посматриваю на полицейского, а какой-то внутренний голос мне подсказывает: «Берегись, Велико, времена теперь не прежние, полиция озлилась! Волчьи теперь времена, берегись, Велико!..»

Появиться бы сейчас откуда-нибудь той буйволице и запыхтеть бы: пфу, пфу, да и кинуться на полицейского! Но нету той буйволицы. И заяц не выскакивает — не за кем мне броситься с криком: «Держи его, удерет, сукин сын, перекрывай оттуда, господин унтер, я его сейчас на тебя погоню!» Нету ни буйволицы, ни зайца, повсюду расставлены часовые, все перекрыто, а рядом с Флоровой телегой сидит патруль. Полицейский стоит перед стогом, с винтовкой на плече, а я стою на стоге, как солнце на небе — никуда ему не свернуть, никуда не спрятаться, все голо вокруг.

По ночам, когда подо мной шуршал соломенник и я подолгу на нем ворочался, я не раз думал, что если за мной придут, это случится ночью. Начнут колотить в дверь прикладами, я буду делать вид, что никак не могу проснуться, а потом пойду открывать и все буду ронять в темноте какие-то предметы и оправдываться: «Сейчас, сейчас, сами знаете, деревенские мы, все по дому разбросано, подождите, дайте свет зажгу, ах, чтоб его!..» И, бормоча эти бессмысленные слова, я уже сжимаю в руке топор и широко распахиваю дверь. Первым встретит их топор, первого человека я свалю топором, другие отпрянут, и пока суд да дело — я растворюсь в темноте. Вот что я представлял себе ночами, слушая, как деревенский патруль кричит: «Кто идет?» — и щелкает затворами карабинов. Потому и топор у меня всегда был за дверью, на посту, чтобы никто не застал меня в доме врасплох. А получилось, что арестовывают меня среди бела дня, топор от меня далеко, за дверью, я стою на недоконченном стоге, патруль сидит в кювете, Иван Татаров постукивает шаляй-валяй по обручам своей бочки и поглядывает из-под кепки на мой двор. Сено шуршит у меня под ногами, тот голос шуршит мне в ухо: «Берегись, Велико!»

Прислушиваюсь я к этому голосу, качаю головой, говорю Ивану Татарову: «Слышь, Иван, стог не дают закончить! Ты гляди, какой народ несговорчивый!» «А что ему глядеть,— влезает в разговор полицейский.— Иван Татаров — благонадежный человек. Благонадежных мы не трогаем». «Хоть и благонадежный,— говорю я полицейскому,— а пусть глядит хорошенько!»

И я отпускаю стожар, опираюсь на вилы, чтоб не скатиться со стога, а Иван Татаров перестает стучать по бочке и смотрит, как я буду спускаться. Спустился я самым простым способом, как дети спускаются — сел и съехал вниз, но вилы из рук не выпускаю. И чувствую в себе каждый мускул и каждую жилку. Зубья вил вспыхивают и гаснут у меня перед глазами, вспыхивают и гаснут...

И как только я ощутил под ногами землю, я изо всех сил замахнулся вилами, как штыком. Они вошли полицейскому чуть ниже пояса, раздалось лишь мягкое «хрр», такое же мягкое «хрр», какое послышалось, когда молот разбивал голову лошади. Полицейский схва-

тился двумя руками за рукоять вил, словно хотел их вытащить, да не сумел, вилы засели глубоко, и он упал, согнувшись пополам. «Дуй теперь, Велико, и давай бог ноги!»

Перескочив через плетень, я налетел прямо на Ивана Татарова. Иван Татаров ни жив ни мертв стоит около своей бочки, потом застучал по ней молотком — будто обручи набивает,— но бочка у него вывернулась, опрокинулась и — двор-то покатый — с грохотом покатилась к улице. Патруль выскочил из кювета и стал ловить бочку, лошадь Флоро заржала, Иван Татаров все машет молотком в воздухе, будто обручи набивает. Сухая трава по ту сторону двора затрещала у меня под ногами, загремели выстрелы, надо мной со свистом прошла пуля. Потом стрельба усилилась, я услышал собачий лай и, добравшись до Керкезского леса, оглянулся. Во дворе у себя я увидел высокое пламя — горел стог сена. Сейчас загорится сарай, который я так и не успел покрыть свежей соломой, а за сараем — дом. Я не мог больше смотреть, пошел дальше в лес, а оттуда уж я знал тайные тропы на Зеленую Голову.

Через год мы спустились с Зеленой Головы в нашу деревню, и, пока мы еще спускались, я смотрел, как она приютилась, нетронутая, в неглубокой ложбине, и кое-где уже успели перекрыть летошней соломой крыши сараев. Только на моем дворе ничего нет — одна черная зола, развалины да бурьян. Прямиком через заросли бузины и крапивы вхожу во двор, смотрю — огонь все сровнял с землей. И среди бузины и крапивы вижу светлый зеленый круг. Молодая травка проросла в том круге, мягкая травка, мелкая, как ежиковы иголки. По этому кругу я узнал, где я оставил тогда недоконченный стог сена. Стою я в бузине и думаю: «Как эта молодая трава, так должна теперь прорасти новая жизнь, Велико, на голом пепелище прорасти!» В соседнем дворе кто-то принимается стучать молотком по бочке, я смотрю по-над бурьяном и вижу, что Иван Татаров наколачивает на бочку обручи. «Изменилось ли что на этом свете?» — спрашиваю я себя и глубоко вдыхаю запахи своего опустелого двора. Запахи не бог весть какие — пахнет пепелищем и молодой травой.

■

Из венгерской поэзии

■

С венгерского

В Венгрии имя Ласло Беньямина окружено прочным, устойчивым уважением. Оно известно каждому, и называют его одним из первых, как только заходит разговор о современной венгерской поэзии. Ласло Беньямин (родился он в 1915 году) — поэт немногоречивый, обладающий обостренным чувством ответственности за каждое слово; подобно мастеровому высокой квалификации, он с трудом расстается со своим детищем, придирчиво оглядывает еще и еще раз, перед тем как выпустить на чужие глаза, беспокоясь, хорошо ли, достойно ли будет служить людям его творение. Служение людям — отправной пункт и конечная цель его поэзии, чуждой всякому суесловию, пустой красивости, бездумному сопряжению слов. Беньямин и сам подчеркивает, что это — сознательно выбранная творческая позиция; выпуская в 1968 году книгу избранных стихотворений, отобранных им скромно и строго, поэт предпосылает ей красноречивые слова Стендаля: «Я не выношу, когда вместо слова «лошадь» пишут «гордый скакун». По-моему, это фальшиво».

Беньямин вышел из той среды — среды мастеровой, рабочей,— где слово ценят за меткость, точность и в этом умеют разглядеть его исконную красоту. Впрочем, сказать о Беньямине, одном из крупнейших современных поэтов Венгрии, что он вышел из рабочей среды, невозможно: он остался в ней всем своим существом, образом жизни и мысли. Поэтический талант, разбуженный в рабочем подростке знакомством с творчеством корифеев венгерской поэзии — Вёрёшмарти, Петефи, Ади,— не только не отторг его от товарищей по классу, но, напротив, заставил глубже задуматься о судьбе пролетариата, острее почувствовать свой сыновний долг перед ним. Беньямин — горячий последователь Аттилы Йожефа, чья трагическая смерть в 1937 году окончательно решила и его судьбу: заставила услышать изнутри идущий нравственный приказ принять на себя бремя и долю пролетарского поэта. «Ты мой отец, народ мой и отчизна — ты, низший класс!» — говорит он в 1942 году, прямо обращаясь к венгерскому пролетариату в стихотворении «Сегедский путь». Все его творчество за минувшие с тех пор три десятилетия не только подтверждает эту клятву верности, но и глубже раскрывает ее смысл.

Верно понятый сыновний долг не может, не должен сужать горизонт поэта, мешать объективному видению мира. Беньямина этот долг сделал добровольным «впередсмотрящим» корабля современности: пристальное внимание к сегодняшнему миру, тревога, боль и ответственность за людей, этот мир населяющих и созидающих, стали сутью его поэтической и человеческой индивидуальности. Весь его облик, все творчество проникнуты мужественной сдержанностью. Таков он и в радости, и в горе; как мастер, предпочитающий десять раз отмерить, прежде чем отрезать, он до тех пор молча обдумывает, осмысливает явление, пока мысль не выкристаллизуется, не обретет благородной простоты и ясности.

С юных лет естественным, как дыхание, стало для него стремление к справедливому устройству человеческого общества, миру равенства, миру социализма. Через все трудности и невзгоды проносит поэт высокий свой идеал — вероотступничество ему чуждо:

К чему моих усилий крохи?
Их захлестнет поток эпохи...
И все ж мой долг таков:
служить всем людям, всей вселенной,
чтоб лился жизни свет нетленный
в даль будущих веков.

(Перевод В. Корчагина)

В его кредо, как видим, нет бравурности, позы — вера Беньямина всегда действенна: даже в юности он знал, что хорошее и доброе не приходит само, за него

нужно вновь и вновь вступать в бой, иной раз даже переступив через собственную обиду и боль; знает он это и четверть века спустя, уже умудренный и закаленный жизненной школой:

Я отдал богу богово,
а кесарево — кесарю,
но не искал чужого
убежища, утешения.
Как трудно мне бы ни было —
чужого не искал.
Я — как вы все. Как все,
легко раним, унынию подвержен,
но, как и все, люблю
тугие гроздья звезд и злато осени.
Услышьте же меня и не считайте
пророком, чудаком или святошей.
Я спрашиваю, если надо спрашивать,
вспоминаю, если есть что вспомнить
или о чем-нибудь напомнить,
и действую, когда возможно действовать...

(Перевод Б. Слуцкого)

Настроение этого стихотворения чрезвычайно характерно для всей гражданской лирики Беньямина, вообще всей его поэзии: для высказываний о жизни общества, о сложнейших его проблемах Беньямину не нужна трибуна, в его интонации — та предельная искренность, которая возникает в доверительном разговоре с другом, когда человек не стесняется быть самим собой. В читателе это создает, естественно, ответное поле сопричастности, он и сам погружается в те же проблемы — они ведь общие и нужные всем! Вот откуда единодушная уважительность к имени Беньямина в Венгрии, вот откуда не шумная, но безусловная его популярность. Вот почему каждое его стихотворение, не часто появляющееся на страницах газет, журналов, сразу становится общеизвестным — так в шумной компании все тотчас смолкают и головы поворачиваются к тому, чьи скупые речи интересны и важны всегда.

Негромкая задушевность поэтического голоса Беньямина (напоминающая милую глуховатость его живого голоса) придает глубокую цельность и единство всему его творчеству — тревожится ли он о судьбах человечества или о «чуде из чудес» — «маленькой матери с большим животом», переходящей оживленную улицу; размышляет ли о нравственном содержании нашей эпохи или с благодарным чувством и нежностью говорит о жене; тревожится ли о своих детях или «оплакивает» с горькой иронией никчемно растраченную жизнь обывателя, в котором ведь тоже «жила душа великих и добрых исследователей бездны и освободителей мира».

Поэзию Беньямина трудно представить небольшой подборкой: его стихи, значительные и выразительные по отдельности, с особенной силой звучат во всем контексте его творчества; дополняя друг друга, они освещают жизнь лучом света, направленным умной, верной рукой. Такое более основательное знакомство с Ласло Беньямином для нашего читателя еще впереди: оно состоится с выходом в издательстве «Художественная литература» книги его избранных стихотворений. Пока же — несколько переводов из будущей книги.

Почти одновременно с Ласло Беньямином, но из иной среды, из крестьянских задунайских краев, входил в поэзию Дюла Шипош — еще один венгерский поэт, которого мы представляем читателю стихами из его последней книги. Позднее жизнь близко свела двух поэтов, сделала друзьями. Дюла Шипош родился в 1921 году, учился в коллегии имени Дёрфи, известной в предвоенной Венгрии своим прогрессивным духом, принимал участие в рабочем движении, исповедовал социалистические идеалы; после Освобождения горячо включился в огромную политическую работу, проходившую в стране, много сил и таланта отдал журналистике.

Стихи Дюлы Шипоша энергичны, внутренне мятежны: его поэтический дух пребывает в вечном споре с собственной, возрастом накопленной умудренностью. В его поэзии отчетливо слышен зов юности поэта, юности поколения, которое и двадцать и тридцать лет спустя взволнованно вскидывает головы при одном только слове «Мадрид», при первых звуках гимна Интернациональной бригады. Прошли годы, поседелись виски, но никуда не ушла из сердца поэта жгучая, радостная романтика, жажда бескорыстного подвига.

Если даже средь ночи поднимут,
я помчусь, как и прежде,
на необитаемый остров,
где сотворение мира
зависит от меня лично.

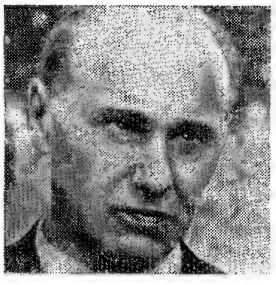
(Перевод Б. Слуцкого)

При такой настроенности, таком юношески страстном восприятии жизни понятно насколько чужда — и не просто чужда, но глубоко отвратительна — Шипошу духовная бескрылость обывателей («Если не за что умереть...»), их неистребимое равнодушие, столь опасное для людей, для всего общества («Равнодушие»). Поэт бичует мещанство

с разящим сарказмом, а порой с горечью, доходящей до уныния, он распознает это тлетворное явление во всех его обличиях и больше всего ненавидит, пожалуй, мимикрию его под сегодняшний день. Это благородная ненависть во имя светлого и прекрасного человеческого начала, но дается она дорогой ценой.

В лучших стихах Шипоша полемический накал сочетается с глубиной мысли, лаконично раскрывающей, проясняющей самую сущность будничных и по виду неприметных явлений жизни. Некоторые его стихи прозрачно афористичны («...если не за что умереть, то незачем жить»); иногда они напоминают заклинания своей напряженной, настойчивой страстностью. «Только не уступай своего»,— говорит он выстраданно, сурово в стихотворении «И тогда...», а заключает его столь же выстраданным заклинанием-признанием: «Только не оставайся один». Пожалуй, это и есть главный стержень творчества Шипоша и важнейший из него вывод.

Е. МАЛЫХИНА



ЛАСЛО БЕНЬЯМИН

Там со мною ты, конечно, будешь

...Стих ответит «Есть!» на перекличке,
если я отправлюсь в мир иной,
где со мною ты, конечно, будешь,
как при жизни ты была со мной.
Как любовь с поэзией едины,
как любви поэзия равна,
вместе зажигаются и гаснут
наши имена.

Чудеса

Под неоновым светом Кёрута
в лаве вечернего города
беременная женщина,
локтями себя охраняя,

медленно переступает
между такси и трамваем,
тащит перед собой свой живот,
где пассажир капризный живет.

Я с улыбкой смотрю на это
и вспоминаю радары, ракеты,

блистательные открытия
чудеснейшего столетия,
неудержимых машин миллионы
и ледяные светы неона.
Но я загляделся при всем при том
на маленькую мать с большим животом.

Ведомо все ей — и счастье зачатья,
и сердечной близости счастье.
В мире не будет чуда прекрасного
более
чрева ее плодоносного.

Надгробное слово

Умер простак. Словно не жил на свете.
Еще одного потребителя потеряли рекламодатели.
Еще одного почитателя — великие деятели.
Еще один баритон — болельщики команды-лидера.

Вчерашний день раздавил его своими колесами
и оставил лежать на дороге вместе с другими.
В смерти его никто не повинен.
По этой причине милиция прекратила следствие.

За ненасытным столом восседает его наследник.
Место заполнено, и все же чего-то недостает.
На стенах, закопченных
от ничегонеделанья и табачного дыма,
могла бы висеть одна из четырех табличек:

«Здесь святой Франциск разговаривал с птицами».
«Здесь Данте увидел Беатриче».
«Отсюда отплыл Христофор Колумб».
«Здесь Линкольн призывал к освобождению рабов».

Чего не было, того не было, но в других отношениях
он жил примерно и с чувством собственного достоинства.
В приложение к аттестату зрелости
получил сорокалетний абонемент в заводскую столовку
и точный расчет грядущих пенсий.

Не чураясь общественных дел,
вместе с сорока семью миллионами
подписал протест,
а 28 сентября 1962 года
выступил на профсобрании по вопросу о взносах.

Я подавлен и опечален, словно это надгробное слово
произношу над самим собой,
ибо мы были братьями в том великом братстве,
что крепче кровного, хотя и не подтверждено

ни группой крови,
ни книгами записи актов гражданского состояния.

Да, он был моим братом, хотя отрицал это
и, сказать по правде,
ему всегда было плевать на меня.
Однажды я попросил его выступить свидетелем —
это должно было решить тяжбу,
но он потребовал оставить его в покое.

— Выкручивайся самолично,— так он сказал,—
мою же душу, мою правду и тем более мою свободу
не трепли своим дурацким языком.
Я-то,— он сказал,— всегда кумекал,
что против рожна не попрешь.

Он смотрел на меня презрительно, как и я на него.
Именно так военные презирают штафирок.
Титул простака он получает только потому,
что я над ним,
а не он надо мной
произносит надгробное слово.

И все же я от всего сердца провозглашаю:
и в нем жила душа великих и добрых
исследователей бездны и освободителей мира —
жила тайно, пожизненно осужденная на то,
чтобы не утихомириться и не измениться.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

Что делает мальчик...

Что делает мальчик,
когда одряхлевший отец — на улице —
с ухмылкой кретина кривляется и сквернословит
под улюлюканье глупых зевак?

Он обнимает отца и ведет домой.
И стыдно ему до слез.

Что делает мальчик,
когда его старший брат, пропив последний медяк,
скулит в корчме, как собака,— под гогот пьянчуг,—
выклянчивая глоточек вина?

Он поднимает брата пинком и гонит домой.
И стыдно ему до слез.

Что делает мальчик,
когда его лучший друг, спустив на толкучке медаль,
добытую кровью в честном бою,
о подвигах мнимых плетет хвастливый рассказ?

Он другу смотрит в глаза и кричит: «Ты врешь!»
И стыдно ему до слез.

Нет у тебя ни сына, ни младшего брата, ни друга —
не смею тебя обнять и увести домой,
ни поднять пинком не могу, ни криком хлестнуть...

Мне просто стыдно — до слез.

Перевод НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

Мои поражения

Поражения! Мои безжалостные учителя,
на колени ставящие, от стола прогоняющие,
в чулан сажающие, до слез унижающие,
вновь и вновь отчитываться заставляющие,
очную ставку с моим же грехом назначающие,
совершеннолетие ускоряющие, в доктора посвящающие,
доводящие ярость до того, что становится все равно,
а горечь до того, что становится все смешно,
от страха провала освобождающие —

враги спеси, всякое зазнайство упразднившие,
цену успехам прошлым и будущим сбившие,
защитники страдальцев, терпение породившие,—

молекулы моего воздуха, моего солнца лучи,
травы моего сада, камни моей улицы, дома моего кирпичи,

вы однажды уже довели меня до победы,
и теперь ни злорадство, ни зависть
не каркнут за моей спиной
и не смогут, торжественно глядя в глаза мне,
произнести свой приговор: горе победителю!

Политические поэты

Император и папа, былины
стародавнего времени, громы
гвельфа или судьба гибеллина,
кровь, столбец запятнавшая длинный
ложных истин,— я все отодвину.
Он, лишь он, флорентиец суровый!

Знал ли он, когда собирался
для рискованного приключенья
в ад спуститься, что все увлеченья
смертны, как и он сам, и так далее?
Таково было повеленье
и Флоренции, и всей Италии.

Надо было, на души взирая,
сквозь долины пройти лихолетий,
чтобы, руку затем простирая
через все пятнадцать столетий,
сжать Вергилия мощную руку —
гения, покровителя, друга.

Ад, чистилище, рай и вселенская
непотребная шлюха Флоренция!
Он любил ее верно и преданно,
проклиная ее или веря в нее,
и прошел, пренебрегши запретами,
между стонами, воплями, бредами.

Проклинать, но и верить — нежно,
в то же время и беспощадно.
Так любить Флоренцию нужно:
проклинать прегрешения сущие
с беззаветною верой в грядущее
и бороться, сражаться успешно,

чтоб не ведала нового ада
наша горестная планета,
чтоб ее Прометеям не надо
было прятать последние угли
в подземелье, дабы не потухли,
если в небе погаснут зарницы
и Флоренция не сохранится.

И лишь потом...

Сначала в сумерки вгляжусь я серые.
Сначала тихо выйду из пещеры я.
Сначала зверя загоню в загоны.
Сначала возведу кругом заборы.

Сначала поле выкорчую в чаще.
Сначала город обегу кричащий.
Сначала все трамваи обожду.
Сначала все чащобы обойду.

Сначала все анкеты я заполню.
Сначала все, что должен я, запомню.
Сначала печи все я вытоплю.
Сначала гнев до капли выплесну.

Сначала есть я дам тебе, голодный.
Сначала кран я починю водопроводный.
Сначала мир спасу своей заботою.
Сначала на семью я заработаю.

Сначала в шкаф поставлю всю посуду.
Сначала вынесу ее оттуда.
Сначала тайны разрешу творенья.
И лишь потом сложу стихотворенье.

Сильнее памяти

Все чаще думаю о своих старых учителях —
о смолкших мужах, что высятся над моей юностью,
как столетние деревья — устало и с достоинством.
Они не герои, не мученики, не вожди,
а простые души в униформе бедности,
знатоки своих ремесел и природы вещей,
работавшие до смерти, умиравшие незаметно.
Камень не сохранил их облика, песня не закрепила их имена.
Они видятся в сумраке легенд и печали,
и не нужно закрывать глаза, чтобы они предстали предо мной.
Я узнаю их в своих собственных словах и жестах.
Мы сидели рядом за щедрым столом бедности.
Они склонялись надо мной, направляли мои руки,
непривычные к инструменту;
я шел к зрелости рядом с ними и под их защитой.
Их жизнь и двери их домов распахивались предо мной.
Я любил их за характерность, за прямоту и точность речи.
Даже заклятые враги вынуждены были их уважать
за сноровистость в труде и стойкость в бою.
На пустырях окраин, на мрачных заводах,
в унижении войны, на рубежах бытия и небытия
именно в них воплощалась человечность.
Ежедневно они вступали в бой за нее
и получали свою долю боли и радости.
Им были неведомы неверность, капитуляция,
беспомощные метания между трактирными столиками
и фальшивыми звездами,
так же как и нестерпимый стыд одиночества.
Даже в поражении они исповедовали всю жизнь,
они исповедовали всей своей жизнью,
что стóящий человек всегда найдет дело
и товарища, чтобы делать его вместе.
И за гранью смерти они по-прежнему внимательно смотрят на меня.
Я смотрю на себя их глазами,
мерю по ним себя.
Изменяющийся мир я тоже мерю по ним.
Они сильнее памяти.
Все чаще думаю о них и снова узнаю их
в стране, где не хватает песен,
но есть настоящие люди,
отвечающие на проклятые вопросы
всей своей жизнью.

Перевод БОРИСА СЛУЦКОГО

ДЮЛА ШИПОШ

Если не за что умереть...

...Герой разрывает рубаху:
— Стреляйте сюда! Стреляйте!.. —
Документальный фильм.
Подростки гогочут.
...Влюбленные жизнь отдают друг за друга...
Ха, умереть? А за кого?
И, как собаки бездомные, бродят.
На полную мощь запускают транзисторы.
Осточертели им предки, лжецы, правдолюбцы,
предатели и герои.
Им надоели бананы.
Им опостылело все.
Но однажды, меняя девушку
или между двумя затяжками,
они поймут, что если не за что
умереть,
то незачем жить.

Памяти раба, водрузившего верхний камень на пирамиду Гизеха

А выпилить последний, верхний, камень
особенно старались мастера.

И было сто рабов или один,
когда его на место водружали?
И сто рабов погибли иль один?
О том молчат священные скрижали.
Чье имя? Все равно, чей прах.
Деяние живет в веках.
Лишь голый символ созиданья
за гранью времени его.

А имена? Династии? Пустое!
Власть палки.
Ладан служб.
Истории сияющая дымка.

Кто водрузил последний, верхний, камень?

Кто б ни был тот, безвестный, кто воздвиг
хоть что-то стóящее в мире этом,
он — предок наш прямой,
он — человек
и вечно сущий
разум человека.

Равнодушие

Убит человек на улице.
Мы молча проходим мимо.
Миллионы людей ограблены.
Шарим, при нас ли бумажник.
Целый народ задушен.
Слушаем старые записи.

Мы веруем в матчи и в танцы,
в речи, мотивы и фильмы,
в стриптиз и собачий конкурс,
во все, что нам помогает
выжить в буднях насилий.

Ночью спим как убитые:
мы совершили все.

Мне хорошо и так

Если лягу я в свежие травы,
в головах не стелите солому.
Если я задремлю у канавы,
не советуйте: шел бы ты к дому.
Для чего мне ваша солома?
Трезв ли,
пьян ли —
и так я дома.

И тогда...

И тогда обнимай деревья,
по душам разговаривай с белками,
только не уступай своего.

Травы лаская, умей быть добрым
к воробьям с перебитым крылом.
Заговаривай с незнакомыми
в баре, в лесу, в трамвае.
Только не уступай своего.

Или звездам далеким дерзи,
раскаленным звездам, а для тебя
холодным светилам небесным.

Только не оставайся один.

Перевод ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА

■

МАРИО СОЛДАТИ

Актер

РОМАН

Перевод с итальянского Г. БРЕЙТБУРДА

II

К счастью, я не ошибся. Мелькиорри вошел в свою роль без усилий, и можно было приступать к пробам. Приехав в Рим в понедельник утром, как мы договорились, он вечером не смог дозвониться Личии, и это привело его в величайшее волнение. Что случилось? Ничего. Просто его телефон в Бордигере не отвечал.

Мосье Пипле, привратник из «Парижских тайн», был одновременно интриганом и простофилей; и то и другое — амплуа Мелькиорри! Обе стороны этого характера позволяли ему наилучшим образом продемонстрировать свои исполнительские возможности. Для пробы я выбрал первую сцену с Пипле. Он входит и жалуется Родольфу, что Кабрион вечно над ним подшучивает. Текст довольно длинный, но легкий. Энцо его быстро выучил. Я проверил его во вторник вечером, у него в номере гостиницы «Эсперия». Он уже знал текст на память и интуитивно нашел нужный тон. Жесты, гримасы, улыбки были точны: во всем ощущались чрезмерность, лицемерие, смешная напыщенность и мрачное ехидство.

— «...Вот вам, мосье Родольф, только пример. Нет такого музыкального инструмента, который этот Кабрион не использовал бы в подлых своих целях, чтобы мучить жильцов. Да, мосье, все пошло в дело, от окарины до трубы! И нарочно берет фальшивые ноты, и нарочно тянет часами один и тот же гнусный мотивчик! С ума можно сойти. Пока наконец хозяин не выселил его — даже заплатил отступные за два месяца. А его надо бы два месяца угощать пинками в зад!»

— Браво,— сказал я ему.— Отлично.— Я лежал на кровати и, держа в руках роль, подавал реплики за Родольфа.— «Да Кабрион ведь съехал с квартиры. Теперь здесь живу я. Что же вас теперь-то волнует?»

Вместо ответа Энцо взглянул на часы. Я подсказал ему реплику:

—«Что меня теперь волнует? А вот послушайте».

— Реплику я знаю. Но ты прости меня. Другое на уме.

Я сказал, что его телефон в Бордигере, наверно, поврежден. К сожалению, он уже дважды звонил в бюро проверки: телефон исправен, но никто не подходит.

Окончание. Начало в № 1.

— Значит,— сказал я,— Личии нет дома.

— Не может быть. Она обещала мне не выходить из дому.

— Ладно. Она могла передумать. И сейчас, как обычно, находится в Сан-Ремо.

— Клялась, что не поедет. Клялась, что до моего возвращения не будет выходить по вечерам. Ну, а утром, а в полдень — не отправилась же она в казино? Совесть мучит — надо было ее привезти с собой. Я ей, конечно, предлагал. Она не захотела. Не уговорил, не заставил...

Я заметил, что не так-то легко заставить Личию сделать то, чего она не хочет.

— Разве я не знаю! Надо было ей сказать, что она мне в Риме необходима, что мне нужна ее помощь, ее поддержка.

— А ты ей этого не говорил?

— Говорил, но не слишком убедительно.

— Может, оттого,— сказал я не без коварства,— что сам не слишком этого хотел.

— Ты прав. Знаешь, я люблю ее. Но мы постоянно ссоримся — ты и это знаешь. Так было всегда. Мы друг другу действуем на нервы. В последнее время она стала особенно раздражительной. Игра шла плохо, она продулась. И все меньше надежды отыграться, для этого нужны деньги, которых у нас нет. По крайней мере у меня таких денег нет.

Я думал о ее преследователе, думал о том, избавилась ли она от него, рассказала ли все Энцо. Судя по всему — нет.

— Конечно,— сказал я,— ей было бы полезно побывать в Риме: развлечься, позабыть немного об этом ужасном казино.

— Ты прав. Но я понял это, когда было уже поздно. Понял, когда она под дождем провожала меня на вокзал в Вентимилью. Ты, должно быть, читал в газетах: в ту ночь на Ривьере были крушения, обвалы, ураган, чуть ли не наводнение. И тут вдруг у меня возникло знакомое чувство, которое не появлялось с прошлой моей поездки в Рим. Мы с Личией столько лет прожили вместе, почти не расставаясь, и мне казалось, что я ее больше не люблю, порой даже ненавижу, во всяком случае не выношу. До того дошло, что меня раздражал ее голос, ее жесты, то, как она держит сигарету, пьет кофе, ест, жует печенье,— все становилось для меня пыткой. Думаю, что и я в ней вызывал такие же чувства. Вот почему я не так уж настаивал, чтоб она поехала со мной в Рим... Но, как бывало и прежде, все изменилось в последние минуты перед расставанием. Все стало иным. Она сидела рядом со мной, я касался ее локтя, видел, как она ведет машину, видел ее профиль, лоб, видел, как она напряженно вглядывается в дождь, в неожиданно слепящие фары встречных автомобилей. И мне казалось, что я снова люблю ее, люблю, как тогда, когда она была одинокой, взбалмошной, печальной, может, близкой к отчаянию, но обаятельной девчонкой, которую я даже ни разу не поцеловал и которую мне так хотелось защитить, уберечь, развлечь, удержать при себе, заставить позабыть свою тоску, хотелось всегда быть за нее в ответе, слышать ее смех, видеть ее довольной, сделать ее жизнь счастливой, обеспечить ей хоть какое-то благосостояние и покой. Внезапно в момент нашего расставания мне снова показалось, что ни одна другая женщина не была достойней моей любви и преданности. Она поставила машину на стоянку, пошла проводить меня к поезду. Мы ничего друг другу не говорили, шагали вдвоем по перрону, я прижимал ее к себе, не сомневаясь в ту минуту, что люблю ее, что готов ради нее пожертвовать жизнью, если бы потребовалось. Она была моей, принадлежала мне, была

частью меня самого, была маленькой, растерянной девочкой, которой нужна моя защита, и я должен был ее защищать. Подошел поезд, пришла пора расставаться. Я обнял и расцеловал ее. Мне казалось, что нас разлучает бесчеловечная жестокая сила, что сама смерть отрывает ее от меня, оставляет ее, невинную и беззащитную, в чудовищном, холодном, враждебном мире. И сам я не только не помог ей укрыться от этого мира, уйти от врагов, причинявших ей зло, но замышлял, подготавливал, в какой-то мере даже желал ей страданий и пыток. Я — который всегда за нее в ответе, всегда обязан ее защищать. Да, она всегда была рядом со мной. Я не отказывался от своего долга никогда, даже в минуты, когда мое отвращение к ней доходило до предела. Как же я мог теперь бросить ее так грубо, предать ее, уйти от нее, оттолкнуть ее, снять с себя эту ответственность?! Ссоры, оскорбления, даже ненависть к человеку, с которым живешь, всегда могут быть проявлением любви, а бросить человека — все равно что убить его в себе. Ты теперь понимаешь, почему я в таком отчаянии, почему меня тревожит, что я не могу дозвониться до нее. Я попросил бы ее тотчас же приехать. Уверен, что смог бы ее уговорить. Может быть, мне удалось бы облегчить ее муки... В пути я до самого Рима глаз не сомкнул. Не пойму, почему я раньше не припомнил другие расставания, которые тоже были мучительны, я позабыл об этом, стремился к разлуке, как к передышке, которая прервала бы пытку нашей совместной жизни. Мечтал об этом отъезде месяцами, как о рае, который сменит ад, хотел уехать один... Но так было лишь до минуты отъезда. А там все пошло по-другому, не так, как я хотел, как представлял себе, ждал. Это оказался ад похуже прежнего, потому что я сам к нему стремился... Меня мучила совесть... И для нее он был хуже прежнего... Но тут причины другие. Их сейчас трудно и больно объяснять. Может, все гораздо серьезней, чем кажется... В тот вечер по пути из Бордигеры в Вентимилью мне казалось странным ее поведение, словно она впервые поняла, сколько зла я ей причинил... Но я и это понял в последнюю минуту на вокзале, когда подходил поезд, когда я целовал ее, когда чувствовал, до чего она холодна и бессильна...

— Ты не послал ей телеграмму?

— Нет.

— Пошли. Тогда по крайней мере что-нибудь узнаешь. Если телефон испорчен.

— Телефон исправен, я тебе уже сказал. Она не хочет отвечать или же ее нет. Но я позвонил в Сан-Ремо нашему другу адвокату Мануэлю Джисмонди. Говорил с ним два часа назад, еще до твоего прихода. Он обещал мне тотчас же отправиться в Бордигеру. С минуты на минуту жду его звонка. Телеграфировать бесполезно. Я думал, как быть, если Мануэль Джисмонди не застанет ее в Бордигере. Заказал билет на завтрашний вечерний самолет в Ниццу. Оттуда на такси доберусь домой к десяти вечера. Ты должен мне только обещать, что закончишь съемку к пяти часам, не то я опоздаю на самолет. Чемодан я захвачу в студию, чтобы не возвращаться в гостиницу.

Я заверил его, что закончу съемку к этому времени.

— А теперь повторим эпизод. Наберись терпения! Скоро кончим.— И я снова прочел реплику Родольфа: — «Да Кабрион ведь съехал с квартиры. Теперь здесь живу я. Что же вас теперь-то волнует?»

— «Что меня теперь волнует? А вот послушайте. Прошлой ночью, в одиннадцать, я был уже в постели. Вдруг — стук. Я дернул за веревку, открыл дверь. В дворницкую кто-то входит. «Добрый вечер,

привратник,— говорит чей-то голос.— Дайте мне, пожалуйста, клок ваших волос». Тут жена моя говорит: «Должно быть, кто-то дверью ошибся». Тогда я отвечаю незнакомцу: «Это не здесь. Попробуйте постучать в соседнюю дверь».— «Но разве это не семнадцатый номер? Разве не здесь живет привратник по имени Пипле?» — спрашивает голос. «Да,— говорю я.— Меня зовут Пипле».— «Так вот, друг Пипле, я пришел просить у вас клок ваших волос для Кабриона. Это его затея, ему нужен клок ваших волос, он настаивает на этом».

Ремарка: «Пипле надевает свою шляпу с круглыми полями, скрещивает руки на груди и застывает, как изваяние».

— «Понимаете, мосье, у меня, у своего смертельного врага, которого он осыпал оскорблениями, этот человек столь нагло требует клок волос — милость, в которой дамы порой отказывают даже любовникам...»

Скрестив руки на груди, застыв, как требовала ремарка, в нелепой позе статуи, Энцо ждал, пока я скажу «стоп и браво», но в эту минуту зазвонил телефон, стоявший на столике у постели. Я снял трубку.

Звонили из Сан-Ремо по автомату. Энцо тоже бросился к телефону, и я передал ему трубку.

— Мануэль! Что?.. Никого нет... Как? В Триесте?.. У сестры?! Когда же она уехала, когда?..

Я понял, что Личия уехала в Триест и оттуда звонила адвокату.

Это известие привело Энцо в полную растерянность и отчего-то испугало.

— ...Но почему она не позвонила мне оттуда... Я не должен о ней тревожиться?.. Когда она вернется?.. Не знает?! Но она же в ссоре с сестрой, они много лет не виделись?! А что она сказала о нашей прислуге? Я со вчерашнего дня не перестаю звонить, и никого в доме нет...

Тут я, не желая быть нескромным, решил выйти из комнаты. Энцо жестом попросил меня остаться. Он все говорил по телефону, делился своими недоумениями, расспрашивал: взволнованный ли был у нее голос, не добавила ли она чего-нибудь еще. Под конец сказал, что завтра весь день будет занят на съемке, и попросил своего друга время от времени звонить в Бордигеру — узнавать, дома ли горничная, ведь она должна быть там. В любом случае он завтра вечером вернется самолетом, и они увидятся. Энцо повесил трубку.

Вопреки моим ожиданиям, звонок его не успокоил, напротив, он казался еще взволнованней. Он сообщил мне содержание разговора со всеми подробностями. Мануэль Джисмонди, как они договорились, отправился в Бордигеру. Сколько ни звонил, ему никто не отворил дверь. В окнах не было света. Вернувшись в Сан-Ремо, он застал сообщение от Личии: она просила его позвонить в Триест, в кафе, где она ждала.

— Он говорит, что Личия не позвонила мне в Рим, потому что у сестры нет телефона, а она боялась, что не застанет меня в гостинице. В Триесте ураган, страшный ветер, и она не хотела второй раз выезжать в город вечером. Но все это совершенно бессмысленно. Ведь она могла позвонить мне сюда! Как ты считаешь? Он говорит, что Личия отправилась в Триест на машине в вечер моего отъезда, сразу после возвращения из Вентимильи. В такой ураган! Говорит, что она решила уехать неожиданно. Не могла оставаться в доме одна. Одна? Она не была одна. С ней была горничная. Во всем этом есть что-то нелепое, непонятное. Пойми, Личия почти совсем порвала с сестрой. Вильма старше ее, овдовела, живет одна в большой бедности, на пенсию мужа, морского офицера, погибшего в войну. Как

понять, что Личия не знает, когда вернется? К чему было передавать, чтобы я о ней не тревожился? Она даже просила, чтобы я ее некоторое время не разыскивал — ей, дескать там хорошо.

Я предложил ему самое простое решение: почему бы ему после съемки вместо Бордигеры не отправиться прямо в Триест — там он сразу успокоится.

— Э, нет! Сначала мне нужно в Бордигеру,— взорвался он.

— Почему? Из-за Джованны? — спросил я неосторожно.

Он стал белей полотна — даже голубые зрачки покрылись белесой пленкой.

— Откуда ты знаешь? — спросил он.— Откуда ты знаешь, что ее зовут Джованной?

Я с улыбкой сказал ему, что Личия излила мне душу, жаловалась на него, рассказала мне все: сначала о молоденькой прислуге, потом об этой, которая, кажется, свела его с ума. Я считал, что Личия преувеличивает, что у него очередное временное увлечение. Об этом я и сказал Личии, стараясь ее успокоить. А теперь вижу, что Личия не так уж была не права.

— Ты сам это доказываешь. Ну, разве можно так волноваться оттого, что девушки нет дома? Личия уехала, тебя нет, вот она и ушла по своим делам. Насколько я понимаю, у нее живой и независимый нрав.

— Конечно. Но она мне обещала...

— Разве можно удивляться, если такая женщина не держит обещания? Брось ты, в самом деле...

— Верно,— согласился он.

— Может, ты боишься, что больше ее не увидишь? Что она ушла из дому?

Как я ни старался, мне трудно было задавать эти вопросы всерьез.

— Прости меня за нескромность: вы должны ей деньги?

— Еще бы! И немалые! — ответил Энцо, уставившись в пустоту. Несмотря на свою мрачность, он поневоле выглядел комично.

— Тогда не тревожься: ты ее увидишь. Может быть, она отправилась к себе домой на Корсику, или в Сен-Тропез, или к жениху в Савону... Кажется, у нее жених — судовой повар.

— Какой там жених... Все ее выдумки. Личия в них верит. А я давно перестал.

Может быть, Энцо знал и о ее связи с Арджентой. В ту минуту я подумал, не рассказать ли ему о встрече в Канне. Но промолчал — не из страха перед угрозами Джованны, а потому, что видел, как он взволнован. Такая новость (если только она была для него новостью) могла сорвать съемку.

— Странно, очень странно, что ее нет дома,— вдруг сказал он.— Ее даже больше, чем меня и Личию, волнуют результаты съемки.

Я был потрясен.

— Почему? При чем тут она?

— Мне трудно тебе объяснить... Рассказать, как все это вышло... как все началось с прежней прислугой. с той, что помоложе, с Габриэллой... Личия тебе, должно быть, говорила и о Габриэлле. Она к нам поступила еще девчонкой. Когда достигла совершеннолетия, решила во что бы то ни стало приобрести водительские права. Личия почти дружила с нею. Личия, возможно, и с Джованной дружит, но совсем по-другому... Словом, Личия разрешила Габриэлле учиться водить машину... Подумала, что и нам будет польза. Личии порой бывает трудно ездить по утрам за покупками. Домой она возвращается

поздно и долго спит по утрам. А хорошие магазины от нас далековато.

Через несколько месяцев Габриэлла получила права и стала ездить на машине. Однажды, дело было в субботу, Личия послала ее в Сан-Ремо: к доктору Таска — забрать у него снимки —и еще кое-куда зайти. Из Сан-Ремо Габриэлла позвонила, сказала, что снимки будут готовы только после полудня. Но вот и вечер настал, а ее все не было. Мы позвонили к врачу — снимки он выдал ей утром. Оказалось, что она отправилась к своим родным в Альбенгу и по дороге попала в аварию. Впрочем, и сама осталась цела, и других не покалечила. Только кузов повредила — пришлось менять. Машина у нас не была застрахована. Личия вправе была рассердиться. Она потребовала, чтоб девушка оплатила ремонт, и стала удерживать у нее из жалованья. Габриэлла была в отчаянии: как все деревенские девушки, она почти все свое жалованье откладывала на приданое.

Как-то вечером, через несколько недель, Личия, по обыкновению, готовилась к поездке в Сан-Ремо, а я ждал ее в саду. Уже стемнело, в теплом майском воздухе от одного запаха жасмина кружилась голова. Мне кажется страшно несправедливым, что старики ощущают запахи так же, как молодые. Словом, я ждал Личию, но на пороге показалась Габриэлла. Она шла в кино и надела новенькое белое платье с большим вырезом на спине. Платок прикрывал ее почти обнаженные плечи. Я взял ее за руку и увлек за собой, поближе к кустам жасмина.

«Габри,— спросил я,— сколько ты еще должна хозяйке за машину?» Она назвала сумму — что-то около двухсот пятидесяти тысяч.

«Я дам тебе эти деньги»,— сказал я.

«Нет, не надо, не хочу».

«Возьми их, я давно уже решил дать их тебе: понимаю, что тебе просто не повезло, для тебя ведь это большие деньги...»

«Да, синьор коммендаторе... Я же не нарочно...»

«Вот деньги — бери».

Я уже несколько дней как держал эти деньги наготове и ждал не то чтобы удобного случая... Сам понимаешь, случай мог представиться в любой момент... Я ждал той минуты, когда больше не смогу устоять против нелепого желания, ждал, сам того не зная, этого вечера, ждал запаха жасмина, ждал цвета ее нового платья. «Спасибо, синьор коммендаторе... Но я верну вам. Верну, как выйду замуж».— «Нет, Габри...— Я дал ей деньги и стал гладить плечи под платком...— Не надо возвращать, я не хочу. Это подарок. Только часть свадебного подарка, жди и получишь еще. Знаю — они тебе нужны». Смуглое, гладкое, как шелк, упругое, порывистое тело, и все произошло так, как мне по душе — без притворства, быстро и всерьез.

— Личия знала?

— Габри была девушка здравомыслящая и боялась Личии, как огня. Она — да, впрочем, и я,— оба мы были очень осторожны. На месте преступления нас не застигли. Личии было не за что уцепиться. Но разве в этом дело? Бывает, что муж с женой проживут тридцать лет и остаются друг для друга загадкой. А бывает и по-другому — догадываются обо всем, даже ничего не зная. Личия догадалась, но, несмотря ни на что, не разлюбила Габри и, пожалуй, даже прощала меня. Года через полтора после этой истории с машиной... Знаешь, я все это время давал Габриэлле деньги... Не очень большие... Не веришь? В самом деле, я только раз подарил ей часики «Ролекс» в стальном корпусе — они стоили тысяч семьдесят, такой подарок она могла получить и от своего жениха. Она была разумной, доброй девушкой. Никогда мне не отказывала и лишь изредка сама

напоминала о вознаграждении... Но вот через полтора года, в один прекрасный, а лучше сказать, в один прескверный день Габри подавала к столу, и я увидел у нее на руке золотой «Ролекс» и тут же обнаружил, что у Личии такие же часики, но только в стальном корпусе.

«Мы поменялись»,— сказала мне Личия со смехом. Габри ушла на кухню, и она рассказала мне, как это было. Она сильно проигралась и знала, что мне трудно будет дать ей деньги для поездки в Сан-Ремо. Тогда Габри дала ей сто пятьдесят тысяч лир и свой «Ролекс». «В конце концов, эти часики гораздо красивей, разве не так? Теперь стальные в моде,— сказала она.— Часы должны быть либо с брильянтами, либо самые простые. Золото грубовато: как будто хочешь, но не можешь». После этих рассуждений у меня и возникла одна мыслишка. Прошло, однако, немало времени, прежде чем я отважился заговорить об этом.

«Габри, сколько сейчас на твоем счету в банке? Больше миллиона лир?» Было почти темно, но я увидел, как она покраснела. «Да, может...» — «А госпожа об этом знает?» — «Может быть... Только, наверно, думает, что поменьше... Надену новое платье, туфли, появится новая сумочка, я и говорю: подарок от жениха. Она верит. Думает, что я все деньги откладываю».— «Она у тебя просит денег для игры?» — «По утрам, бывает, захожу к ней, прежде чем отправиться за покупками, она лежит в постели и говорит, что купить... И вдруг: «Сделай,— говорит,— одолжение, загляни по дороге в банк». Но просит немного, не больше пятидесяти тысяч. Возвращает всегда быстро, самое позднее через два-три дня».— «Ладно. Когда она снова попросит, ты дай ей побольше, к примеру, сто тысяч. Потом скажешь мне, и я верну тебе эти деньги. А возвратит она тебе, ты мне дашь обратно только половину, вторую оставишь себе». Почти совсем стемнело, как и в тот первый раз. Только мы с ней теперь были не в саду. Стояли на лестнице, откуда можно было разглядеть в глубине коридора освещенную стеклянную дверь ванной, где Личия принимала душ перед своим вечерним выездом. Габри глядела на меня смущенно, испуганно. Мне показалось, что она даже не слишком хорошо меня поняла. Может, все это для нее слишком сложно. Я шептал ей на ухо, а тем временем прижимал к себе ее сильное, хорошо сложенное тело и медленно повторял свое предложение. Нежный золотистый свет падал на нас сверху, сквозь стекло; я видел ее черные, большие, непомерно большие глаза, понимал, что она глядит на меня с испугом. «Нет,— сказала она с мольбой, чуть не плача.— Нет, синьор коммендаторе, так не поступают... Не надо, не надо». Ты удивишься, но я вздохнул с облегчением. Эта затея, эта моя выдумка... Может, лучше ей провалиться. Все же я решил любой ценой добиться своего. Как тебе это объяснить? Не находил в себе сил отказаться от этой попытки и в то же время хотел, надеялся встретить сопротивление Габри, наткнуться на непреодолимую преграду нежности, доброты, здравого крестьянского смысла. Когда я услышал ее отказ, слезы подступили у меня к глазам. Я понял, сколь безумна, сколь опасна, а может, и подла моя выдумка... Потом я еще не раз возвращался к ней и всегда слышал отказ Габри. Я спрашивал, да и сегодня спрашиваю себя, в чем причина столь дикой моей причуды. Я не хотел причинить Личии зла, не хотел, чтобы она страдала. Поверь мне, я не садист. Не хотел оскорбить ее ни прямо, ни косвенно, через Габри. Не хотел даже знать, что она оскорблена. Я любил, всегда любил, всегду буду любить Личию больше всех женщин на свете, больше всех других людей. Но во мне созрело желание освободиться от чего-то мне самому неясного, тяжкого, темного, гнету-

щего, душившего меня, хватавшего за горло. Я хотел освободиться от этого удушья и чувствовал, что могу добиться этого, лишь унизив Личию, лишь превратив ее в рабыню девушки, которую я любил. Знаю — это безумие, но поверь, оно оказалось сильней меня.

— И все же,— припомнил я случай, рассказанный им много лет тому назад,— в ночь после твоего бенефиса в театре «Элизео»...

— Проститутка у Трафоро?

— Да, безногая проститутка в красном платье. Только не уверяй меня, что это не садизм.

— Ну, что ты говоришь! Если хочешь знать, Личия тогда еще не была моей: я был влюблен в нее, хотел и в то же время не хотел на ней жениться. Может быть, предчувствовал, что этого не нужно делать, что это к добру не приведет, что мы с ней ладить не будем. Хотел приглушить свои сомнения. Хотел и тогда освободиться... Вот отчего я пошел к этой несчастной. Впрочем, то были жестокие и жалкие минуты... Через несколько часов я попросил у Личии руки.

— А Джованна?

— Будь проклята Джованна! Не знаю, откуда в ней столько силы, упорства, злости.

Сомнений нет, он сам внушал ей и злость и упорство! Я это понял и сказал об этом Энцо, хотя в ту минуту еще не знал, как все обстояло на деле. Только не сомневался, что именно такой он и хотел видеть Джованну.

— Может быть... Но клянусь тебе, все это без дурного умысла,— вздохнул он и тотчас же совладал с собой.

— Нет, не верю.

— Ты даже не представляешь себе, как много я для нее сделал, а не добился от нее ровно ничего, даже обещания. Даже поцелуя. Может, изредка удавалось плечи погладить, не больше... Вот видишь, ее и сейчас нет дома. Конечно, отправилась куда-то. Но мне и словом не обмолвилась, что собирается. Не спросила разрешения, да и не дала ни малейшего повода считать, что у нее на уме поездка. Мы договорились, что я позвоню ей утром, когда телефон у нее в комнате и Личия ничего не может услышать. Я дал ей свой номер здесь в гостинице, просил позвонить. Теперь, при автоматической связи, это так просто. Допустим, она поссорилась с Личией и обе они уехали, разумеется, в разные стороны. Личия отправилась в Триест, а она — куда ей вздумается, хоть в ад. Но ведь уехала, даже не сказав мне, хотя ей ровно ничего не стоило позвонить. Почему она не позвонила? Вот отчего я схожу с ума. Боюсь, не случилось ли что-нибудь... непоправимое...

— Неужели это будет непоправимо, если Джованна исчезнет из твоей жизни? — с усмешкой спросил я, нарочно употребляя слова, более уместные в бульварном романе.

— Не знаю, может быть, и нет. Постарайся понять меня. Я тревожусь, но не о Джованне. Пусть я даже никогда не увижу ее. Могу прожить и без нее. Я боюсь за Личию.

— Ты позволишь мне быть искренним? Кое-чему в твоих словах я не верю.

— Что я не переспал с Джованной? Но зачем мне тебя-то обманывать?

— Джованна не стала твоей любовницей, этому я верю, и, может, в этом вся беда. Но боюсь, не уступила ли она твоим желаниям в чем-то другом.

— Что ты имеешь в виду?

— Мне жаль, дорогой, огорчать тебя сейчас, когда ты так взволнован. Можешь мне не отвечать, если не хочешь, но ты не

предлагал ей участвовать в той проделке, которую с ужасом отвергла Габриэлла?

— Я устал и не стану отвечать. Завтра пробная съемка. Хочу, чтобы она прошла удачно. Нельзя и тебя подводить.

Он пошел за мной вниз. Я попросил портье вызвать такси. Энцо тоже подошел к конторке и спросил у меня, по какому телефону его завтра утром смогут разыскать на телевидении, если в гостиницу что-то сообщат для него.

Я назвал телефон студии на виа Теулада, и портье записал номер.

Дождь все шел. Энцо вышел в пальто и с зонтиком.

— Пройдусь немного. Привычка. Иначе не засну.

Мы вышли на виа Национале. Энцо раскрыл зонтик, чтоб уберечь меня от дождя, пока я не сяду в такси. И лишь в эту минуту я с удовольствием заметил, что с прошлой весны, с той ночи, когда мы повстречались в «Плазе», Энцо необычайно помолодел, словно набрался сил, глаза стали живей, на щеках появился румянец, исчезла одутловатость. Возможно, дело тут не обошлось без проклятой Джованны.

III

Судя по рассказам Мелькиорри, Габриэллу следует отнести к прислуге старого склада: здесь я, разумеется, имею в виду не то, как она работала, а весь мир ее чувств, еще связанный живой нитью с традиционным укладом родной деревни, расположенной вблизи от Альбенги.

Однако нет сомнений, что Джованна принадлежала к самому современному разряду приходящих горничных. Удивляло лишь одно — чем она могла привлечь Никки Ардженту. Я пытался угадать, какую выгоду он хотел извлечь из этой связи. Среди всех тревожных мыслей о Мелькиорри, не дававших мне уснуть в ночь перед съемкой, эта волновала больше всего.

Я припомнил, что Мелькиорри родился в Ливорно, в старой и состоятельной буржуазной семье. Отец его был врачом, дед по матери — адвокатом, дядя — монсеньёр настоятель в Суверано, один из двух его давно уже скончавшихся братьев дослужился до генерала, второй был иезуитом. Энцо получил строгое религиозное воспитание. Конечно, его кормила грудью какая-нибудь крестьянка из Казентино или Амиаты. Значит, у его странностей было нечто вроде исторического оправдания. Мне казалось, что я лучше смогу понять отчаянные, трагические противоречия, в которых эти странности проявлялись, если помещу их внутрь воображаемого чертежика, иллюстрирующего социальную и экономическую эволюцию женской прислуги в семьях нашей буржуазии за полвека — с двадцатого по семидесятый год. В этом чертежике ординаты разделят полвека на десять пятилетий, а абсциссами будут являться две кривые, одна из которых окажется восходящей (независимость, равноправие, чувство достоинства женской прислуги), а другая — нисходящей (порабощенность прислуги, но и освященная обычаем привязанность, и человечность отношений с хозяевами).

Сколько бессонных ночей моя мать и бабушка провели у постели одной из наших заболевших горничных! Моя бабушка, уже совсем старенькая, бесстрашно взбиралась по ветхим, источенным червями деревянным ступеням на холодный и мрачный чердак, но если бы кто-нибудь упрекнул ее за то, что она не предоставила прислуге лучшего помещения, она, должно быть, удивилась бы сверх всякой меры, словно ее обвинили в том, что она поместила собаку в собачью конуру.

Страсть моего бедного друга вспыхнула в годы, заключенные между последней и предпоследней ординатой, именно в той точке моего чертежика, где обе кривые более всего удалены друг от друга. Энцо говорил о таинственной, глубинной потребности освободиться от чего-то ему самому неясного, но несомненно тяжелого, мрачного, гнетущего, давящего. Вероятно, это и было отчаянное желание вновь обрести утраченный рай детства, потребность любить и быть любимым женщиной, живущей в доме, прислугой, именно прислугой, потребность в нежной и чувственной привязанности кормилицы. Значит, Энцо и сегодня восстает против старинного буржуазного воспитания, хочет выйти из-под «материнской власти». Маниакальное стремление унизить Личию, которую он нежно любил, руками прислуги, которую он не любил, а лишь желал, могло быть истолковано как месть ребенка, растянувшаяся на долгие-долгие годы...

Однажды Энцо рассказал мне, как и почему он стал актером. Учился он тогда в Пизе, на юридическом факультете. Он был уже не мальчик, когда сошелся с одной известной драматической актрисой, имени которой я не помню. Стал сопровождать ее в турне, совсем перестал ходить в университет, куда и до этого не слишком часто заглядывал. Однажды, смеха ради, согласился выступить в маленькой роли вместо заболевшего актера. Неожиданный успех, настойчивость любимой актрисы, нежелание учиться — все вместе убедило его в том, что сцена — его призвание, и он быстро переменил карьеру, несмотря на сопротивление и даже отчаяние всей его семьи, которое легко себе представить. Как знать? Быть может, и этот порыв молодости был вызван не только внешними и побочными мотивами (тщеславное стремление к успеху, любовь к актрисе, лень), но и неосознанной потребностью в бунте, в освобождении от чего-то тяжкого, мрачного, гнетущего, давящего?

Мы отсняли основные куски пробы до обеденного перерыва. Было решено снимать телероман обычной камерой на обычную кинопленку. В те годы необходимость дубляжа на несколько языков еще не позволяла работать по системе видеозаписи. Но кадры пробы во всяком случае записывались на видеомагнитофон: это помогало экономить средства и время. Этого требовала и срочность работы: при видеозаписи просмотр был возможен немедленно, а не через три-четыре дня, которые обычно уходили на обработку пленки.

Я вел съемку из темной кабины наверху и с помощью экранов пульта управления следил оттуда за съемочной площадкой. На роли Родольфа и мадам Пипле пробовались второстепенный актер и старая французская актриса. Я раньше уже работал с ними и теперь воспользовался их пребыванием в Риме. Обращаясь то к одному, то к другому, Мелькиорри мог проявить свое знаменитое умение «оживить сцену», заполнить собою экран.

Но и я, хотя, может быть, не в такой степени, как Мелькиорри, отстал от нынешних времен, был динозавром в кино. Конечно, мне приходилось записывать на видеомагнитофон, но я так и не привык ни к съемке на расстоянии, ни к оторванности от актеров. Загнанный в полумрак сверкающей металлическими плоскостями кабины пульта управления, я пристально вглядывался в голубоватые блестящие экраны, на которых сцена, снимаемая несколькими камерами, была видна одновременно в нескольких ракурсах. Голоса актеров при этом искажались до неузнаваемости, а сами они походили на кукол. Все это лишало меня возможности вмешаться, подсказать актеру нужный

жест, реплику, движение, интонацию. До съемочной площадки доносилась через громкоговоритель лишь механическая копия моего голоса, но, увы, без моего взгляда или жеста. Все это было для меня настоящей пыткой. Я с трудом владел собой. Порой, вместо того чтоб непрерывно наблюдать за актерами, я инстинктивно оборачивался к застекленной стенке кабины и видел задники, съемочные мостики, огромные металлические конструкции, громоздившиеся в темной глубине студии, то и дело прорубаемой белым светом юпитеров. Там внизу, в светлом кругу, куда были устремлены их лучи, работали актеры, и я следил за ними с абсурдной уверенностью, что могу что-то изменить, поправить, как я всегда делал во время съемок. Иной раз я по привычке протягивал вперед руки, повышал голос. Стоявшие вблизи операторы смеялись. Смеялся и я, но с горечью — эта отдаленность от сценической площадки, замкнутость кабины и полумрак говорили мне об ушедших безвозвратно годах, а залитая слепящим светом площадка в самой середине мрака напоминала о молодости, которую я так глупо хотел возвратить.

Следя за проходом мосье Пипле по дворницкой — десять чванливых, напыщенных шагов, прежде чем снять шляпу,— я внезапно вспомнил знаменитого актера, который повстречался мне в аэропорту Линате. Походка тщеславного, самодовольного человека, считающего себя умным, обаятельным и значительным. Застывшая на губах улыбка, подбородок, взгляд, устремленный то влево, то вправо, туловище, опорой которому служат не бедра, а некий шарнир, соединенный с копчиком, центр тяжести при этом перенесен назад. Но была и разница: знаменитый актер, встреченный мною в аэропорту, расхаживал так только в жизни, а Энцо Мелькиорри — только на сцене.

Конечно, это была походка персонажа, которого он играл, походка Пипле, однако то, что он не мог ходить по сцене никак иначе, уже само по себе весьма ясно свидетельствовало об ограниченности его актерских возможностей и позволяло заподозрить, что, несмотря на крепкий профессионализм и хороший вкус, он никогда не поднимался выше умелых упражнений и что это умение приобретено упорным трудом. Возможно, именно поэтому на сцене Мелькиорри так упорно демонстрировал, где находится центр тяжести его тела, в то время как актер из Линате умел это скрывать, изменяясь в зависимости от характера изображаемых им людей, чтобы затем, уйдя со сцены, неизбежно выявить эту свою особенность. Но, скрытая или выявленная, эта манера была ему присуща. Привычка выпячивать зад была как-то связана с его игрой.

В два часа, после перерыва, я начал съемку быстро чередовавшихся крупных планов. По нынешней моде нужно было как можно чаще, даже когда этого совсем не требовалось, заполнять экран до гротеска увеличенными лицами исполнителей, порой выставляя напоказ лоб, ухо или половину щеки.

От Мелькиорри не требовалось ничего особенного, он должен был попросту повторить отдельные куски длинных реплик из своей утренней сцены.

Для старого театрального актера одна из серьезных трудностей при работе в кино или на телевидении состоит в ином расписании рабочего дня. Мелькиорри довольно много снимался, но, разумеется, гораздо больше времени он провел на сцене, а длительный перерыв в съемках не пошел ему на пользу и в лучшем случае вернул его к старым привычкам театральной жизни. Драматический актер, как, впрочем, и оперный певец, в силу многолетней привычки, становящейся второй натурой, способен к максимальному усилию и к наилучшим

результатам лишь после девяти вечера[1]. Но в эти часы я снимать не мог: ночная работа была связана с дополнительной оплатой операторов и рабочих. В моем распоряжении было утреннее и послеобеденное время. Главную съемку я провел утром, понимая, что после перерыва на обед рефлексы пожилого актера на какое-то время ослабевают. Признаюсь, я также опасался звонка Джованны или адвоката, который заставил бы Энцо немедленно отправиться в аэропорт. Того же опасался и он, однако в отличие от меня не только опасался, но и желал: у него в кармане продолжал лежать билет в Ниццу.

В четыре часа, когда я снимал один из последних эпизодов, в кабину вошел курьер. Когда стальную дверь открыли, я все понял еще прежде, чем он успел заговорить: я просил его сообщить мне, если будут звонить Мелькиорри. В узкой двери на фоне ярко освещенного коридора неподвижно застыла мрачная фигура курьера. Он прошептал: звонят из Сан-Ремо. Прервав работу, я направился к телефону.

Как верно, что голос порой открывает человека! Тембр, акцент, интонации услышанного мною голоса говорили о любезном и человечном нраве. Обычно произношение лигурийцев отличается грубостью и резкостью, но на Западной Ривьере у иных людей акцент становится мягче и даже утонченнее. В доносившемся до меня голосе слышалось нечто одновременно деликатное и твердое, точное и разумное.

Адвокат Паоло Мануэль Джисмонди представился и спросил, занят ли на съемках его друг Мелькиорри. Я ответил, что съемка закончится не позже чем через двадцать минут.

Адвокату срочно нужно было переговорить с ним. Что ж, я могу позвать его к телефону немедленно. Он попросил меня не звать, не волновать Энцо, сообщить ему о звонке, только когда он кончит работу. Но тут уж, пожалуйста, пусть позвонит немедленно — и он оставил мне телефон своей конторы, где будет дожидаться звонка.

— Вы полагаете,— осмелился я спросить,— что Энцо нужно вернуться в Бордигеру?

— К сожалению, он должен возвратиться немедленно.

Я успокоил его: у Энцо есть билет на вечерний рейс в Ниццу.

— Тем лучше. Но пока не говорите ему ничего, прошу вас. Я сам его обо всем извещу. Не хочу его чрезмерно волновать.

— Дурные вести? Можете довериться мне. Я старый друг Энцо.

— Знаю. Но сейчас все слишком сложно объяснять. Я встречу его в Ницце в аэропорту, приеду на своей машине. Но прошу вас, вы и этого ему не говорите. Может быть, вы смогли бы проводить его во Фьюмичино?

— Я завтра улетаю в Париж... Впереди еще куча дел...— Я извинился.

— Что ж. Простите. Я думал, будет лучше, если он после разговора со мной не останется один... Впрочем... В любом случае не говорите ему ничего. Очень прошу. Предупредите только, чтоб тотчас же мне позвонил. Я жду. Не ухожу отсюда.

IV

Стоя в стороне, я ждал конца разговора Мелькиорри с адвокатом. Мой ассистент-француз должен был завтра вечером лететь со мной в Париж, и мы с ним выясняли, что еще надо сделать в Риме до отъезда. Но я не терял из виду металлический столик с телефоном в глубине коридора, откуда звонил Мелькиорри. Он склонился над аппаратом — в темно-синем костюме Пипле, в накидке того же цве-

[1] Спектакли в Италии начинаются в это время.

та, в черной широкополой шляпе. Сейчас его гротескная и нелепая фигура напомнила мне Беньямино Джильи в последнем акте «Бала-маскарада», когда знаменитого певца, одетого в домино графа, ждет удар кинжалом и, может быть, по мнению суфлера, ему уже пора хрипеть и биться в предсмертных судорогах. Мрачный неоновый свет падал на серые стены коридора, в этом свете белела голубизна комбинезонов, синела белизна халатов у проходивших бесшумно электриков и техников.

Мелькиорри положил трубку и взглянул в мою сторону. Его лицо в черном диске шляпы было пепельно-серым. Он пошел мне навстречу.

— Я должен торопиться. Случилось что-то серьезное. С Джованной. Не знаю что. Даже Мануэль Джисмонди еще не знает. Но меня искали карабинеры из Оспедалетти. Он говорит — они меня ждут. Джисмонди встретит меня в Ницце.

— Я полечу с тобой,— решил я внезапно.— Конечно. Нужно только заехать в гостиницу и забрать чемодан. Не беспокойся, он почти уложен... И незачем меня благодарить: переночую в Ницце, а утром вылечу первым самолетом в Париж, даже раньше поспею.

— Мои вещи уже здесь, в уборной. Я так и знал — что-то случилось.

С нами поехал мой ассистент. По пути, от виа Теулада до гостиницы и от гостиницы до аэропорта, мы обсуждали с ним дела, которые ему предстояло завтра доделать в Риме без меня: вместе с Умберто Эко отобрать окончательные тексты для кинопроб в Париже и в Мюнхене, просмотреть римские пробы вместе с руководителем программ, получить от костюмера эскизы костюмов, которые будут шить во Франции, и еще многое другое.

От самой церкви Тринита-деи-Монти поток машин в центре и в кварталах Трастевере в этот послеобеденный час был таким плотным, что у нас, конечно, хватило времени подробно обсудить все дела. Мой ассистент делал заметки. Я же забыл о муках, которые доставляла эта езда,— их нельзя даже пересказать тому, кто не жил в те годы в Риме и не знает их по собственному опыту.

В сыром, давящем, удушливом воздухе десятки тысяч машин вынуждены совершать путаные и нелепые объезды и бесконечно останавливаться из-за непрестанных пробок, медленно продвигаясь вперед. Последние километры от предместья Порта Портезе до автострады проходили по непонятно почему изрытой и развороченной дороге, где на каждом шагу встречались рвы, ямы, груды камней, подъемы и спуски; здесь «велись работы», хотя на деле никто не работал,— начатые давно, они, казалось, были сразу же прерваны, словно для того, чтобы нарочно затруднять движение транспорта...

Энцо без конца поглядывал на часы, волнуясь, что не поспеет к самолету, но, может быть, эта тревога, трудная езда и мой нескончаемый разговор с ассистентом отвлекали его от более серьезных волнений, от мыслей о случившейся беде, о Джованне.

Мы прибыли во Фьюмичино, когда посадку уже объявили. Мне легко удалось взять билет: самолет был почти пуст.

Только после взлета Энцо смог предаться своей тревоге. Мы сидели достаточно далеко от немногочисленных пассажиров и могли разговаривать свободно. Он сказал мне:

— Все думаю, почему меня ищут карабинеры. Знаю — из-за Джованны. У меня голова трещит — я перебрал все варианты. Джованну просто задержали или арестовали?

Я посоветовал ему успокоиться. Карабинеры занимаются не только арестами...

— Но для ареста достаточно и аварии, может, она кого-нибудь сбила, есть раненый или того хуже... Не знаю, может быть — кража или мошенничество...

Не без некоторого удивления я тотчас же понял, что Энцо думает о Джованне еще хуже, чем я. Меня всерьез начало беспокоить, что там могло стрястись. Мошенничество? Кража? Я спросил у него, считает ли он ее и в самом деле способной на такое.

— Да, она может... Но только если будет абсолютно уверена, что не попадется. Вот почему мне кажется, что здесь не то...

— Может, контрабандный провоз валюты или наркотиков...— сказал я, думая тем временем о том, какое ко всему этому имеет отношение Арджента.

— Да, вероятней всего, контрабанда,— продолжал Энцо.— Контрабанда! Я тоже об этом подумал. У нее машина. Она родом из этих мест. Она французская гражданка. Всегда может оправдать частые переезды через границу, не должна вызывать подозрений... Конечно, и контрабандой она могла заняться, лишь будучи уверенной, что ничем не рискует. Ну, что я могу тебе сказать? Всегда возможен неудачный оборот. Я живу рядом с ней уже шесть месяцев, слежу за каждым ее шагом, она поверяла мне свои тайны... Будь у нее какие-нибудь контакты, какие-нибудь темные делишки, уж я наверняка бы заметил... Странно...

А мне казалось странным, что это его удивляет! Оставим в покое Джованну, которую он сам описал как аферистку.

— Но любая женщина,— сказал я ему,— может скрывать от мужчины все что угодно и так долго, как ей это будет угодно.

— Разумеется. Но все же... Может, тебе это покажется смешным. Все же тут другое... О, я был бы рад, если бы дело было только в контрабанде. Конечно, у нее могли быть соучастники. Но с помощью хорошего адвоката... С Мануэлем в наших местах очень считаются... Словом, если ее арестовали из-за этого, он почти наверняка сумеет ее быстро вызволить. Но почему карабинеры так срочно хотят видеть меня? Увы, боюсь, что все намного сложней... Нет ли тут связи с внезапным, непредвиденным, совершенно непонятным отъездом Личии в Триест? Потом этот странный звонок вчера вечером: почему она позвонила Джисмонди, а не мне? Его объяснение абсурдно...

Я снова попросил его успокоиться. Скоро он узнает все. Бесполезно ломать себе голову над тем, что могло случиться. Он ни о чем не догадается. Может, речь идет о пустяке, о какой-нибудь ерунде. Сам адвокат, как только мы прибудем в Ниццу, расскажет ему все. Энцо качал головой.

— Нет. Мне кажется, Мануэль знал все в ту минуту, когда звонил мне. И не хотел говорить, жалел меня, хотел уберечь от отчаяния. Нет, конечно, здесь что-то серьезное.

— Ты все придумываешь. Тебе кажется. Но ведь ты ни в чем не уверен. Тогда не поднимай тревоги, для которой нет оснований.

— Нет, нет. Раз я тревожусь, значит есть причина. Ты вчера вечером меня спросил, не пришло ли мне в голову предложить Джованне ту же глупость, тот же абсурд, который я предложил Габри, когда увидел, что они с Личией поменялись часами... Это была роковая ошибка. Поначалу, когда Джованна поступила к нам, я ее даже не замечал. Она мне показалась некрасивой, больше того, незначительной. Уверен, что Личия, встревоженная моим отношением к Габри, выбрала Джованну как раз потому, что она казалась такой незаметной, скучной, почти отталкивающей. К тому же Джованна говорила, что страдает близорукостью, и во время работы надевала очки, а у меня женщина в очках всегда вызывает неприятное чувство. Личия

об этом знала. Впервые я увидел Джованну без очков, когда она в свой выходной собралась выйти из дому после обеда. В эти часы Личия спит у себя в комнате до четырех, а я отдыхаю в кресле в гостиной. Я задремал и проснулся оттого, что кто-то открыл стеклянную дверь. В углу гостиной у нас большое зеркало, рядом цветы. Джованна на цыпочках, чтобы не разбудить меня, подошла к зеркалу.

Одета она была довольно вульгарно и слишком броско — платье цвета барвинка, перчатки, сумочка, лакированные черные туфли, браслеты. Она долго разглядывала себя: как манекенщица, то отступала, то снова приближалась к зеркалу, поправляла и приглаживала складки на бедрах, поворачивала голову, пытаясь разглядеть, как она выглядит сзади. Потом открыла сумочку, что-то оттуда вытащила, снова закрыла ее, подошла к зеркалу, вдела в уши черные с брильянтами серьги, поправила прическу. Заметив, что я не сплю, она извинилась, но сделала это холодно, даже жестко, без намека на улыбку. Джованна низкого роста, брюнетка, худая и костлявая. У нее странное узкое лицо, темные глаза посажены почти рядом, губы тонкие, без помады, и выражение лица замкнутое, застывшее, бесчувственное. Камень, а не женщина. Я разглядывал ее, не вставая с кресла. В ту минуту мне казалось, что я ее вообще впервые вижу, хотя удивляло меня в ней только одно — странный контраст между ее всегдашним холодным и печальным выражением лица и необычной изысканностью туалета. Платье плотно, почти как чулок, облегало ее, подчеркивая все изгибы мускулистого тела. Теперь, припомнив лучше, я думаю, что ошибся, назвав ее элегантность вульгарной — вернее было бы назвать ее провинциальной или даже островной, корсиканской. Это была элегантность девушки из Аяччо или Бастии, когда она в праздник хочет выдать себя за парижанку, элегантность прислуги, когда она в свой выходной хочет сойти за синьору, то есть костюмом и своим видом продемонстрировать ту безупречность, которая, по ее мнению, отличает настоящую синьору, является прерогативой синьоры, поскольку синьора не работает и у нее есть время позаботиться о своей красоте. По этой причине Габриэлла и Джованна и все остальные, как только попадают на кухню или делают другую домашнюю работу, непременно надевают священные резиновые перчатки и ежедневно посвящают целые часы уходу за длиннейшими ногтями: ногти должны быть такими длинными и такими ухоженными, чтобы ни в коем случае не походить на ногти женщин, занятых физическим трудом. Так по крайней мере считают Габриэлла и Джованна и все прочие. На самом же деле все обстоит совсем наоборот. Теперь такие ногти только у прислуги и бывают. А так называемые синьоры для отличия вынуждены делать почти мужской маникюр.

Джованна продолжала причесываться, а я тем временем искал разгадку противоречия между этой холодной насупленностью и тщательной изысканностью туалета. Может, она собирается повидать какое-нибудь важное лицо. В то время я считал — мне сказала об этом Личия,— что ее жених работает в судоходной компании. Вот я и вообразил, что Джованна сегодня должна встретиться с директором или с другим чиновником, от которого зависит карьера ее будущего мужа. Теперь, когда я ее узнал получше — тут у меня нет сомнений,— ясно, что собиралась она на свидание с каким-нибудь дружком, сначала в кино, а потом и в гостиницу.

Она долго разглядывала себя в зеркало и вдруг решила снять серьги, положила их обратно в сумочку и закрыла ее, резко рванув замок-молнию. Небрежно извинилась передо мной, кивнула на прощание и быстро исчезла. Серьезная, безразличная ко всему женщина с решительной походкой.

Я хотел рассказать тебе об этом первом эпизоде именно потому, что он меня ничуть не затронул. Мне она показалась чуть красивей обычного, только и всего. Прошло еще несколько недель, на протяжении которых Джованна меня совершенно не интересовала... Я и предположить не мог, что все это станет для меня адом...

Мы жили спокойно. Личия собиралась ехать в Эвиан на лечение, которое по вечерам, конечно, дополнялось посещением казино. Она нисколько не тревожилась о том, что оставляет меня одного. Прежде я сопровождал ее повсюду — в Виши, в Сен-Венсен, куда бы она ни ездила. В последнее время я с ее согласия отказался от этого: гостиницы подорожали, комнаты сдавались только с пансионом — словом, приходилось тратить вдвое больше. В прошлом году, когда у нас еще была Габриэлла, Личия поступила разумней: перед своим отъездом в Эвиан отправила ее в Альбенгу, оплатила ей пятнадцатидневный отпуск, а я гостил у Мануэля Джисмонди в Сан-Ремо...

На этот раз я остался один с Джованной. Это случилось... Нет, не постепенно... Все произошло внезапно, за одно мгновение, на второй день после отъезда Личии. Меня пригласил на обед все тот же Мануэль Джисмонди. Я позабыл сказать об этом Джованне. Зашел к ней на кухню. «Сегодня меня весь день не будет дома. Ничего для меня не готовьте. Увидимся вечером». Она стояла у плиты и вдруг повернулась и каким-то необычным тоном спросила меня: «Как вы поедете?» — «Поездом или автобусом, как быстрее».— «Ну, послушайте, зачем вам поезд? Я отвезу вас. У меня и дел-то больше нет, стиральную машину я уже запустила...»

Мне больше всего нравится ее голос, другие, может, и не сочтут его красивым — низкий, грубый, хрипловатый. Даже когда она говорит по-итальянски — а со мной она всегда говорила по-итальянски,— в нем чувствуешь что-то подлинное, простонародное, что-то марсельское или корсиканское, я недостаточно знаю Францию, чтоб объяснить тебе... что-то жесткое, грубое и вместе с тем таящее в себе сокровенную нежность. Кто знает — может, я не прав. Мне ни разу не удалось проверить, есть ли в ней нежность... И все же...

«Хорошо,— сказал я.— Поеду с вами». И мы отправились. Был теплый, спокойный, безоблачный день. Мы подняли крышу и дышали запахами цветов и моря. «Спасибо,— сказал я.— Так, конечно, приятней, чем поездом или автобусом».— «Я гожусь вам в шоферы?» — спросила она, снова меня удивив. Я впервые услышал, как она шутит. Я повернулся и взглянул на ее профиль. Она улыбалась. Все произошло, пока я разглядывал, как она улыбается. Это было почти чудо: благодаря одной лишь улыбке выражение ее лица самым неожиданным образом изменилось, она как бы стала совсем другим человеком.

— Тебе это тоже довелось испытать?

— Почему мне тоже?

— Со мной так было, когда я вгляделся в лицо девушки, сидевшей от меня слева, не в машине, а за столом для игры в рулетку. У нее было очень скучное и жесткое лицо. Но стоило ей выиграть, и она преображалась.— Я готов был рассказать ему все и про Ардженту, и про то, что знаю Джованну. Но к чему говорить ему об этом именно теперь? Это лишь все усложнит, а может, и ухудшит его состояние. Я заметил, что, рассказывая о Джованне, он как бы отвлекся, позабыл о нависшей над ним угрозе. Рассказ его был совершенно свободным, и я слушал его с захватывающим интересом. Конечно, не только интересом к его рассказу объяснялось мое внимание. Джованна нравилась и мне, хотя я был искренне привязан к Личии. Слушая Энцо, я невольно ставил себя на его место. Когда я

пишу об этом сегодня, через два с половиной года после его смерти, мне кажется, что я и его ставлю на свое место, заставляю его невольно говорить моим голосом и думать, как я. Но у людей пишущих то же происходит с любым персонажем. Здесь важно чувство меры: у одних такая подстановка ощущается сильней, у других она меньше дает знать о себе. Мы с Энцо по своему складу люди совершенно различные, даже, я бы сказал, противоположные. Если говорить о духовном сходстве, то мы не раз замечали, что одинаково реагируем на те или иные обстоятельства, одинаково судим о мире и о жизни, придерживаемся на многое одних и тех же взглядов. Не случайно мы оставались друзьями даже после того, как не встречались по многу лет. Он был мне как бы старшим братом. Теперь, слушая его, я думал, что он заново и в последний раз переживает лучшие часы, проведенные с Джованной. Узнав, чего хотят от него карабинеры, он уже не сможет вспоминать о Джованне с таким восхищением. Сказать ему теперь об Ардженте — значит лишить его и этого утешения, погасить то слабое пламя, которое его грело, вернуть его к тревоге и бесполезным догадкам о ждущей его беде. Я решил промолчать.

— Все новое, что я открыл в Джованне, не было моим домыслом, игрой воображения. Нет, оно существовало. С того дня, с той самой минуты, мы стали с ней сердечно беседовать обо всем, что приходило нам в голову. Мы с ней не перешли на «ты». Не получилось. Ни сразу, ни после. Даже когда она шутила, когда бывала в хорошем настроении, дистанция тщательно соблюдалась. После любой, самой робкой попытки перейти к большей близости она тотчас же мрачнела, словно я хотел ее обидеть. В тот раз машину вела она, а я внезапно и без всякого умысла положил ей руку на плечо. Она потупилась, потом посмотрела на меня холодным взглядом, нервным, порывистым движением сбросила мою руку и сказала: «Перестаньте, не могу вести машину». Подавленный и огорченный тем, что больше не вижу ее обворожительной улыбки, я, конечно, уступил.

Она тотчас же повеселела. Какой чудесный был день! В Сан-Ремо мы приехали, уже проголодавшись. На одной из центральных улиц есть бар — может, ты его знаешь? Там делают изумительные лепешки с анчоусами, чесноком, майораном, базиликой, помидорами. Называются они «сарденайра». Их подают прямо из печи, горячими, нарезанными тонкими ломтями. К ним идет превосходное белое сухое вино «верментино», из наших мест. Я боялся встретиться на улице с Мануэлем Джисмонди и позвонил ему, притворившись, что говорю из Бордигеры, сказал, что не смогу прийти к нему на обед. Ну, что мог значить обед по сравнению со счастьем видеть Джованну, видеть ее улыбку? Джованна искренне веселилась. Куда подевалась вся ее сдержанность, скрытность, боязнь быть непохожей на синьору! Я повел ее обедать в роскошный ресторан «Вье мулэн», сначала меня чуть беспокоил ее наряд, который, однако, был несравненно лучше того платья цвета барвинка. Но потом я увидел, что все в порядке. Она... Ну, как бы тебе сказать?.. Она была сама нежность... Нет, не кокетничала... а просто держалась весело, непринужденно, порой даже шумно, и кто знает, может, и в самом деле искренне, по-товарищески. Тень на ее лице промелькнула лишь дважды: когда я попытался через стол погладить ее руку, она выдернула ее, помрачнела, стала оглядываться по сторонам и на некоторое время умолкла, перестала улыбаться. Я подумал, хотя мне это казалось маловероятным, что она боится быть узнанной. Удостоверившись, что скатерть доходит почти до самого пола, я выдвинул колено, чтобы коснуться ее ноги, но и на этот раз она столь же порывисто отвергла мое ухажи-

вание и снова помрачнела. Значит, дело не в том, что она боялась встретить знакомых.

В тот день я больше не пытался сблизиться с ней. В мои годы лучше обходиться без этого. Может, поведение Джованны означало, что она, несмотря на свою внешность, серьезная и честная девушка. С меня хватало и того, что я видел ее улыбку, когда она сидела за рулем. И я долго, долго и пристально вглядывался в ее лицо. Я был счастлив.

Вечером, когда я звонил Личии, во мне заговорило чувство вины. Она спросила меня, что я делал целый день, и обнаружила в моем ответе какую-то неуверенность. Тогда я нашел выход. Сказал ей, что отправился в Сан-Ремо к Мануэлю Джисмонди и что случайно встретил Габриэллу. «Ах вот что!» — сказала Личия. «Ради бога,— ответил я со смехом,— у нее теперь вот такой живот». Я знал, что уже вышедшая замуж Габри должна была родить через месяц-другой. Ложь успокоила Личию. И подозрения не возвращались к ней все то время, что она была в Эвиане: каждый вечер, перед тем как звонить ей, я все хорошенько обдумывал и потом следил за каждым своим словом.

То были дни, полные радости и счастья. Каждый день часам к двенадцати мы садились в машину. Я возил Джованну в Ниццу, в Канн, в Монте-Карло, в Ментону, в Алассио, в Геную, в Тенду, даже на ледник Клапье. Мы бродили по рынкам, покупали сувениры и безделушки, осматривали достопримечательности, совершали прогулки на катере. Словом, был как бы медовый месяц. Если не считать главного, то мне казалось, что я заключил договор с Мефистофелем и обрел вторую молодость. А главное? Но разве это главное? Я и без того был почти счастлив. И это «почти», эта постоянно неудовлетворенная потребность прижать ее к себе, расцеловать, погладить, даже просто прикоснуться к ней, это неудовлетворенное и постоянное желание было, должно быть, самым прекрасным, что мне выпало на долю. Любить безответно казалось чудесным; любовью было все вокруг, весь мир становился любовью, когда ночью мы прощались с ней на лестничной площадке и она отправлялась к себе, а я шел в свою комнату на противоположном конце коридора. Я утешал себя тем, что мне и без того хорошо, что я стар и что другое могло бы оказаться и мерзким и смешным. Вечером при прощании мне хотелось погладить ее волосы. Но после первой же попытки я отказался и от этого. Она мне даже этого не разрешала. Любая настойчивость привела бы к неудаче, мне пришлось бы унести в памяти жесткое и мрачное выражение ее лица вместо той сияющей улыбки, в которой и была вся радость. Конечно, мы ежедневно разъезжали, бывали в городах, в Генуе, в Ницце, Канне, Монте-Карло, и я, случалось, покупал ей подарки — платье, сумочку, шарф, духи; но каждый раз с ней приходилось подолгу спорить. Она не хотела подарков. «Что вас смущает? — спрашивал я.— Разве вам эта вещица не нравится?» — «Нет, нравится, но это ни к чему, могу и без нее обойтись». Я настаивал, она продолжала отказываться — искренне или притворно, не знаю. Кончалось всегда тем, что я покупал самую красивую и самую дорогую из тех вещей, которые нам показывали. «Это слишком, слишком,— говорила она и краснела.— Вы уже были так добры ко мне вчера. Это слишком. Я не хочу». Поначалу это сопротивление меня, конечно, радовало. Но потом, увидев, что оно не идет на убыль, а, напротив, усиливается, я стал огорчаться. Конечно, я был почти счастлив, но моя потребность добиться от нее большего была подлинной и невыдуманной. Страсть основывалась на заблуждении: мне казалось, что все пусть медленно, но движется вперед; на деле же

было не так, я питался лишь далекой, очень далекой надеждой когда-нибудь добиться ее любви. И понимал, что она каждый раз так настойчиво отвергает подарки потому, что хочет, чтоб нам обоим было ясно: мои дары в конечном счете не означают ровно ничего, она не чувствует себя ни к чему обязанной, разве что по-прежнему относится ко мне с дружеской сердечностью. Я понимал, что она не хочет связывать себя ни в близком, ни в отдаленном будущем, что она ни теперь, ни потом не станет спать со мной.

На время отсутствия Личии выпало три ее выходных дня, я глупо надеялся, что она не пожелает ими воспользоваться. Однако она, как всегда, в девять вечера исчезала и появлялась лишь утром на рассвете, а потом до двух оставалась в постели. Я дошел до того, что уговорил ее вызывать меня звонком, как слугу, я готовил ей кофе и подавал в постель. По глупости своей я еще считал себя вправе спрашивать ее, где и с кем она была. «Est-ce que ça vous regarde?»[1] — таков был ее ответ, не говоря уже о том, что после этого она несколько часов дулась.

Однажды вечером она наконец приняла приглашение, которое я напрасно повторял с самого начала нашего платонического медового месяца,— согласилась пойти со мной в кино. На ней было новое шелковое платье розовых и зеленых тонов.

Энцо описал мне ее наряд: это и было то плотно облегающее платье в цветах, в котором я видел ее в Канне, в казино.

— ...Странное платье — тоже провинциальное, но очень красивое и очень к ней шло. Она сама походила на свежий цветок, еще почти не распустившийся, твердый, плотный, в броне лепестков. Что может быть естественней, невинней и неодолимей желания держать за руку женщину, с которой сидишь рядом в темном зале кино? Но, разумеется, даже в этом мне было отказано. Я не смел и локтем ее коснуться, чтоб ощутить тепло ее руки.

Но вот мы в машине возвращаемся домой. «Вы были когда-нибудь влюблены?» — спрашиваю я. «Конечно»,— отвечает она вызывающим тоном. «А теперь вы кого-нибудь любите?» «Нет»,— говорит она без малейшего колебания. «Как, вы не любите даже своего жениха из Савоны?» — «Бросьте, с ним все давно покончено. Я не сказала об этом госпоже, чтоб не осложнять дела. Вы тоже ей, пожалуйста, ничего не говорите».— «Но вы его любили?» — «Нет».— «А прежде?» — «Как это прежде?» — «А другого любили?» — «Любила, я уже сказала. И того и еще двух-трех».— «Как же, у вас теперь никого нет?» — «А что? Разве обязательно всегда кого-нибудь иметь?» — «В ваши годы это вполне нормально».— «Нормально... А почему нормально? Бывает, что нельзя. Для меня и, думаю, для других девушек нормально не иметь никого».— «Но...» — «Не верите?» — «Верю, но удивляюсь».— «Удивляетесь? А почему? Может, потому, что я должна полюбить вас?» — «Я этого не говорил».— «Надеюсь». Словом, она была жестка и непреклонна. Слишком жестка и не подавала ни малейшей надежды.

— А что было после возвращения Личии из Эвиана?

— Личия, к моему немалому удивлению, привезла ей золотые часики «Ролекс» — купила в Женеве, прямо на заводе, такие же, как в прошлом году отдала Габриэлле. Я ничего не знал. Ни Личия, ни Джованна ни слова мне не сказали, но, конечно, они сговорились. Потом я спросил у Джованны, как только мы остались наедине, сколько стоит «Ролекс». Она не ответила. Я случайно узнал от самой Личии — ровно двести пятьдесят тысяч.

[1] Разве это вас касается? *(Франц.)*

Не помню, сколько дней мне пришлось прождать, чтобы снова оказаться вдвоем с Джованной. Она словно нарочно меня избегала. Раза два я оставался дома, отпускал Личию одну в Сан-Ремо, но в последнюю минуту Джованна незаметно исчезала... В послеобеденные часы, когда Личия спит, Джованна, зная, что я могу прийти, запиралась от меня на кухне.

В насмешку, что ли, над судьбой Личия сама помогла нашей встрече. Однажды я должен был с утра отправиться в Мортолу — счет оплатить; вдруг Личия при мне велит Джованне отвезти меня. Джованна пыталась отказаться, говорила, что поездка займет много времени, а ей еще нужно убрать комнаты. Личия сказала: «Неважно, поезжай, о комнатах я сама позабочусь». И Джованна, чтобы не вызвать у нее подозрений, вынуждена была подчиниться.

Радость, которую я испытал, снова оказавшись рядом с ней в тесной машине, невозможно вообразить. Чего бы только я не сделал для нее! Но она явно была в дурном настроении. Сидела за рулем, напряженно и молча вглядываясь в дорогу. Ее померкшее лицо казалось совершенно неподвижным: я должен был раз и навсегда понять, что везет она меня против своей воли и это ее злит. «У меня для вас кое-что есть»,— сказал я наконец. «Не знаю, что у вас там есть! — ответила она тотчас же твердым голосом, даже не взглянув в мою сторону.— Да и знать не хочу. Но запомните, что я ни в коем случае от вас ничего не возьму. Вернулась госпожа! Поиграли — и хватит». На крутом и неожиданном повороте она, резко рванув баранку, коснулась меня локтем; на худом запястье между краем перчатки и рукавом сверкнул золотой «Ролекс». «До чего они вам идут! — сказал я, показывая на часики.— Как мне жаль, что не я их вам подарил». Я вынул ее сумку из ящичка и положил в нее заранее приготовленную пачку денег. «Что вы делаете? Вы с ума сошли!» — «Здесь двести пятьдесят тысяч».— «Сейчас же заберите деньги!» — «Но почему? Что здесь дурного?» — «У вас нет повода делать мне такой подарок. Я не могу его принять».— «Джованна, мне больно слышать ваш отказ: если вы примете подарок, то не я вас, а вы меня одарите». Она не шевельнулась. Задумалась на какой-то миг или, может, мне это только показалось? Потом сказала: «Ладно. Спасибо. Только пусть это будет в последний раз. Прошу вас. Давайте кончим на этом. Если что-нибудь подобное повторится, я должна буду уволиться, конечно перед уходом рассказав обо всем хозяйке». Я пристально вглядывался в ее профиль. Лицо словно окаменело: казалось, она и прощала и угрожала одновременно, но я ей не верил.

В любом случае деньги если не улучшили ей настроение, то хотя бы заставили заговорить со мной. С этой минуты у нас с ней возобновилась болтовня — обо всем и ни о чем. Все как в прежних поездках, только веселья недоставало. Мы прибыли в Мортолу, я быстро справился со своим делом. Возвращались обратно уже в полдень, в длинной колонне легковых машин и автоприцепов. Машины часто останавливались. «Пробка» в темном туннеле... Я слегка провел ладонью по ее руке, нежно прижал ее к себе; она не возмутилась. Тогда я решил поцеловать ее. Увидев, что я наклоняю голову, она отвернулась и несколько минут сидела неподвижно, позволив мне коснуться губами лишь ее щеки. «А теперь хватит,— сказала она и, грубо оттолкнув меня, повторила: — Хватит». Мы все еще были в туннеле. «Хозяйка когда-нибудь просила у вас денег в долг?» — пробормотал я. Казалось, ее нисколько не удивил мой вопрос. «Да, иногда просила, когда шла играть».— «Часто просила?» — «Несколько раз».— «Помногу?» — «Нет».— «И возвращала?» — «Непременно».— «Быстро?» — «Дня через два-три».

Ты уже понял, ты, конечно, уже все понял, незачем тебе рассказывать. Я предложил ей то же, что раньше Габриэлле. Она должна была обещать Личии, что даст ей деньги на следующий день, когда, дескать, возьмет их в банке. Деньги, разумеется, буду давать я. Ей нужно будет только назвать мне сумму, на пальцах показать — каждый палец десять тысяч. Затем одолжить деньги Личии, но только не ту сумму, которую она просит, а чуть побольше. После того как Личия вернет долг, она сможет оставить себе половину...

В эту минуту длинная колонна машин и автоприцепов, скопившихся в туннеле, пришла в движение. В полумраке я все же отчетливо разглядел уголок ее губ — на них едва вырисовывалась улыбка. Это не Габри. Она все поняла. Но ответила не сразу. Ответила через несколько минут, когда мы уже выезжали из длинного туннеля. «Я подумаю»,— сказала она; на ее тонких губах играла веселая улыбка, сразу изменившая черты ее лица, улыбка, которая была светлее воздуха и солнца, показавшегося, когда мы наконец выехали из туннеля.

Прошло много дней. «Ну, как? — спрашивал я ее время от времени, заходя в кухню, чтоб выпить стакан воды.— Как с тем делом?» «Я сказала, что должна подумать,— отвечала она.— Не досаждайте мне. Уходите».

Больше месяца держала она меня на коротком поводке. Снова избегала встреч. Всегда серьезная, колючая, даже как будто рассерженная, она словно не хотела дольше оставаться в нашем доме и работать стала мало и плохо. Личия думала, что она добивается, чтоб мы ее уволили, и говорила мне, что скоро придется это сделать.

Наконец однажды, когда мы очутились вдвоем на кухне — Личия, как обычно, спала после обеда,— она вдруг сказала: «Кстати, комендаторе, принесите мне завтра утром четыреста тысяч лир». «Это огромная сумма»,— сказал я и добавил, что думал самое большее о ста тысячах. «Что это значит? Вам, должно быть, сдается, что я для себя требую. У меня их попросила госпожа». Я сказал: «Хорошо. Но когда она их вернет?» «Вы хотите, чтоб я вам возвратила все? Ну что ж, можно и так»,— сказала она очень естественно. Я больше не мог выносить ее тоскующего и недовольного взгляда. Ну просто потерял голову. Схватил и обнял Джованну. Она оттолкнула меня так, что я едва не упал. Но на следующий день я дал ей деньги. «Только скажите, чтобы она вернула побыстрей!» — «Уже сказано. Я ей ясно сказала, что в следующую пятницу деньги мне непременно понадобятся. К сожалению, они мне действительно будут нужны. Это мой выходной, и я поеду в Ментону: надо послать деньги в Пиа-ди-Корте, там у меня мать, она больна, деньги нужны на операцию, ей должны, как это сказать по-итальянски, оперировать la vésicule biliaire». В эту минуту все казалось правдой. Я даже заглянул в словарь. Vésicule biliaire — это желчный пузырь.

В четверг утром Личия вся в слезах говорит мне, что одолжила двести тысяч у крупье и должна вернуть их сегодня до полуночи. Раньше мне не сказала, потому что надеялась отыграться рядом с зеро — 26, 32, 15 и 3... даже ставила конь-зеро-три в рулетку и на столе. Такая надежная комбинация! Не могла не получиться! Так нет же... Я сразу выписал чек. Вечером он оказался в руках у Джованны. Возвращая его, она холодно сказала: «Берите свою половину».— «А ваша?» — «Свою я возьму, когда синьора отдаст мне следующие двести тысяч: сейчас у нее больше денег нет».— «Но разве вам не нужно их завтра выслать матери?» — «Конечно нужно, я пошлю свои».

Я отдал ей эти деньги. «Спасибо»,— процедила она сквозь зубы и отстранила меня от себя рукой. Я спросил у нее, почему она со

мной так жестока. Неужели мне не на что, совсем не на что надеяться, даже в будущем? «Jamais [1]. Разве я вам что-нибудь обещала? Что именно? Хотите забрать обратно свои деньги? Вот они. Берите, прошу вас».— «Оставьте их себе. Потом отдадите мне вторую половину».

С тех пор пошла у нас другая жизнь, словно наш мир выкрасили в другую краску. И так было не только для меня. Думаю, для Личии и для Джованны тоже. Смотря по везению или, верней, по невезению, то есть с разными промежутками, но в общем-то непрерывно Личия брала у Джованны деньги и отдавала, но всегда отдавала меньше, чем брала, и долг ее рос. В доме все изменилось. Личия совсем по-другому обращалась теперь с Джованной, была с ней все уважительней, терпимей. А когда мы оставались вдвоем, жаловалась на нее по-прежнему. Она теперь не ругала Джованну, когда та поздно вставала, об увольнении и речи не было. Теперь Личия сама подавала ей кофе в комнату. Ради этого ей приходилось подниматься пораньше. Если я случайно настигал ее в коридоре, она считала нужным оправдаться: «Знаешь, выпьет она кофе, и сразу сон пройдет. В конце концов она молода и любит поспать. Нужно быть терпимее». Однажды Личия предложила мне перевести Джованну в другую комнату, комнату для гостей, лучшую в доме, угловую, с двумя окнами в сад. Там была проводка для телефона. С тех пор по вечерам Джованна забирала аппарат из гостиной или из комнаты Личии и переносила его к себе. У нее телефон оставался и по утрам. Звонила она очень часто, звонила и в дальние города — то через междугородную, то по автомату. Месячный счет за телефон вырос в два или три раза. Я подумал, что вызову у Личии подозрения, если не расскажу об этом. Я показал ей счет и притворился рассерженным. «Ты прав,— сказала она.— Я сама этим займусь: дай мне счет, я получу с нее не меньше половины.— Она взяла у меня прежние счета, пришедшие до того, как Джованна переселилась в комнату для гостей.— Так она поймет, что дело лишь в справедливости». На следующий день Личия вернула мне счет и деньги. «Вот видишь, она без всяких разговоров заплатила». От Джованны я узнал, что Личия в самом деле показала ей счет и заявила, что я в ярости и требую оплаты двух третей, но ей незачем беспокоиться, она сама заплатит и просит ее считать это дружеским процентом к тому долгу, который все рос и за который Джованна не требовала никаких процентов. Я видел, что Личия истерзана. Клянусь тебе, даже если ты сочтешь меня лицемером, я терзался и сам. По правде говоря, все это меня и мучило и радовало одновременно. Я не мог глаз поднять на Личию — она была такой озабоченной, измученной, издерганной. Но я тотчас же видел перед собой улыбку Джованны, а глядя на то, как улыбается Джованна, не мог не припомнить страдальческого лица Личии. Это порочно, знаю. Порочно, жестоко, преступно, говори что хочешь. Но во всем этом было для меня нечто новое, притягательное; я мог бы этому противиться, если б Джованна была хоть чуть любезней со мной, хоть чуть податливей, если б она разрешила себя поцеловать или надежду подала... Я почти уверен, что, случись это, и я не смог бы дольше видеть, как страдает Личия. Тогда же ее муки были словно успокоением моих терзаний, возмещением моего бессилия, моих неудовлетворенных и отчаянных желаний. Мне это казалось справедливым. В этом смешении боли и наслаждения, в этом запутанном клубке мне даже чудилось, будто мое чувство к Личии (говорю «чувство», потому что стыжусь говорить о любви — ведь нельзя желать зла тому, кого любишь), мое чувство к Личии временами как бы крепло, становилось живее, глубже, полней, словно я

[1] Никогда *(франц.)*.

лишь теперь убедился, что с самого начала мне чего-то не хватало, может, чего-то очень скверного, но это «что-то» я наконец обрел.

В те дни в Бордигеру приехала группа документалистов, которые снимали фильм о памятниках стиля «либерти». Я знал оператора, может, и ты его знаешь — еще молодой, красивый мужчина, зовут его Мериги-Мейер. Режиссер был отъявленным гомосексуалистом. Они попросили разрешения снять несколько сцен в нашем доме. Джованна пришла в восторг: помогала рабочим, непрерывно готовила свежий кофе, подавала аперитивы, не отходила от киношников. Я сразу заметил, что они с кинооператором понравились друг другу. В первую же ночь они уже спали вместе. Я это понял, потому что Джованна ушла и вернулась лишь на рассвете, а у оператора утром были огромные лиловые круги под глазами — свидетельство бурно проведенной ночи. Никаких перемен на лице у Джованны, в ее манере улыбаться я не обнаружил; только ее походка, когда она подавала в гостиную кофе оператору и режиссеру, оживленность и игривость ее жестов и особенно та уверенность, которая в ней появлялась, когда он пристально на нее глядел, свидетельствовали о радости ее победы надо мной, о ее торжестве. Видишь, как бы говорила она, ему, первому встречному,— все и сразу, а тебе, старикашке, нет и навсегда нет. Наверно, будь я помоложе, исколотил бы ее как следует — так хотелось услышать от нее признание.

Когда группа уехала, я всю свою злость выместил на Личии. В выходной день Джованны я отправился в Сан-Ремо, сославшись на то, что мне нужно посоветоваться с Мануэлем Джисмонди насчет закладной. Я знал, что Джованна, как всегда, уйдет на ночь, а утро и полдень проведет дома, будет спать или просто отлеживаться. Я не знал точно, что должно было произойти, но кое о чем догадывался и кое на что рассчитывал... Был ряд незначительных примет — например, то, что Личия теперь регулярно подавала кофе ей в комнату, или их перешептывания за закрытой дверью... Джованна говорила по-французски, обращалась к ней на «ты» и по имени... Словом, я надеялся, что без моего лишь тормозившего дело присутствия они автоматически поменяются ролями. Личия станет прислугой, а Джованна — хозяйкой.

Наконец представился случай, которого я ждал. Личия пошла к врачу, я остался один с Джованной.

Должен сказать тебе, что группа, закончив съемки в нашем доме, еще на несколько дней задержалась в районе Бордигеры и Сан-Ремо: снимали другие виллы и старые заброшенные гостиницы. Однажды на рассвете я из окна увидел, как Джованна подъехала к дому на «ягуаре», принадлежавшем Мериги-Мейеру. Носильщик из гостиницы, которого я случайно знал, рассказал мне, что все эти ночи она проводила с ним в маленькой гостинице вблизи Валлекрозии.

Прошло уже несколько недель, но я все еще страдал невыносимо, хоть и казался спокойней.

Я постучал в дверь ее комнаты. Она была заперта на ключ. Наконец Джованна впустила меня. Я вошел и сказал, что мне нужно с ней поговорить.

«Ладно, но только побыстрей. Vite, allez-y dépêchez-vous» [1].

Я ответил, что все будет зависеть от нее. И спокойно попросил ее не лгать. Мне только нужно знать, что у нее было с этим Мериги-Мейером. «Foutez-moi le camp tout de suite. Vous-êtes fou» [2].— И она

[1] Ну, давайте, только быстрей, поторапливайтесь *(франц.)*.
[2] Немедленно убирайтесь. Вы с ума сошли *(франц.)*.

оттолкнула меня к двери. Но еще больше оскорбила меня грубость ее тона... Внезапно я вышел из себя. Цепко схватил ее за руки и ответил ей так же грубо: «Ну, конечно, ты с ним спала, я просто вижу, как все это было... Ты легла к нему в постель! Ты потаскуха! Ты знаешь, что такое потаскуха? Ты бывала у него каждую ночь... Ну да, ты, конечно, не считала ночей...»

Онемев от ярости, она вырывалась из моих рук, царапалась, плевала мне в лицо. Но стоило мне ее отпустить, как она сразу подошла к зеркалу, чтобы привести себя в порядок. Я уселся в кресло, тяжело дыша. Она молчала. Пораженный ее неожиданным спокойствием и почти испуганный собственным поведением, молчал и я. Мне стало ясно, что все, что я предпринимал до сих пор, было ошибкой: с Джованной с самого начала следовало обращаться так, как сегодня. А в то же время я понимал, что это больше не повторится: не было ни сил, ни желания. И я, как обычно, распустил слюни. Неужели она в будущем не может хоть чуточку меня полюбить? «Исключено».— «Но могу я хоть надеяться?» «Нет,— сказала она, расчесывая волосы, но после непродолжительной паузы добавила: — Может быть только одна возможность...» — «Джованна, говорите! Ради вас я готов на все, и вы это знаете».— «Пока что я еще ничего не могу сказать. Может... настанет день...»

Впервые после долгих месяцев в ее сопротивлении появилась маленькая, едва заметная трещина. И впервые я, сам не знаю почему, почувствовал, что за этим упорством кроется продуманный план, точная программа, которую она осуществляет.

— Может быть, эту программу, этот самый план ей кто-то внушил? — намекнул я, решив, что настало время рассказать об Ардженте.

— Почему ты так думаешь? Мне это никогда не приходило в голову. Много дней, а может, и недель она не желала даже взглянуть на меня. Но к этому я уже привык. Она избегала меня — могла улыбнуться Личии, только не мне. Хотела отомстить мне за оскорбление или, может, за то, что я не осмелился довести дело до конца. И все же я чувствовал, что близится минута, когда Джованна снова смягчится, и эта минута придет, когда я меньше всего буду ее ожидать.

Стоял конец июля. Личия разрешила ей в послеобеденное время ходить на пляж. Она купалась в одном из самых дорогих пляжных заведений где-то за Оспедалетти, за Капо Неро, и возвращалась домой только к ночи. Мы тоже уезжали из дому в семь по летнему времени [1] и вместо домашнего ужина ели наспех в баре возле казино. В один из вечеров Личия села за рулетку и сразу стала выигрывать. Ей три раза кряду повезло на коне-зеро-три, потом она поставила на «плен», на коня, на карре. Везение продолжалось: она выигрывала каждые две ставки из трех. Я, как всегда, расхаживал по залу, любовался закатом с террасы — ты знаешь, я ведь никогда не играю, разве мало одного игрока в семье? Потом возвращался к Личии и видел, что она продолжает выигрывать. Но странно, стоило мне появиться у нее за спиной, как начинался проигрыш. Едва я отходил, она снова выигрывала. Эта штука повторилась дважды, а затем Личия — ну, ты знаешь ее манеру — сказала мне: «Слушай, старик, разве ты не видишь, что приносишь беду? Садись на автобус и уезжай домой. Ты уж меня извини». Я ответил ей спокойно и любезно, на этот раз позволив себе подать совет (этого я никогда не делаю, чтобы не выводить ее из себя): «Понемногу снижай ставки. И выходи из игры. Возвращайся пораньше».— «Иди ты... И не беспокойся».

[1] В Италии летом время передвигают на один час вперед.

Я безрассудно отдался во власть своему безумию. Взял такси и успел доехать до пляжа прежде, чем стемнело. Мне еще ни разу не доводилось видеть Джованну в купальном костюме, и думал я только об этом. Сгорал от желания, хоть и был уверен, что застану ее не одну; в лучшем случае с каким-нибудь случайным и неизбежным знакомым, раз уж она бывает здесь каждый вечер.

Я сразу же обнаружил ее в баре, среди молодых людей и девушек, потягивавших аперитивы. Она была в коротком, доходившем только до бедер халатике из голубоватой махровой ткани. Как и все здесь, она громко смеялась, о чем-то рассказывая. Меня она заметила тотчас же и поздоровалась со мной, продолжая смеяться; неудовольствия она не выказала, хотя, конечно, поняла, что я приехал, чтобы увидеть ее.

Я не подошел к ней, заказал себе аперитив, сел за столик у самых перил так, чтоб не терять ее из виду. Со стороны казалось, что я пришел сюда полюбоваться предзакатными лучами солнца. Она меня тоже не выпускала из виду. Продолжая шутить и смеяться с молодежью, она временами окидывала меня пристальным взглядом, замегным лишь мне.

Я ровно ни на что не надеялся. Знал, что с минуты на минуту эта веселая компания разойдется или разобьется на группки и пары, все они пойдут переодеваться в кабины и Джованна отправится в кино или на ужин с одним из них. Я разглядывал ее красивые, не худые и не полные икры, ее изумительные загорелые ноги, мускулистые при ее росте и все же изящные, и был счастлив тем, что могу видеть ее хоть на расстоянии, хоть среди других, могу видеть и слышать, как она смеется. Хотелось, чтобы эти минуты никогда не кончались. Я заботился только о том, чтоб не глядеть на нее чересчур пристально, и временами ненадолго отводил взгляд в сторону, любовался красотой моря, которое отсюда казалось еще прекрасней — в его спокойной воде отражались все цвета неба. Но и глядя на море, я думал только о ней: один из режиссеров моих времен, чтоб показать то, что испытывал я, заснял бы ноги Джованны на фоне моря. Но это было бы ошибкой. Сами краски моря были Джованной, были радостью от того, что я ее вижу, а море было лиловым и глянцевитым, как круги под глазами у Мериги-Мейера. Глядя на море, я не переставал прислушиваться к говору молодежи, различал ее голос среди других голосов, ее смех среди смеха других.

Во время одной из этих вынужденных пауз, покуда я разглядывал море, компания стала расходиться. Вот и последние отошли от стойки, Джованна тоже куда-то исчезла. Я оставался на месте, грустил и отчаивался, решив дождаться, когда появится полная луна, уже видневшаяся где-то над Генуей. Я и накануне долго глядел на луну из своего окна, дожидаясь возвращения Джованны. По глупости я поверил ей и эту свою слабость, надеясь, что она, проходя садом, когда-нибудь взглянет наверх.

Она, конечно, не могла об этом позабыть — обманывал я себя. И даже когда она, проходя аллеей, с неестественным упорством глядела себе под ноги, это казалось мне доказательством того, что она думает обо мне, и приносило мне горькое утешение.

Пляж опустел, погасли огни. Вдруг я увидел Джованну. Она бежала к морю, одна. Шапочка для купанья, лифчик, трусики — все белое, все оттеняет загорелую кожу в фиолетовом, почти фосфоресцирующем свете заката. Она окунулась и быстро поплыла. Вдали и слева от меня в море уже видны были отблески луны.

Я спокойно спустился по ступенькам бара. Стал вглядываться в гемень, скрывавшую теперь кабины и души, рассчитывая заметить

того, кто, конечно, остался и ждет ее, а может, сейчас поплывет за ней следом. Но не было никого. На песке лежал голубой халатик, который она сбросила перед тем, как войти в воду. Я и теперь ни на что не надеялся. Но решил подождать — пусть она выйдет из моря. Я все еще оглядывался по сторонам, уверенный, что кто-нибудь ее дожидается.

Но вот Джованна вернулась. Подобрала халатик и быстрыми шагами пошла по берегу. На море была почти полная гладь, лишь изредка волна легко разбивалась о берег. Я глядел на приближавшуюся ко мне белую купальную шапочку и вспоминал Антиньяно, под Ливорно, где еще ребенком плавал в море; там на пляже, припомнил я, летом, в такие же вечера, только и довелось мне испытать это чувство покоя, счастья, мира. Между той и нынешней минутой пролегла вся моя жизнь. Тогда ощущение покоя было пронизано смутным, но огромным и твердым ожиданием радости, такой, на какую только способно было мое воображение. Теперь надежд совсем осталось мало, разве что приближавшаяся ко мне белая шапочка. Но даже эта надежда была жизнью. Страдания, которые доставила и еще доставит мне Джованна, были частью безграничной радости ожидания, хоть я и знал, что оно окажется напрасным. Я думал о Личии. Подлинная радость, должно быть, заключена в желании, а не в осуществлении желания. Я всегда считал, что старости нет, есть только жизнь. Личия в эту минуту в игорном доме страдает и наслаждается в то же время — и по-своему продолжает жить. Мне было жаль ее, и все же я не колеблясь обрекал ее на эти пытки ради того, чтобы еще сильнее желать Джованну.

Вот я уже могу разглядеть ее колени, вот я вижу, как она снимает шапочку и идет мне навстречу. Когда она подошла совсем близко, я неожиданно для самого себя обнаружил, что ее не раздражает и не удивляет то, что я остался ее ждать. Видеть ее загорелую гладкую кожу в струйках и каплях воды... С какой жадностью глядел я на нее в ту минуту. Она повернулась ко мне спиной и дала мне набросить на себя халатик, словно это было не только естественным, но привычным делом, словно я все эти вечера поджидал на берегу ее выхода из моря, с халатом в руках. У нее было плотное, мускулистое, почти как у мужчины, тело. Я спросил у нее, одна ли она, не ждет ли ее кто-нибудь. «Нет, никто не ждет. Разве это вас огорчает?» — спросила она резко. «А вас? — спросил я.— Вас не огорчает, что я здесь?» — «Я бы прямо сказала вам. Что вы делаете сегодня вечером?» — «Все, что прикажете».— «Но мы не можем показываться вдвоем. Кроме того, я сыта».— «Я тоже».— «Приму душ и сейчас же вернусь. Ждите меня в баре».— «А его не закроют?» — «Они закрывают в полночь. Сейчас там еще есть посетители». Я вернулся к своему столику, заказал еще один аперитив. Ее серьезность и решительность снова навели меня на мысль, что она действует по заранее продуманному плану. Но в чем этот план?

Она быстро вернулась, подошла к стойке и, взяв рюмку горького вермута, села за мой столик, но не лицом ко мне, как в те дни, которые мы проводили с ней, пока Личия была в Эвиане, а рядом, так, чтобы говорить со мной вполголоса. Мы сидели при свете луны и видели море рядом с нами, озаренное ее лучами. Джованна была со мной, лицо ее казалось мокрым. «Вы даже не вытерлись как следует»,— сказал я, подавая ей свой платок. «Спасибо»,— ответила она, и тут только я понял, что лицо ее было мокрым от слез. «В чем дело, Джованна? Только что вы смеялись, были так веселы!» «Смеюсь через силу,— сказала она и зарыдала, прикрыв лицо платком.— Вы ничего обо мне не знаете, ну ровно ничего не знаете о моей жизни.

Que je suis malheureuse! До чего я несчастна! Я вам никогда не рассказывала, да и к чему говорить, но вы должны знать, что в Пиа-ди-Корте у меня дочка — Луиза, чудесная девочка, ей всего четыре годика...»

И она рассказала мне длинную историю, похожую на другие истории подобного рода настолько, что мне казалось, будто я уже однажды ее слышал. История вообще-то весьма правдоподобная, но, конечно, звучавшая фальшиво. Новизна и прелесть ее состояли лишь в том, что рассказывала ее Джованна.

Итак, «он» обещал жениться, но в один прекрасный день исчез. Все розыски оказались тщетными. Кто говорил, что он записался в Иностранный легион, кто рассказывал, что он avec les mercénaires au Congo [1], кто, напротив, утверждал, что он эмигрировал в Канаду... Дрянь, un vaurien, un salaud[2]. Тем временем умер отец Джованны. Брат работал в Бастии, но оставил семью в деревне, семья большая, четверо маленьких детей, куда уж ему заботиться о племяннице. Трудно даже себе представить, какая на Корсике нищета. В Пиа-ди-Корте в домах нет воды, даже электричество не везде есть, только у богачей центральное отопление, а зимы холодные. Ей пришлось взять на себя заботы о ребенке и матери, старой и больной. Нет, она не родилась для такой жизни. После смерти отца пришлось на что-то решаться: она отправилась в Марсель, поступила в гостиницу. Иного выхода не было. Выйти замуж? Да, может быть, ей следовало это сделать. И предложения были, и не одно — «je ne suis ni laide, ni antipatique» [3]. Из тех, кто предлагал ей выйти за него, лишь двое-трое казались ей сносными, однако все отказывались, когда подходило время и они узнавали о ребенке. Соглашались, несмотря на ребенка, лишь те, кто не нравился ей самой, с кем казалось невозможно жить. Пришлось по-прежнему работать. Потом была связь с этим итальянцем, с поваром из Савоны, но она продлилась недолго. Она сама порвала с ним через два месяца. Поняла, что он impossible [4]. Да, конечно, у нас в доме ей было хорошо, зарабатывала она меньше, чем в гостиницах, но и работа не такая трудная. К тому же я ей помогал. Она мне за это глубоко признательна...

Рука ее лежала на столике, я положил на нее свою ладонь. Впервые это не вызвало возмущения Джованны. Я долго и нежно гладил ее руку. Она и тут не противилась.

Моя любезность, моя доброта и доброта хозяйки превратили ее жизнь в Бордигере в сказку, в рай, несравнимый с каторжным существованием в гостиницах Сен-Тропеза... Но денег не хватает. Не хватает и тех денег, которые ей возвращает Личия. Она их откладывает, но все равно не хватает. Нет уверенности в будущем, мать все сильней хворает, девочка требует забот и внимания... Если мать скончается, на кого тогда оставить Луизу? Придется отдать ее в приют. Но она не желает, не хочет воспитывать дочь в приюте... Ее дочь должна вырасти, должна стать хорошей, образованной, честной девушкой. Она хочет, чтобы дочь была с ней. Но для этого... Для этого...

Тут она снова принялась плакать и едва могла говорить из-за рыданий. Недавно опять появился этот итальянец из Савоны. По-прежнему влюблен, по-прежнему на все согласен, по-прежнему готов на ней жениться. И, к сожалению, она не видит выхода. Хотя бы из уважения к хозяйке она не может жить у нас на прежних условиях... Это так нехорошо... Нет, есть лишь один выход. Разве что...

---

[1] С наемниками в Конго *(франц.)*.
[2] Ничтожество, мерзавец *(франц.)*.
[3] Я не уродлива и не противна *(франц.)*.
[4] Непереносим *(франц.)*.

Не знаю, был ли я влюблен в нее... Если и был, то ясности ума я не утратил. Никогда ее не терял. Сохранял ее и в тот вечер в баре, при свете луны, когда Джованна продолжала сквозь слезы свой рассказ. Ее история растрогала и меня, но все же я говорил себе — это неправда или еще не вся правда. И по-прежнему считал, что у нее что-то на уме. Вот почему, когда она сказала: «Разве что...» и сразу умолкла, я не удивился и тотчас же спросил: «Что именно, Джованна?» — «Разве что у меня появится прочная основа, уверенность в будущем, что-нибудь надежное, на что можно рассчитывать».— «Значит, обеспеченность? — Она кивнула головой и пристально посмотрела на меня сквозь слезы.— Если бы я, к примеру, застраховал свою жизнь на твое имя?..»

Я точно запомнил ее ответ: «Это было бы просто замечательно: ты бы доказал, что любишь меня на деле, а не на словах. И тогда я доказала бы тебе, что умею быть признательной». Быстрота ее ответа говорила, что я не ошибся: у нее есть какой-то план. Но я тоже был наготове. Объяснил ей, что в мои годы, несмотря на крепкое здоровье, абсурдно страховать жизнь, что для этого ежегодно придется платить огромные взносы, мне таких денег просто не найти. «Понимаю,— сказала она мягко.— Но если вы снова станете работать, сниметесь в этом фильме для телевидения, может быть, тогда... И, разумеется, если страховка будет, я скажу хозяйке, что больше не смогу одолжить ей ни единой лиры. Тогда вам незачем будет выбрасывать деньги на ветер. Конечно, хозяйка должна прекратить игру или играть гораздо меньше. Так будет лучше для всех, не правда ли?»

Я сказал ей, что подумаю насчет этой страховки, выясню все как следует. Тем временем я ее предупредил, что у Личии сегодня вечером большой выигрыш: когда я уходил из игорного дома, у нее уже было два миллиона. Если она после моего ухода не проиграла все, то сможет вернуть ей пусть не весь долг, но по крайней мере часть — то есть ту половину, которая, как мы договорились, принадлежит ей, Джованне. Я придумаю, как сообщить ей об этом завтра утром. Если все будет так, как я думаю, она должна не колеблясь немедленно забрать себе эти деньги.

Бывает порой, что и в рулетку выигрывают. Я уже лежал в постели, довольный тем, что и Джованна на этот раз тоже была дома. Лежал и всерьез обдумывал возможность этой страховки на ее имя... Мысли в полусне мешались, и я не исключал даже того, что, когда я застрахуюсь, Джованна решится меня прикончить. Но я готов был умереть ради нее. Вернулась Личия. Она выиграла три с половиной миллиона и казалась счастливой.

Я заметил, что самолет уже начал снижаться. Голос стюардессы сообщил по радио, что через несколько минут мы приземлимся в Ницце. Сквозь иллюминатор можно было разглядеть яркие краски побережья; в Риме мы оставили дождь — здесь стояла отличная погода.

— Джованна получила свои деньги—положенную ей половину, и я тоже вернул себе значительную часть того, что вложил. Только скоро все пошло по-прежнему. В конце сентября Личия стала снова просить у нее денег. Джованна одалживала, а я расплачивался. К тому времени я, ничего не сообщая Личии, заложил уже половину виллы. Джованна говорила мне, что тянет с ответом повару, и настаивала на страховке. Я же выяснил, какие взносы мне придется платить. Огромные суммы, немыслимые, даже если я сыграю роль Пипле. И все же я решился на это, хотя знал, что первый взнос пропадет, если я вовремя не внесу второй.

— Решился, веря, что она после первого взноса сдержит свое обещание, докажет тебе свою признательность? Не так ли?

— Знаешь, что она мне сказала в тот день, когда ты позвонил из Рима, чтобы вызвать меня на пробу? Личия переодевалась у себя в комнате, чтобы проводить меня на вокзал. Мы с Джованной были внизу, в кухне: я зашел попрощаться, нам оставались одна-две минуты. Джованна сама... сама поцеловала меня и сказала: «Через двадцать лет, когда ты умрешь, я буду приносить цветы на твою могилу в Лупи». Ничто не могло бы обрадовать меня больше. Меня потянуло к ней так, словно я стал на двадцать лет моложе. Я на миг позже, чем нужно, услышал, как открылась дверь в комнате Личии на верхнем этаже, хотя до того внимательно прислушивался и был настороже с той самой минуты, когда вошел в кухню. Я быстро закрыл за собой дверь и вышел в холл. Личия уже спускалась по лестнице. Я не уверен, поняла ли она, что я вышел в холл из кухни, а не из гостиной. Вдобавок свет в гостиной был погашен.

Лишь позже я спросил себя, откуда Джованна могла узнать о нашем семейном склепе и даже выяснить, как называется кладбище в Ливорно. Конечно, просто забыл. Должно быть, я при ней говорил с Личией об этом кладбище в Лупи. А может, Личия ей рассказала. Они ведь, несмотря ни на что, дружат. Долги Личии их как-то сблизили.

Но не в этом беда. Я очень встревожился, когда Мануэль вчера вечером по телефону сказал мне, что Личия той же ночью покинула Бордигеру на машине и отправилась в Триест, а Джованна исчезла.

Личия, когда мы прощались с ней на вокзале в Вентимилье, была холодна и равнодушна, и я тогда еще подумал, что, быть может, она что-то заподозрила, спускаясь по лестнице. Боюсь, что после моего отъезда Личия и Джованна объяснились. Может, Джованна сказала ей, что деньги, которые она ей одалживает, идут от меня. Но что случилось с Джованной? Где она? Почему карабинеры хотят меня допросить?

«Что бы ни случилось,— подумал я,— нужно любой ценой помешать ему застраховаться на ее имя».

— Послушай, Энцо. Кое о чем и я должен тебе сообщить. Я знаю об этом случайно, а ты наверняка и вовсе не знаешь. Это касается Джованны.

Я увидел, с какой тревогой он меня слушает, и решил подсластить пилюлю. Будучи в Бордигере, я увидел Джованну на лестнице, увидел и узнал, потому что ночью, за несколько часов до того, повстречал ее в игорном доме в Канне. Она была с Никки Арджентой.

— Значит,— заключил я,— она не та полусерьезная, полунаивная девушка и не та невинная жертва, за которую ты ее принимаешь. Будь очень осторожен.

— С Никки Арджентой?! Ты уверен, что она была именно с ним?

— Уверен, как я уверен в том, что мы — это мы, или в том, что мы сейчас садимся в Ницце и что там внизу видны огни аэропорта.

— Это все меняет. С прошлой зимы Арджента больше у нас не бывал. Иной раз я мельком видел его в казино, в Сан-Ремо. Но он перестал нас навещать... А прежде, бывало, часто завтракал у нас. Теперь мне многое понятно. Почему ты мне об этом раньше не сказал?

Я извинился: ведь шли пробы. Я ничего не знал об его абсурдных отношениях с Джованной. Даже представить себе не мог ничего подобного. И не хотел его волновать. Большие капли пота покрыли его лысину, он машинально вытирал их платком. Судя по всему, он был потрясен. Может, это начало его спасения.

Мы вышли из самолета. Воздух был сухим и холодным. Сильно дул мистраль, разогнавший тучи и дождь. Сверкали звезды. Орион уже появился на горизонте. Мы вошли в зал аэропорта. Таможенный

досмотр еще не начался. Ждали багажа. Энцо подошел, вцепился в меня, словно молил о помощи.

— Ты видишь, кто ждет нас вместе с Мануэлем Джисмонди?

Я ответил, что не знаком с Мануэлем Джисмонди.

— Но второго ты знаешь,— сказал Энцо дрожащим голосом.

Я обернулся. По ту сторону барьера рядом с низеньким, худощавым и бледным пожилым господином в темном костюме стоял Никки Арджента, неподвижный, собранный, серьезный, с необычным для него выражением лица. Он пристально глядел на нас. Я поздоровался с ним. Он ответил, даже не улыбнувшись, просто кивнул головой. Он был тщательно причесан, волосы с проседью сверкали. Все, как положено старому сутенеру.

V

Вскоре мы узнали причину появления Ардженты в аэропорту. Мы, собственно, могли бы узнать о ней из вечерних газет еще на борту самолета. Шторм, бушевавший с воскресенья вдоль всей Западной Ривьеры, стал стихать прошлой ночью; на рассвете у провала Капо Неро, среди скал, обнаружили малолитражку и в ней труп Джованны Сивьери, французской гражданки. Арджента позвонил Мелькиорри, потом Джисмонди. Джисмонди ему сообщил, что Личия в Триесте, а Энцо в Риме, но прибывает в Ниццу вечерним самолетом.

Карабинеры ждали Мелькиорри, который должен был опознать труп. Личность убитой была установлена только по размокшим в морской воде документам, обнаруженным в сумочке. Несчастный случай был не из числа обычных, но объяснялся ураганом, который пронесся в этих местах как раз в те часы, когда, по заключению врачей, девушку захлестнули волны. Плохая видимость из-за ливня, возможно, испорченные тормоза... Машина, скользнув по кривой, должно быть, свалилась с шоссе в том месте, где шли ремонтные работы; низкая ограда была, вне сомнения, разрушена ураганом. Именно там работы только начинались. Склон был почти голый, без деревьев, которые могли бы предотвратить падение машины. Следы остались четкие: раздавленные кусты, прижатые к земле ветки, щебень и комки земли, докатившиеся до самой скалы. Легкая машина несколько раз подскакивала на камнях и очутилась в море на некотором расстоянии от берега, в довольно глубоком месте. Там она пролежала три дня, не замеченная никем, пока море не успокоилось. В то утро, на самом рассвете, ее обнаружил рыбак, известивший карабинеров.

Обо всем этом можно было узнать из вечерних газет. Их принес Мануэль Джисмонди, который сам знал не больше, чем было в газетах. Мы, стоя у выхода, быстро прочли их, с трудом разворачивая страницы на ветру. Тем временем Джисмонди и Арджента отправились за своими машинами. Энцо прошептал:

— Не знаю, прочла ли уже Личия.

— Ты знаешь адрес сестры в Триесте? Пошли ей телеграмму — пусть позвонит завтра.

— Может, не стоит? — сказал он.

— Нет, почему же?

Джисмонди и Арджента подъехали. Энцо не успел ответить на мой вопрос.

— Ты знаешь, что я был с ней знаком,— сказал мне Арджента после непродолжительной паузы; сказал с невыносимо фальшивой интонацией — так всегда с ним бывало на съемках, и мне постоянно приходилось делать дубль. В его голосе должна была звучать боль,

а прозвучала лишь злоба.— Энцо и Личия об этом не знали. Я познакомился с ней случайно у них в доме — приехал, а их не оказалось. Она стала моей подругой. Я очень любил ее. Быть может... если б я добился этого проклятого развода, которого жду вот уже годы... быть может, я бы женился на ней. Тебя удивляет, что я собирался жениться на горничной? Но это была чудесная девушка, образованная, воспитанная, тонкая. К тому же я начинаю стареть. Мне именно такая женщина была нужна. Ты удивлен, что я позволял ей работать. Но ты прекрасно знаешь, что я годами не снимаюсь. По-прежнему держусь на поверхности, of course! Но не думай, что мне приходится легко. И она не хотела жить со мной без девочки. У нее была девочка, где-то там в деревне, на Корсике. А я, to tell you the truth[1], не хотел ее брать к себе... Впрочем, может, и на это бы пошел. Я ошибся, теперь меня мучает совесть: я бы спас ее. У Мелькиорри ей жилось хорошо и работать приходилось немного. Но когда-нибудь это должно было кончиться. И вот что устроила жизнь. Ни Мелькиорри, ни его жене я никогда ничего не говорил; ты сам понимаешь почему. Но здесь в аэропорту я адвокату выложил все. Энцо уже знает. Я встречался с ней постоянно; когда бывал здесь — ежедневно. Я только что вернулся из Швейцарии, гостил у друзей. Клянусь тебе, если бы я вернулся на два дня раньше, этого бы не случилось. Вот что значит судьба!

— Но несчастье могло произойти, даже если бы ты был здесь.

— Нет, дорогой мой, нет. Во-первых, когда я бывал здесь, она ездила только на моей машине. И я сидел за рулем, но тут... тут другое... другое... Я знал о ней все. Понимаешь, все. No, no, you can take my word for that [2]. Клянусь тебе, ничего бы не случилось. Господи, я клянусь тебе. Но я этого так не оставлю!

Я сказал, что перестаю его понимать. Бедная девушка погибла. Что же теперь делать?

— Не понимаешь, потому что не знаешь. Ты ничего не знаешь. Теперь за дело примусь я. Только я — и никто другой.

Да, я многого не знал. Но кое о чем догадывался. И все это было столь чудовищно и страшно, что я, особенно в ту минуту, не мог об этом даже подумать. Мне не хватило мужества выяснить и понять, что имеет в виду Арджента. Но зная его слишком хорошо, я был уверен, что он преднамеренно заговорил со мной таким тоном. Его слова были взвешены и рассчитаны.

Карабинеры ждали нас. Они вместе с Энцо и Джисмонди отправились в морг. Арджента и я ждали снаружи.

Энцо вышел оттуда. Он молчал, казался даже слишком спокойным. Мануэль Джисмонди пробормотал:

— Опознать можно, хотя тело так изуродовано... Она перенесла ужасные муки, пытаясь выскочить из падавшей в пропасть машины.

Джисмонди предложил Энцо переночевать у него в Сан-Ремо. Но Энцо сказал, что страшно устал и что ему нужно добраться до своей постели, передохнуть.

Я снова увидел виллу на улице Сан-Бернардо. Вспомнил о странном впечатлении, которое она на меня произвела в прошлый раз, о том, как я уходил отсюда, встревоженный после того, как позволил себе так неосторожно подглядывать за Джованной. Мне стоило немалых усилий убедить себя, что так было на самом деле. Сейчас мне казалось, что я припоминаю сон, галлюцинацию. Но Джованна говорила со мной, даже шутила, даже звала обратно в дом. Теперь она траги-

[1] По правде говоря *(англ.)*.
[2] Нет, нет, можешь мне поверить *(англ.)*.

чески погибла. Теперь я знал, что происходило за этими покрытыми пылью и заброшенными цветами, за поблекшими занавесками, за стенами с обваливавшейся штукатуркой. Мне раскрылась тревожная тайна.

Энцо открыл калитку. Мы втроем, хоть он и возражал, проводили его до дверей. Ночная темень сада, вспышки далеких огней на шоссе, изысканная причудливость украшений в стиле «либерти» придавали вилле вид мрачной театральной декорации.

На прощание я обнял Энцо. Он снова прижался ко мне, как в ту минуту на таможне, словно молил меня о помощи.

— Держись,— сказал я ему,— позвоню тебе, как только доберусь до Ниццы. Мы скоро снова встретимся. Не волнуйся, проба у тебя вышла хорошо.

Мы распрощались с Мелькиорри в час ночи. Я объяснил Мануэлю Джисмонди и Ардженте, что завтра утром должен вылететь в Париж и потому решил переночевать в Ницце.

— Я бы тебя проводил, но, к сожалению, у меня назначена встреча в Сан-Ремо, а я уже и так опоздал,— сказал мне Арджента.

Я поблагодарил и попросил довезти меня до стоянки такси.

— Такси вы найдете на вокзале в Вентимилье,— сказал Джисмонди и предложил подвезти меня туда.

Ехать было недолго. Мы молча покинули Бордигеру. Потом Джисмонди сказал, что его тревожит состояние Энцо. К счастью, не произошло шока, которого он опасался.

— И все же,— добавил он,— не знаю, правильно ли я поступил; наверно, надо было настоять на том, чтоб он переночевал в моем доме. Конечно, он был привязан к этой бедной девушке. Мне он никогда ничего не поверял. Но мы встречаемся часто, и я о многом догадывался.

Теперь Энцо тревожился и о Личии. Не мог понять причины ее неожиданного отъезда в Триест.

— Я тоже не в силах понять. Вчера вечером она мне звонила. Вы знаете об этом?

— Я стоял рядом с Энцо, когда вы звонили ему в Рим. Энцо говорит, что Личия годами не виделась с сестрой, прекратила с ней всякие отношения.

— Все это странно. Мы с Личией большие друзья. По телефону она мне ничего не сказала, ничего не дала понять. Она была очень взволнована. Говорю это только вам, Энцо я ничего не сказал.

— Но Энцо понимает, что лишь чрезвычайные обстоятельства могли заставить ее уехать в Триест.

— Как знать? Мы часто заблуждаемся, когда судим о женщинах, исходя из наших представлений. Может быть, она хотела поехать вместе с Энцо в Рим... Да, я знаю, что Энцо ей предлагал, но, может быть, она хотела, чтобы он заставил ее поехать. Я знаю Личию, с ней это может быть... Огорченная тем, что осталась одна, Личия могла принять неожиданное и необычное решение. Даже это предположение все превосходно объясняет.

— К счастью,— сказал я и, может быть, сказал слишком много.

С первой же минуты, как я остался наедине с Джисмонди, у меня возникло желание спросить у него, не приходит ли ему в голову сопоставить эти два необычных и почти одновременных обстоятельства. Несчастье с Джованной произошло чуть раньше или чуть позже отъезда Личии, произошло в тот же вечер, в те же часы. Отъезд! Не подыскивал ли Джисмонди, подобно мне, другого слова?

Но я ничего не сказал. Конечно, Джисмонди понимал, о чем я думал, так же как я понимал, о чем думал он.

На пустынной площади у вокзала стояло одинокое такси. Шофер перегружал мой багаж, Мануэль Джисмонди вышел из машины, чтобы проститься со мной. Я до сих пор помню его худое, бледное, подчеркнуто любезное лицо. Его небритые щеки. Его ясные глаза в печальном голубоватом свете высокого висячего фонаря. Он пристально глядел на меня и задержал мою руку в своей чуть дольше, чем нужно. В его взгляде (я был убежден в этом, хотя познакомился с ним всего несколько часов назад) светилась свойственная ему спокойная улыбка, он сохранил ее и при этих обстоятельствах, как бы желая сказать мне: «Знаете, оставим все, как есть. Не правда ли, так будет лучше?»

На этот его взгляд я ответил:

— Не беспокойтесь, адвокат.

— Я не оставлю Энцо одного. Будем надеяться, что он вскоре поедет в Рим на съемки. Это действительно возможно?

Я заверил его, что все уже решено, но снимать будут не в Риме. Энцо придется поехать в Париж.

— Тем лучше,— сказал Мануэль Джисмонди.

Я устал и проголодался. Решил остановиться в Монте-Карло и перекусить в «Кафе де Пари». Тотчас же я подумал, что могу и заночевать здесь, в гостинице. Я выгрузил багаж и снял комнату. Завтра утром я быстро найду такси, которое довезет меня до аэропорта. Лишнего времени не потребуется.

Утолив голод, я пересек площадь и машинально зашел в казино. Бывают в жизни такие минуты, когда нет ничего лучше посещения этого магического заведения: вас туда тянет, как верующего в храм.

Я задержался в «приватном» зале. Если считать игорный дом храмом для игроков, то казино Монте-Карло можно сравнить с собором в Ассизи, а «приватный» зал — с Нижней церковью, где покоятся мощи святого Франциска, с этим «лучшим в мире местом для молитвы». Сравнение вполне допустимое, особенно если припомнить, что Паскаль называл верующих великолепными игроками.

Казино в Монте-Карло словно нарочно создано, чтобы приглушать тревогу, прогонять злые мысли, окружать покоем сердце.

В отличие от других казино здесь с тщательной и приятной заботой, отличавшей ушедшее время торжества буржуазности, устранены все острые углы, ребра, выступы, срезы, вызывающие прямоугольники и любые прямоугольные композиции. Все линии полукруглые, круглые, сглаженные, овальные. Все здесь мягкое, приглушенное, текущее, обвивающее. Ковры, стены, картины, мебель, свет — все сливает воедино согласные друг с другом краски, незаметно переходящие от коричневой и гранатовой к золотой.

Здесь все приглушается цветом и линиями, они замыкают наглухо эти залы, отделяют их от прочего мира. Здесь должен без помех господствовать лишь один властелин — азарт: тонкое, важное и подлинное чувство, которое подменяет собою судьбу.

Итак, я в «приватном» зале и подхожу к столу рулетки, перебирая в кармане жетоны. Конечно, я поставлю на семнадцать. Но тут я вспомнил о Личии, вспомнил о том, что обещал Энцо. Пусть зовет к себе рулетка, пусть шарик бежит до своей ямки. Я попросил слугу проводить меня к телефону. Прежде чем закрыть за собой дверь кабины, обитой изнутри красной тканью, как гроб с мощами, я услышал голос крупье: «Dix-sept, noir, impair, manque» [1].

[1] Семнадцать, черное, нечет, пустышка *(франц.)*.

Я заказал срочный разговор с Бордигерой. Тотчас же по голосу Энцо я понял, что он в крайнем волнении. Он колебался, покашливал; в ответ на мой вопрос, не разбудил ли я его, почему-то сказал «спасибо»; вообще понять его было трудно. Внезапно меня, как молнией, пронзила мысль.

— Отвечай мне только «да» или «нет». Ты один?

— Нет.

— Арджента?

— Да.

— Он сообщил тебе дурные вести?

— Хуже не придумать.

— Что бы он тебе ни говорил, постарайся его выпроводить. Скажи ему, что плохо себя чувствуешь, хочешь отдохнуть. Я в Монте-Карло, «Отель де Пари», комната триста пятнадцать. В любом случае и в любое время жду твоего звонка.

Без колебаний и сожаления отказался я от рулетки и быстро вернулся в гостиницу. Разделся, лег в постель, но заснуть, конечно, не мог. Зачем Арджента вернулся к Мелькиорри? С особой тревогой думал я, что Джованна рассказала ему о последней прихоти Энцо, о том, что Личия была или считала себя ее должницей. Когда Энцо рассказал мне о страховке, я сразу же подумал, что эту идею Джованне внушил Арджента.

Энцо позвонил мне через час с чем-то. Он ехал ко мне на такси, был уже в Ментоне, на границе.

— Я не мог оставаться ночью в этом доме,— сказал он, входя в комнату.— Прости меня, тебе надо поспать.— Он сел, выпил стакан минеральной воды.

Арджента знал все. Он сказал, что нарочно приехал его предупредить.

— Предупредить? О чем?

— Предупредить, что знает.

— Что он знает?

— Все. Например, что у Джованны ребенок на Корсике, старая и больная мать. Он говорит, что мой долг теперь немедленно помочь им. Тотчас же послать им деньги, много денег. Адрес он знает. Берется послать их сам. А ведь я ей не верил, когда она об этом говорила... Арджента был груб, зол, угрожал мне. Порой переходил на дружеский тон... Дескать, он сам помог бы ребенку и матери, ни за что ко мне бы не обратился, но сейчас у него трудные времена и он не может, никак не может... Значит, должен платить я.

— Ты дал ему деньги?

— Пытался не давать. Придумывал различные предлоги. Говорил, что еще не закончил дело с закладом. Он рассмеялся мне в лицо. «Знаю, что все обстоит как раз наоборот». Я продолжал отрицать. Потом я допустил ошибку, просто не знал, как выйти из положения. Чтоб выгадать время, я сказал ему, что прежде должен отправиться к Личии в Триест, попросить ее подписать кое-какие бумаги. «Почему Личия уехала в Триест?» — спросил он, прижимая меня к стене. «Мы с ней давно договорились, что на время моих проб она поедет в Триест к сестре». Знаешь, что он мне на это ответил? «Ты здорово врешь, старик... Личия и не думала ездить в Триест. Она и не вспоминала о сестре. Я, например, даже не знал, что у нее есть сестра... Хочешь, я тебе скажу, почему Личия отправилась в Триест? Я ведь тоже не дурак. Личия сбежала». «Сбежала? Зачем ей было бежать?» — спросил я. «Тебе это известно лучше, чем мне,— сказал он, снова рассмеявшись.— Потому что Личия должна была Джованне миллионы...» Я нашел в себе силы, чтоб притвориться удивленным.

«Миллионы?!» — «Хватит, старый шут, хватит, те миллионы, которые ты давал ей, чтобы она одалживала их Личии. Только посмей отрицать!»

Я отрицал. Тогда он швырнул об пол бокал с виски, который держал в руке, и завопил: «Это правда! Правда! Я знал об этом с самого начала! Это длилось целый год! Пойми же, что Джованна рассказывала мне все и всегда. Ты старая свинья. Меня уже вызывали карабинеры, меня допрашивали; я сказал, что был ее женихом, сообщил им адрес ее матери на Корсике, чтобы мать официально известили. Ты выложишь эти проклятые деньги на стол — это твой долг, это простой человеческий долг... Если не сделаешь, я пойду в полицию и заговорю...»

«Заговоришь? О чем? Что ты им скажешь?»

«То, что мне известно. Скажу все, что знаю. Мне плевать на тебя. Следствие только началось. Труп еще цел. Машина тоже сохранилась, она в полиции. Не знаю, есть ли доказательства. Я не судебный врач. Но я скажу все: судебным врачам и экспертам решать, есть ли доказательства!»

«Доказательства чего?» — по-прежнему не понимал я.

«Я ничего не утверждаю, не обвиняю никого, скажу только то, что знаю. Что было прежде, как все сложилось, какие отношения были между Личией и Джованной. Что произошло в ту ночь, я не знаю. Верней, знаю, что в ту ночь Личия отправилась в Триест, неизвестно только, в котором часу. Я и об этом скажу».

«Ты сошел с ума! Что это все значит? Что ты пытаешься доказать?»

«А вот увидишь... Если доказательства есть, они их обнаружат сами. Я никогда и никому не желал зла и хочу, чтобы доказательств не обнаружили. Но эти деньги ты выложишь. И не вздумай отказываться!»

— А что ты ему ответил?

— Я дал ему чек на полмиллиона. Он сказал, что вернется завтра вечером. «Не думай, что дело ограничится этим жалким чеком!» Это были его последние слова.

Я был подавлен: слишком уж хорошо знал я Ардженту и отлично понял угрозу, высказанную и мне по пути из Ниццы в Бордигеру.

Как бы рассуждая вслух, я спросил, верит ли он на самом деле, что Арджента способен заговорить. В сущности, если Энцо не заплатит, он за эти показания ничего не получит. Только сам влезет в неприятности.

— Это я себе тоже говорил,— пробормотал Энцо.— Это я себе все время твержу. Он может отправиться к карабинерам только из злобы.

Я видел перед собой легкомысленное и жестокое лицо Ардженты и думал о том, существует ли злодейство. Все равно что спрашивать: существует ли безумие? Разве можно поручиться, что Арджента откажется от удовольствия, которое ему доставят страдания других людей, даже если при этом сам ничего не выгадает и, напротив, должен будет выдержать неприятные допросы в полиции? Арджента теперь банкрот, весь в долгах, на пороге старости, устал от случайных заработков, а их все трудней находить. Он в отчаянии оттого, что вскоре должен будет изменить свой состоятельный, даже роскошный образ жизни, который ему необходим как хлеб, как воздух, без которого он не может дышать. Его соблазнит утробная радость мести. Я понимал, что шантаж ему может удаться, поскольку он внутренне на него решился, так же как решился на свою бесполезную месть, если Мелькиорри не уступит. Я сомневался в том, что Арджента познакомился с Джованной случайно, просто застав ее одну в доме Мелькиорри. Я даже предполагал жалкий и сложный умысел на гра-

ни преступного подстрекательства. Вполне возможно, что история с ребенком на Корсике ложь, но Джованна могла полюбить Ардженту, она поддалась его обаянию, надеялась, что он женится на ней, когда она доведет до конца подсказанное им дельце. Должно быть, Арджента, зная, что было у Энцо с Габриэллой, зная о его пристрастии к прислуге, с самого начала направлял шаги Джованны, убедил ее представиться «госпоже Мелькиорри», что она и сделала, использовав парикмахера, а потом руководил ею, непрестанно подавая советы. Словом, шантаж Ардженты начался давно.

Только Личия могла распутать все. Я не верил, что Личия виновна. Но как исключить это? Мне она говорила о своей ненависти к Джованне, сравнивала ее с отвратительным насекомым, которое хочется раздавить. Я знал, что в ней нежность сочетается с яростью, знал, из какой семьи она родом; она сама рассказывала мне о своем деде-разбойнике, хотя тогда мне это показалось выдумкой. Но разве Личия не могла в ночь после отъезда Энцо, в ту ночь, когда она его заподозрила, вернувшись с вокзала, снова уехать из дому вместе с Джованной на ее малолитражке? Как исключить такую возможность? Быть может, они отправились в Сан-Ремо, в казино... Быть может, по пути между ними произошло объяснение... Ни Энцо, ни я не отвергали этого предположения, хотя и не высказывали его вслух. Личия намного старше, но могла оказаться крепче Джованны. Она нанесла ей удар, оглушила ее, а потом направила машину в пропасть...

Согласен, все это почти неправдоподобно. Почти неправдоподобно, но совсем не абсурдно. Конечно, на автостраде Аурелия всегда полно машин, но ведь в тот час был ураган. Нельзя исключить и того, что Личия под проливным дождем добралась домой, переоделась, села в свою машину... Потом — между Бордигерой и Сан-Ремо автобусы ходят до поздней ночи. Значит, могло произойти и то, что предполагал Энцо: Джованна, прижатая к стене обвинениями, а может, со злости, от ненависти могла сказать Личии, что он дает ей эти деньги, а Личия не поверила или, напротив, поверила и, поверив...

Но скажет ли она Энцо всю правду даже под угрозой судебного следствия? И, наконец, если она, как мы надеялись, невиновна, сможет ли она доказать свое алиби?

Все могла решить только поездка Мелькиорри в Триест, если бы он нашел в себе мужество предстать перед Личией. Тем временем ему следует держать Ардженту на поводке, выписать ему еще один чек, чего тот несомненно потребует.

Так я и посоветовал Энцо после того, как поделился с ним своими раздумьями. Он, конечно, согласился. Что ему еще оставалось?

Позвонил портье, которого я просил меня разбудить. В девять вылетал мой самолет в Париж. Я предложил Энцо поспать несколько часов у меня в номере. Портье будет предупрежден. Я принял душ, переоделся. Уже светало.

Окна номера выходили в порт. Внизу — фиолетового цвета море, белые фонари, отраженный в воде белесый свет, темные силуэты яхт и катеров на приколе, черный профиль скалы Рокбрюн, устремленной в розовое небо где-то над Лигурией. Мистраль утих. Погода наконец улучшалась. Вокруг царили мир и покой. Я думал о той жалкой, ничтожной и вместе с тем чудовищной истории, которая здесь разыгралась. Мудрость, может быть, в том, чтобы никогда не поддаваться страстям, никогда не уступать соблазну безумия, быть постоянно верным рассудку. Но разве тех, кому это удается, можно считать настоящими людьми? Глядя на спокойное море, на тихие дома вокруг, на эти места, куда, казалось, не должно проникать страда-

ние, как прежде не проникали пираты, я думал, что и здесь, как и повсюду, есть муки, боль, смерть. Сон лишь перерыв, но и он не всегда возможен.

— Как найти в себе силы, чтобы во всем признаться Личии? — пробормотал Энцо.— Не верю, что она совершила то, в чем мы ее заподозрили, по крайней мере не могу об этом помыслить... Но если и совершила, во всем виноват лишь я один.

— Поэтому ты должен сказать ей все. Ты знаешь, что Личия тебя любит.

— Нет, разлюбила. Подумай сам. Не может она меня любить, раз знает все. Вот почему лучше мне пока не ехать в Триест.

— Пожалуй,— сказал я.

— Хочешь, я тебе кое-что скажу? Мне страшно думать о себе, страшна мысль, что все непоправимо, навсегда непоправимо. Но больше всего меня мучит непоправимость страданий, которые сейчас испытывает Личия, страданий, которые все это время были ее уделом. Во мне нет искренней скорби по Джованне. Ее смерть для меня — почти освобождение. Но я не перенесу обвинений против Личии. Я должен оградить ее любой ценой. Да, я сделаю все, чего хочет от меня Арджента. Теперь я думаю только о Личии. Хочу обнять ее, утешить. Но как я могу утешить ее? Ведь это я причинил ей столько зла. Я могу лишь защитить ее от Ардженты. Не дай бог, если с ней что-нибудь случится.

Снова позвонил телефон. Такси подъехало.

Вскоре к нам постучались, стали выносить багаж.

Мелькиорри поднялся, проводил меня до дверей, обнял.

— Прощай, Энцо. Я позвоню тебе из Парижа. Мы скоро увидимся.

В конце длинного и тихого, устланного коврами коридора, у самого лифта, я обернулся: он все еще стоял у двери и махал мне рукой.

— До скорой встречи! — повторил я. Приглушенный тишиной гостиницы голос, казалось, принадлежал не мне, походил на чей-то чужой шепот.

Мелькиорри кивал мне. Он понял, понял... В этом было что-то преувеличенное, свойственное тем, кто лишен подлинной надежды, сказал я себе позднее, припоминая наше прощание. Я любил его, как брата, как свое второе «я». В эту минуту нашего последнего прощания я догадывался, что оно последнее, и растерянно улыбнулся, но он на расстоянии не мог разглядеть моей улыбки.

VI

Весной семидесятого, через три года после событий, рассказ о которых я закончил, мой старший сын, страстный автомобилист, отвез меня на автогонки в Монте-Карло. Вечером я, впервые после всего происшедшего, встретил в казино Никки Ардженту. Это не было чистой случайностью: все эти три года, бывая на Западной Ривьере или Лазурном берегу, я неизменно, хотя и ненадолго, заглядывал в казино, оставляя там свои деньги.

Печальная судьба Мелькиорри казалась далеким прошлым, и я больше не вспоминал о нем. Телероман так и не был поставлен. После прилета в Париж я получил новые распоряжения: представители главных бухгалтерий телевидения трех стран собрались, чтоб обсудить постановку, и нашли, что расходы слишком велики. Ф. любезно вызвал меня в Рим и тотчас же поручил мне осуществить мою злопо-

лучную музыкальную программу «Женщины Ломбардии» — правда, ограничив ее всего четырьмя передачами. За неимением лучшего я пошел на это.

Мне было тогда особенно тяжело звонить Мелькиорри, но он ждал отказа и его лишь удивили бы хорошие вести.

Некоторое время я регулярно звонил ему. Он казался усталым и подавленным. Каждый раз он давал понять, что не может избавиться от Ардженты и что теперь ищет лишь какого-нибудь контракта, который позволил бы ему тянуть дальше. В Триест он так и не поехал и не мог сказать, решится ли поехать, о Личии он знал только от Джисмонди.

Много месяцев спустя он известил меня, что пришлет письмо, в котором «последний раз в жизни попросит о важном одолжении». Письмо пришло. Он подал прошение, чтобы его поместили в дом для престарелых актеров в Болонье. Сообщал мне нужные для этого сведения и просил рекомендовать его тому, кому я сочту нужным. Я написал президенту республики. Меня принял министр по делам туризма и зрелищ. Просьбу удовлетворили.

К концу декабря я получил из Болоньи открытку с изображением дома для престарелых актеров. И на открытке — «Спасибо. Счастливого рождества. Твой старый Энцо».

Больше от него я не получал ни строчки.

Ардженту я встретил, когда он выходил из «приватного» зала. Был он в смокинге, выглядел отлично, и окружала его группа друзей, среди них — весьма зрелого возраста дамы в роскошных туалетах.

Он чуть не бросился мне в объятия. Извинился перед своими друзьями и сказал, что скоро к ним вернется.

Он хлопал меня по плечу и не переставал смеяться.

Так мы дошли до бара.

— We must celebrate! How long have we been without seeing each other[1]. Как ты поживаешь? Что сейчас делаешь?

Волосы у него совсем поседели. Но в свете неона казался тем более разительным контраст с еще молодым лицом.

— Yes, I feel grand.[2] Ты знаешь, я теперь поселился здесь.

— В Монте-Карло?

— В двух шагах отсюда. Ах да, ты ведь знаешь эти места. Мелькиорри уступил мне свою виллу в Бордигере. Пришлось выложить огромные деньги. Знаешь, я это сделал, чтобы помочь ему, чтоб спасти беднягу.

Плотоядная, жестокая улыбка застыла на его медном лице, глаза по-прежнему сверкали.

— Я больше ничего о нем не знаю,— сказал я.— Три года назад в последний раз получил от него открытку из дома для престарелых актеров в Болонье.

— Очередная безумная выходка,— сказал он и почмокал языком, чтоб лучше распробовать сухой мартини с джином.— Он пробыл там всего пятнадцать дней, а может, и того меньше. Потом он сразу же вернулся. Ты не знал об этом?

— Так он больше не в Болонье?

— Говорю тебе, он пробыл там пятнадцать дней, а может, и меньше.

— И вернулся сюда?

— Да, он живет у меня. Хочешь его повидать? Он будет счастлив.

---

[1] Мы должны отпраздновать встречу! Как долго мы не виделись *(англ.)*.

[2] Да, я чувствую себя великолепно *(англ.)*.

Поедем. У меня как раз сейчас маленькая party[1] в доме, будут друзья, которых ты сейчас видел. Поедем вместе. Шикарные люди, французы, американцы. Будет и Калкаприна, тот самый, из «Кока-колы», ты его знаешь. Он постоянно живет в Монте-Карло, в порту, на своей яхте, которая стоит на приколе. Гениальная находка! Он не платит налогов! Поедем! Говорю тебе, Энцо будет счастлив тебя увидеть. Если он узнает, что ты здесь, что я тебя встретил, а ты не захотел приехать, огорчится до слез. Между прочим, ты и меня поставишь в неприятное положение. Он скажет, что я должен был тебя уговорить.— Словно желая доказать мне, что он на самом деле непременно решил взять меня с собой, Арджента снова хлопнул меня по плечу. Как видно, напрасно я надеялся, что хоть с этим уже покончено.— Только, знаешь, хочу тебя предупредить, подготовить... Он немного сдал. Не в смысле здоровья, здоровье у него прекрасное. Похудел, конечно... Но как он ест! Ест как волк. Больше меня. Только руки дрожат. В конце концов годы берут свое.

— Как же он оказался у тебя?

— Сначала он дурил, хотел во что бы то ни стало отправиться в Болонью. Я говорил ему: «Дом для престарелых? Это не для тебя, old boy»[2]. И предложил ему, собственно, то, что мог предложить. «Живи со мной, составишь мне компанию, ты привык к этому дому...» Я предложил ему, разумеется, не ради себя... Пойми меня правильно! Зачем мне это? Я живу один, у меня повариха, пожилая женщина из Романьи, я ее нарочно пригласил из Бризигеллы. Это был чудесный выход... Не для меня, для него, разумеется... Чтобы его не унизить, чтоб он не думал, будто живет на мой счет, я предложил взять его на службу в качестве мажордома... Ты сам понимаешь, это только на словах! Комедия, шутка, это его самого веселит. Словом, не работа. Ему ничего не приходится делать. Раза два в месяц, когда ко мне приезжают гости, надевает фрак...

— И сегодня наденет?

— Да, и сегодня. Ах, ты думаешь, ему будет стыдно, когда ты увидишь его в этой роли? Да нет же, клянусь тебе. Более того! Он будет счастлив! Трудиться ему незачем, он развлекается. Коктейли я готовлю сам, да он и не может: руки дрожат. Он счастлив и будет очень рад тебя увидеть. Конечно, выглядит он шикарно. Настоящий старый мажордом в богатом доме. Совсем old England[3] с головы до ног. Но он не мажордом, он у меня не для этого живет. Старый друг, that's all[4]. И все мои приятели это знают. Иногда в конце вечера, когда бываем навеселе, просим его что-нибудь исполнить. И он читает Кардуччи, Д'Аннунцио. Или декламирует «Незлобивых лапландцев», «Одинокого червяка», «Озеро Брагуцца»... ты знаешь. Стихи, которые он читал со сцены на своих бенефисах. Ему хлопают, смеются. И бедный старик доволен. Ты должен поехать со мной. Давай, нас ждут.

Мне очень не хотелось ехать. Но Арджента взял меня под руку и потащил за собой.

— А как Личия? — спросил я, как бы желая выгадать время, пока мы пересекали зал.

— Личия у сестры в Триесте. В договоре на покупку виллы ей оговорено ежемесячное пожизненное пособие. Немалая сумма. Так для них же лучше. Они фактически разошлись, только никому об

[1] Вечеринка *(англ.)*.
[2] Старина *(англ.)*.
[3] Старая Англия *(англ.)*.
[4] Только и всего *(англ.)*.

этом не объявляли. Так лучше для него. Она вела его к гибели. Подумать только — она не перестала играть... Ездит на автобусе в Умаго, Порторож, Блед, Аббацию, Анкарано, Нову-Горицу... Там, вблизи от Триеста, полно игорных домов. Как это мило! Личия, едва получив пособие, отвозит его в Югославию!

— А ты от кого об этом знаешь?

— От Энцо. Он ее навещал.

— Он часто к ней ездит?

— Был всего раз, несколько месяцев тому назад. Я ездил охотиться в Загреб с друзьями — Амилькаре Протти, граф Дольфин, Ренцо Бальбо, не знаю, знаком ты с ними?.. И завез Энцо в Триест, это по пути. Был с нами и этот с телевидения, не могу припомнить имени, что-то на Ф. Ты его, конечно, знаешь! Он теперь уже не руководитель программ. Его повысили, но так, что делать ему ничего не нужно и он постоянно охотится... Значит, довез я Энцо до Триеста. Потом на обратном пути должен был его забрать. Но оказалось, он сам уехал поездом.

В Бордигеру они отправлялись на трех или четырех машинах, и мне удалось устроиться не на той, которую вел Арджента; к счастью, в нее еще раньше уселись две хорошо реставрированные пожилые дамы.

Мы прибыли на виллу. Арджента поставил здесь фонари, которых прежде не было. Ворота распахнуты. В саду уже стоят другие машины, на которых приехали гости.

— Come along[1],— сказал Арджента, открывая дверцу машины, и снова взял меня под руку.

Внезапно я понял, что сил моих для этого не хватит. Не знал только, как сказать об этом Ардженте. Потом придумал, остановился у изгороди и, пристально глядя ему в глаза, очень спокойно произнес:

— No, really, I can't[2].

Как я и предполагал, переход на английский тотчас же убедил его в серьезности моего решения.

— I'm sorry, old boy[3]. Но как ты теперь доберешься обратно?

Увидев, какой это произвело эффект, я решил продолжать по-английски:

— Don't worry for me, I've got a lot of friends in Bordighera[4].

Конечно, я соврал, что у меня куча друзей в Бордигере. Мне нужно было только, чтобы он притворился, будто поверил. Он так и поступил:

— I can't force you. God bless you[5].

Арджента попрощался со мной. В последний раз дружески похлопав меня по плечу, он исчез в глубине аллеи, догоняя остальных.

Я не торопясь шел к автостраде. В каком-нибудь еще открытом баре попрошу вызвать такси, которое отвезет меня в Монте-Карло.

Участок рядом с виллой так и не застроили. Все оставалось таким же, как три года назад. Даже дощечка с названием строительной фирмы все та же, размытые дождями буквы едва можно было разглядеть. Из окон виллы падал яркий свет, из включенного на полную мощность радио или магнитофона звучала музыка битлов. Почти не сознавая, что делаю, я остановился.

---

[1] Пошли *(англ.)*.

[2] Нет, право же, я не могу *(англ.)*.

[3] Жаль, старина *(англ.)*.

[4] Не беспокойся, у меня куча друзей в Бордигере *(англ.)*.

[5] Не стану неволить. Благослови тебя господь *(англ.)*.

Перед глазами у меня возник образ Энцо. Я видел, как он под грохот аплодисментов выходит на сцену во время бенефиса и читает стихи Рагаццони. Свет направлен на него снизу, так что освещен бархатный яркий занавес с золотистой каймой, и он, пародируя Руджеро Руджери[1], вдохновенно, холодным и насмешливым голосом читает со сцены:

Не просто разминуться
Со щукою линю.
— Куда плывешь, мой милый?
— Я — в озеро Брагуццо.
А ты куда? Далече?
Мораль: бывают встречи...

Как странно, что Мелькиорри влачит свои дни в пустоте и ради пустоты, отрезанный от мира, что ему осталась лишь роль «мнимого слуги», но не на сцене, а в жизни! Конечно, в доме для престарелых актеров он был бы лишен и этого. Дом для престарелых для него немыслим, там он превратился бы в живой труп. Значит, открытка, которую он послал мне два года тому назад к рождеству, была лишь проявлением лицемерия.

Ничего подобного: после того, как он попросил устроить его в Болонью и был помещен в тот дом, Энцо сыграл единственную еще оставшуюся ему роль «старичка в богадельне»: послал мне оттуда открытку к рождеству, словно отправился в Болонью с исключительной целью послать мне ее оттуда. Потом, не выдержав этой совершенно лишенной вымысла жизни, принял предложение Ардженты и бежал.

Так ли уж все это странно?

Каждый из нас всегда немного актер. Не только актер по профессии, но и любой человек порой нуждается хоть в малой толике вымысла, должен немного «выдумывать себя», чтоб чувствовать себя живым. В любом вымысле есть доля истины. Воображение не пустота, не просто ложь, иначе не понять, почему люди выбирают именно этот, а не другой вымысел.

Еще в ту далекую ночь у «Дохлого пса» я понял глубокую искренность моего дорогого, бедного друга, которого, однако, все считали лицемером и шутом.

В его памяти Арджента неосознанно отождествлялся с Джованной, с Габриэллой, с Личией: он «выдумывал» его, продолжая «выдумывать» их. Арджента! Для него он — последний след придуманной им любви, последний отказ жить и любить реально — ради того, чтобы любить и жить в воображении. Человек мягчайшего нрава, он превратился в причину убийства, не сознавая, к чему идет дело. Он мучил Личию так, что заставил ее потерять рассудок, так, что забыл — она человек, Джованна и Габриэлла — люди. Он использовал их, присвоил их себе ради своего вымысла, превратив их в свою собственную выдумку.

Музыка звучала все громче, и огни виллы, казалось, горели все ярче; без опаски прошел я тропинкой к застекленной веранде.

Приглашенные входили в гостиную. Мебель была все та же, что и прежде, во времена Мелькиорри, хоть кое-что исчезло — несколько кресел, столики, шкафы исчезли или их убрали по случаю приема. Рояль стоял все в том же углу, в другом углу — вазы с цветами и зеркало, в которое гляделась Джованна. Но диван придвинули к роялю, а маленький столик со слепком руки Дузе поставлен ближе к дивану. На освободившемся месте, как раз перед застекленной верандой,— большой накрытый стол, блюда с тартинками, графины,

[1] Знаменитый итальянский актер-трагик.

бокалы, приборы, тарелки и два больших серебряных канделябра с погашенными красными свечами. Мелькиорри не было видно. Я собрался уходить, но вдруг он появился, словно подчинившись моему зову. С трудом передвигая ноги, старый актер пересекал зал. По пути он задевал того или иного из гостей и тотчас же извинялся, часто и чуть шутовски раскланиваясь. Он был во фраке, конечно, из своего старого гардероба, и фрак этот буквально висел на его чудовищно исхудавшем теле, похожем на живой скелет.

Он подошел к столу. Отыскал и вытащил из кармана жилета коробок спичек. Зажег первую спичку. Она погасла. Попробовал снова. Зажглась лишь третья. Он медленно поднес ее к ближней свече. Я увидел, как дрожит его когда-то плотная, а теперь донельзя исхудавшая рука. И лицо было худое, щеки ввалились, сморщились. Он весь сосредоточен, и видно, что каждый жест требует от него усилий. Только теперь я заметил, что он в очках в золотой оправе,— раньше он никогда их не носил, разве что на сцене, когда требовала роль... Я разглядел его лысину цвета слоновой кости, увидел жилки на висках и голове. Рука дрожала, дрожала. Свеча не загоралась.

Потом столь памятная мне по-отечески заботливая, но холодная улыбка появилась на его бесцветных губах: он добился своего, свеча зажглась.

От переводчика

Роман «Актер» написан в самом конце шестидесятых годов. Изображенная в нем с большой психологической точностью ситуация несет в себе весьма четкие приметы времени. Именно в эти годы в Италии появились в великом множестве лжепророки мирного и бесконфликтного развития капиталистического общества, которое, дескать, вообще перестает быть капиталистическим, превращается в некое «общество всеобщего благосостояния». Ему суждено мирное и быстрое восхождение на основе все возрастающих темпов индустриального преобразования страны, а рабочий превратится в «спокойного», лишенного классового сознания потребителя холодильников и малолитражных автомобилей.

В области искусства разработка технократической идеологии, разумеется весьма опосредованно, приводила к созданию таких псевдотеорий, как неизбежная якобы смерть искусства во всех его подлинных проявлениях, как превращение искусства в предмет для рассуждений о собственной кончине (роман о невозможности романа, фильм о невозможности фильма), как бессилие художника перед лицом вульгарной и пошлой «массовой культуры» и попытка противопоставить ей формалистическое искусство неоавангарда.

Роман Марио Солдати, на наш взгляд, выражает неверие автора в возможности капиталистического реформизма и его, доказанную хотя бы самим фактом написания романа в годы полного отрицания возможностей этого жанра, веру в искусство, в его необходимость.

В годы, последовавшие за написанием романа, обострившаяся в стране классовая борьба отбросила в небытие многие из упомянутых технократических иллюзий.

Автор романа предвидел кратковременность и зыбкость этих иллюзий в момент наибольшего их распространения. Достаточно упомянуть о созданном им термине «мини-бель-эпок», которым он едко и остроумно обозначил лживость буржуазно-реформистского оптимизма, чтобы оценить трезвость и реалистичность подхода к общественным проблемам крупного художника, много и успешно работавшего как в литературе, так и в итальянской кинематографии.

Период технократических иллюзий привел к власти чиновников, скрывающих свою некомпетентность под вывеской современной деловитости. В романе «Актер» это новые руководители телевидения, которых отличает лживость, бездеятельность, прикрытая болтовней о действенности их псевдореформ. Они глубоко презирают художников, работу которых направляют, и массы, для которых предназначена сознательно низкопробная продукция телевидения.

Есть в романе Марио Солдати еще один знаменательный в этом отношении образ. Это образ сегодняшнего Рима, горячо им любимого великого города, обезображенного назойливой рекламой, превращенного в площадку, где мечется не меньше миллиона автомобилей, из-за которых люди уже не могут ни дышать, ни даже передви-

гаться сколько-нибудь спокойно. Едкой горечью полны страницы, посвященные изображению этого теперь ненавистного автору Рима, города, в котором Марио Солдати создал свои лучшие фильмы.

Одной из ведущих в романе становится тема актерства, тема театральности жизни, воплощенная в трагическом образе старого актера Энцо Мелькиорри. Марио Солдати, обладающий многолетним опытом режиссерской работы, отлично знаком с психологией актеров, относится к их работе в искусстве с симпатией и человечностью. Но он показал еще и театральность, выходящую за рамки сцены, театральность как определенную форму отношения к жизни, когда как бы стираются рамки между сценой и действительностью, когда актерское притворство становится элементом экзистенциальным, если хотите, средством беспомощной самозащиты перед лицом жестокой и неприемлемой социальной реальности. Схожее толкование театральности, в свое время высказанное в работах Евреинова, привлекло к себе сочувственное внимание Антонио Грамши.

В образе Мелькиорри, в образе его жены Личии (ее болезненное увлечение рулеткой является, на наш взгляд, также проявлением «театральности», подменяющей собой реальную жизнь) есть немало того, что Грамши определяет как «ребяческую амбицию; стремление быть «первым в классе», но прежде всего быть признанным и провозглашенным в качестве такового...»

Вместе с тем М. Солдати суров и в самом разоблачении этой «театральности» как проявлении беспомощности и лжи; несмотря на испытываемую им «христианскую» жалость к своим героям, он порой не скрывает от читателя и своего презрения к супругам Мелькиорри, к суетности их стремлений, к жалкой попытке обмануть и себя и других, прикрыть «театральным» приемом собственную порочность и мелочность. В сущности, именно это диалектически-сложное отношение автора позволяет ему вскрыть социальные противоречия современного буржуазного общества, даже не выходя за рамки того сравнительно узкого круга, которым замкнуто действие романа.

Автор беспощаден в осуждении этих черт своих персонажей, и нам думается, что те страницы романа, в которых порой дают себя знать элементы мелодрамы, на самом деле пародийны: писатель осуждает своих героев, когда они, спасаясь от жизни, начинают «играть».

И все же симпатии М. Солдати на стороне актерской четы Мелькиорри, когда она становится жертвой жестокого и расчетливого хищника Никки Ардженты — фактического вдохновителя убийства, которым завершается роман.

Бездарный актер, прихвостень американских военных служб в Италии, сутенер, Никки Арджента изображен в романе как воплощение самых низменных и ненавистных автору черт буржуазности и в то же время как человек, самое существование которого на земле есть отрицание искусства.

Финал романа, в котором старый актер Мелькиорри изображен в качестве шута, развлекающего иностранных гостей Никки Ардженты на очередной party, звучит поистине трагично, мы чувствуем человеческую симпатию автора к старому актеру, к большому искусству, ставшему предметом пошлого осмеяния.

Г. БРЕЙТБУРД

ЯСУСИ ИНОУЭ

Сны о России

ГЛАВЫ ИЗ РОМАНА

Перевод с японского
и вступление Б. РАСКИНА

13 декабря 1782 года из гавани Сироко в провинции Исэ курсом на древнюю столицу Японии Эдо отплыл управляемый кормчим Кодаю корабль «Синсё-мару» с грузом риса, хлопка, бумаги и лекарственных трав. Разыгрался шторм, корабль отнесло в открытое море, и после восьмимесячных блужданий он потерпел крушение у Амчитки — крупнейшего острова Алеутского архипелага, где в то время русский купец Невидимов ловил нерпу и морского бобра.

Так начинается удивительная история японца Дайкоку Кодаю, послужившая сюжетом для исторического романа «Сны о России», созданного известным японским писателем Ясуси Иноуэ.

Кодаю не был первым японцем, очутившимся в России. Почти на столетие раньше Владимир Атласов привез с Камчатки потерпевшего кораблекрушение японца Дэнбэя, который впервые рассказал русским о существовании Японии. В 1702 году Петр I беседовал с Дэнбэем и повелел ему обучить русских «робят» японской грамоте, с тем чтобы подготовить толмачей в интересах будущего установления отношений с Японией.

Кодаю был первым побывавшим в России японцем, которому удалось вернуться в Японию и рассказать о том, что он повидал в далекой северной стране.

Четыре года прожили Кодаю и его спутники на Амчитке. Наконец, по предложению Невидимова, японцы вместе с русскими построили из обломков двух кораблей — корабль, прибывший за Невидимовым годом раньше, разбился о скалы Амчитки — бот, на котором добрались до Нижнекамчатска. При спуске бота на воду, поднимая кружку со спиртом, Кодаю, изучивший за время пребывания на Амчитке русский язык, сказал: «Этот корабль, построенный руками русских и японцев, можно сказать, дитя Японии и России, и он будет прочнее любого судна, построенного до сих пор».

Кодаю и пятерых его спутников — остальные умерли от болезней — доставили в Иркутск, где в его судьбе принял горячее участие известный ученый Кирилл (Эрик) Лаксман. Лаксман всячески содействовал возвращению Кодаю на родину, рассчитывая в то же время воспользоваться этим случаем для того, чтобы Россия завязала более близкие отношения с Японией. Проект Лаксмана лег в основу указа Екатерины II, в соответствии с которым сын Кирилла Лаксмана Адам был направлен в Японию.

В ту пору Япония была еще «закрыта» для западных держав и осуществляла в небольших масштабах торговлю только с Голландией через порт Нагасаки. Еще в начале XVII века глава феодального правительства Иэясу издал указ о запрещении в Японии христианской религии и об изгнании из страны иезуитов и иных миссионеров. Был запрещен въезд в Японию иностранцев. В 1636 году всех иностранцев, живших в Японии, переселили на остров Дэсима близ Нагасаки. В тот же период был издан ряд указов, не разрешавших японцам покидать страну, а японцам, живущим за ее пределами, запрещалось под страхом смертной казни возвращаться на родину. Таким образом Япония изолировала себя от европейского мира.

В XVIII веке, когда в Японию прибыл Адам Лаксман, все эти законы сохраняли свою силу, хотя уже появились некоторые признаки ослабления изоляции.

Япония несомненно проявляла интерес к России. Недаром глава тогдашнего правительства Иэнари специально приказал привести к нему Кодаю, выслушал его рассказ о России и задал немало вопросов.

Лаксману удалось получить официальное разрешение на заход в Нагасаки для ведения переговоров, что было использовано Резановым, а затем Путятиным, заключившим в 1855 году Симодский трактат о торговых и дружеских сношениях с Японией.

Возвращение Кодаю на родину оказалось не столь счастливым, каким рисовалось оно ему на чужбине. Закон о японцах, возвращающихся на родину, еще не был отменен, поэтому Кодаю и его спутника Исокити постарались изолировать, с тем чтобы сведения о чужеземной стране не стали достоянием их соотечественников. И многое, о чем мечтал поделиться с ними Кодаю, осталось для них неизвестным.

Ясуси Иноуэ взялся за нелегкую, но благодарную тему. Дело в том, что самих записей Кодаю о его пребывании в России не сохранилось. Среди многочисленных публикаций о пребывании Кодаю в России наиболее достоверными считаются секретные записи бесед, которые вели с Кодаю и Исокити в Эдо по указанию правительства чиновники Накагава и Мамия, а также написанная в 1794 году известным ученым-медиком Кацурагава Хосю книга «Хокуса бунряку» [1], вскоре изъятая. Кацурагава неоднократно встречался с Кодаю и выслушивал его подробный рассказ о России.

Эта книга, опубликованная в 1937 году под редакцией профессора Камэи, и послужила, как пишет в послесловии к «Снам о России» Ясуси Иноуэ, основным материалом для романа, главы из которого мы публикуем.

Вероятно, как и во всяком художественном произведении, в этом романе автор воспользовался своим правом на вымысел, благодаря чему он интересен для нас не только своим фактическим материалом, но и той современной точкой зрения, какую высказывает автор, повествуя о событиях далекого времени.

В конце сентября чиновник иркутской канцелярии Тимофей Осипович Ходкевич привел Кодаю и его друзей к Кириллу Лаксману. Кодаю ничего не знал о Лаксмане и решил, что он из той же категории богачей, с которыми его уже не раз знакомили. Поэтому, когда Ходкевич впервые завел разговор о Лаксмане, Кодаю намеревался пойти к нему один: его спутники слишком устали от бесконечных рассказов о своих скитаниях в океане, и Кодаю решил на сей раз освободить их от этой докучливой обязанности.

Но Ходкевич настаивал:

— К Лаксману надо пойти всем. Человек он влиятельный и может способствовать вашему возвращению на родину. Отправляйтесь-ка к нему все вместе и поведайте о своих мытарствах.

— Кто он такой, этот Лаксман? Расскажите мне поподробнее,— попросил Кодаю.

— Сказать о нем коротко очень трудно. Вот уже несколько лет Лаксман живет в Иркутске, занимая пост императорского чиновника по разведыванию руд. До приезда в Иркутск он недолго служил, кажется, исправником в Нерчинске, затем горным инженером на Нерчинских рудниках. Личность в России известная — профессор химии и экономии Петербургской Академии наук. Он был избран также членом Стокгольмской Академии наук за труды, посвященные религии монголов и тибетскому языку. Сейчас Лаксман страстно увлекся геологией и ботаникой, а кроме того, у него здесь, в городе, имеется стекольный завод.

И все же Кодаю было не совсем понятно, почему Лаксман ни с того ни с сего станет помогать потерпевшим кораблекрушение японцам. Об этом он и спросил Ходкевича.

— Не знаете вы Лаксмана! — воскликнул Ходкевич.— Это такой человек! Если он уверовал во что-то и решил действовать, нет такого дела, которое он бы не осуществил. Ко всему прочему, ни у кого

[1] «Краткое изложение рассказов японцев, дрейфовавших в северных морях».

из иркутян нет таких связей среди высокопоставленных сановников в столице, как у Лаксмана.

И все же Кодаю не возлагал особых надежд на Лаксмана, но, не желая обидеть Ходкевича, отправился вместе со своими спутниками.

Дом Лаксмана стоял невдалеке от жилища, в котором поселили японцев: в том же районе Ушаковки, только на более возвышенном месте. Это был обычный бревенчатый дом, не похожий на хоромы богатых купцов, у которых побывали Кодаю и другие японцы. Дом не казался бедным, но был начисто лишен показной роскоши. Японцы миновали прихожую и следующую за ней комнату, напоминавшую лавку старьевщика — такой там царил хаос,— и оказались в гостиной. Кодаю успел заметить тянувшиеся вдоль стен комнат, мимо которых он проходил, полки, буквально заваленные книгами, старыми бумагами, обломками камней, ящиками с песком, костями — то ли людей, то ли животных. На огромном столе в центре комнаты были разложены бесчисленные образцы растений.

Да и стены самой гостиной, куда их ввели, были сплошь уставлены книгами. Вокруг возвышавшейся в углу печки стояли разнокалиберные стулья и несколько низеньких столиков. Довольно большая гостиная казалась тесной из-за заполнявшей ее мебели.

Из гостиной дверь вела в кабинет Лаксмана. Сквозь окна виднелась часть внутреннего двора с несколькими застекленными теплицами, из которых торчали где по одной, а где и по две трубы. В углу двора была сложена небольшая печь для обжига глиняной посуды, а сбоку от нее — сооружение, напоминавшее ветряк. На разбитой посредине двора цветочной клумбе не росло ни единого цветка. Поодаль стояли ящики, до краев заполненные образцами горных пород.

Японцы уселись на стулья и молча ожидали появления хозяина. Да и как можно было терять время на разговоры, когда их окружали в несметном количестве необыкновенные вещи. Единственная свободная от книг стена была сплошь увешана различными картами и схемами.

Наконец появился Лаксман — плотный, одетый в рабочую блузу человек лет пятидесяти. Лицо обрамляла красиво подстриженная борода. Внешне он не походил ни на чиновника, ни на ученого. Немного сутулый, широкоплечий, он вошел в комнату необычной походкой, слегка покачивая плечами в такт шагам, медленно окинул холодным взглядом гостей и произнес:

— Так вы и есть те самые японские рыбаки?

Кодаю утвердительно кивнул головой.

— Слышал, хотите вернуться домой. Оно и понятно. Родина — есть родина. Расскажите-ка все по порядку: где попали в шторм, в каком направлении несло ваш корабль, куда пристали и все, что с вами произошло до сегодняшнего дня. Если сочту нужным помочь — помогу. Беспокоиться вам особой нужды нет. Хотите уехать — уедете. Не столь уж до вашей страны далеко.

Лаксман позвал жену. В дверях появилась небольшого роста женщина лет тридцати. У нее было свежее, чистое лицо и молодой голос. Из-за ее спины выглядывала маленькая девочка.

— Позаботься об ужине для гостей,— попросил Лаксман.

— Сейчас все приготовлю,— послушно ответила женщина.

Кодаю спросил, сколько лет девочке и как ее имя.

— Зовут Мария, родилась она у нас в Москве в 1781 году, восьмой годик пошел,— с готовностью ответила супруга Лаксмана.

— У вас один ребенок?

— Что вы! Есть еще пятеро мальчиков: Мартын, Афанасий, Ио-

сиф, Касьян и Константин. Все они родились в Петербурге между 1770 и 1778 годами,— улыбаясь, сказала женщина.

Кодаю быстро подсчитал, что старшему сыну должно быть лет восемнадцать-девятнадцать, а значит, супруге Лаксмана никак не менее сорока, но, глядя на ее удивительно молодое лицо, он просто не мог этому поверить.

— У меня есть еще два сына,— без улыбки добавил Лаксман,— от первой жены.

— Старшего зовут Густав,—подхватила женщина,—а младшего— Адам. В позапрошлом году Адама назначили исправником в Гидигинск на Камчатке. Он и Густав, подобно отцу, влюблены в естественные науки.

Она с большой похвалой и уважением говорила о детях прежней жены Лаксмана, и это сразу же вызвало у Кодаю чувство симпатии к этой семье. Сам Лаксман и его супруга, по-видимому, хорошие люди, подумал он.

Кодаю во всех подробностях рассказал Лаксману о том, что с ними произошло со дня отплытия из Японии до приезда в Иркутск. Когда Лаксману что-то было непонятно, он переспрашивал и кто-либо из японцев разъяснял, причем старался говорить обдуманно — совсем не так, как в гостиных богатых купцов. Да и сам характер задаваемых Лаксманом вопросов требовал ответов точных и определенных. Лаксман интересовался даже цветом песка на взморье, цветом скал и дотошно расспрашивал о виденных ими птицах. Не было буквально ни одной области, которая не привлекала бы любопытства ученого. Когда один из сотоварищей Кодаю, Синдзо, неожиданно вспомнил детскую песенку, услышанную им в Нижнекамчатске, Лаксман потребовал, чтобы он тут же ее спел. Сёкити повторил Лаксману несколько заученных слов из лексикона жителей Амчитки, а Коити подробно рассказал, каким способом аборигены Амчитки изготовляют водку.

В ту первую встречу Лаксман не касался Японии и, когда случайно зашел о ней разговор, сказал:

— Об этом в другой раз.

За беседой незаметно наступил вечер. Тихо отворилась дверь, и дети Лаксмана стали вносить в гостиную блюда с едой. Впервые за время пребывания в Иркутске японцы почувствовали себя весело и непринужденно. Ни малейшей натянутости, которую они испытывали на званых обедах у богачей города. Здесь японцы без стеснения пили и ели столько, сколько им хотелось. Особенно японцам понравился байкальский омуль, который подали в двух видах — жареным и горячего копчения,— настоящий деликатес, если учесть, что на свежую рыбу был не сезон. Даже Сёдзо — самый молчаливый из них — сказал:

— Удивительно вкусно. Кажется, будто ешь нашу рыбу, которую ловят в Исэ.

После ужина Лаксман принес из кабинета карту Японии, которую, по его словам, изготовили в Европе, расстелил ее на столе перед Кодаю и сказал:

— На мой взгляд, эта карта составлена не слишком точно. Прошу вас внимательно изучить ее и исправить ошибки.

Кодаю сразу же заметил, что Осака и Исэ слишком отдалены друг от друга, а Исэ и Эдо несоразмерно сближены, но он не торопился высказать свое мнение и, обратившись к Лаксману, сказал:

— Мы хотели бы, если это возможно, взять карту с собой и внимательно изучить ее, прежде чем дать вам ответ.

Кодаю не только хотелось тщательно рассмотреть карту Японии, изготовленную в чужой стране, но и глубоко обдумать смысл просьбы об исправлении допущенных на карте ошибок.

Японцы остались очень довольны визитом к Лаксману. Сам Лаксман обладал, по-видимому, характером строгим и вспыльчивым, но во всем, что он говорил или делал, не было даже намека на рисовку. И это последнее произвело на Кодаю и остальных японцев хорошее впечатление. Супруга Лаксмана оказалась удивительно доброй женщиной и отнеслась к ним, чужестранцам, с такой теплотой, будто они были членами ее семьи.

Прощаясь с гостями, Лаксман сказал:

— Постараемся помочь вам с прошением о возвращении на родину. Мы знаем, как его надо составить и по каким каналам пустить. Поэтому предоставьте все нам и не беспокойтесь.

С тех пор как Кодаю прибыл в Иркутск, это были первые слова, на которые он мог с полным доверием положиться.

— Заходите в любой день,— сказал Лаксман.— Когда захотите. Да и чем покормить вас, всегда найдется в этом доме. Со своей стороны буду просить кое в чем вашей помощи. А помочь вы мне можете очень во многом.

Спустя несколько дней Кодаю вновь пришел к Лаксману, взял составленное им прошение и отнес в иркутскую канцелярию.

В конце августа перелетные птицы потянулись на юг, следуя руслу Ангары. Последними снялись в конце сентября гуси и утки. Глядя им вслед, иркутяне говорили: «Теперь жди настоящую зиму». И начинали готовиться к долгой зиме. Небо все дни было ясное, и даже не верилось, что вскоре в него вонзятся клыки зимних буранов, но в самой его яркой голубизне уже таилось что-то тревожное.

Двадцать второго сентября исполнилась годовщина восшествия на престол Екатерины II, однако в Иркутске это особо пышными празднествами не отмечалось.

Незадолго до наступления холодов супруга Лаксмана пригласила японцев в тайгу за грибами и ягодами. Казалось, в тайге расстелили ковер из кустиков сантиметров десять высотой, усеянных ягодами, которые назывались брусника и морошка. Грибов было видимо-невидимо. Японцы в бытность свою на Камчатке наблюдали, как местные жители специально ходят в лес за грибами и ягодами, но на Камчатке их не готовили впрок, а супруга Лаксмана варила из ягод варенье, а грибы солила на зиму.

Девятого октября на городской верфи был спущен на воду первый корабль, которому предстояло плавать по Байкалу. Жители Иркутска отмечали этот день много пышнее, чем годовщину восшествия на престол Екатерины. Чтобы поглядеть на большой корабль, которому не страшны байкальские штормы, чуть ли не весь город собрался на берегу Ангары. Пришел туда и Кодаю со своими друзьями. Однако они не разделяли восторгов жителей Иркутска. «Корабль, конечно, большой,— говорили они,— а в остальном ничего особенного в нем нет; был бы материал и достаточно времени — мы и сами могли такой построить». Самоуверенность придавал им опыт постройки большого бота на Амчитке, на котором они добрались до Нижнекамчатска.

На обратном пути с верфи японцы осмотрели стекольный завод. Иркутяне называли его «стеклянный завод Лаксмана», хотя на самом деле Лаксман владел им совместно с влиятельным предпринима-

телем Барановым. Кодаю знал о существовании стекла, но впервые видел, как оно изготовляется. Войдя внутрь завода, японцы замерли, пораженные. Им показалось, будто по ошибке они случайно попали в ад. Вокруг стояли большие и малые печи, из приоткрытых дверец топок вырывались красные языки пламени. Между печей сновали полуголые рабочие с длинными железными трубками в руках. Держа один конец трубки во рту, они совали другой в раскаленное, расплавленное стекло, потом из втянутого в трубку стекла выдували нужный предмет.

С той поры Кодаю много раз бывал на заводе — один и вместе с Лаксманом,— внимательно наблюдал, как изготовляется стекло, расспрашивал Лаксмана о тонкостях стекольного дела, но тот отвечал не особенно охотно. Кодаю не знал, что Лаксман испытывал на этом заводе новый способ изготовления стекла, пытаясь использовать вместо углекислого калия глауберову соль. А спустя шесть лет Лаксман опубликовал статью о новом способе изготовления стекла...

С наступлением зимы японцы стали часто бывать у Лаксмана. Никто из членов его семьи не выражал по этому поводу неудовольствия. Напротив, их всегда встречали как близких друзей, поили и кормили. Японцы помогали Лаксману разбирать растения и обломки горных пород, готовить образцы растений и минералов.

Лаксман казался Кодаю человеком необыкновенным. Его голова всегда была полна удивительных идей. Научные исследования Лаксмана касались чрезвычайно широкого круга вопросов. Он изучал климат страны, интересовался геологией, собрал огромную коллекцию растений и минералов. Когда Лаксман находился в хорошем расположении духа, он рассказывал Кодаю и его друзьям о рудах, залегавших вокруг Байкала и вдоль русла Ангары, о том, как возникло озеро Байкал и окружавшие его горные цепи. Японцы молча слушали, глядели на разостланную перед ними карту и верили каждому слову Лаксмана, хотя все, о чем он говорил, касалось давно прошедших времен.

Однажды он показал японцам открытые им минералы, которые впоследствии стали известны в мировых научных кругах под названиями тремолит и байкалит.

— Все, что вами найдено, вы собрали в этой комнате? — спросил Кодаю.

— Что вы! — ответил Лаксман.— Среди открытого мною есть немало такого, что сюда вместить невозможно. Я, к примеру, открыл на берегах Ангары минеральные источники. Никто не верит мне, хотя это истинная правда. На будущий год, весной, когда стает снег, обязательно повезу вас к этим источникам. Я открыл черемховский уголь, залежи гипса близ Балаганска, железную руду на берегах реки Белой.

Лаксман говорил об этом с гордостью, в его тоне слегка проскальзывала даже надменность. И все же внешне — своей широкой сутулой спиной и покачивающейся походкой — он чем-то напоминал дровосека из японской деревни. Но таких сверкающих глаз не было ни у одного японца. Глаза Лаксмана особенно привлекали Кодаю: то они загорались неукротимым огнем, то в них появлялся холодный блеск отрешенности.

Было бы преувеличением сказать, что в результате частых посещений Лаксмана Кодаю подпал под его влияние, но характер записей в дневнике, который Кодаю ежедневно вел, стал постепенно меняться, и в этом, пожалуй, заслуга Лаксмана.

«В ноябре 1789 года в Иркутске насчитывалось три тысячи пять-

сот восемь дворов и девять тысяч пятьсот двадцать два жителя. Две торговые улицы, на одной — двести двадцать четыре лавки, на другой — двести сорок три. Кроме того, в городе имеется шестьдесят семь булочных, тридцать шесть мясных лавок и шесть государственных магазинов, торгующих продовольствием, солью, водкой, порохом и прочими товарами. Помимо стекольного завода Лаксмана имеется небольшой кирпичный завод, лесопильня, мукомольная мельница, кожевенный завод и кузня. В Иркутске десять церквей и монастырей, через город проходят четыре тракта — Московский, Заморский, Кругоморский и Якутский».

Все эти данные были собраны Кодаю во время прогулок по городу. Кодаю обратился к посещавшему церковь Сёдзо с просьбой узнать, сколько в Иркутске попов и монахов, но последний не выполнил его поручение — не из-за лени, а потому, что не знал, как это сделать...

День за днем шел снег, становилось все холоднее. По вечерам японцы собирались вокруг печки, и кто-нибудь обязательно заводил разговор о том, что до сих пор нет ответа на прошение и неизвестно, когда они смогут вернуться на родину.

По вечерам Кодаю вел дневник. Иногда, отложив кисточку для письма в сторону, заходил в общую комнату поболтать с друзьями. В последнее время он с тревогой стал замечать, что вечерами куда-то исчезал Синдзо.

— Дело молодое,— говорили ему,— у дурачка Синдзо завелась женщина. Он нас предал и, наверно, не захочет вернуться в Японию.

Позднее до Кодаю дошли слухи, будто Синдзо познакомился с жившей по соседству вдовой по имени Нина и стал частенько захаживать к ней в гости. Должно быть, под ее влиянием он начал тайком посещать церковь.

В канун рождества 1789 года японцев пригласил к себе Лаксман. Все они впервые принимали участие в чужом религиозном празднике. Глядя на собравшуюся за праздничным столом многочисленную семью Лаксмана, Кодаю вдруг почувствовал, как горячий комок подступил к горлу. Перед его глазами всплыли лица родных и близких, оставшихся в далеком Исэ: старушка мать, жена... Кодаю дал волю чувствам, плечи его задрожали, на глаза навернулись слезы. Но в следующую минуту он тряхнул головой, как бы отгоняя от себя непрошеные видения. С тех пор как Кодаю оказался на Амчитке, он дал себе зарок не вспоминать о близких, не травить душу, забыть о том, что в далекой Японии осталась мать, жена. Вот уже шесть лет он вдалбливает себе в голову одно и то же: не думать о родине, не думать о близких!..

В разгар веселья за окном послышался звон колокольчиков, а в следующую минуту в дверях появился человек лет сорока пяти незаурядной внешности, для которого за столом было оставлено свободное место. Когда Лаксман назвал его имя, Кодаю, глядя на него, подумал: «Вот он каков, сказочно богатый купец Шелехов, которого знает каждый иркутянин — большой и малый!»

Шелехов пожал руки Лаксману и сыновьям, чмокнул в щеку супругу Лаксмана, сел за стол и сам налил себе в рюмку водки. Лаксман представил ему Кодаю, они протянули через стол друг другу руки, и Кодаю ощутил такое рукопожатие, что чуть не вскрикнул от боли.

— В то самое время, когда вы оказались на Амчитке,— заговорил Шелехов,— мы с женой чуть севернее охотились на нерп и морских бобров. Нам бы встретиться там, в студеном северном море, а мы вот познакомились почему-то здесь, в Иркутске, в гостиной у Лаксмана под звон рождественских колоколов.

Речь Шелехова лилась свободно, но не чувствовалось в его словах теплоты. В то время в Иркутске проживали известные купцы: Сибиряков, Мыльников, Баснин,—но даже среди них особо выделялся Шелехов. И дом у него в центре города был самый большой, и жена— красавица, какую не сыщешь.

С приходом Шелехова атмосфера спокойного празднества, царившая за столом Лаксмана, резко изменилась. Как бы почувствовав это, дети, за исключением Адама, вышли из-за стола и покинули гостиную. Вслед за ними ушла и супруга Лаксмана. Только сам хозяин как будто ничего не замечал. Повернув к Шелехову покрасневшее от выпитой водки лицо, он кричал:

— До дна!

Как только Шелехов опорожнял рюмку, Лаксман наливал новую. По-видимому, он и сам порядочно опьянел, потому что снова и снова повторял одно и то же:

— Я решил остаток жизни посвятить поискам руд на северных берегах Сибири и тамошних островах. Помоги мне в этом деле, Шелехов!

А Шелехов, не обращая внимания на Лаксмана, расспрашивал тем временем японцев:

— Поведайте, чем богаты ваши острова, что добывают на них?

— Рыбу, лес, рис, дикого зверя.

— Какого зверя добывают?

— Дикого кабана, медведя, лисицу, волка.

— Какую лису? Сколько за год добывают?

На последний вопрос никто не мог ответить, и Шелехов, поняв это, не стал настаивать. Он подробно расспрашивал о рыбе, о китах, но, к сожалению, многое японцы сами не знали. Вопросы Шелехова по своему содержанию отличались от тех, которые обычно задавал Лаксман.

Спустя час Шелехов встал из-за стола.

— Буду рад видеть вас у себя,— сказал он японцам на прощание.— Постараюсь помочь вам в возвращении на родину. Если мы с Лаксманом возьмемся за это дело да переговорим с нужными людишками, думаю, ваша надежда без особых трудов сбудется.

Кодаю и его друзьям Шелехов не показался приятным собеседником, но в то же время они полностью уверовали в то, что если он возьмется им помочь, на него можно положиться даже в большей степени, чем на Лаксмана. Поэтому Кодаю ответил, что с радостью принимает его приглашение, и проводил Шелехова до самых саней.

В декабре 1790 года Кодаю пригласили к Лаксману. Лаксман сидел у окна в гостиной и, по всей видимости, его дожидался.

— Я получил приказ,— начал Лаксман,— срочно прибыть в столицу, чтобы представить образцы растений и руд, собранные мною за несколько лет по всей Сибири. Неплохо бы и тебе поехать со мной вместе. Дело с вашим возвращением в Японию почему-то заглохло. До сих пор нет ответа на третье прошение, отправленное в марте. Боюсь, что оно не дошло до столицы — какой-нибудь чиновник положил его под сукно. Остается один путь: тебе самому ехать в столицу и подать прошение в руки императрице. Правда, добиться аудиенции у ее величества дело не простое, но я постараюсь все устроить...

15 января 1791 года Кодаю с Лаксманом отправились в Петербург.

По дороге они остановились на два дня в Тобольске, где губернатором в то время был А. В. Алябьев. Алябьев интересовался наукой и искусством, первый театр и типография, построенные им в Тобольске, были предметом его особой гордости. Свой особняк он превратил в салон, где ежедневно собирались представители немногочисленной интеллигенции этого города. На один из таких вечеров как раз попали Лаксман и Кодаю. Кодаю особенно заинтересовали два человека: находившийся в тот день в салоне Алябьева сын губернатора — известный композитор Алябьев и человек средних лет с аристократической внешностью по фамилии Радищев — известный русский мыслитель, остановившийся в Тобольске на пути в сибирскую ссылку. Оба они были людьми, совершенно не похожими на тех, с которыми Кодаю доводилось встречаться. На протяжении всего вечера композитор жестоко высмеивал каждого, кто пытался вступить с ним в спор. Тем не менее Кодаю не почувствовал к нему неприязни. Радищев, по-видимому, в тот вечер впервые оказался в гостях у Алябьева. Представляя Радищева, губернатор подробно поведал гостям его жизнь, стараясь, по-видимому, показать всем, сколь хорошо он относится к Радищеву, несмотря на то, что последнего сослали в Сибирь.

Весь вечер Радищев молча, с грустным выражением лица просидел в углу гостиной, безразлично поглядывая в сторону говорившего Алябьева, как будто речь шла не о нем, а о некоем третьем лице...

По прибытии в Петербург Кодаю поселили в Царском Селе в доме садовника Буша, где он и ожидал высочайшей аудиенции.

Наконец, ему сообщили, что аудиенция назначена на двадцать восьмое июня.

— Самое главное,— напутствовал Лаксман Кодаю,— отвечать на вопросы ее величества, употребляя вежливые слова. Полагаю, она будет расспрашивать о том, как вы потерпели кораблекрушение и что с вами случилось потом. Старайтесь рассказывать все так, как было на самом деле, но не касайтесь того, о чем она спрашивать не будет.

Двадцать восьмого июня Кодаю встал рано, облачился в заранее присланную Лаксманом парадную одежду и стал дожидаться приезда своего благодетеля.

Подъехал Лаксман, Кодаю сел в карету, и они отправились ко дворцу через главные ворота. Выйдя из кареты, Кодаю последовал за Лаксманом к боковому входу, осторожно ступая по отшлифованным до блеска плитам белого мрамора с красными, зелеными и черными прожилками. У входа их ожидали гофмейстер Безбородко, которому было передано прошение, и президент коммерц-коллегии Воронцов, ведавший всеми вопросами, касавшимися торговых представителей из пятидесяти двух стран. Они провели Кодаю по длинной анфиладе комнат и остановились у распахнутой двери, перед тронным залом. В глубине на возвышении стоял трон, на котором восседала императрица. Слева и справа от нее стояли придворные дамы, вдоль стен — высшие сановники.

— Подойдите к императрице,— шепнул, обернувшись, Воронцов.

Кодаю прижал шляпу к левому боку и поклонился.

— Да идите же вперед,— снова зашептал Воронцов.

Кодаю поспешно положил шляпу на пол и двинулся через весь зал к Екатерине II. Перед троном Кодаю, как его учили, преклонил левое колено, правое выставил чуть-чуть вперед и простер к импера-

трице руки. Екатерина протянула правую руку и коснулась кончиками пальцев его ладони. Кодаю трижды пожал ее пальцы, приветствуя императрицу по законам, принятым в России. Затем Кодаю отступил на несколько шагов и с полупоклоном отошел к стене. Он почувствовал, как от сильного напряжения по его спине струями стекает пот.

Императрица приказала принести прошение Кодаю, взяла в руки, мельком пробежала несколько строк.

— Кто писал прошение? — спросила она.— Не Лаксман ли?

— Ваш покорный слуга,— поклонился Лаксман.— В нем все изложено, как просили потерпевшие кораблекрушение.

— Все в точности? — спросила императрица, протягивая бумагу Лаксману.

Лаксман приблизился к императрице и, остановившись на приличествующем расстоянии, пробежал бумагу глазами.

— Все в точности, ваше величество,— подтвердил он.

— Бедняжка, бедняжка,— дважды прошептала императрица, глядя на Кодаю.

Кодаю казалось, что все это происходит во сне.

— Расскажите подробно ее величеству о том, что пришлось вам пережить, о тех, кто погиб во время ваших скитаний,— обратилась к Кодаю статс-дама Софья Ивановна Турчанинова.

Кодаю стал рассказывать, как их корабль прибило к Амчитке и что случилось потом с потерпевшими кораблекрушение японцами. Он говорил медленно, стараясь не допускать ошибок в произношении. Вначале он боялся, как бы не выскочило ненароком неподходящее слово, потом успокоился, и речь его потекла плавно. Когда Кодаю закончил свой рассказ, издали донесся голос императрицы:

— Сколько погибло ваших спутников?

— Двенадцать,— ответил Кодаю.

— Какая жалость! — прошептала императрица.

В России говорили так, когда печалились об ушедших в мир иной. Выходит, императрица выражает сострадание по поводу потерпевших кораблекрушение и умерших вдали от родины двенадцати японцах, решил Кодаю. Потом, ни к кому не обращаясь, Екатерина сказала:

— Как могло случиться, что это прошение не дошло до меня, хотя оно было отправлено очень давно?

Вопрос императрицы так и остался без ответа. Никто не решался проронить хоть слово.

Во дворце готовились к праздничному обеду по случаю дня рождения внука Екатерины Александра Павловича, но Екатерина, несмотря на это, продолжала подробно расспрашивать Кодаю. Улучив момент, Кодаю, тщательно выбирая слова, рассказал Екатерине о том, как оставшиеся в живых японцы жаждут вернуться на родину.

Выслушав Кодаю, Екатерина согласно кивнула головой, быстро поднялась с трона и, пожелав Кодаю здоровья, удалилась. Глядя вслед уходящей императрице, Кодаю впервые подумал, что она вовсе не богиня, а властительница, обладающая телом обыкновенной женщины.

Спустя дней десять к Кодаю приехал Лаксман и сообщил ему поразительную новость: оказывается, все прошения, направленные Кодаю из Иркутска, задерживал высокопоставленный сенатский чиновник, который ни словом ни обмолвился о них Екатерине. Когда это выяснилось, разгневанная императрица запретила ему в течение семи дней являться пред ее очи.

В конце июля, спустя месяц с лишним после высочайшей аудиен-

ции, Кодаю снова пригласили во дворец. Как и в первый раз, его сопровождал Лаксман. Екатерина приняла Кодаю не в тронном зале, а в сравнительно небольшой комнате в присутствии не более двадцати сановников и придворных дам. На этот раз Кодаю и Лаксману, как и некоторым другим из присутствовавших, предложили стулья. Екатерина тоже сидела на стуле, который не был столь внушительным, как трон, но отличался красотой и богатством отделки.

Вновь Кодаю предложили поведать историю его скитаний, но с еще большими подробностями. Когда Кодаю оказывался в затруднении из-за недостаточного знания русского языка, ему на помощь приходил Лаксман и дополнял его рассказ. Екатерина останавливала Кодаю, задавала вопросы, когда что-либо в рассказе ее особенно интересовало. О некоторых вещах выспрашивала все до мельчайших подробностей. Кодаю легко было рассказывать о скитаниях японцев, потерпевших кораблекрушение, ибо он говорил о том, что сам видел и испытал. Когда же речь зашла о Японии, он понял, что многого не знает и не способен подробно ответить на следовавшие один за другим вопросы Екатерины.

Затем императрица приказала принести несколько книг, неведомыми путями попавших в Россию, и показала их Кодаю. Это были японские книги — в большинстве своем старинные иллюстрированные сборники новелл и пьесы дзёрури. Кодаю показали и несколько русских книг с описанием Японии. В одной из них он обнаружил карту Японии и иллюстрации, изображающие шествие знатных феодалов — даймё.

Аудиенция длилась два часа. Кодаю вновь мягко напомнил Екатерине, что японцы с нетерпением ожидают возвращения на родину. Императрица, как и в первый раз, утвердительно кивнула головой, но ни словом ни обнадежила, ни разочаровала Кодаю.

В начале сентября Екатерина вернулась из Царскосельского дворца в Петербург. Кодаю по-прежнему оставался в Царском Селе у садовника Буша.

В последние дни сентября от Лаксмана неожиданно пришло письмо, в котором Кодаю предлагалось немедленно покинуть гостеприимный дом Буша и выехать в Петербург.

Кодаю не знал радоваться ему или печалиться, но коль скоро приказано ехать — надо ехать.

— Думаю, беспокоиться вам нечего,— сказал Буш.— По-видимому, близится день, когда сбудется ваша мечта.

Но Кодаю не был настроен столь оптимистически. Первое, что пришло ему в голову: Лаксман вызывает потому, что срок пребывания его в Петербурге подходит к концу и надо возвращаться в Иркутск. И хотя надежды не оправдались, он с теплотой будет вспоминать четыре месяца, проведенные в Царском Селе, радости и печали, которые он там испытал...

Встретив Кодаю в Петербурге, Лаксман сразу же сообщил:

— На двадцать девятое тебя пригласил Безбородко.

Кодаю поинтересовался, чем это вызвано.

— Ничего не знаю. Пойдешь и собственными ушами все услышишь,— ответил Лаксман, не особенно выбирая слова.

Кодаю внимательно поглядел на Лаксмана, безуспешно пытаясь хоть что-нибудь прочесть на его, как всегда, невозмутимом лице.

Двадцать девятого после полудня Кодаю в назначенный час прибыл ко дворцу Безбородко. Большой двухэтажный дом располагался на обширном участке земли, обнесенном ажурной решеткой. У входа его встретил чиновник, внутрь дома проводил тоже чиновник. Атмо-

сфера, царившая в доме, как бы говорила, что это не просто частный особняк, а государственное учреждение. Ходили слухи, что здесь каждый вечер дежурили десять чиновников, а с рассвета и до поздней ночи еще около двадцати чиновников выполняли обязанности прислуги.

После довольно долгого и мучительного ожидания к Кодаю вышел не Безбородко, а Воронцов. Он вошел в приемную и, не присаживаясь, сказал:

— Ваша просьба удовлетворена. Потерпевшим кораблекрушение японцам разрешено возвратиться на родину. Благодарите доброе сердце великодушной императрицы.

Кодаю молча слушал, опустив голову.

— Двадцать восьмого июня после аудиенции, которой ты был удостоен, императрица приказала немедленно отправить тебя в Охотск. Снаряжение судна почти закончено, поэтому мы сочли возможным известить тебя о воле императрицы.

Кодаю стоял перед Воронцовым с поникшей головой и не мог произнести ни слова. Мысли путались. Каждое слово Воронцова, произносимое монотонным голосом чиновника, словно ударяло ему в лоб.

— В конце октября во дворце будет прием. Точный день и час тебе сообщат позднее.

Наконец Кодаю поднял голову.

— Я не ослышался? Только что вы изволили сказать, что по повелению императрицы мне разрешено вернуться на родину.

— Именно так.

— Значит, потерпевшего кораблекрушение японца Кодаю отправят в Японию?

— Именно так.

— Но я не один. Со мной еще четверо друзей. Значит, разрешено вернуться всем пятерым?

— Двое твоих друзей пожелали принять русское подданство и нашу веру. Сейчас они уже подданные России. Остальным разрешено вместе с тобой выехать на родину. Итак, в Японию возвращаются трое, включая тебя. О подробностях отъезда вам будет сообщено позднее.

— Когда можно выехать?

— Это решит генерал-губернатор Пиль, находящийся в Иркутске. Ему уже направлен императорский указ. А пока ты находишься в Петербурге, во всем следуй указаниям Лаксмана.

Затем Воронцов в более мягком тоне посоветовал Кодаю, поскольку до отъезда еще достаточно времени, осмотреть и изучить по возможности все, что его может заинтересовать в Петербурге, для чего будут созданы все условия.

Когда Кодаю вышел из особняка Безбородко, он ощутил странную неуверенность, ему показалось, будто почва уходит из-под ног и он вот-вот воспарит в небо. Ощущение некоего опьянения кружило голову, и Кодаю ничего не мог с этим поделать. Он хотел как можно быстрее поделиться доброй вестью с Лаксманом, но вымощенная камнями дорога вдоль канала была так бесконечно длинна...

Выслушав Кодаю, Лаксман поднялся из-за стола, приблизился к японцу, доброжелательно похлопал его по плечу и сказал:

— Для тебя сегодня хороший день, для меня — тоже.

Кодаю стоял перед ним, уронив голову, словно преступник, испрашивающий прощения за совершенное им преступление. Когда Лаксман снял руку с его плеча, Кодаю поднес правую ладонь к глазам и впервые за годы скитаний разрыдался...

Воронцов сказал правду: действительно, еще в то время, когда Кодаю 13 сентября 1791 года проводил в мучительных ожиданиях дни в Царском Селе, генерал-губернатору Пилю в Иркутск был уже направлен высочайший указ за номером 16985. Довольно пространное послание называлось «Об установлении торговых сношений с Японией»:

«Вам известно, каким образом Японские купцы по разбитии мореходного их судна спаслись на Алеутский остров, и сначала тамошними промышленниками призрены, а потом доставлены в Иркутск, где и содержаны были некоторое время на казенном иждивении. Случай возвращения сих Японцов в их отечество открывает надежду завести с оными торговыя связи, тем паче, что никакому европейскому народу нет столько удобностей к тому, как Российскому в разсуждении ближайшего по морю разстояния и самаго соседства. В сем виде указали мы у Надворнаго Советника и Профессора Лаксмана, который привез сюда с собою начальника тех Японцов, именем Кооадая, относительно ведения с Япониею торга взять объяснение, с коего выписка здесь прилагается. Приняв в уважение представления его и предусматривая могущую от того произойти пользу для Государства Нашего, возлагаем на попечение ваше план его произвести в действо, повелевая вам 1) Для путешествия к Японии или нанять на казенный кошт у Охотского порта одно надежное мореходное судно с искусным кормщиком и потребным числом работников и служителей довольно в плавании искусившихся, или же, буде к тому времени флота капитан Биллинг в известной вам экспедиции находящейся с эскадрою своею обратно туда прибудет, вместо вышеуказанного найма употребить одно из его судов исправное со всем нужным екипажем, наблюдая только, чтоб начальник онаго был из природных Российских, а по неимению из таковых способнаго, хотя и из иностранных, но не из англичан и голландцов. 2) На сем судне отправить на всем казенном содержании помянутых Японцов, оставляя однакож двух из них Христианский закон восприявших, об употреблении коих нижесказано будет. 3) Для препровождения тех Японцов в их отечество, употребить одного из сыновей означеннаго Профессора Лаксмана в Иркутском Наместничестве при должностях находящихся, имеющих познания астрономии и навигации, поруча ему как в пути, так и в бытность в Японских областях делать на водах, островах и на твердой земле астрономическия, физическия, и географическия наблюдения и замечания, равно о торговых тамошних обстоятельствах. 4) Для установления порядка и управления сей экспедиции составить начальнику ея ясное и подробное наставление, заимствуя к тому советы и нужные объяснения от помянутаго Профессора Лаксмана, который довольное по сей части познание имеет. 5) При сем обратном отправлении Японцов, вы долженствуете отозваться открытым листом к Японскому Правительству с приветствиями и с описанием всего происшествия, как они в Российския области привезены были и каким пользовались здесь призрением, что с нашей стороны тем охотнее на оное поступлено, чем желательнее было всегда здесь иметь сношения и торговыя связи с Японским Государством, уверяя, что у нас всем подданным Японским приходящим к портам и пределам Нашим всевозможныя пособия и ласки оказываемы будут. 6) Для большаго еще обласкания Японского Правительства, употребить из казны до 2000 рублей на покупку разных приличных товаров, кои вы от имени своего в Японию в подарок послать можете. 7) При сей самой экспедиции стараться склонить кого-либо из лучших Наших Иркутских купцов отправиться самим, или из их прикащиков для опыта на том же от Охотска посылаемом судне в Японию с некоторым количеством от-

борных товаров для жителей той страны потребных по продаже коих могли бы они купить Японских товаров, дабы из сего опыта удобно было получить просвещение ради будущих Наших торговых предприятий в Японию. 8) Что касается до упоминаемого в плане Профессора Лаксмана предложения о изыскании новаго пути по реке Амуру, оное по известным Нашим с Китайцами обстоятельствам почитается на настоящее время неудобным, а потому, дабы подобным с Нашей стороны движением не возбудить большаго в Китайском Правительстве внимания, и в переговорах Наших об открытии и взаимнаго торгу не подать поводу к новым затруднениям означенное предложение оставить без исполнения. 9) Как из числа помянутых Японцов двое приняли Христианский наш закон и, следовательно, в отечество свое уже возвратиться не могут, то употребить их у Нас для обучения Японского языка, который при установлении торговых с Япониею сношений весьма нужен будет: ради чего и возлагается на распоряжение ваше, дабы они помещены были при народном училище в Иркутске с соразмерным жалованьем, и на первый случай отдать им для обучения Японского языка пять или шесть мальчиков нарочно к сему выбранных из тамошних семинаристов, дабы они со временем могли служить и переводчиками, когда произойдет у нас желаемая связь с Японским Государством и распространять учение столь нужнаго к тому языка японского. 10) О потребной сумме на жалованье начальнику Экспедиции и прочим чинам и служителям, которое долженствует назначено быть достаточное на снаряжение сей Экспедиции всем для нея нужным на чрезвычайные при том расходы и на содержание в пути Японцов, учиня исчисление представить Нам, дабы мы могли об отпуске тех денег, кому следует дать повеления; а между тем на первоначальныя и благовременныя приготовления заимствовать нужное число из сумм, принадлежащих в высылку Остаточным Нашим Казначействам. 11) Сверх назначаемого Японцам содержания в пути производить оное и здесь по разсмотрению вашему из казны Нашей до того времени, покуда они отправлены будут, а при том отправлении выдать еще им подарок, назначенный в росписи при сем прилагаемой, в которой написанныя начальнику их часто упоминаемому Кооадаю деньги и вещи получил он уже здесь из Кабинета нашего. Мы надеемся в прочем на усердие и радение ваше, что все тут предписанное исполните вы с наилучшею точностью, пребывая вам Императорскою Нашею милостию благосклонны».

Указ Екатерины, направленный генерал-губернатору Пилю, свидетельствовал о том, что возвращение на родину Кодаю и его спутников рассматривалось как одно из звеньев политики России на Дальнем Востоке. Не вызывает сомнений, что в основу указа был положен проект Кирилла Лаксмана.

Россия была не единственной страной, интересовавшейся судьбой Кодаю. Благодаря французу Лессепсу, упоминавшему о Кодаю в двухтомнике описаний своих путешествий, о нем уже знали в Европе еще до того, как он прибыл в Петербург. Макатни, которого в 1792 году английское правительство направило в Китай с целью налаживания англо-китайских торговых отношений, в начале апреля, накануне отъезда, в частном письме английскому послу в России Чарльзу Витворту выразил желание пригласить Кодаю на службу в качестве личного секретаря. В ответном письме, полученном в Лондоне девятого июня, Витворт сообщал, что информацию о потерпевших крушение японцах он направил в Лондон еще в сентябре 1791 года, и если она не дошла по назначению, значит, ее, по-видимому, выкрали в пути. Короче говоря, японца Кодаю, хотя сам он не знал об этом, некоторые политические деятели тогдашней Европы рас-

сматривали как личность, заслуживающую самого пристального внимания.

С тех пор как Кодаю узнал от Воронцова о разрешении вернуться в Японию, его жизнь закрутилась в бешеном темпе. Высокопоставленные сановники, с которыми Кодаю познакомился в свою бытность в Царском Селе, наперебой приглашали его в гости, а Лаксман и близкие друзья то и дело устраивали в его честь званые обеды. Помимо этого, был целый ряд учреждений, которые Кодаю регулярно посещал и изучал: университет, больницы, дома призрения. Ему разрешили осмотреть императорский музей, библиотеку, кунсткамеру и другие учреждения, недоступные для простых смертных. Причем всякий раз его сопровождали опытные специалисты. До поздней ночи Кодаю засиживался за столом, подробно записывая виденное за день. Он больше не испытывал ощущения бесцельности своей работы, как это было в доме Буша в Царском Селе, когда он неожиданно отбрасывал кисточку в сторону и вставал из-за стола. Теперь каждая написанная им строка таила драгоценные сведения, которые он должен был поведать своим соотечественникам. Ему трудно было определить, как будут оценены полученные им сведения на родине, и в то же время он чувствовал, что кое-что может оказаться чрезвычайно важным.

Кодаю писал и писал, сожалея о каждом часе, затрачиваемом на сон.

Кодаю побывал и на странном празднестве, именуемом «машкерад», которое проводилось раз в неделю в течение всего года. В нем могли участвовать все — от престолонаследника и высокопоставленных сановников до простого народа. Люди закрывали лица масками, наряжались в причудливые одежды и веселились до глубокой ночи. Кодаю довелось побывать на многих празднествах и представлениях, но назначения «машкерада» он понять не мог, поэтому затруднялся оценить его по достоинству. Иногда ему приходила в голову мысль, что «машкерады» устраиваются для того, чтобы знатные люди и сановники могли услышать истинный, не искаженный условностями голос простого народа.

Двадцатого октября Кодаю в сопровождении Лаксмана был приглашен на короткую аудиенцию к Екатерине, во время которой императрица пожаловала ему личную табакерку.

Восьмого ноября Кодаю пригласил к себе Воронцов и от имени императрицы вручил золотую медаль, часы и сто пятьдесят рублей. Медаль была из чистого золота, с портретом императрицы на одной стороне и с изображением Петра Великого на коне, попирающем дракона,—на другой. Это была высшая награда, которой удостаивали людей не дворянского происхождения, и в то время ею обладали, помимо Кодаю, лишь двое: известный иркутский купец Григорий Иванович Шелехов и один фейерверкер, прославившийся своим искусством далеко за пределами России.

Двадцать шестого ноября Кодаю вместе с Лаксманом выехал из Петербурга и двадцать третьего января следующего года прибыл в Иркутск. Сразу же по прибытии в дом Лаксмана утомленные долгим путешествием Лаксман, Кодаю и их спутники повалились на постели и мгновенно уснули.

На следующий день Лаксман и Кодаю прежде всего отправились

засвидетельствовать свое почтение генерал-губернатору Ивану Алферьевичу Пилю. Пиль принял их необыкновенно торжественно.

— Корабль, который доставит вас на родину, будет готов к отплытию в мае,— сказал он, обращаясь к Кодаю.— До той поры у вас есть время спокойно подготовиться к отъезду.

Пиль говорил с Кодаю очень тепло, потом провел гостей в соседнюю комнату, где уже был накрыт стол. Поистине генерал-губернатор проявил необыкновенное гостеприимство. К столу подали даже виноградное вино. Понимая, очевидно, что главным гостем является Кодаю, Лаксман почти не вступал в разговор, молча потягивал вино, а когда в бокале ничего не оставалось, сам наполнял его снова. Такой уж был Лаксман человек: в гостях всегда вел себя так, словно находился у себя дома. Только в присутствии Екатерины он изменял своим привычкам и становился буквально другим человеком. Но все прощали Лаксману его экстравагантность, считая ее естественной для столь выдающегося ученого.

Кодаю потребовалось несколько дней, чтобы уложить вещи в дорогу. Он готов был захватить с собой все, что могло оказаться, на его взгляд, интересным для Японии. Безусловно, на корабль можно было бы погрузить уйму вещей, но Кодаю многое пришлось оставить, ибо путь до Охотска, где стоял на якоре корабль, был долог и труден. Различных подарков и вещей, полученных или купленных Кодаю в Петербурге и Иркутске, набиралось слишком много, поэтому он отобрал только то, что считал необходимым в первую очередь привезти в Японию. В один из тюков он сложил предметы, по которым можно было составить представление о национальных обычаях,— жилет, штаны, нижнюю рубашку, кальсоны, плащ, шубу, шапку, обувь; в другой — катушки с нитками, ложки, табакерки, ларцы, щетки, серебряные сосуды, чашки, чайники, кувшины, курительные трубки, гребни, бритвы, зеркала и прочие предметы обихода. В отдельный сверток были сложены кольца, серьги, карманные часы, медаль, микроскоп, кинжал и разнообразные трости. Редкой вещью считал Кодаю имевшийся у него портрет Екатерины II, который он намеревался увезти в Японию на память для себя лично. Кодаю считал также крайне важным привезти на родину географические карты, книги, денежные знаки и другие ценные, с его точки зрения, предметы. Помимо карты России, у него были собраны карты Азии, Европы, Африки, Америки, а также сравнительная карта Азии и Америки.

Наконец, двадцатого мая Кодаю, сопровождаемый Лаксманом и его третьим сыном Мартыном, выехал из Иркутска в Охотск. Лаксман намеревался встретиться в Охотске и со своим сыном Адамом, который отправлялся с ответственной миссией в Японию, и дать ему последнее напутствие.

Собралось много провожающих. Некоторые, в том числе Ходкевич и домочадцы Лаксмана, сопровождали Кодаю до станции Пукин, расположенной в двадцати двух верстах от Иркутска. Они переночевали на местном постоялом дворе и рано утром простились с отъезжающими.

Расставаясь с супругой Лаксмана, Кодаю преклонил колени и трижды обнял ее ноги. Обычно в России так расстаются дети со своими родителями, но у Кодаю этот жест получился очень естественно. И правда, у него было такое чувство, будто он расстается с родной матерью...

Три пары саней тронулись в путь и двадцать третьего добрались до пристани Кадик, расположенной в двухстах двадцати верстах от Иркутска. На следующий день туда же прибыли спутники Кодаю —

Коити и Исокити, выехавшие из Иркутска позднее. Вместе с ними были толмачи — Трапезников и Туголуков, а также слуга Лаксмана.

Двадцать пятого мая Лаксман, Мартын и Кодаю перебрались на речной пароход и поплыли к Якутску по Лене — самой большой реке России. На тот же пароход сели еще несколько человек — и среди них уже знакомый Кодаю купец Шелехов.

Во время путешествия по реке Шелехов чуть не ежедневно беседовал с Кодаю. Последний крайне удивился, выслушав мнение Шелехова о том, что от нынешней миссии в Японию вряд ли можно ожидать чего-нибудь путного. Кодаю никак не мог понять, действительно ли таково мнение Шелехова или он просто решил поддразнить Лаксмана.

— Очень хорошо, что вы возвращаетесь на родину,— говорил Шелехов.— Вам большой корабль дают, да еще и провожают. Надо этому только радоваться. Россия проявила к вам доброе отношение. Раз вас провожают с уважением и почестями, следует ожидать в ответ тоже чего-то хорошего и от вашей страны. Чиновники и политики на этот счет шибко сообразительны бывают. Но не верится мне, что все получится так, как они рассчитывают.

В другой раз Шелехов заводил разговор по-иному:

— Все дело в людях. Если бы ехал человек настойчивый, решительный, еще можно было бы кое на что рассчитывать. Но я вроде бы такого человека не вижу. Вас, правда, все это не касается: пообещали отправить на родину — вот и хорошо. Корабль приплывет в японскую гавань, сойдете вы на берег и прости-прощай!

Слышал ли Лаксман то, о чем говорил Шелехов, или нет — трудно сказать, но обычно он на реплики Шелехова не реагировал. Лишь однажды, сидя поблизости от беседовавших Шелехова и Кодаю, Лаксман вдруг вызывающе рассмеялся. На мгновение взгляд Шелехова стал холодным и колючим, он шевельнул губами, собираясь что-то сказать, потом, должно быть, раздумал и промолчал.

Кодаю одинаково беседовал и с Лаксманом, и с Шелеховым, но сами они обращались друг к другу лишь в крайних случаях. По всей видимости, отношения между ними сложились самые что ни на есть враждебные...

Судно уплывало все дальше и дальше по Лене. Каждый день глазам Кодаю открывался однообразный, монотонный пейзаж. Временами река настолько расширялась, что нельзя было различить противоположного берега. Иногда же берега сближались, и тогда течение реки становилось бурным и изобиловало стремнинами. За двадцать дней плавания путешественникам встретились лишь два якутских поселка — Киренск и Олекминск, по четыреста — пятьсот дворов в каждом. Судно приставало к пристаням у обоих поселков, но на берег никто не сходил.

В Якутск прибыли пятнадцатого июня. Там же, на пристани, простились с Шелеховым и его людьми. Спустя два дня в Якутск приплыли Коити и Исокити. Кодаю и его спутникам уже довелось несколькими годами раньше побывать в Якутске. То было самое холодное время года — ноябрь и декабрь. Воспоминания вихрем закружились у Кодаю в голове. Подумал он и о том, что тогда в Якутске их было шестеро, а теперь осталось только трое.

Второго июня отец и сын Лаксманы, Кодаю и двое толмачей отправились в Охотск. Было решено, что Коити и Исокити, как и прежде, последуют за ними двумя-тремя днями позже.

Ехали на лошадях в сопровождении якутов-проводников. День за днем пятеро всадников преодолевали дикую, бескрайнюю равнину, на которой почти не встречалось человеческого жилья. Лишь кое-где

были разбросаны якутские поселения, да и те большей частью в нескольких днях пути в сторону от дороги.

Ночевали под открытым небом. Днем и ночью одолевали тучи комаров. Иногда они до того облепляли лошадей, что нельзя было разобрать, какой они масти. Лошади ступали, тяжело дыша и роняя на дорогу капли крови из искусанных комарами ноздрей и губ. Путешественники продвигались вперед, надев поверх шерстяных шапок ситцевые мешки и не выпуская из защищенных кожаными рукавицами рук метелки из конского волоса, которыми они сбивали комаров с себя и с лошадиных крупов. Остановившись на ночлег, натягивали вокруг себя льняную ткань, а внутри разводили костер из сухого конского навоза, чтобы хоть как-то спастись от полчищ комаров.

Кодаю уже однажды проделал весь этот путь — только в обратном направлении. В ту пору была поздняя осень, и он и его спутники не могли уснуть из-за сильных холодов, но зато они не страдали от комаров. Трудно сказать, какое из этих двух зол было хуже. С тем большим удивлением они думали о том, что Лаксман не раз и не два путешествовал по этому сибирскому аду, собирая образцы растений. Он и на этот раз то и дело слезал с лошади, чтобы сорвать травинку или подобрать заинтересовавший его осколок породы.

Третьего августа они прибыли в Охотск, а спустя пять дней встречали там Коити и Исокити. В Охотске уже с марта находился Адам Лаксман, которому была поручена важная миссия сопровождать Кодаю и его спутников в Японию.

Дней через десять после прибытия в Охотск Адам Лаксман повел японцев в гавань, где стоял корабль, который должен был доставить их на родину. Сошедший со стапелей тремя годами раньше корабль назвали «Екатериной». По словам Адама Лаксмана, вначале для этой цели был подготовлен совершенно новый корабль «Слава России», но он почему-то не понравился капитану, и тогда выбор пал на «Екатерину» — крупное судно длиною в двадцать семь и шириной в четыре с половиной метра.

Двадцать первого августа Кирилл Лаксман выехал в Иркутск. В Охотске он пробыл всего полмесяца, но за это время успел собрать множество образцов минералов и трав. Лаксман приехал на далекий восточный край России, чтобы напутствовать своего сына Адама и проводить Кодаю. Но у него безусловно была еще одна цель — собрать растения и образцы руд и минералов. Теперь задача была выполнена, и Лаксман со спокойной душой отправился в обратный путь. Адам и Кодаю провожали его на небольшом речном судне. Пройдя бок о бок около двух верст, оба судна пристали к берегу; Лаксман, Кодаю и Адам сошли на сушу. Подобно тому как Кодаю простился с супругой Лаксмана, он склонился перед благодетелем, которого ему не иначе как сам бог послал. Истинная благодарность не нуждается в словах, поэтому Кодаю лишь крепко обнял колени Лаксмана и прижался к ним щекою.

— Необыкновенная нас свела судьба. Ну, в добрый путь,— растроганно произнес Лаксман.

Кодаю поднялся. Лаксман прав, действительно, их свела необыкновенная судьба. Адам тоже обнял отца за колени и заплакал. Даже посторонние не могли без слез смотреть на это прощание. Но Лаксман лишь строго сказал:

— Желаю с честью выполнить возложенную на тебя высокую миссию.

Кодаю долго стоял на берегу и глядел вслед кораблю, уносившему Лаксмана, потом, поторапливаемый Адамом, поднялся на судно. По его щекам текли слезы...

Отплытие «Екатерины» наметили на тринадцатое сентября. Оставшиеся до отплытия двадцать дней японцы провели как в тумане. Все было подготовлено, все работы проделаны — оставалось только ждать. Кодаю ежедневно бродил по морскому берегу, собирал казавшиеся ему необычными растения. Исокити обрабатывал их. Этому он научился в доме Лаксмана.

Накануне отплытия на расположенной близ гавани площади собрались все сорок два участника экспедиции. Городничий, Кодаю, Коити, Исокити, Адам Лаксман и капитан «Екатерины» Ловцов сели за главный стол, остальные разместились вокруг них. Один за другим вставали городничий, Ловцов и Адам Лаксман и произносили торжественные тосты и напутствия. Поднялся и Кодаю и коротко поблагодарил за проявленное к нему и его спутникам участие. С моря непрерывно дул свежий ветер, предвещавший приближение зимы.

Тринадцатого сентября, в день отплытия, стояла ясная погода. На берегу собралось много провожающих и просто любопытных. Весь экипаж выстроился на палубе. После троекратного орудийного салюта «Екатерина» отдала швартовы. На выходе из устья реки подняли паруса, и экипаж встал на молитву, прося у всевышнего благословения. По окончании молитвы с берега и с корабля раздались ружейные выстрелы. Вначале они как бы вторили друг другу, потом палили без разбора все, у кого были ружья.

Кодаю, Коити и Исокити, прислонившись к борту корабля, неотрывно глядели на удалявшийся от них город. Они прощались с материком, на котором провели пять долгих лет с тех пор, как в 1787 году ступили на землю Камчатки. С момента, когда в декабре 1782 года корабль «Синсё-мару» отплыл из Сироко, миновало девять лет и восемь месяцев...

«Екатерина» с японцами на борту обогнула Курилы, прошла через пролив между островами Итуруп и Кунашир и двадцать шестого сентября бросила якорь вблизи берегов Хоккайдо.

Адам Лаксман с тринадцатью вооруженными моряками отправился на берег в поисках подходящей гавани, где можно было бы остановиться на зимовку. Он также намеревался выяснить, есть ли в этом районе японцы. Вдалеке Адам Лаксман заметил довольно большую группу аборигенов, которые при виде незнакомцев бросились врассыпную. Пришлось потратить не менее полусуток, чтобы убедить их в добрых намерениях русских моряков. В конце концов они приняли от Лаксмана табак и помогли пополнить запас пресной воды на корабле.

Восьмого октября Адам Лаксман вместе с переводчиком Туголуковым и рулевым Олесовым вновь высадились на берег — на этот раз в районе поселка Нисибэцу — и были доброжелательно встречены местными жителями, среди которых они заметили шестерых японцев. Один японец был направлен из княжества Мацумаэ для закупки кеты, которая поставлялась центральному правительству бакуфу, другой вел торговлю с аборигенами, получив разрешение княжества пользоваться несколькими причалами на Кунашире и Сикотане. Остальные четверо находились у них в услужении.

Сразу по возвращении русских на корабль трое японцев, сопровождаемые аборигенами, подплыли на лодке к «Екатерине» и вручили подарки: фунт риса и табак. В ответ им была подарена сахарная голова.

На следующий день местный буксир провел «Екатерину» в гавань Нэмуро, окаймленную узкой полоской пологого берега с причалом, который лишь с большой натяжкой можно было назвать пристанью. Вокруг причала виднелись несколько складов и дом, где жили япон-

цы, а поодаль на морском берегу стояли два-три десятка домов, принадлежавших местным жителям.

Вечером Адам Лаксман нанес визит старшему японскому чиновнику. Его ввели в японский дом, затем внесли скамью, на которую постелили циновку, убедившись, что Лаксман не может сидеть по-японски, и предложили разделить с ними ужин, но Лаксман вежливо отказался.

Он заявил, что экипаж корабля вынужден остановиться здесь на зимовку, попросил разрешения построить на берегу казарму, а также поинтересовался: не следует ли ожидать во время зимы нападения со стороны местных жителей? Японский чиновник заверил Лаксмана в неосновательности его опасений, сказал, что здешние аборигены — айну — отличаются мягким, дружелюбным характером. Если же у русских остается хоть малейшее сомнение, заявил чиновник, он готов провести зиму вместе с ними, хотя дела призывают его вернуться в город Мацумаэ.

Чиновник оказался человеком ненавязчивым и спросил лишь о том, сколько русских прибыло на корабле. Узнав, что чиновник собирается направить гонца в Мацумаэ, так как по долгу службы обязан информировать князя о прибытии иностранцев, Лаксман попросил разрешения направить с гонцом письмо князю Мацумаэ и вернулся на корабль. До Мацумаэ, по словам чиновника, было свыше трехсот ри[1], и самому быстрому гонцу требовалось не менее тридцати дней, чтобы туда добраться.

Всю ночь толмачи с помощью Кодаю переводили на японский язык письмо Лаксмана, в котором, в частности, отмечалось:

«Законы нашего государства обязывают относиться с должной заботой к потерпевшим кораблекрушение.

Наша человеколюбивая повелительница Великой Российской империи повелела иркутскому генерал-губернатору Пилю отправить означенных подданных Великой Японии на родину, с тем чтобы они вновь смогли встретиться со своими родными и соотечественниками».

Далее в письме сообщалось:

«Достигнув этого побережья, населенного местными аборигенами, мы сошли на берег и случайно встретились с чиновниками Вашего княжества. Поскольку наступила поздняя осень, мы вынуждены остановиться здесь на зимовку. Мы обратились к Вашим чиновникам с просьбой направить с гонцом означенное письмо властителю княжества Мацумаэ, с тем чтобы сообщить о нашем прибытии и о том, что следующей весною мы продолжим наше плавание. Просим также князя — властителя Мацумаэ известить правительство в Эдо о нашем прибытии».

Помогая переводить это письмо, Кодаю думал о том, что из него нельзя понять, является ли Адам Лаксман посланцем императрицы Екатерины или иркутского генерал-губернатора. Ему показалось даже, будто это сделано сознательно. Однако Кодаю ни с кем не поделился своими мыслями.

Четырнадцатого октября Адам Лаксман, получив разрешение от местного чиновника, приступил к строительству казармы. Чиновник поставил условие, чтобы постройка отстояла от японских домов не ближе семидесяти кэн[2].

Строительство подвигалось медленно, поскольку на корабле появилось много больных. Среди японцев заболел только Коити. Два-

[1] Около 120 километров.
[2] Примерно 125 метров.

дцать девятого ноября казарма была построена, и весь экипаж судна, за исключением регулярно сменяемых сторожей, сошел на берег. Жизнь на суше благотворно сказалась на больных — их число стало заметно сокращаться.

Двадцатого декабря из Мацумаэ прибыл высокопоставленный сановник Судзуки Кумадзо. Он сразу же посетил жилище русских и после обмена приветствиями с Адамом Лаксманом зачитал привезенное с собой послание.

— Послание, отправленное вами, получено. Его вместе с приложенным к нему донесением правителя княжества Мацумаэ направили в Эдо. Мне приказано прибыть сюда, чтобы известить вас об этом, а также защитить от нападений со стороны местных жителей и выяснить ваши нужды и намерения.

Судзуки Кумадзо, по-видимому, был человеком сверхдобросовестным и полученный им устный приказ изложил письменно и сам зачитал, чтобы передать его в точности.

Спустя десять дней из Мацумаэ прибыл еще один чиновник. На этот раз его сопровождал довольно большой вооруженный отряд. А двадцать девятого декабря в самый канун Нового года приехали два правительственных чиновника из Эдо. Они остановились в Мацумаэ, а затем последовали к месту зимовки русских. Они утверждали, что прибыли сюда вне всякой связи с появлением экспедиции Адама Лаксмана.

Чиновники близко познакомились с русскими и, по-видимому, чтобы скрасить зимнюю скуку, часто приходили к ним в гости, Адам и его спутники тоже не скупились на ответные визиты. Переводчикам Трапезникову и Туголукову буквально некогда было передохнуть. Каждый день сквозь пургу и стужу они кого-нибудь сопровождали в гости и возвращались, облепленные снегом с головы до ног. Кодаю и Исокити не принимали участия в этих дружеских беседах. Они вели себя осторожно и скромно и лишь отвечали на задаваемые вопросы. Кодаю считал, что правительственные чиновники, прибывшие в самый канун Нового года, были направлены с особой миссией, а именно, прощупать, с какой целью появились русские в северных пределах Японии. Адам Лаксман предполагал то же самое, хотя вслух и не говорил об этом. Тем не менее японские чиновники — пусть даже они и имели особое задание — вели себя вполне дружелюбно, были внимательны и никаких козней не замышляли. С необыкновенным усердием они изготовляли макеты и чертежи русского судна, а также копировали карты, полученные ранее чиновниками княжества Мацумаэ от Адама Лаксмана.

Адам Лаксман тоже не оставался в бездействии. Он поручил одному из членов экипажа скопировать карты Японии, привезенные из Эдо и Мацумаэ. Сам Лаксман ежедневно делал подробные записи в толстой тетради обо всем, что ему довелось увидеть и услышать в Японии. Глядя на него, Кодаю невольно вспоминал отца Адама и добровольно помогал ему в этой работе.

Двадцать восьмого апреля в Нэмуро прибыли новые чиновники из Эдо и Мацумаэ в сопровождении вооруженного отряда из шестидесяти воинов и ста пятидесяти аборигенов. Пристань в Нэмуро и ее окрестности сразу же оживились, люди сновали взад и вперед, спешно строя жилища. Двадцать девятого апреля умер от цинги Коити. На следующий день к Лаксману прибыл гонец с приглашением посетить вновь прибывших японцев. Адам незамедлительно нанес им визит и невольно обратил внимание на официальный характер встречи. У входа в дом стоял на страже воин с копьем. Лаксмана ввели во внутренние покои, где его ожидали два чиновника высокого ранга. После то-

го как гости выпили по чашечке чаю, один из чиновников зачитал письмо, которое Туголуков сразу же перевел на русский язык. Суть его заключалась в следующем: японское правительство, изучив послание Лаксмана, решило направить в Мацумаэ двух высокопоставленных сановников, которые прибыли туда уже в марте и приказали людям из своей свиты встретиться с русскими и сопровождать их до Мацумаэ. Во избежание возможных инцидентов в пути их должен охранять многочисленный отряд, состоящий из воинов и местных жителей.

Зачитав письмо, японец предложил отправиться в Мацумаэ по суше. Но Адам Лаксман настаивал на том, чтобы плыть морем, поскольку не хотел оставлять свой корабль без присмотра. В течение второго и третьего мая длились переговоры, однако ни одна из сторон не шла на уступки. В конце концов Адам Лаксман заявил, что вынужден отказаться от поездки в Мацумаэ и отплыть на родину, поскольку японцы продолжают настаивать на поездке по суше. Решительная позиция Лаксмана дала свои плоды, и четвертого июня «Екатерина» и сопровождавшее ее японское судно снялись с якоря и отплыли из Нэмуро в направлении Мацумаэ.

Спустя месяц, четвертого июля, «Екатерина» бросила якорь в заливе Хакодатэ. К кораблю сразу же подплыл на небольшом судне дайкан[1] и сообщил, что ему поручено встретить русское судно. Затем с помощью трех десятков небольших лодок «Екатерина» была введена в порт Хакодатэ.

Гавань буквально кишела лодками. Это местные жители приплыли поглядеть на заморский корабль. Чиновникам пришлось немало потрудиться, чтобы отогнать их от «Екатерины». Один за другим на корабль поднимались чиновники различных рангов. Адаму буквально некогда было передохнуть.

Кодаю и Исокити по-прежнему оставались на судне и с нетерпением ожидали часа, когда их передадут японской стороне. Однако наступил июль, а все оставалось по-прежнему.

Шестого июля Адам Лаксман вместе с другими представителями миссии, а также Кодаю были приглашены на берег. После короткого осмотра города их ввели в особняк, на котором свежей краской были написаны иероглифы: «Русский дом». Для гостей приготовили японскую баню, после чего их проводили в зал, выходящий в обширный сад. Здесь их встретили правительственные сановники, чиновники княжества Мацумаэ, дайкан и, по-видимому, наиболее влиятельные горожане. Стол буквально ломился от яств и местных деликатесов. По одному этому можно было судить как о гостеприимстве хозяев, так и о значении, которое они придавали встрече с русскими. И все же кое в чем гостеприимство проявлялось несколько своеобразно: хотя Лаксман неоднократно просил разрешить морякам сойти на берег и осмотреть город, дайкан упорно отказывался удовлетворить его просьбу под предлогом того, что посещение города иностранцами строжайше запрещено законом...

Семнадцатого июля из Хакодатэ в Мацумаэ отправилась многочисленная процессия: Адама Лаксмана и его спутников сопровождали правительственные и местные чиновники и большой вооруженный отряд. Где-то в этой процессии затерялись и Кодаю с Исокити. На четвертый день они прибыли в Мацумаэ. На улицах города было пустынно, лишь на перекрестках виднелись фигуры вооруженных копьями самураев. Русских поместили в большом старинном доме с прекрасным садом, окруженным высокой оградой.

[1] Представитель местной администрации.

Здесь Кодаю и Исокити отделили от русских и поместили в тесной каморке, правда в том же здании. Общаться с русскими им не запретили, и Кодаю был в курсе того, что происходило в апартаментах Адама Лаксмана.

Вечером к Лаксману пришли двое чиновников, с тем чтобы договориться о церемонии завтрашней встречи с представителями японской стороны. Адам Лаксман заявил, что он не согласен снимать обувь и кланяться до земли, как это принято в Японии. Переговоры зашли в тупик. В конце концов чиновники покинули Лаксмана, заявив, что должны посоветоваться со своим начальством. Спустя два часа они появились снова и сообщили решение высокого начальства: каждой стороне не возбраняется приветствовать другую сторону в соответствии с обычаями, принятыми у них на родине.

Обо всем этом Кодаю узнал от Трапезникова и был несказанно удивлен, что всего лишь для установления порядка взаимных приветствий потребовалось специальное совещание и решение высоких инстанций. «Что же последует дальше?» — думал он.

В ту ночь Кодаю и Исокити никак не могли уснуть. Чиновники, на которых было возложено то ли обслуживание гостей, то ли их охрана, без конца сновали взад и вперед по коридору, создавая в доме обстановку беспокойства и тревоги.

— Просто обидно — после десяти лет странствий наконец мы снова очутились на родной земле и даже не имеем возможности поговорить с соотечественниками,— прошептал Исокити, мучаясь от бессонницы.

— Как ни печально, но это действительно так,— откликнулся Кодаю.

— Согласятся ли нас вообще принять обратно?

По-видимому, этот вопрос очень беспокоил Исокити.

— А как же иначе? Ведь мы японцы и вернулись на свою родину — в Японию. Просто здесь на все требуется время.

— Не примут — и не надо. Я уеду тогда обратно в Россию,— пробормотал Исокити.

— Не болтай глупостей,— укорял его Кодаю,— отныне даже под страхом смерти ты не должен так говорить. Иначе тебе крышка.

На следующий день Адам Лаксман, отказавшись от предложенного коня, пешком направился к месту встречи с японцами.

Его ввели в обширный зал, где уже находились двенадцать правительственных чиновников. Подождав, пока Лаксман и сопровождавшие его лица займут свои места, один из них объявил, что сегодняшняя встреча предварительная, на ней стороны будут представлены друг другу, а официальные переговоры в этот день проводиться не будут. Далее он сказал, что сёгун[1] в знак благодарности за возвращение потерпевших кораблекрушение японцев жалует миссии Лаксмана сто мешков риса.

— Они сложены там,— добавил чиновник, кивнув головой в сторону сада.

В самом деле, через выходящие в сад окна гостиной виднелась гора аккуратно сложенных мешков — на вид их было не меньше сотни.

Переводил Туголуков. Когда отплывали из Охотска, он едва мог связать по-японски несколько слов. За последние же месяцы, благодаря богатой практике и с помощью словаря, он стал более или менее справляться со своими обязанностями.

Затем Лаксмана проводили в другую комнату, где его ожидали

---

[1] Глава феодального правительства Японии.

шесть высокопоставленных сановников княжества Мацумаэ. Один из них зачитал письмо, гласившее, что послание Адама Лаксмана, направленное из Нэмуро правителю княжества Мацумаэ, а также текст его перевода на японский язык были вручены адресату, однако из-за крайне неудовлетворительного перевода смысл этого послания оказалось чрезвычайно трудно понять, и по существующим в княжестве правилам послание возвращается его отправителю.

— Одно из посланий, которые вы изволили отправить,— переводил Туголуков,— написано не нашими, никому здесь не ведомыми буквами. Другое послание написано знаками, напоминающими кану[1], но они сильно искажены, и смысл многих слов трудно понять. Поэтому из опасения, что смысл вашего послания мог быть понят нами неправильно, мы затрудняемся дать на него подробный ответ.

Туголуков пережил неприятную минуту: ведь ему сейчас пришлось сообщить Адаму Лаксману, что перевод послания, который он самолично сделал в Нэмуро, оказался неудовлетворительным. Лаксман молча принял из рук княжеского сановника ненужное теперь письмо, которое он отправил восемь месяцев тому назад.

Затем Лаксмана снова ввели в гостиную, где вскоре появились официальные представители японской стороны — Исикава Сёгэн и Мураками Дайгаку. После взаимных приветствий японские представители заняли положенные им места. Затем чиновник внес шкатулку, достал из нее свиток бумаги и с подобострастным поклоном передал его Исикава. В этом свитке излагался «Закон об иностранцах». Исикава зачитал его. Текст был довольно длинный, но суть его сводилась к тому, что Япония не вступает в торговые связи с теми странами, с которыми у нее с давних времен не установлены отношения. После того как Туголуков в общих чертах перевел содержание закона об иностранцах, Адам Лаксман принял шкатулку со свитком и передал одному из чиновников расписку в получении, содержание которой тут же перевел Туголуков.

После кратковременного отдыха Лаксмана вновь проводили в гостиную. На этот раз он по всей форме официально приветствовал представителей японской стороны, изложил суть своей миссии в Японию и причины, вынудившие его войти в порт Хакодатэ.

На этом встреча закончилась, и Лаксмана в паланкине, а капитана «Екатерины» Ловцова верхом на коне проводили к резиденции. В тот же вечер к ним прибыл правительственный чиновник и вручил три японских меча и опись подарков. Вслед за ним появился княжеский чиновник, доставивший подарки от правителя княжества Мацумаэ — десять ящиков с табаком, чайный сервиз и лакированные подносы.

На следующий день, двадцать третьего июля, официальных переговоров не было. Лаксмана посетил чиновник, который подробно разъяснил закон об иностранцах с тем, чтобы не было допущено ошибок при переводе текста закона на русский язык. Адам Лаксман вместе с Туголуковым и Трапезниковым заперлись в отдельной комнате и в течение двух дней окончательно отшлифовывали перевод послания японскому правительству от имени генерал-губернатора Пиля. К сожалению, ни Кодаю, ни Исокити теперь уже не могли помочь Адаму Лаксману в этой работе. Узнав, что в знак благодарности за возвращение японцев от имени сёгуна русской миссии даровано сто мешков риса, Кодаю и Исокити воспрянули духом и впервые за последнее время пришли в хорошее настроение. Как-никак, их все же оценили по меньшей мере в сто мешков риса, и это сразу вселило в

[1] Японская слоговая азбука.

них уверенность, что они подданные Японии, а не какой-либо другой страны и вернулись именно на свою родину.

Двадцать четвертого июля состоялась вторая встреча. В этот день Адам Лаксман, уточнив полномочия Исикава и Мураками, хотел вручить им от имени генерал-губернатора Сибири правительственное послание, но японская сторона отказалась его принять, поскольку не имела права нарушить закон, запрещавший принимать от иностранцев официальные документы в любом месте на территории Японии, кроме Нагасаки. Лаксман спросил: не следует ли понимать этот отказ как нежелание признать значение и цели специально прибывшей в Японию русской миссии? Японские представители оставили этот вопрос без ответа. Тогда Лаксман решил устно через Туголукова сообщить им содержание послания, но японцы снова повторили, что дипломатические переговоры могут вестись только в Нагасаки и, если Лаксман пожелает отправиться в Нагасаки, они постараются получить для него соответствующее разрешение.

Убедившись, что переговоры зашли в тупик, Лаксман перешел к вопросу о передаче японской стороне Кодаю и Исокити. Японские представители заявили, что направят в резиденцию Лаксмана чиновника, которому можно будет передать Кодаю и Исокити. Казалось, что речь идет не о живых людях, а о товаре. Японцы предложили в благодарность за возвращение Кодаю и Исокити предоставить в качестве провианта для русских моряков пшеницу, ячмень и оленину.

Переговоры в тот день не принесли Лаксману желательных результатов. Он считал, что уж правительственное-то послание японская сторона примет, но японцы отказались это сделать, прикрываясь щитом закона об иностранцах.

В тот же вечер двое чиновников в сопровождении еще двух человек прибыли за Кодаю и Исокити, с тем чтобы отправить их в Эдо. Они вручили Адаму Лаксману документ, который гласил: «Удостоверяем, что на земле Мацумаэ нам были переданы потерпевшие кораблекрушение Кодаю и Исокити». Далее следовали подписи Исикава и Мураками и печать.

Кодаю и Исокити торопливо собрались и пошли за чиновниками, не успев даже как положено проститься с Адамом Лаксманом и остальными участниками экспедиции.

Высоко в летнем небе холодным блеском сверкали далекие звезды. В эти минуты и Кодаю и Исокити, следуя за чиновниками, впервые ощутили на щеках дуновение родного вечернего бриза. Они были обуты в ботинки, чиновники же, конечно, в японские сандалии. Кодаю и Исокити прислушивались к характерному стуку сандалий, кваканью лягушек, пению цикад... В России им тоже доводилось слушать и лягушек и кузнечиков, но здесь, на родине, все это звучало по-иному. Что ни говори, а это были голоса японских лягушек, японских цикад.

У Исокити вырвался из горла странный звук, похожий на стон. Кодаю понял, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не разрыдаться. Один из чиновников оглянулся, потом снова двинулся вперед.

Много дней спустя Исокити рассказал Кодаю о том, что он почувствовал в ту минуту:

— Я услышал пение цикад, кваканье лягушек, стук сандалий, подумал, что иду по родной земле, окруженный родными звуками, и ощутил странное, невыразимое спокойствие, умиротворение. Потом перед глазами всплыли лица всех тех, кто умер во время скитаний вдали от родины, я вспомнил, как страстно желали они вновь ступить на родную землю... и не дождались. Невыносимая грусть охватила меня, и я не смог сдержать слез.

В ту ночь Кодаю тоже обуревали мысли, которые не оставляли его потом до конца жизни. Но его настроение было иным, чем у Исокити. Кодаю не вспоминал о своих друзьях, которые спали вечным сном в далекой России, не вспоминал он и о Сёдзо и Синдзо, оставшихся в Иркутске. Он думал только о себе, думал о том, что вернулся в страну, где жить ему будет труднее, чем жилось на снежной Амчитке, в Нижнекамчатске и Охотске. Он имел неосторожность вернуться туда, куда не следовало возвращаться. И эта темная ночная дорога, и блеск звезд, и цвет вечернего неба, и голоса лягушек и цикад уже не ощущались им как свое. Правда, когда-то все это было ему близким, но теперь он этого не чувствовал. Короткие фразы, которыми время от времени перебрасывались шедшие впереди чиновники, безусловно, произносились на его родном языке, но даже они казались ему ненужными. Все, что его окружало, было для него чужим и считало чужим его самого. Ему довелось видеть то, что ни в коем случае не следовало видеть, если хочешь жить в стране, куда он вернулся. Он повидал Ангару, Неву, снега Амчитки, пургу в Охотске, Кирилла Лаксмана, его кабинет, церкви, церковные колокола, загадочную тайгу, роскошный дворец императрицы, красивую и благородную императрицу в уборе, украшенном драгоценными камнями... Испытывая невыразимое одиночество, Кодаю брел вслед за чиновниками, сам не зная, куда и зачем...

После того как Кодаю и Исокити были переданы японской стороне, двадцать седьмого июля состоялась третья встреча Адама Лаксмана с представителями Японии. На этот раз Исикава Сёгэн подтвердил, что он понял и принял во внимание содержание правительственного послания, которое разъяснил на предыдущей встрече Туголуков, а также прекрасно понял и то, что российская императрица специально направила сюда Адама Лаксмана, желая установить отношения с Японией.

— Но,— продолжал Исикава,— как мы уже неоднократно повторяли прежде, нашим законом запрещено где-либо, кроме Нагасаки, вести переговоры об установлении дипломатических и торговых отношений. У меня есть документ, разрешающий вам посетить Нагасаки. Пользуясь данными нам полномочиями, мы хотели бы вручить вам указанный документ. Если у вас появится желание вести переговоры об установлении дипломатических и торговых отношений, вы можете воспользоваться этим разрешением для прибытия в Нагасаки.

Вслед за тем один из чиновников вручил Адаму Лаксману разрешение на право захода в Нагасаки. Хотел Лаксман того или нет, но он был вынужден этим удовлетвориться. Во всяком случае, этот документ в какой-то степени оправдывал его приезд в Японию, поскольку он являлся своего рода лицензией на торговые переговоры в будущем. Итак, третья встреча принесла важные плоды. По крайней мере, так считал Лаксман.

После кратковременного отдыха все снова собрались в зале. Адам Лаксман с прояснившимся лицом приветствовал японцев, которые, в отличие от предыдущих встреч, дружелюбно улыбались. Это была последняя встреча, поэтому приветственная речь Лаксмана как-то сама собой превратилась в прощальную.

Тридцатого июля миссия Адама Лаксмана отбыла из Мацумаэ, а восемнадцатого августа покинула порт Хакодатэ. Во время кратковременного пребывания в Хакодатэ произошел один небольшой инцидент: двое правительственных чиновников обратились к Туголукову с просьбой тайно передать им копию правительственного послания, которое официально японская сторона отказывалась принять. Узнав об этом, Лаксман приказал сделать копию и вручить им, поскольку

считал, что лучше передать копию, чем не передавать ничего. Чиновники быстро переписали копию и в тот же день вернули ее Туголукову.

В день отплытия море разбушевалось, и «Екатерина» вновь была вынуждена бросить якорь близ японских берегов. Лишь двадцать третьего августа корабль окончательно покинул воды Японии. Капитан Ловцов приказал дать из орудий прощальный залп, что, очевидно, неправильно было понято японцами, ибо вскоре «Екатерину» нагнало небольшое судно с княжескими чиновниками, которые потребовали объяснения. Когда им сообщили, что этот залп — принятое в России приветствие остающимся на берегу, судно тут же удалилось, но экипаж «Екатерины» вплоть до двадцать седьмого августа, когда он достиг двадцать первого Курильского острова, видел следовавшие в отдалении за русским кораблем два японских судна, которые, несомненно, за ним наблюдали.

Утром двадцатого сентября после длительного плавания «Екатерина» бросила якорь в гавани Охотска.

В связи с успешным завершением миссии Адама Лаксмана Екатерина II наградила его орденом Святого Владимира четвертой степени. Золотая медаль, которую в Петербурге вручили Кодаю, считалась значительно более высокой наградой, чем этот орден. Отсюда можно понять, сколь серьезные надежды связывала Екатерина с Кодаю и другими японцами, потерпевшими кораблекрушение.

Правительство сочло, что миссия Адама Лаксмана завершилась вполне успешно, а разрешение о заходе в порт Нагасаки было аккуратно положено в правительственный сейф. Для того чтобы Великая Российская империя смогла эффективно использовать этот документ, надо было терпеливо ожидать появления в России новых потерпевших кораблекрушение японцев. А пока правительство России, готовясь к грядущему установлению торговых отношений с Японией, старалось сделать более эффективной работу школы японского языка. И в этом значительную роль должны были сыграть Синдзо и Сёдзо, оставшиеся в Иркутске и принявшие российское подданство...

В августе 1794 года Кодаю и Исокити препроводили в Эдо. Одиннадцатому сёгуну Иэнари было доложено, что потерпевшие кораблекрушение японцы не простые рыбаки, они повидали на чужбине много необычайно интересного и своеобразно об этом рассказывают. Иэнари заинтересовался, и пятнадцатого сентября Кодаю и Исокити предстали перед сёгуном во вновь отстроенном на территории Эдосского замка «Павильоне любования фонтанами» и рассказали о своем пребывании в России. Причем, по указанию направленного к ним чиновника, они надели на себя русскую одежду и обувь и даже причесались на русский манер...

— Исокити,— неожиданно обратился к нему Кодаю на обратном пути из Эдосского замка,— десять лет мы жили одной лишь мыслью когда-нибудь снова ступить на родную землю. Наконец сбылась наша мечта, и мы с тобой сейчас идем по родной земле. Скажи, почему ты так хотел вернуться на родину?

— Да-а... Первые два-три года меня влекло к себе море близ Исэ. Отец и мать меня не очень баловали, и я почему-то на чужбине о них не думал. А море близ Исэ мне очень хотелось увидеть еще раз. Потом я перестал думать и о нем. Все чаще мне стала приходить в голову мысль, что человек может жить везде, куда бы ни забросила его

судьба. А с тех пор, как я стал помогать Кириллу Лаксману, я часто слышал от него о том, что он мечтает увидеть собственными глазами камни и цветы, деревья и горы Японии. И мне тоже захотелось вернуться на родину, чтобы все это увидеть, и не просто увидеть, а, приехав заранее, все подготовить к тому часу, когда в Японии появится Лаксман.

Исокити с большим уважением относился к Кириллу Лаксману как ученому и в последние годы пребывания в России, может быть, лелеял в своем сердце мечту вернуться на родину именно для того, чтобы показать ее Лаксману. Но когда Исокити ступил на родную землю, он понял, что приезд Кирилла Лаксмана в Японию — такой приезд, каким он себе его представлял,— несбыточная мечта.

«А что же меня влекло на родину?» — подумал Кодаю. И ответил не столько Исокити, сколько самому себе:

— Я... я хотел вернуться на родину, чтобы рассказать о том, что повидал на чужбине и чего никогда не видели мои соотечественники. Я встретил на своем пути много удивительного и понял, что должен обязательно вернуться. Чем больше я видел интересного на чужбине, тем сильнее становилось желание вернуться на родину. Мы и правда повидали много такого, что нашим соотечественникам даже не снилось. И вот мы вернулись. Но,— продолжал Кодаю после короткой паузы,— я теперь думаю, что все виденное нами останется при нас и другие о нем ничего не узнают. Да что я говорю! Все, что мы увидели и узнали, нам у себя на родине следует тщательно скрывать. Вот каков печальный итог...

В июле 1795 года Кодаю и Исокити отправили на постоянное поселение на одну из плантаций, где выращивались целебные травы. Там они и прожили безвыездно долгие годы до самой смерти.

Лишь однажды, в ноябре 1795 года, их пригласил к себе известный в те времена «голландовед»[1] Оцуки Гэнтаку.

Место встречи было обставлено на иностранный манер; на сдвинутых столах, вокруг которых сидели двадцать девять гостей, лежали ножи, вилки и ложки. На стене, как принято у врачей-голландцев, висел портрет Гиппократа, считавшегося отцом западной медицины.

По просьбе Кацурагава Хосю — одного из влиятельных гостей, ближе других познакомившегося с Кодаю, последний пришел к Оцуки в русской одежде. Кодаю усадили на стул и стали расспрашивать о русском алфавите, о России. Кодаю с самого начала решил рассказать этим людям без утайки все, что ему довелось увидеть в России, но, хотя вокруг сидели одни «голландоведы», он вскоре убедился, что многого они не могут понять, и решил кое-что обойти молчанием, как он это сделал во время встречи с сёгуном Иэнари.

Кодаю ощутил вдруг страшную усталость и умолк. Тогда о нем заговорил Кацурагава. Он поведал о его жизни и скитаниях, о встречах с императрицей. Получилось так, что Кацурагава рассказал то, что следовало поведать самому Кодаю.

Кодаю слушал его не очень внимательно, иногда поглядывал в сторону говорившего, потом переводил взгляд на других. Он понимал, что говорят именно о нем, но почему-то ему казалось, будто все это его совершенно не касается.

Голос Кацурагава звучал в ушах Кодаю все слабее, а перед его глазами все явственнее всплывало лицо совершенно другого человека — Радищева. Лицо ссыльного дворянина, который сидел в уголке

[1] «Голландоведы» — представители самурайской интеллигенции, изучавшие медицину, астрономию, математику и ботанику по голландским книгам. Они критиковали отставание Японии от западных стран и требовали отмены политики изоляции от внешнего мира, выступали за европеизацию страны.

гостиной губернатора Тобольска и рассеянно слушал, как губернатор рассказывал гостям о его жизни. «Наверно, у меня сейчас точно такое же выражение лица, как у того ссыльного»,— подумал Кодаю.

Возвращаясь после встречи домой, Кодаю вдруг сказал, обращаясь к Исокити:

— Как жаль, что по прибытии в Охотск не было даже времени по-настоящему попрощаться с Невидимовым. Где-то он теперь? До сих пор не могу себе простить, что так холодно пришлось с ним расстаться.

Почему-то Кодаю заговорил не о только что прошедшей встрече с «голландоведами», а о Невидимове, о котором ни разу не вспоминал со времени их жизни на Амчитке.

— Невидимов? Уж конечно, он сейчас где-нибудь в Охотске или Якутске,— сказал Исокити, глядя куда-то вдаль.

— Значит, они оба в Сибири,— как бы про себя произнес Кодаю.

Исокити не понял, почему «они оба». А Кодаю думал о Радищеве и Невидимове.

Спустя некоторое время Кодаю сказал:

— Послушай, Исокити! А ведь мы с тобой сейчас находимся в ссылке. Так можно считать. Много лет мы скитались по свету и наконец прибыли к месту ссылки. Это так, ведь правда? А раз мы в ссылке, значит, ни о чем думать нельзя. Нельзя думать о России, нельзя!

Когда-то во время долгой жизни на чужбине Кодаю убеждал себя не думать о родине. Теперь же в мыслях Кодаю родину заменила далекая Россия. И Кодаю решил постараться о России больше не думать.

■

МАРТИН ВАЛЬЗЕР

Дуб и кролик

НЕМЕЦКАЯ ХРОНИКА

Перевод с немецкого ЕЛЕНЫ ЯКУШКИНОЙ

Действующие лица:

АЛОИС ГРЮБЕЛЬ.
АННА, *его жена.*
ГОРБАХ, *крейслейтер.*
ПОТЦ, *старший школьный советник.*
ШМИДТ, *школьный советник.*
ДОКТОР ЦЕРЛЕБЕК, *военный врач.*
МАШНИК, *кельнер.*
МАРИЯ, *кельнерша.*
ЕЖИ, *поляк.*
ЦЕНКЕР, *член гитлерюгенда.*
БЛАБ, *член хорового кружка Бремберга.*
ЗЕМПЕР, *член хорового кружка Кретценберга.*
ТРОЕ ФОЛЬКСШТУРМИСТОВ.

1. Апрель 1945 года.

Смешанный лес.

По крутым склонам, поросшим редкими деревьями, поднимаются Алоис и Горбах. Ярко светит апрельское солнце.

Алоис легко карабкается вверх, толстый Горбах еле поспевает за ним. На Горбахе форма крейслейтера. Через руку перекинута тяжелая шинель. Горбах весьма озабочен тем, чтобы шинель не волочилась по земле. Набитый доверху вещевой мешок висит у него на животе. При каждом шаге Горбаха мешок ударяется о гигантский бинокль, который крейслейтер тоже нацепил на себя. Ему также изрядно мешает планшетка. На Алоисе — рубаха в голубую полоску, сверху рабочая куртка. За спиной у него небольшой рюкзак, из тех, какие обычно берут в свои странствия любители природы. Необычна только его белая меховая шапка. Она явно бросается в глаза. Это высокая фуражка с козырьком, на которую нашиты куски белого меха. Между ними виднеется сукно фуражки.

Подъем по крутому склону не представляет для Алоиса никаких трудностей. Он почти совсем не пользуется альпенштоком. Он часто останавливается, поджидая Горбаха, разглядывает папоротник, листву деревьев и свистит, подражая птицам.

Горбах *(тяжело дыша).* Наш родной край, Алоис, чрезвычайно изрезан ущельями.

Алоис. Так точно, господин крейслейтер, одно удовольствие по нему бродить. Лес, господин крейслейтер, такой чудесный, немецкий лес. Прошу вас, подарите этому лесу хоть один взгляд. Смешанный лес, господин крейслейтер.

Горбах. Алоис!

Алоис. В лесу легче, господин крейслейтер. Вокруг немецкие деревья, немецкие стволы. Как шваб около саксонки, стоит бук рядом с елью — вот каков он, наш немецкий смешанный лес. Ах, господин крейслейтер, если бы я только смог запеть.

Горбах. Враг свалится нам на голову, как только ты запоешь.

Алоис. А когда война кончится, как вы думаете, мне можно будет петь?

Горбах. Я же обещал. Мое слово крепкое.

Алоис. И вы добьетесь тогда, чтобы меня приняли в хоровой кружок?

Горбах. Если ты оправдаешь мои надежды, Алоис, и если вообще будет существовать хоровой кружок.

Алоис. Ах, господин крейслейтер, хоровой кружок не может погибнуть!

Горбах. Я должен присесть, Алоис, передохнуть. *(Садится.)* Подумать только, как это все сразу на нас свалилось. *(Пьет из походной фляжки.)* На, выпей! *(Протягивает фляжку Алоису.)*

Алоис. За то, чтобы у вас родился сын, господин крейслейтер. *(Пьет.)*

Горбах. Еще год назад все выглядело совершенно иначе.

Алоис. Я уверен, что будет сын.

Горбах *(смотрит вверх).* Вороны. Бедная моя жена.

Алоис. Моя Анна поможет ей. Когда Анна при этом находится, все идет как положено, а не вкось и вкривь.

Горбах. Твоя Анна уже потеряла навык в этом деле. Ты не должен был допускать, чтобы она шла в прислуги. Такая акушерка!

Алоис. Вам легко говорить. Поначалу, как я вышел из лагеря и она заметила, что со мной насчет детей уже ничего не выйдет, так она тогда просто душу готова была положить за это акушерство. Я для нее больше никакого значения не имел. Только одни роженицы. До тех пор так шло, пока не появились близнецы у хозяйки «Льва». Они Анну и доконали. Этого она уже не осилила. Не захотела покинуть близнецов. Вот так она и осталась у хозяев «Льва» в услужении.

Горбах. Если бы, по крайней мере, я мог позвонить ей.

Алоис. Мужчина при этом, говорит Анна, так же нужен, как снег на пасху. А госпожа крейслейтерша всем известна как мужественная женщина.

Горбах. Мы должны теперь держаться друг за друга, Алоис. Мне так кажется. Ты ничего не имеешь против меня или я ошибаюсь?

Алоис. Что вы, господин крейслейтер...

Горбах. Ты ведь знаешь, если бы от одного меня зависело, ты бы не попал тогда в лагерь. Но согласись, что ты дошел до крайности...

Алоис. Меня натравили, господин крейслейтер. Если человека натравить, то он готов на все. Собственный нос отрежет, если от него потребуют. А отчего? Да оттого, что даже собственный нос ему безразличен.

Горбах. Ты прав, к сожалению. Так создан человек! *(Встает.)*

Алоис. А теперь уж вы отдайте мне шинель, господин крейслейтер, я понесу. Она для вас тяжеловата... *(Шутливо.)* Весь авторитет в ней, вот она и весит так много.

Горбах. Мне было бы приятнее, если бы ты выбрал менее крутую дорогу. Из-за всех своих обязанностей я никогда не успевал заниматься туризмом.

Алоис. Вот теперь вы сами видите, как хорошо, что война к нам приблизилась.

Горбах. Ну-ка подержи шинель. *(Расстегивает две верхние пуговицы, развязывает галстук и распахивает рубашку.)* Вольно на марше, по форме номер два, Алоис. В такой глуши никто нас не видит.

Алоис. Мы находимся в настоящий момент на территории Кретценберга, господин крейслейтер.

Горбах молниеносно падает на землю и осторожно оглядывается по сторонам.

Горбах. Ложись, Алоис!

Алоис не спеша ложится.

(Резким шепотом.) Ты меня надул, заманил в ловушку, увел из подвластного мне района.

Алоис *(тоже начиная шептать).* Это кратчайший путь на вершину Дубовой горы. Всего каких-нибудь двести метров через Кретценбергскую область, господин крейслейтер. Я думаю, мы можем рискнуть.

Горбах. А если кто-нибудь из вайнрайховских молодчиков нас здесь поймает... Ах, Алоис, ведь я же взял тебя на работу, когда ты вернулся из лагеря. Заключенный концентрационного лагеря становится старшим дворником районного комитета национал-социалистской партии. Да к тому же еще бывший красный! Наверняка я уже давно бы стал гаулейтером, если бы не был таким простофилей. А теперь Вайнрайх станет гаулейтером. И этим я обязан только тебе. Если появится патруль и схватит нас здесь — я конченый человек. Я покинул свой командный пункт. Вайнрайх начнет издеваться, сошлется на приказ фюрера и повесит меня. Теперь мне понятно, почему ты сказал, что руководить обороной надо с вершины Дубовой горы.

Алоис. Давайте вернемся, господин крейслейтер. Через час господин крейслейтер снова будет в Брецгенбурге и еще сегодня встретится с французами лицом к лицу.

Горбах. Чтобы они меня расстреляли и Брецгенбург остался без районного руководителя! Я все больше и больше убеждаюсь, что тебе нет никакого дела до Брецгенбурга.

Алоис. А кто вам предложил вести защиту Брецгенбурга с вершины Дубовой горы?..

Горбах. Тише!.. Там... что-то прошумело...

Алоис. Ворона.

Горбах. Она привлечет сюда вайнрайховских людей. Наведет их на след. Я подстрелю ее.

Алоис. Лучше нам промаршировать обратно в долину.

Горбах. Но ты же сам говорил, что с Дубовой горы мы сможем обозревать все окрестности.

Алоис. Оттуда видно всю Тойтахскую долину до самого Кретценберга.

Горбах. Именно это преимущество я так трезво оценил, Алоис! Гора, с вершины которой я буду руководить битвой за Брецгенбург, не может быть *слишком* высокой. Тебе это понятно, Алоис?

Алоис. Значит, мы все-таки пойдем на Дубовую гору?

Горбах. Если бы я только мог тебе доверять, Алоис. Но ты даже не состоишь в нашей партии.

Алоис. Нет еще, господин крейслейтер. Но я, когда был в концлагере, уже изучил все, что должен знать член партии.

Горбах. Помни о Брецгенбурге, Алоис.

Алоис. И о моих кроликах.

Горбах. Настоящий патриот не думает в такую минуту о кроликах, Алоис.

Алоис. Мои ангорские кролики — это существенный фактор, господин крейслейтер, так вы сами сказали. В настоящий момент их девяносто одна штука. Но сегодня к вечеру их может стать девяносто шесть или даже сто — Юдифь никогда не приносит меньше пяти. А если француз войдет в наше положение и не сразу разбомбит Брецгенбург, завтра их уже будет сто пять или сто десять. Руфь, Рахиль и Сара тоже должны на днях принести приплод.

Горбах. Разве я не запретил тебе, Алоис, давать кроликам еврейские имена? Если ты и дальше будешь так поступать, тебя никогда не примут в хоровой кружок...

Алоис. У меня просто такая привычка осталась еще со времен лагеря. Я могу только сослаться на унтершарфюрера Шёка, который нам приказал так называть кроликов. Каждый раз, когда в лагере на одного еврея становилось меньше, унтершарфюрер говорил нам, что такое-то и такое-то имя освободилось. А когда эсэсовцы желали отведать жаркого, они приходили ко мне, потому что я занимался кроликами, и говорили: «Дай-ка мне Веньямина или Морица!»

Горбах. Несмотря на это, Алоис, ты должен немедленно перекрестить своих кроликов. Может произойти недоразумение.

Алоис. Но тогда я, с вашего разрешения, сошлюсь на унтершарфюрера Шёка, господин крейслейтер.

Горбах. Его же никто не знает.

Алоис. Это ошибка! Его должны были бы знать все. Сам фюрер однажды в Бюкебурге пожал ему руку. *(Встает по стойке «смирно».)* Сам фюрер, господин крейслейтер.

Горбах. Ах, Алоис, фюрер сейчас далеко. Пошли.

Алоис. Вверх или вниз?

Горбах. Вверх. И если появится патруль, тебе придется туго. Понимаешь? Я скажу, что ты сбежал, а я за тобой погнался. Вперед, руки вверх, по крайней мере подними одну руку.

Алоис. Так точно, господин крейслейтер.

Горбах. И никаких попыток к бегству, понятно?

Алоис. Так точно, господин крейслейтер.

Идут вперед.

Горбах. Как только мы снова очутимся в районе Брецгенбурга, ты сможешь опустить руку. Не так быстро... Алоис... Если ты вздумаешь удрать, я выстрелю. Понятно? *(Достает пистолет.)*

Алоис. Так точно, господин крейслейтер.

Затемнение

2. Дорога на вершину Дубовой горы.

По крутой дороге слева направо поднимаются трое нагруженных фольксштурмистов и член гитлерюгенда Ценкер. Таща за собой велосипеды, они скрываются направо.

За ними медленно следуют пленные: поляк Ежи и кельнерша Мария. Они тащат прицеп, нагруженный продуктами, котлом и ящиками с вином. За прицепом идет Машник. По всей видимости, он является сторожем пленных. По костюму мы узнаем в Машнике кельнера, но на рукаве у него повязка фольксштурмиста.

Машник. Так, а теперь я командую: отделение, стой! У меня руки чешутся сервировать завтрак. Должно быть, уже пять минут первого. *(Вынимает часы.)* Ну, что я сказал: шесть минут первого. Хорошо я теперь выгляжу, нечего сказать! Вокруг ни одного крейслейтера, которому я мог бы подать завтрак. Ну, вы там, устраи-

вайтесь поудобнее!.. Приказа развязать вас дано не было. И даже не дали приказа накормить вас. Так для кого же мне теперь сервировать стол? Черт побери, вот так положение! За тридцать девять лет службы такое случилось первый раз: пять минут первого — и никого нет, кому можно подать завтрак. Обычно я начинаю ощущать голод только четверть третьего, но в данной ситуации у меня нет другого выхода. Война есть война. Машник, ты должен с этим примириться. *(Снимает с прицепа продукты. Расстилает на пеньке салфетку и расставляет легкую закуску.)* Может быть, вы пока немножко отвернетесь в сторону, а то мне совсем кусок в горло не пойдет. Мария, слышишь, что я сказал? Смотреть в другую сторону! Это приказ. *(Вздыхает.)* Тяжелый это крест — подавать самому себе. Все одно что самого себя целовать. *(Ест с отвращением. Разглядывает каждый кусок.)*

Ежи и Мария следят за ним голодными глазами.

(Не замечая этого.) Да, Мария, красивый парень твой поляк. Если хочешь его немножко приласкать... Я не смотрю. *(Взглянув на них.)* Смотреть в другую сторону! Что я сказал! Черт возьми, ну давай, поцелуй его. Может статься, это в последний раз!

Мария и Ежи молчат.

Это же не моя вина, что вас сцапали. Для чего тебе нужно было открывать дверь и пускать их в комнату, когда у тебя находился поляк?

Мария. А откуда я могла знать, что Анна такая подлая и сразу донесет на меня? Все оттого, что она мне просто завидует. Ее Алоис никуда не годится.

Машник. Не обязательно было для этого связываться с поляком.

Слева выходит Анна. Легкое пальто распахнуто, виден фартук кельнерши.

Мария. Нате вам... пожалуйста... Явилась благородная подруга. Желает теперь поразвлечься. Поглазеть, как крейслейтер будет брить меня наголо.

Машник. Кого я вижу! Анна! *(Вскакивает с места.)*

Анна. Мне нужно с тобой поговорить, Машник!

Машник. Всегда к твоим услугам, Анна. Проходи. Садись. Может быть, слегка закусишь?

Анна. Нет, я не хочу есть. *(Смотрит на Ежи.)* Мог бы ты развалиться здесь как ни в чем не бывало, если бы довел человека до такого несчастья?

Машник. Я предлагаю тебе, Анна, немножко успокоиться. *(Поворачивает ее спиной к Ежи.)*

Анна. Что ты на меня так смотришь, как будто хочешь что-то выведать? Я же этого не хотела, Машник. Она сама хотела почваниться, показать мне, как он лежит в ее постели. А теперь все смотрят на меня, указывают на меня, Машник. Я не пойду больше вниз. Пусть госпожа крейслейтерша найдет себе другую акушерку. Ты можешь сказать об этом самому крейслейтеру. Я останусь в лесу, пока не придут французы. И работать не буду. Лучше уж прислуживать французам, чем помогать другим людям производить на свет детей. Скажи это крейслейтеру. Скажи ему, что у меня стали ненадежные руки. Держать стаканы у меня еще не пропала сноровка. А ребенка я могу уронить. Скажи ему: Анна боится. Она себе больше не доверяет. *(Шепотом.)* А что с ними сделают?

Машник. Мне приказано доставить их в главный штаб, который будет размещен на вершине Дубовой горы.

Анна. А потом?

Машник. Ей, я думаю, придется поплатиться волосами, а ему, боюсь, это обойдется дороже.

Анна. Тогда отпусти его.

Машник. Чтобы веревка мне самому досталась?

Анна. Погибнуть из-за такого ничтожества, Машник! Подумай только. Он этого не заслужил.

Машник. Это ты должна была раньше сообразить.

Анна. Я на него не доносила.

Мария. Но к хозяину «Льва» ты с этим сунулась. А что он на сто пятьдесят процентов проверенный, тебе было известно. Если с Ежи что случится, это будет на твоей совести, так и знай.

Машник. Будь я на твоем месте, Анна, я бы совсем не смотрел в их сторону.

Слева появляется доктор Церлебек, он тащит мотоцикл. На нем черная эсэсовская форма. На руке — повязка Красного Креста.

Подъем! Устроили себе отдых. Я этого не потерплю. Приказ есть приказ.

Мария и Ежи встают.

(Делает удивленное лицо.) Ах, это вы, господин доктор! Хайль Гитлер, господин доктор! Что случилось? Сгорела свеча или что другое? *(Бежит к доктору Церлебеку.)*

Анна прячет в карман плаща нож, которым Машник резал хлеб.

Д-р Церлебек. Привет, Машник! Что за свиньи! Дать мне такую машину! Вы в этом что-нибудь понимаете?

Машник. С вашего разрешения, ничего не понимаю, господин доктор. Но я могу подать господину доктору легкую закуску.

Д-р Церлебек. Я должен спешить на вершину, Машник.

Машник. Я слышал, что дорога туда очень крутая.

Д-р Церлебек *(строго)*. Я ждал Алоиса. Он же знает, что должен являться по понедельникам для обследования.

Анна. Он ушел с крейслейтером.

Д-р Церлебек. А почему же мне тогда не позвонили? Не извинились? Вы хотя бы заполнили мой опросный лист?

Анна. Ваши вопросы — сплошное свинство. На них мы не будем отвечать.

Д-р Церлебек. Но поймите же, госпожа Грюбель, ваш муж был в лагере. Значит, он представляет типический случай. Весь опыт пойдет кошке под хвост, если я не получу нужных данных. Вы постигаете это, Машник?

Машник. Я должен сказать: так точно.

Анна. Вы думаете, что можете обращаться со мной так же, как с моим мужем?

Машник. Она в полном упадке, господин доктор. Сами видите. Сегодня утром она была еще вполне благоразумна и донесла на Марию, потому что та спала с поляком у себя дома. Согласно приказу поступила она и доложила. Но сейчас она попросту не в себе.

Анна, все это время смотревшая на Ежи, внезапно поворачивается к доктору Церлебеку и падает к нему на плечо. Он ниже ее ростом.

Анна *(рыдая)*. Господин доктор... Не делайте ему ничего дурного.

Д-р Церлебек *(беспомощно)*. Вот тебе и на. Типичная женщина. Совершенно типичная. Сначала так. Потом этак.

Анна. Он этого не заслужил.

Д-р Церлебек *(не понимая, о ком она говорит).* Но, госпожа Грюбель, мы ему больше ничего не сделаем. Речь идет лишь об итоговых данных эксперимента, которому он подвергался в лагере. *(Вынимает записную книжку.)* У нас есть еще очень большие пропуски. Скажите, что-нибудь проявилось?

Анна *(упрямо).* Я ничего не скажу.

Д-р Церлебек *(делая отметки в книжке).* Вы мне кажетесь нервной, очень нервной.

Анна молчит.

Госпожа Грюбель, я должен знать, проявляет ли Алоис к вам интерес. Иначе я просто не продвинусь вперед.

Машник *(с любопытством).* Получает он с тобой удовольствие, Анна?

Д-р Церлебек. Существуют ли у вас точки соприкосновения, например?

Машник. Ну, приходит он к тебе, Анна?

Д-р Церлебек. Какие выражения употребляет?

Машник. Что он тебе при этом говорит?

Д-р Церлебек. Госпожа Грюбель, речь идет о науке.

Машник. Анна, отвечай же, наконец, раз господину доктору это так необходимо для науки.

Анна. Этот холодный боров. Тьфу, черт! Пусть он себя так обработает, как Алоиса обработали, тогда ему не надо будет спрашивать. Тьфу, черт! *(Уходит.)*

Машник. Анна! Господин доктор, я боюсь, что она слишком нервная.

Д-р Церлебек. И это немецкая женщина, Машник! Можно прийти в отчаяние. *(Прячет записную книжку.)* Ведет себя как русская. В чем, спрашиваю я вас, в чем различие?

Машник. Господин доктор, с вашего разрешения, я промолчу.

Затемнение

3. Вершина Дубовой горы.

Налево — лес. В глубине — одинокие дубы. По-видимому, за ними гора круто обрывается вниз. Внизу находится Тойтахская долина. Алоис ходит взад и вперед с полевым биноклем, разглядывая долину и Брецгенбург. Горбах лежит под большим дубом, который стоит несколько в стороне от других дубов. Направо видна лесная хижина, вернее, только часть ее. На большом суку висит на вешалке шинель крейслейтера.

Горбах. Что поделывает наш враг, Алоис?

Алоис. Враг, господин крейслейтер, ничего не делает. Никакого следа врага.

Горбах. А наши, Алоис? Что делают наши? Приближаются они к плацдарму?

Алоис. Женщины, гитлерюгенд и один железнодорожник. Расположились на берегу озера. Опустили ноги в воду.

Горбах *(с трудом поднимаясь).* Ну-ка дай поглядеть. *(Берет у него бинокль.)* Что это им пришло в голову? Ага. Ага... Ну, ладно, я им покажу, Алоис! Смотри, вон тот под ивой — гольфы выдают его. Это же Шмидт, школьный советник Шмидт, которому были поручены оборонные земляные работы. Он должен был руководить ими. У нас есть сигнальный пистолет?

Алоис. Нет.

Горбах. Просто свинство, Алоис. Как я теперь подам сигнал Шмидту?

А л о и с. При дневном свете, господин крейслейтер, сигнальный пистолет не может...

Г о р б а х. Ты слишком много разговариваешь, Алоис. Мы должны действовать. Когда французы появятся, будет уже поздно.

А л о и с. Тогда с нами случится то же самое, что в Бремберге.

Г о р б а х. А что случилось в Бремберге?

А л о и с. Они там поймали бургомистра, раздели его и голого спустили в колодец на рыночной площади...

Г о р б а х. Он захлебнулся?

А л о и с. Нет, но он простудился. А ортгруппенлейтера Галенбергера они заперли в свиной хлев.

Г о р б а х. Варвары!

А л о и с. Когда ему хочется есть, приходится ему брать что-нибудь из кормушки.

Г о р б а х. И эти люди считают себя культурной нацией.

Алоис возится со старыми досками, ветками и камнями. Собирает их и складывает у передней стены хижины. Он явно решил на случай необходимости соорудить чулан. Горбах с наслаждением вдыхает лесной воздух.

Ты совершенно прав, Алоис. Наш лес действительно прекрасен.

А л о и с. Поэтому я так охотно пою.

Г о р б а х. Я тоже люблю петь. Не так, конечно, как ты. Но зато лес... *(Умиротворенно умолкает.)*

А л о и с. Песня и лес хороши вместе.

Г о р б а х. Посмотри, что за дуб!

Пауза.

А л о и с. Германский дуб, господин крейслейтер.

Г о р б а х. Всякий дуб является германским дубом, Алоис. Или, может, ты в состоянии представить себе итальянский дуб?

А л о и с *(пытаясь это сделать)*. Итальянский... дуб...

Г о р б а х. И не пытайся. Тебе это не удастся.

А л о и с. Да... мне это не удастся...

Г о р б а х. Откуда это приходит? Древность этого дерева... его мощь... или ветер, пробегающий сквозь листву... Шорох... Его скорее чувствуешь, чем слышишь... И ты понимаешь, что можешь только стоять и созерцать в молчании. С тобой происходит то же самое, Алоис?

Алоис молча пытается изобразить глубокие переживания.

Нет, мне кажется, ты не совсем так чувствуешь, как я. Не хочу тебя принуждать, Алоис. Душа каждого человека реагирует по-своему, соприкасаясь с природой. Один умолкает, а другой продолжает непочтительно разглагольствовать. Как все это странно. Мне, например, кажется, что дуб мне шепчет. *(Подыскивает слова.)* Тише... Тише...

Над их головами с шумом проносится самолет; оба бросаются на землю.

Вот видишь, Алоис, враг не желает, чтобы мы предавались любви к природе.

Алоис встает и продолжает свою работу.

Что ты строишь?

А л о и с. В случае если они начнут обстрел, мне придется эвакуировать своих кроликов, господин крейслейтер.

Г о р б а х. Речь идет о спасении Брецгенбурга, о конечной победе, а ты думаешь только о своих кроликах, Алоис! Отдаешь ли ты себе отчет в том, что поставлено сейчас на карту?

А л о и с *(продолжая собирать ветки и строить).* Немецкий народ, господин крейслейтер, поставлен сейчас на карту. Потому что вся раса будет уничтожена, если нас победят эти недочеловеки. Унтершарфюрер Шёк нам частенько говорил: для Алоиса его ангорские кролики настолько же выше обыкновенных кроликов, насколько истинный германец выше недочеловека. Именно поэтому он и отдал специальный приказ, чтобы, уходя из лагеря, я взял племенную парочку на развод.

Г о р б а х. Но для чего же давать им еврейские имена, Алоис? Это не годится.

А л о и с. Очень даже годится. Поскольку мы убиваем кроликов. И используем их пух, так что они служат нам на пользу. За фунт кроличьего пуха вы сегодня получите больше, чем за золотой партийный значок, господин крейслейтер. Человек должен на себя надеть что-то, иначе ему некуда будет воткнуть значок. В кожу его себе не воткнешь, правда?

Г о р б а х. Конечно не воткнешь.

А л о и с. А то могла бы получиться хорошенькая инфекция. А если француз начнет обстрел и перебьет моих кроликов, погибнет вся раса, господин крейслейтер. Совершенно очевидно. Я беспокоюсь за расу, господин крейслейтер. Унтершарфюрер всегда говорил: учитесь у Алоиса, он простой человек, но идею он постиг.

Г о р б а х. С тех пор как ты побывал в лагере, Алоис, ты стал фанатиком. Я знал вполне приличных евреев, в прежние времена.

А л о и с. С вашего позволения, господин крейслейтер, здесь вы совершаете ошибку. Хитрость недочеловека в том-то и заключается, что он вам показывает человеческое лицо. Унтершарфюрер Шёк всегда говорил: не все то, что имеет человеческое лицо, является человеком. Горе тому, говорил он, кто это забывает. Горе тому, господин крейслейтер. Не каждый является человеком, кто выглядит, как таковой.

Г о р б а х. Ты действительно фанатик, Алоис. Неужели тебе совсем не страшно?

А л о и с. А почему мне должно быть страшно? Кто постиг идею, сказал унтершарфюрер, тот всегда пробьется.

Г о р б а х. В твоих обстоятельствах, Алоис, вполне достаточно быть просто хорошим немцем.

А л о и с. Я прошел хорошую выучку и больше ни на одну удочку не попадусь.

Г о р б а х. Передо мной, Алоис, ты можешь не представляться. Ты же меня знаешь.

А л о и с. Вы мой крейслейтер, господин крейслейтер.

Г о р б а х. Ну, ладно, ладно. А почему я стал крейслейтером? Слушай. Году в девятнадцатом, возвращаясь домой с последней войны, я в Страсбурге купил у одного ротмистра шинель. А сам я был тогда всего только жалкий ефрейтор... Ну вот я и подумал, что будет совсем не плохо явиться домой в такой шикарной шинели. И вот покупаю у него в Страсбурге эту шинель, надеваю ее, а вблизи Мангейма меня избивают. Большевики, понимаешь, их было шестеро.

А л о и с. А шинель?

Г о р б а х. Пропала.

А л о и с. Подлость.

Г о р б а х. И тогда во мне родилась ненависть к большевизму, представляешь какая. Лежа на земле Рейнской долины, я поклялся, что они мне заплатят за это. Я решил, что в следующий раз, когда

они меня снова изобьют, я буду, по крайней мере, ротмистром. Теперь понимаешь, почему я сделал карьеру?

Шум низко летящего самолета. Алоис и крейслейтер падают на землю, затем осторожно смотрят вверх.

Сейчас начнется.

Алоис. Я должен спуститься вниз, господин крейслейтер. Самолеты подняли такой шум. Среди кроликов начнется паника. Ангорские кролики особенно к этому чувствительны, они передавят друг друга, господин крейслейтер. Девяносто один кролик, господин крейслейтер, представляете себе, что случится, если девяносто один кролик сразу испугается.

Шум приближающегося мотоцикла.

Горбах. Тихо, я слышу какой-то шум.

Алоис. Французы.

Горбах. Или Вайнрайх. Его патруль. *(Вынимает пистолет.)* Если это патруль Вайнрайха, мы их захватим. Им нечего делать на земле Брецгенбурга. *(Внезапно испугавшись.)* А вдруг это эсэсовцы?

Алоис. Эсэсовцы сюда наверх не придут, господин крейслейтер, эсэсовцы — это отборные войска. Они теперь заняты в другом месте.

Горбах. Не скажи. Они повсюду. Все из-за твоего идиотского сокращенного пути. Теперь мы здесь торчим одни, без штаба. Они могут нас принять за дезертиров. Пойдем в хижину. *(Мчится к хижине. Наталкивается на дверь и врывается в хижину.)* Алоис, немедленно сюда.

Алоис. Сейчас иду, господин крейслейтер.

Горбах закрывает дверь. На заднем сиденье мотоцикла въезжает старший школьный советник Потц. На нем форма штурмовика. Он спрыгивает с сиденья. Появляется второй мотоцикл с двумя сопровождающими.

Потц *(мотоциклисту)*. Стоять на месте. Прикрывать сзади. *(Вынимает пистолет.)* Эй! Кто здесь? Крейслейтер? Эй! Это же шинель Горбаха. Если шинель Горбаха здесь, значит Горбах был здесь.

Горбах и Алоис выходят из хижины.

Горбах. Это вы, Потц? Почему вы покинули ваш пост?

Потц. Крейслейтер, я возмущен!

Горбах. Нет, это *я* возмущен! Как вы посмели покинуть ваш пост? Кто возглавляет отряд фольксштурмистов?

Потц. Потише, крейслейтер. Кто из нас первый покинул город?

Горбах. По зрелом размышлении я решил перенести свой командный пункт на эту вершину. Отсюда я буду руководить операцией. Отдавать приказы.

Потц. Вы должны были сообщить нам об этом.

Горбах. Вам было бы сообщено... Где стоят ваши части?

Потц. Мы хотели занять позиции в Тойтахской долине, чтобы перекрыть дорогу в долину, но окопные работы не были проведены с необходимой тщательностью.

Горбах. А школьный советник Шмидт?

Потц. Школьный советник Шмидт! Так точно. Он говорил, что во время создания окопных укреплений он наткнулся на древние исторические гробницы. По-видимому, это были древнегерманские королевские гробницы. Он говорит, что мы сейчас копаем в такой спешке, что можем разрушить найденные захоронения. Он отказывается копать дальше. Он предлагает запланированную систему окопов перенести на полкилометра вперед.

Горбах. А это возможно?

Потц. Нет, невозможно. Мы выбрали самое лучшее место в долине для возведения укреплений. Мы располагаемся на склонах, враг проникает в глубь нашей заградительной системы, и мы расстреливаем его в упор, тот же, кто пытается спастись бегством, попадает в Тойтах и тонет. На Тойтахе сейчас большой паводок.

Горбах. Недурно! Река тоже выполняет свой долг!

Потц. Но господин Шмидт саботирует. Он не хочет взваливать на свои плечи ответственность за разрушения древнегерманских королевских захоронений. Прошу вас безотлагательно освободить Шмидта от его обязанностей и передать руководство окопными работами мне. Нельзя терять ни минуты!

Горбах. Решено, Потц! Мчитесь обратно! Прикажите арестовать Шмидта и препроводите его сюда. Мы сами творим историю. Передайте эти слова господину Шмидту. Мы находимся здесь не для того, чтобы защищать древнегерманские скелеты, а для охраны наших жен, детей и нашего Брецгенбурга.

Потц. Так точно. Окопные работы закончить с дьявольской быстротой. Шмидта арестовать. Отряды Потца, Крейцлера и Грейзинга открывают огонь по сигналу командного пункта Дубовой горы.

Горбах. Выполняйте!

Потц. Есть выполнять!

Потц и сопровождающие его лица отъезжают с шумом и грохотом.

Горбах *(с удовольствием)*. Ага, понял, откуда ветер дует! Я его поставил на место. «Вы должны были нам сообщить об этом». Подумать только, что он о себе воображает, Алоис. «Должны были сообщить нам об этом». Я еще им всем покажу, что значит командовать.

Алоис. Но о хоровом кружке вы ему ничего не сказали.

Горбах. При чем здесь хоровой кружок?

Алоис. При том, что старший школьный советник Потц является руководителем кружка. Я хочу сказать, что все в его руках и он мог бы меня сразу принять. Я думаю, что если все время откладывать, то я никогда не начну петь.

Шум самолета. Оба бросаются на землю. Снова осторожно поднимают головы.

Горбах. Ах, Алоис, с пением можно пока обождать.

Затемнение

4. На командном пункте.

Снова чудесный апрельский день. Вершина Дубовой горы превращена в командный пункт. Налево видны уходящие вдаль ряды палаток. Под дубом стоит стол, на котором разложены полевые карты. Рядом со столом — школьная грифельная доска. Ценкер чертит мелом на доске план района боевых действий, срисовывая его с клочка бумаги. Несколько пожилых мужчин — одни в комбинезонах, другие в железнодорожной форме — медленно работают: собирают хворост, натягивают защитные сетки, разжигают костер, прокладывают телефонный кабель. Двое из них охраняют пленных, привязанных к деревьям. Один из пленных — школьный советник Шмидт, лысый человек в гольфах, второй — поляк Ежи. Алоис стрижет Марии волосы. Делает он это явно неохотно. Горбах появляется в дверях хижины, держа в руках чашку кофе и бутерброд. Около стола на табуретке стоит полевой телефон. Машник, все еще в костюме кельнера, расположился рядом с табуреткой, теперь он исполняет обязанности телефониста. Как только Горбах появляется на сцене, Машник стремительно вскакивает с места и, сорвав со стола салфетку, спешит как официант навстречу Горбаху.

Машник. Что еще будет угодно господину крейслейтеру? Насколько это возможно в данных условиях, я постараюсь сервировать. Просто жалость берет, как подумаешь о том, что я мог бы подать

господину крейслейтеру у нас дома в Карлсбаде. Petit déjeuner [1], господин крейслейтер, такой, что вам бы не захотелось так быстро вставать из-за стола. Jambon de Pregue [2], господин крейслейтер!

Горбах. Сейчас же прекрати, Машник, иначе я проглочу собственный язык.

Машник. Или же œuf en cocotte Opéra [3].

Горбах. Теперь все это жрут русские.

Машник. Пусть только они попробуют разбить фарфоровый сервиз для завтрака. Но я надеюсь, что они не осмелятся войти в «Пупп». Знаете ли, парковый отель «Пупп» такой имеет вид, что каждый пролетарий два раза подумает, прежде чем показаться в «Пуппе». Вам, конечно, хорошо известен «Пупп», господин крейслейтер!

Горбах *(неуверенно)*. «Пупп». Ты имеешь в виду отель «Пупп», тот, что в парке, да, да, конечно знаю. Очень приличное заведение.

Машник. Лучше не бывает, господин крейслейтер. Мы там готовили bœuf Stephanie [4], боже мой.

Горбах. Если ты сейчас же не прекратишь эти разговоры, Машник, мне станет дурно и я упаду в обморок. Ты подрываешь боевой дух, Машник.

Машник. Слушаюсь, господин крейслейтер. *(Исчезает в хижине.)*

Горбах, осмотревшись по сторонам, уходит вслед за ним.

Алоис *(занимаясь стрижкой, вполголоса)*. Я просто не могу в это поверить, Мария! Анна никогда не имела никаких дел с полицией. Она вообще никогда не была на высоте в вопросах политики.

Мария. Бедный Ежи! Если они с ним что-нибудь сделают, грех будет на ее совести, можешь ей так и сказать.

Алоис. На твоей совести он будет! И на его собственной! С таким, как он, не ложатся в постель, Мария! Черт побери, я же не допускаю к моим ангорским крольчихам первого попавшегося навозного крольчонка.

Мария. А ты насчет этих дел вообще должен помалкивать. Ай! Подлый ты!

Алоис. А ты не нахальничай! А то я возьму машинку, и ты сразу окажешься с голой головой.

Мария. Не надо, Алоис, пожалуйста, стриги помедленней!

Алоис. Тогда, будь любезна, попридержи свой нахальный язык.

Мария. Я и так молчу. С тобой вообще непонятно как разговаривать, как тебе угодить.

Из хижины снова выходит Горбах. Ценкер протягивает ему бинокль. Горбах смотрит вниз на долину. Затем располагается за столом под дубом и вынимает сигарету, в то же мгновение Машник оказывается рядом, зажигает спичку, подает Горбаху, затем снова занимает свое место у телефона.

Горбах *(прикладывая бинокль к глазам)*. Ничего нельзя понять.

Алоис. Вдоль и поперек ни одного француза.

Горбах. Боже мой, и это называется солдаты! Они уже давно могли бы быть здесь. Если они будут так возиться, специальный отряд СС окажется здесь раньше их. Тогда им всем придется солоно!

Алоис. Да, тогда у них мозги прояснятся, господин крейслейтер.

Горбах. Эти вороны действуют мне на нервы. Послушай, Алоис, я

---

[1] Утренний завтрак *(франц.)*.
[2] Пражская ветчина *(франц.)*.
[3] Яйцо всмятку а ля Опера *(франц.)*.
[4] Мясо Штефания *(франц.)*.

не помню, когда было еще так тепло в апреле! И никаких известий от моей жены. Боже мой, ведь завтра день рождения фюрера.

Алоис. Мои кролики получат завтра свежие одуванчики. Вы разрешите мне ненадолго спуститься в долину?

Горбах. Сначала ты должен обрить наголо эту женщину!

Алоис. С вашего разрешения, господин крейслейтер, эта стрижка не доставляет мне никакого удовольствия. В лагере меня заставляли пить сок, потом была труба, а потом еще лучи, и доктор Мозер сказал, что я это делаю для всего человечества, и это было прекрасное чувство, господин крейслейтер, когда ты делаешь что-то для всего человечества, а вот сейчас мне не доставляет никакого удовольствия возиться с этой девушкой.

Горбах. Приказ есть приказ, Алоис.

Алоис. Так точно, господин крейслейтер.

Мария. Трус!

Алоис. Сейчас я принесу машинку!

Горбах *(обращаясь к пленным)*. Теперь займемся вами!

Алоис. Разрешите сказать. Я думаю, в первую очередь надо заняться поляком. То, что он позволил себе с этой девушкой,— просто расовый позор. Крейслейтер Вайнрайх вчера повесил двух поляков в Кретценбергском лесу.

Горбах. Так! Сразу двоих?

Алоис. Тоже из-за расового позора.

Горбах. Весьма типично для Вайнрайха. Я убежден, что он узнал о нашем случае и захотел сейчас же доказать, что он может повесить вдвое больше поляков, чем я. Да, кстати... Как... как он это сделал?.. Я имею в виду повешение?

Алоис. Поставил на повозку, петлю на шею, повозка трогается с места. Все. Готово.

Горбах *(делая вид, что ему известен этот способ)*. Да, да... Старый способ. А у нас есть повозка?

Алоис. Нет.

Горбах. Вот вам, пожалуйста. Как я могу выносить приговор, когда у нас нет самого необходимого? Приказываю немедленно достать повозку. Случай со Шмидтом также требует немедленного решения. При этом я еще должен руководить военной операцией. Всем должен заниматься один я. У Вайнрайха совсем другие парни в штабе.

Шум мотора.

Ты слышишь?

Алоис. Мотоциклы.

Горбах. Все за работу, наверняка это эсэсовцы, быстро остриги эту женщину. *(Кричит.)* Ценкер, Ценкер! Немедленно ко мне!

Алоис снова начинает препираться с Марией. Слева выскакивает Ценкер.

Ценкер. Здесь, господин крейслейтер.

Горбах *(Ценкеру)*. План готов?

Ценкер. Еще не совсем.

Горбах. Закончить!

Ценкер. Есть закончить!

Горбах подходит к Шмидту.

Горбах. Весьма сожалею, Шмидт, но старший советник Потц доложил мне, что вы отказались продолжать окопные работы. Это есть неподчинение приказу. *(Громче.)* Я не могу притворяться

слепым. *(Еще громче.)* Неподчинение приказу, господин школьный советник. Вам известно, что это значит?

Шмидт молчит.

Или вы были не в курсе дела?

Шмидт молчит.

(Орет.) Приказываю отвечать, когда я с вами разговариваю!

Шмидт. Господин крейслейтер, я понимаю, что вы не можете оценить во всем его величии факт подобной научной находки. Со стороны моего коллеги Потца, несмотря на то, что он является преподавателем музыки, я мог бы требовать совсем иного отношения. Он должен был хотя бы догадаться о значении подобного события, когда в нашем районе мы наталкиваемся на древнегерманские гробницы. Притом такие гробницы, что с первого взгляда становится ясно, что они относятся к эпохе, в которую, как считалось до сих пор, здесь не могло быть древних германцев. Гробницы относятся к эпохе, в которую, по имевшимся до сих пор данным, здесь были только кельтские поселения.

Слева появляются Потц и доктор Церлебек. Оба сидят в колясках мотоциклов.
Следом за ними — еще один мотоцикл с охраной.

Потц. Хайль Гитлер!

Горбах. Ах, Потц, наконец-то. И господин главный врач! Хайль Гитлер, господин доктор!

Д-р Церлебек. Хайль Гитлер, крейслейтер. У вас здесь просто идиллия!

Горбах *(подобострастно).* Самое главное — это кругозор. Отсюда мы ничего не пропустим. В этом наше преимущество, понимаете? Мы хорошо знаем нашу родную землю. Ни одно движение врага не укроется от нас.

Д-р Церлебек *(не слушая его, подходит к обрыву и смотрит в долину).* Прекрасная панорама... И весьма удаленная от выстрелов.

Горбах. Германцы всегда защищали свою родину в лесах, господин доктор.

Д-р Церлебек. Красивые деревья.

Горбах. Дубы, господин доктор. Нет места лучше для командного пункта защитников Брецгенбурга.

Потц. Но французы уже прошли Кретценберг, крейслейтер!

Горбах. Ага, значит Вайнрайх уже капитулировал!

Потц. Нет, французы просто не обратили никакого внимания на Кретценберг.

Горбах. Ну, знаете... Что же это такое? Почему французы не интересуются Кретценбергом? Это не по правилам!

Потц. Они двигаются прямо на нас. Наши позиции еще не готовы. Вода поднялась и снесла все подрывные установки на Торгельском мосту.

Горбах. Это просто подлость! Вода поднялась, и никаких позиций. *(Подходит к доске.)*

Ценкер отступает.

Д-р Церлебек. Должен признаться, уважаемые господа, что я поражен. Совершенно поражен.

Шмидт. Позиции должны были бы находиться в самом узком месте долины.

Потц. Ерунда! Вы просто пытаетесь оправдать свое чудовищное поведение, уважаемый коллега,— неподчинение приказу.

Шмидт. Возможно, что вы весьма опытный преподаватель музыки, господин Потц. Но то, что Тойтахскую долину надо было защищать, окопавшись у Церковной скалы, совершенно ясно каждому, кто хоть немного знает военную историю. Благодаря явному превосходству противника создавшаяся в настоящий момент ситуация абсолютно аналогична ситуации, имевшей место при Фермопилах.

Потц *(в ярости)*. Фермопилы, как известно, плохо кончились.

Шмидт *(сдерживаясь)*. Весьма сожалею, что вы вынуждаете меня в присутствии школьника *(указывает на Ценкера)* объяснять вам, почему Леонид был побежден при Фермопилах. А побежден он был только потому, что предатель Эфиальт провел персов через горы. Тайно. Под покровом ночи. Вывел их прямо в тыл Леонида. В противном случае Леонид был бы непобедим. Не-по-бе-дим!

Д-р Церлебек. А разве у нас есть Леонид? Поглядите на весь этот сброд. Никакого намека на Спарту!

Потц. Есть у нас Леонид или нет, это не так существенно. А вот то, что Церковная скала расположена слишком близко к городу, это важно. Мы должны окопаться, а также обеспечить все для отступления, если не подойдут эсэсовские войска.

Шмидт. Слишком поздно вы поняли, что противник сможет использовать Тойтахскую долину как основной оперативный плацдарм. В этом заключается первая ошибка...

Потц. Если бы у нас были позиции...

Горбах. Но у нас их нет...

Потц. А это уж не моя вина...

Шмидт *(возбужденно)*. И вы могли бы пожертвовать королевскими гробницами?

Потц. С полным удовольствием!

Шмидт. Раз и навсегда уничтожили бы возможность доказать, что древнегерманские поселения существовали еще во времена ранних кельтов?

Потц. Кому и что вы сможете доказать, если мы проиграем войну?

Шмидт. Потомкам, уважаемый коллега.

Д-р Церлебек. Может быть, господа, вы соблаговолите, наконец, заняться современностью?

Горбах. Исходя из сложившейся обстановки, я приказываю отступить к Церковной скале.

Шмидт. Вы абсолютно правы. Оставшиеся в нашем распоряжении силы мы расположим с двух сторон на высотах Церковной скалы. И когда противник приблизится...

Горбах. Мы обрушим на него огонь нашей артиллерии...

Шмидт. Сокрушительный, сметающий все огненный шквал. Я мог бы вам продемонстрировать всю эту операцию на доске... если вы снимете с меня эти идиотские веревки.

Горбах. Машник, немедленно освободите господина школьного советника. *(Д-ру Церлебеку, занятому изучением окрестностей.)* Вы согласны со мной, господин доктор? Господин Шмидт может быть нам крайне полезен. В конце концов он специалист в вопросах ведения военных операций.

Д-р Церлебек. Поступайте по своему усмотрению. Вы несете ответственность...

Потц. Но это же безответственный поступок!

Горбах. А вот вы, вы... *(Не находит слов.)* Ваше дело подчиняться... Понятно? Так!.. Господин школьный советник... сейчас вам станет

легче... немножко подвигайтесь, и вы сразу почувствуете себя совершенно иначе. Пойдемте.

Шмидт. Разрешите мне дать пояснения и продемонстрировать на доске, что я имею в виду... Смотрите, вот здесь у нас Церковная гора, а здесь шоссе...

Горбах. Прекрасно, но давайте лучше рассмотрим ваш план in natura[1]. Пойдемте... Используем наш командный пункт с таким роскошным кругозором. Прошу и вас сюда, господин Потц!

Энергично ведет Потца и Шмидта в глубину сцены. Доктор Церлебек, обозревающий панораму, при появлении стратегов отходит в сторону. Он демонстративно показывает, что не хочет иметь ничего общего с распоряжениями Горбаха.

Господа могут отойти глубже, чтобы их не было видно.
Доктор Церлебек проходит мимо Машника.

Машник. Почтение, господин доктор! Прекрасный вид отсюда.

Д-р Церлебек. Не забывайтесь! Мы все еще в тисках.

Машник. Так точно, господин доктор. *(Отходит к телефону.)*

Доктор Церлебек, наконец, обнаруживает Алоиса, который с момента появления доктора на Дубовой горе все время поворачивается к нему спиной. Он усердно занимается стрижкой Марии.

Д-р Церлебек. Поглядите-ка, Алоис стал дамским мастером.

Алоис *(поворачивается к д-ру Церлебеку, говорит быстро и боязливо).* Я должен извиниться, господин доктор, я хотел прийти на проверку, но господин крейслейтер сказал, что прежде всего мы должны защищать город.

Д-р Церлебек. А вообще как самочувствие? *(Вынимает записную книжку.)*

Алоис *(быстро).* Все в порядке, господин доктор.

Д-р Церлебек. А точнее, Алоис?

Алоис. Господин доктор интересуется по поводу восстановления, так я могу честно доложить: пока еще ничего не сдвинулось с места.

Мария. Я могу это подтвердить, господин доктор!

Д-р Церлебек. А какие у тебя возникают ощущения, когда приходится возиться с такими длинными волосами?

Алоис *(горячо).* Мне все одно — что ее стричь, что дрова колоть. Мне даже было бы приятнее колоть дрова, чем крутиться вокруг человека, который так себя роняет, как она.

Д-р Церлебек. И все же, если ты ощутишь какие-либо изменения, если в тебе что-то шевельнется...

Алоис *(горячо).* Но, господин доктор, клянусь всеми святыми, ничего не сдвинулось с места.

Д-р Церлебек. Я же сказал: *если*! Если что-нибудь сдвинется с места, ты должен мне немедленно доложить. Но если ты от меня что-либо скроешь, то все опыты, все расходы... все пойдет кошке под хвост, если мы прошляпим проверку.

Алоис. Я не хочу, чтобы все пропало. Доктор Мозер говорил, что это делается для всего человечества, для того, чтобы раса стала еще чище.

Д-р Церлебек. А твои головные боли?

Алоис. Да... они меня еще беспокоят, особенно сейчас, когда я должен возиться с этими волосами.

Д-р Церлебек. Ага! *(Что-то записывает.)* И часто это с тобой случается, когда ты бываешь около женщин?

---

[1] В натуре *(лат.)*.

Алоис. Вообще когда я бываю с людьми. Когда я с кроликами, я ничего такого не замечаю.

Д-р Церлебек *(записывает)*. А мочеиспускание?

Алоис. Первоклассно. Как у молодой собаки.

Горбах и остальные возвращаются.
Ценкер лезет на дуб. Занимает наблюдательный пост.

Потц. А я утверждаю, что это отступление.

Шмидт. Но благодаря этому отходу мы вынудим противника занять такую позицию, которая помешает ему использовать свое численное превосходство и развернуть войска. Совершенно то же положение было у Леонида.

Потц. Плевать мне на вашего Леонида. Я отказываюсь участвовать в этой капитуляции.

Доктор Церлебек поворачивается лицом к стратегам.

Горбах *(резко, явно желая угодить доктору Церлебеку)*. Прекратите диспут, господа. *(Потцу.)* Вы немедленно отправитесь вниз и вместе с Крейцлером и Грейзингом займете новые позиции.

Потц. Слушаюсь! *(Направляется к мотоциклу, останавливается, поджидая доктора Церлебека.)*

Горбах *(д-ру Церлебеку)*. Такой чудесный день!

Д-р Церлебек *(Шмидту)*. Вы помните эти прекрасные строки: «Я хочу, чтобы наступила ночь или пришли пруссаки»?

Шмидт. «И пришли пруссаки».

Д-р Церлебек. Для нас было бы достаточно одного — эсэсовцев или ночи, и мы были бы спасены. Будьте здоровы!

Горбах. Хайль Гитлер!

Доктор Церлебек и Потц уезжают. Шмидт набрасывает на доске план битвы.

(Подходя снова к Шмидту.) Упрямый парень этот Потц.

Алоис. Если все скоро начнется, господин крейслейтер, разрешите мне быстренько сбегать в город. Вам известно, по какому делу.

Горбах. Смывайся, старина! И смотри не попади французам в лапы, а то они еще примут тебя за парламентера из-за твоей дурацкой шапки!

Алоис. Слушаюсь, господин крейслейтер!

Горбах. И возьми с собой эту бабу. Нам не нужны женщины на командном пункте.

Алоис. Слушаюсь, господин крейслейтер. *(Марии.)* Пошли, ты, полячка! *(Уходит с Марией, захватив по дороге свой рюкзак.)*

Горбах. Итак, господин школьный советник, посмотрим, что вы там хорошенького нарисовали. Еще раз тщательно проверим план боя.

Шмидт. Поскольку природа, а также соотношение наших сил с силами противника создают ситуацию, точно соответствующую условиям, в которых происходила битва при Фермопилах, я буду говорить о битве при Фермопилах.

Ценкер *(с наблюдательного пункта)*. Господин крейслейтер!

Горбах. Не вмешивайся в разговор. Помолчи.

Шмидт. Персы...

Ценкер *(взволнованно)*. Французы...

Горбах. Что ты сказал?

Шмидт. Персы приближаются со стороны... *(Запинается.)*

Горбах *(с биноклем, всматриваясь вдаль)*. Ерунда... Никакие это не французы. *(Ценкеру.)* Изволь лучше смотреть, а потом уже докладывай. *(Возвращаясь к прерванному занятию.)* Простите, пожалуйста, господин школьный советник.

Шмидт. Персы приближаются...

Горбах. Вы имеете в виду французов.
Шмидт. Я имею в виду, образно говоря, персов...
Горбах. Прекрасно, но при этом вы имеете в виду французов?
Шмидт. Я имею в виду персов...
Горбах. Господин советник, но речь идет о сегодняшнем дне.
Шмидт. О Фермопилах, господин крейслейтер!
Горбах. Да, постольку, поскольку у нас ситуация, как при Фермопилах...
Шмидт. Постольку меня касается и сегодняшний день...
Горбах. Именно это я имею в виду.
Шмидт. Итак, персы приближаются со стороны...
Ценкер *(с наблюдательного пункта).* Французы!
Горбах. Не болтай чепуху, парень.
Ценкер. Нет, правда, вон там, там французы!
Шмидт *(нервно).* Персы!
Ценкер *(громче).* Французы!
Горбах *(снова смотрит вниз).* Железнодорожники! *(Успокоившись, продолжает разговор.)* Железнодорожники.
Шмидт *(как будто его мнение только что подтвердилось).* Персы приближаются со стороны Фессалии...

Затемнение

5. Первый рецидив Алоиса.

После капитуляции Брецгенбурга. На командном пункте Дубовой горы все еще находятся Горбах, Шмидт, Потц, доктор Церлебек и телефонист Машник. Потц не выпускает из рук пистолета. Он в бешенстве вышагивает взад и вперед по поляне. Доктор Церлебек хотя и сидит, но курит очень нервно. Мрачный, погруженный в свои мысли Горбах сидит на траве. Он с тревогой наблюдает за Потцем.

Потц *(внезапно остановившись перед Горбахом).* А кто же, если не вы, провалил все дело? Что его, зря, невинного, засадили в концлагерь? Разве можно было такого субъекта отпускать на все четыре стороны? *(Снова начинает ходить.)* В такой момент? Пресловутого Алоиса, прирожденного террориста, который уже однажды чуть не поджег наше районное управление, господин крейслейтер отпускает в осажденный город! Постижимо ли это? Нет, это непостижимо. Я этого не постигаю. Нет.
Горбах *(плаксиво).* Алоис уже давно перестал быть красным. Он переродился.
Потц *(саркастически).* Переродился!
Горбах. Да, он переродился. Он вернулся из лагеря кротким как ягненок, общительным, услужливым и глубоко верующим национал-социалистом.
Потц. А затем этот глубоко верующий национал-социалист идет и сдает город врагу!
Горбах. Это для меня загадка!
Потц. А господин крейслейтер спокойно наблюдает эту измену в полевой бинокль. Это безусловно должно заинтересовать специальный отряд СС-504. Почему крейслейтером Горбахом не был дан приказ открыть огонь?
Горбах. Но ведь было уже поздно. А потом, разве народ не имеет права сам выбирать? Господин советник Шмидт, вы были свидетелем. Я только собирался сказать: теперь мы начнем, как вдруг увидел, что во всех окнах и даже на знаменах висят шкурки ангорских кроликов, белоснежные шкурки колышутся в воздухе повсюду,

необозримо, и, конечно, это связало мне руки. А французы немедленно, без всякого прикрытия, вошли в город и заняли его.

Потц. Именно это и был самый подходящий момент для начала действий!

Шмидт. Я возмущен вами, коллега! Такое чистейшее нарушение международного права.

Потц. Вот посмотрите, что эсэсовцы с вами сделают!

Горбах. Ну, а что мне теперь делать? Может быть, у вас есть какая-нибудь идея? Прошу вас, скажите.

Потц. Ликвидировать командный пункт, уничтожить все материалы, имеющие военное значение, казнить поляка...

Горбах. Он сбежал...

Потц. Что? Что вы сказали?

Горбах. По-вашему, я сам должен был его сторожить всю ночь? Чего вы, собственно, от меня хотите?

Потц. Ваш счет растет, господин крейслейтер!

Горбах. Я докажу, что в этом деле участвовала женщина.

Д-р Церлебек *(заинтересованно)*. Как? Женщина?

Горбах. Она перерезала веревку кухонным ножом и оставила этот нож на месте преступления.

Д-р Церлебек. Вот до чего мы дожили! Все оттого, что женщинам дали слишком много воли. Это было ошибкой. Женщины не могут быть сознательными гражданами. Я всегда утверждал: немец погибнет из-за женщины!

Слева появляется Алоис.

(Первый увидев его.) Алоис!

Горбах. Алоис!

Потц, молниеносно обернувшись, выхватывает пистолет.

Потц. Руки вверх! Быстро! Ну! А то стреляю!

Алоис *(поднимая руки)*. Тсс... Не стреляйте!.. Вокруг шныряют французы. Мне буквально пришлось проползать мимо них.

Потц. Закрой пасть! Машник, свяжите этого парня.

Машник. К вашим услугам, господин старший советник!

Алоис. А зачем меня вязать?

Машник начинает его связывать.

Горбах. Потому что ты предал Брецгенбург...

Алоис. Так... предал! Каким же образом я предал Брецгенбург?

Потц. А кому принадлежали шкурки ангорских кроликов?

Алоис. Такие шкурки, такого качества, не хочу быть нескромным, господин старший советник, но тот, кто хоть что-то понимает в ангорских кроликах, сразу же вам скажет, что это порода Алоиса, из его крольчатника.

Потц. А кто вас уполномочил раздать населению эти шкурки?

Алоис. Смею сказать, это была моя идея, собственная. Времена сейчас неспокойные, вот я и подумал: будет лучше, если ты ликвидируешь свой склад. Устрой-ка распродажу. Таким путем я и предложил людям шкурки. Вы не поверите, какой начался спрос. По-видимому, давно не выдавали промтоварные карточки, подумал я. Наверное, снова какой-нибудь саботаж приключился или же население снова просчиталось на талончиках — такое уже случалось, когда люди отдавали сразу все талоны за носки и не думали в тот момент о своей шее.

Потц. А тебе известно, что город сдался при помощи твоих шкурок?

Алоис. Я только видел, что люди вывешивали их на окнах для просушки.

Потц. И даже подняли на знаменах!

Алоис. Действительно, это меня самого очень удивило. Ведь сегодня у нас день рождения фюрера. Увидев, я еще подумал: только бы из этого не вышло неприятностей. И еще подумал: какие же у нас люди стали недоверчивые, я продаю им первоклассные шкурки, а они сразу же повсюду развешивают их для просушки. Как будто я всучил им заплесневелую кошачью шкуру.

Горбах. Я не понимаю, Алоис, что же во всей этой истории правда? У тебя есть какие-нибудь доказательства?

Алоис. Господин крейслейтер, если я что-либо перепутал со шкурками, значит, я заслуживаю наказания. В мыслях я ничего худого не держал, но человек, пока он жив, всегда может оказаться неблагонадежным. Вы знаете, я прошел хорошую выучку, но, если у меня приключился рецидив, тогда сразу кончайте со мной. Я только навлекаю неприятности на своих сограждан.

Потц. Мне кажется, что этот негодяй насмехается над нами.

Алоис *(серьезно)*. Господин старший школьный советник, я говорю, если это снова рецидив, тогда сразу кончайте со мной. Для меня в этом нет ничего смешного.

Потц. Он просто хочет оттянуть время, крейслейтер! Приговор!

Горбах. Приговор выносится быстро. Я предлагаю прежде всего сесть.

Потц *(садится на походный стул рядом с Горбахом)*. Прежде всего прикажите ввести обвиняемого.

Горбах. Я только что хотел сам отдать этот приказ. Машник, введи сюда парня.

Машник. К вашим услугам, господин крейслейтер. Сейчас будет подано.

Горбах. Ну что ж! Пусть приходят эсэсовцы. Пусть увидят, что мы выполнили свой долг. Давайте... давайте... быстро... Попрошу прилично держаться, Алоис! Шаг вперед. А теперь быстро признавайся в своем преступлении, чтобы мы могли так же быстро действовать дальше. Подумай о том, что каждую минуту может появиться этот спецотряд эсэсовцев.

Алоис. Или французы.

Потц. Какая наглость!

Горбах. Ты сообщил французам, где мы находимся?

Потц. Выносите приговор, господин крейслейтер. Государственная измена — и баста!

Горбах. Государственная измена. Ты признаешься, Алоис?

Алоис. Я понимаю, что вам всем очень некогда. Вы на меня рассердитесь, если я вас задержу, и потому лучше я буду молчать.

Издалека доносятся выстрелы.

Горбах. Итак, ты признаёшься?

Алоис. Я признаю, что я ликвидировал весь свой запас шкурок. Наверное, это был рецидив.

Выстрелы.

Потц. Так мы никогда не кончим, господин крейслейтер. Ведь парень изобличен...

Горбах. Вы считаете, что я уже могу прямо сказать...

Потц. Именем народа...

Горбах. Да, верно. *(Встает.)* Итак, именем народа...

Выстрелы приближаются.

Именем народа. Наверное, это уже эсэсовцы... *(Прислушивается.)*

Потц. Да кончайте скорее!

Горбах. Именем... народа... а может быть, надо говорить: немецкого народа?

Потц. Не задерживайте нас такими пустяками.

Горбах. Господин советник, народ или немецкий народ — это не одно и то же. И это не пустяки.

Потц. Говорите что хотите, только побыстрей.

Горбах. Итак, именем немецкого народа я приговариваю тебя, Алоис Грюбель, за рецидив... приведший тебя к государственной измене, — к смертной казни. *(Смотрит на Потца.)*

Потц *(нетерпеливо суфлирует)*. Через повешение...

Горбах *(нерешительно)*. Через... через повешение. *(Повернувшись к Потцу.)* Вы согласны?

Потц. Приговор должен быть немедленно приведен в исполнение. Доктор Церлебек, здесь вы можете быть нам полезны...

Д-р Церлебек. Я протестую, господа. *(Встает.)* Я оспариваю этот приговор. Алоис Грюбель принадлежит мне. Во имя науки я требую, чтобы приговор был отменен.

Потц. Только не начинайте теперь вы, господин доктор. У нас действительно нет времени...

Д-р Церлебек. Дорогой Потц, вы не можете убить человека, в которого мы так много вложили. Мы сейчас как раз проводим проверочные обследования. Прошу вас, вспомните, сколько двуногих существ находятся сейчас в наших лагерях. Если нам не удастся при помощи психофизических воздействий создать из этого неполноценного человеческого материала безупречно функционирующих роботов, тогда все те, кто находятся в лагерях, окажутся паразитическим балластом, который и приведет Германию к гибели. Взгляните на Алоиса. Из красного террориста он превратился в послушное двуногое существо. Он трудолюбив и пригоден для работы. С ним случился рецидив. Почему он случился? Какую ошибку мы допустили? Ведь эта ошибка в системе воспитания, господин советник. Значит, мы за нее отвечаем. Необходимо найти эту ошибку. Иначе мы не сможем двигаться дальше в наших опытах. Нам нужен Алоис. Не говоря уже о том, что осужденный имеет большой личный опыт пребывания в лагере, который еще далеко не использован. Он жил среди недочеловеков. Он знает их. Алоис, расскажи господам, о чем говорят в лагере коммунисты и евреи, когда они остаются одни.

Алоис. Всегда только о еде, господин доктор.

Д-р Церлебек. А о чем они мечтают?

Алоис. О сигаретах, теплой ванне и жареной картошке.

Д-р Церлебек. Обсуждают ли они что-либо? Например, проблемы культуры?

Алоис. Нет, никогда. Они часами обсуждают шницель по-венски.

Д-р Церлебек. Теперь вы понимаете, наконец, господин Потц, что Алоис дает нам ключ к пониманию психологии заключенных? Благодаря ему мы ознакомились с феноменом желудочной онании, которой предается неполноценный субъект.

Потц. Господин доктор, вы находитесь в плену научных идей. Сейчас не время для таких побочных проблем.

Д-р Церлебек. Я протестую против выражения «побочные проблемы». Это проблема века. Рано или поздно половина человечества окажется в наших лагерях, а мы с точки зрения медицинской, антропологической стоим, так сказать, с пустыми руками.

Потц. Машник, наденьте на осужденного петлю.

Машник. Это очень трудный заказ, господин советник.

Д-р Церлебек. Я протестую!

Потц. Протест отклонен! Машник, выполняйте приказ. Поле боя, господин доктор,—это не научная лаборатория. Брецгенбург пал, потому что некий господин Шмидт боялся разрушить исторические гробницы! Наша немецкая обстоятельность еще когда-нибудь нас погубит. Кончайте с ним. На стол. Затем, Машник, вы опрокинете стол.

Издалека доносятся выстрелы.

Машник. Я накрою вам любой стол, господин старший советник, но насчет опрокидывания у меня ничего не получится, потому что я тридцать девять лет учился ничего не опрокидывать.

Выстрелы.

Потц. Прекратите болтовню. Вы опрокинете стол. Это приказ.

Горбах. Минуту, господин старший школьный советник... вы слишком торопитесь... Я хочу сказать, что по закону в таких случаях... каждый осужденный имеет право на последнее желание.

Выстрелы.

Доктор Церлебек ходит взад и вперед, прислушиваясь к стрельбе.

От этого я не отступлюсь. Даже в том случае, если сейчас появятся эсэсовцы. Мы должны действовать согласно установленному порядку. *(К Алоису, стоящему с петлей на шее.)* У тебя есть какое-нибудь желание, Алоис?

Алоис. Вы мне однажды кое-что обещали, господин крейслейтер.

Горбах. Я... тебе?

Потц. Так. Ясно.

Алоис. Вы обещали, что похлопочете за меня перед господином старшим советником насчет хорового кружка.

Горбах. Да, верно. Господин Потц, я думаю, что вы можете выполнить это желание Алоиса. Примите его в хоровой кружок.

Потц. Государственного изменника?.. Чтобы навеки покрыть позором летопись хорового кружка?

Горбах. Гм. Да... Конечно... Ну вот, ты видишь, Алоис, я ничего не могу поделать... Может быть, у тебя есть другое желание... насчет кроликов. Может быть, я могу помочь?

Алоис. Они пристроены.

Горбах. Ну еще что-нибудь?.. Твои близкие... боже мой, Алоис, скажи, что с моей женой?

Алоис. Сын, господин крейслейтер!

Горбах. Сын! Сегодня, в день рождения фюрера! Алоис!

Алоис. Нет, вчера.

Горбах. Не имеет значения, главное — парень. Все прошло гладко?

Алоис. Родился сын, мать счастлива, не хватает только отца.

Потц. У нас нет времени на подобные разговоры.

Горбах. Так точно, господин старший советник. Сейчас. Алоис, ты понимаешь, если я сейчас тебя не повешу, придут эсэсовцы и повесят нас обоих. Этим тебе тоже не поможешь.

Алоис. Так точно, господин крейслейтер.

Горбах. Ты не можешь этого от меня требовать.

Алоис. Не могу, господин крейслейтер.

Горбах. У меня есть сын, Алоис. У тебя нет сына.

Алоис. Вообще нет детей.

Горбах. Вот видишь.

Выстрелы.

Потц. Исполняйте приговор.

Горбах. Ты же знаешь, что мне это неприятно.

Алоис молчит.

Война есть война.

Алоис молчит.

Итак, Алоис. *(Протягивает ему руку.)*

Потц. Кончайте, господин крейслейтер.

Горбах. Но я не откажусь от последнего желания, черт побери. Припомни. Должно же у тебя быть еще одно желание.

Алоис. Ладно уж... Раз господин старший советник не может из-за этого недоразумения с кроличьими шкурками принять меня в хоровой кружок, пусть хоть послушает и скажет, есть ли у меня голос и гожусь ли я, чтобы петь в хоре. Возможно, что я совсем не подхожу.

Горбах. Он хотел бы спеть, вы поняли?

Потц *(вынимая пистолет)*. Мне это совершенно безразлично, я ведь все равно его не приму.

Горбах. Итак, Алоис, пожалуйста.

Алоис поет «Горные вершины спят во мгле ночной».
Потц слушает, явно пораженный, так как у Алоиса хороший голос. У Алоиса не должно быть блестящего голоса, профессионального тенора — достаточно, если актер, исполняющий эту роль, обладает нежным, высоким голосом.

(После того, как Алоис кончил петь.) А... дальше...

Алоис. Дальше ничего нет.

Горбах. А вторая строфа?

Алоис. Ее нет.

Горбах. Ты сам виноват, что выбрал такую короткую песню, Алоис. Я больше ничем не могу тебе помочь. Теперь я должен исполнить приговор.

Потц. Ваш голос... Я поражен. Блестящий материал. *(Шмидту.)* Вы знаете, коллега, как я ценю ваш тенор. Несмотря на наши политические разногласия. Но теперь... Такой тенор, в нашем городе...

Шмидт. У этого голоса, безусловно, есть свои вокальные достоинства, только я боюсь, что он не будет хорошо звучать...

Выстрелы. Горбах вздрагивает.

Потц. Но материал, коллега. Все дело в материале. С тех пор как я дирижирую любительскими хорами, мне ни разу не встречался такой чистый материал. Вы должны были стать певцом, Алоис.

Алоис. Да, конечно, господин старший школьный советник. Только раньше у меня не было голоса. Он появился в лагере от этой трубы...

Д-р Церлебек. Он имеет в виду так называемый экстракт каладиума... абсолютно невинная вещь...

Алоис. А может быть, это от лучей, которыми...

Д-р Церлебек. Алоис, не болтай глупостей!

Шмидт. Оставьте его, наконец, в покое!

Алоис. Унтершарфюрер Шёк всегда говорил, когда я возвращался из лазарета: «А вот и наш соловушка прилетел, ну-ка сделай теперь ти-ри-ли». Это у него было такое любимое выражение. Он был очень веселый человек. А потом, когда они начали меня облучать...

Д-р Церлебек. Алоис!

Алоис. Да, господин доктор?

Д-р Церлебек. Ты просто компрометируешь себя, Алоис, когда начинаешь рассуждать о вещах, которых не понимаешь.

Шмидт. Позвольте, но это очень интересно.

Д-р Церлебек. Но он же все перепутал. Ведь известно, что ligamenta vokalia[1] онтогенетичны.

Алоис. Да, конечно, доктор Мозер говорил то же самое.

Д-р Церлебек. Я считаю, господа, что нет смысла продолжать разговор на этом уровне. Затронутая проблема не может быть предметом дискуссии непрофессионалов.

Алоис. Ну вот, теперь господин доктор рассердился. Мне очень жаль, господин доктор. Я больше ни одного слова не скажу. И потом, я не это имел в виду. Я только очень люблю говорить о пении, потому что больше всего в жизни люблю петь! А с чего бы я попал к коммунистам? Я думал, что у них самые красивые песни. Но теперь-то я, конечно, знаю, у кого лучшие песни.

Потц. Где лучшие песни, там и лучшие люди, Алоис. Надо было вам раньше мне спеть.

Алоис. Я всегда хотел, но не осмеливался.

Потц *(Шмидту)*. Вот так мы потеряли прекрасный голос.

Шмидт. Но как член правления хорового кружка, я всегда буду голосовать против приема такого... *(Пугаясь повторения.)* голоса. В конце концов, согласно уставу, мы являемся мужским хором. *(После паузы.)* Как бы это ни было трагично.

Потц. Ах, знаете, коллега, если бы он только не был изменником! Какое это было бы приобретение. Какое обогащение нашего кружка! Действительно несчастье!

Выстрелы приближаются.

Горбах *(испуганно)*. Эсэсовцы!

Алоис. Французы, господин крейслейтер!

Горбах. Скажи нам правду, Алоис!

Алоис. Они прочесывают лес.

Горбах. Они найдут нас.

Выстрелы.

Алоис. Похоже на то, что они уже у ручья...

Горбах. Значит, нам не пройти, господин Потц, мы отрезаны.

Потц. Мы должны прорваться.

Горбах. Мы слишком слабы для этого.

Выстрелы раздаются совсем близко.

Господа, я полагаю, что нам придется отложить приведение приговора в исполнение. Господин Шмидт, господин доктор Церлебек, что вы предлагаете? Что нам делать?

Д-р Церлебек. Нужно уходить.

Горбах. Ваше слово, школьный советник Шмидт?

Шмидт *(с достоинством)*. Никто добровольно не бывает немцем. *(Насторожившемуся Потцу.)* Одну минуту, коллега. Я сказал: никто добровольно не бывает немцем. Это значит, мы являемся немцами, хотим мы этого или нет. Отсюда вывод, что мы не имеем права добровольно уклоняться от нашей судьбы, предпочитая ей легкую смерть. У мертвеца нет национальности, следовательно, покойник уже не является немцем. Тот, кто будет голосовать за то, чтобы мы легкомысленно ринулись навстречу опасности, тем самым докажет, что он не хочет оставаться немцем.

Потц. Я понял только одно: что коллега Шмидта рассчитывает получить орден от французов за саботаж оборонных работ.

---

[1] Голосовые связки *(лат.)*.

Выстрелы.

Горбах. А если эсэсовцы не придут? У нас же нет солдат.

Алоис. Если мне будет позволено, господин крейслейтер, внести одно предложение.

Горбах. Пожалуйста, Алоис, мы тебя слушаем.

Алоис. Сначала снимите с меня веревки. Я даю слово, что не сбегу.

Горбах. Машник, снять веревки, быстро.

Машник. Будет сделано, господин крейслейтер! С удовольствием. *(Развязывает Алоиса.)*

Потц. Я протестую!

Д-р Церлебек *(явно наслаждаясь).* Протест отклонен.

Горбах. Возможно, он укажет нам выход.

Алоис подходит ближе.

Алоис *(Потцу).* Взгляните сюда, господин старший школьный советник. Вот там находится Брецгенбург, значит, эсэсовцы могут спуститься только по склону Тойтахской долины.

Потц слушает его объяснения.

Мы не знаем, кто первый появится на нашей вершине. *(Быстрым движением выхватывает пистолет, который Потц держал в руке.)* Стойте смирно... Не двигайтесь... Я буду стрелять, только если вы меня вынудите.

Потц. Господа, немедленно застрелите этого парня! Теперь вы убедились, какова была его цель.

Алоис. Минутку, дайте мне сказать. Машник, будь добр, свяжи господину старшему школьному советнику чем-нибудь руки.

Машник. С удовольствием, Алоис. Я уже наловчился связывать.

Д-р Церлебек. Браво, Алоис, браво. Агрессивная тенденция, сменяющая апатию. Очень интересно. *(Делает заметки.)*

Потц. Открытая измена! Господин крейслейтер, я предостерегаю вас.

Алоис *(отдавая Горбаху пистолет).* Я только одного хочу: чтобы меня выслушали. Я хочу сказать, поскольку все очень неопределенно и неизвестно, кто первый сюда придет, я думаю, что лучше всего будет, если мы друг друга привяжем к этим деревьям. Придут эсэсовцы — мы скажем, что это французы с нами сделали, а появятся французы — мы скажем, что так поступили с нами эсэсовцы. Вот мое предложение.

Шмидт. Классическое решение!

Горбах. Ну, что вы теперь скажете, господин Потц? Вы должны признать, что это предложение имеет большие преимущества. А вы, доктор Церлебек?

Д-р Церлебек *(снимает мундир и брюки и остается в легком штатском костюме, который, оказывается, был надет под его черной формой).* А теперь, господа, я, так сказать, отступаю на заранее подготовленные позиции. Надеюсь, вы тоже подумали о том, как сохранить себя для отечества. Тот, кто не подготовился к этому дню, проявил безответственность. Мои научные материалы находятся в надежном месте. Следовательно, мой долг — отправиться к моим материалам. Подведение итогов, господа, подведение итогов научных исследований. *(Вынимает из кармана мундира маленький пистолет.)*

Потц. Вы покидаете знамя, Церлебек!

Д-р Церлебек. Но сначала знамя покинуло нас, дорогой Потц. *(Начинает спускаться вниз.)*

Горбах. До свиданья, доктор.

Алоис дружески машет вслед доктору.

Алоис. До свиданья, господин доктор.

Шмидт. Итак, Алоис, не будем терять времени. Начинайте с меня.

Алоис. Охотно, господин школьный советник. *(Привязывает его к дереву.)*

Горбах *(направляясь к хижине)*. С каждым днем становится все жарче. Думаю, мне придется надеть что-нибудь полегче.

Алоис *(кричит вслед)*. Только не слишком легкое, господин крейслейтер, на апрель нельзя полагаться. Вдруг еще пойдет снег?

Шмидт. Так... я думаю, ты меня прочно привязал. Чудесное чувство — быть пленным. И к тому же еще sua sponte[1].

Горбах *(из хижины)*. Теперь моя очередь, Алоис!

Алоис. Сначала я закончу с господином советником. *(Потцу.)* Поймите же, господин старший школьный советник, что бы ни случилось, вы все равно нужны нашему городу. Город нуждается в вас, нуждается в господине крейслейтере — без элиты, без избранных обойтись невозможно. Унтершарфюрер Шёк всегда говорил: «Народ нуждается в элите, иначе он никогда не сможет стать избранным народом».

Потц. Я вам не доверяю.

Алоис. А теперь я должен связать господина крейслейтера — извините меня, господин старший школьный советник.

Горбах выходит из хижины в чем-то, напоминающем костюм для верховой езды — наполовину штатский, наполовину военный. Слышны выстрелы.

Горбах. Быстро, Алоис, вяжи меня, а то я один останусь на свободе.

Алоис привязывает его.

Алоис. Вот теперь вы прекрасно выглядите, господин крейслейтер.

Горбах. Не так крепко, Алоис, а то у меня омертвеют руки.

Алоис. Лучше руки, чем весь человек, господин крейслейтер.

Горбах. В этом положении есть своя хорошая сторона — чувствуешь себя таким... освобожденным.

Алоис. Машник, ты справишься сам?

Машник. Если ты завяжешь мне узел. И немножко затянешь.

Алоис *(около Машника)*. Порядок. Если будет больно — скажешь.

Машник. Нечего меня теперь щадить, Алоис. Немножко жестокости только поможет делу.

Алоис достает веревку, завязывает себе руки, становится под веткой, на которой все еще висит петля, просовывает в нее голову и затягивает до тех пор, пока она не ложится плотно вокруг шеи.

Горбах. Ну как... Господин Потц... Не так это плохо, как вам казалось?

Потц. Погодите радоваться, пока не пришли эсэсовцы!

Горбах. Я буду вынужден им доложить, что вы сопротивлялись приказу о применении военной хитрости.

Алоис. Вместо того чтобы спорить, надо лучше подумать, как мы объясним по-французски наше положение.

Горбах. Господин Потц, вы же знаете французский.

Потц. Я отказываюсь.

Горбах. А я абсолютно все забыл. Господин школьный советник, как по-французски «связать»?

Шмидт. Все зависит от того, в каком смысле. Enchaîner, ligoter.

Горбах. А как сказать «нас связали»?

---

[1] По собственному почину *(лат.)*.

Шмидт. Собственно говоря, этот вопрос не имеет никакого отношения к моему предмету. Поэтому я не могу гарантировать точность. Так вот, во французском языке... Нет, не так... Я хочу сказать, что у них все зависит от того, какое действие вы обозначаете — то, которое происходило в прошедшем времени, но последствия которого имеют место в настоящем...

Горбах. Господи боже мой, чем вы занимаетесь?

Шмидт. Если я составлю предложение с глаголом avoir, а правильнее будет в данном случае применить глагол être...

Горбах. Господи, но тогда возьмите этот être!

Шмидт. Я покрою позором немецкую педагогику, если в первом же предложении допущу ошибку...

Машник. Господин крейслейтер, с вашего разрешения, я работал в Париже в «Амбассадоре». Для меня не будет такой трудности немножечко припомнить, как нужно сказать.

Горбах. Пожалуйста, Машник, сделай это, только поскорее. Спокойно припомни.

Машник. Я скажу господам французам так. *(Поворачивает голову в ту сторону, откуда ожидаются французы.)* Я скажу: Messieurs... понимаете, это должно быть вежливое обращение, руганью и криком мы теперь уже ничего не добьемся... Messieurs, on nous a ligoté.

Горбах *(пробует)*. On nous a ligoté. Смотрите, получается. On nous a ligoté... Слушай, Алоис, если и на этот раз все обойдется благополучно... я воздвигну часовню здесь, на Дубовой горе.

Алоис. Ах, господин крейслейтер!

Горбах. Ах, Алоис, называй меня снова просто Горбах. Вечно эти чины. В конце концов, Алоис, мы все только люди.

Затемнение

6. Апрель 1950 года. Перемены на Дубовой горе. Второй рецидив Алоиса.

На вершине уже стоит ларек для продажи сосисок; по случаю праздника воздвигнута скромная триумфальная арка, украшенная гирляндами. Потц и Алоис стоят перед пюпитром с нотами. Потц указывает Алоису вступление. Машник прикрепляет памятную доску к самому старому дубу. В руках у него пурпурно-красный платок, которым он позже завесит доску. Серый день. Слева выходит Анна.

Анна. Алоис тоже попадет на доску?

Машник. Как бы я мог стать государственным служителем, Анна, если бы я выбалтывал то, что по службе не должно быть выболтано?

Анна. А я тоже попаду на доску?

Машник. Боже мой, Анна, что ты о себе воображаешь!

Анна. Я освободила Ежи.

Машник. Никто теперь не сердится на тебя за это, но, чтобы попасть на доску, этого недостаточно. Главное в данном случае — общественный интерес.

Анна. Алоис.

Алоис. Да, Анна.

Анна. Иди сюда.

Алоис смотрит на Потца.

Потц. Ну, что опять случилось, госпожа Грюбель? Мы немножко волнуемся перед дебютом? Допускаю. *(Протягивает ей руку.)*

Анна отворачивается.

Добрый день, госпожа Грюбель. Только не волнуйтесь, это соло будет огромным успехом Алоиса. И вашим тоже. Голос у него окреп, но при этом ничего не потерял. Правда, Алоис? Ну да, мы с ним хорошо поработали. Народ будет говорить только об Алоисе.

Анна. Они уже и так говорят об Алоисе. Потому что он теперь наконец-то выступит публично, говорят они, и голос у него как у соловья, господин старший школьный советник.

Потц. Школьный советник, с вашего позволения. Поймите, я не жалуюсь.

Анна. Как у соловья, господин... господин...

Потц. Школьный советник, с вашего позволения.

Анна. А вам бы хотелось быть женатым на соловьихе?

Потц. Я считаю, что вряд ли следует так буквально понимать столь популярное народное сравнение.

Анна. А как еще можно это понимать?

Потц. В переносном смысле. Так сказать, в общем смысле.

Анна. Алоис, пойдем.

Алоис. Да, Анна.

Потц. Алоис!

Алоис. Но если Анна не хочет, господин школьный советник.

Потц. Анна волнуется перед дебютом. Не правда ли, госпожа Грюбель?

Анна. Я думаю, мы-то с вами понимаем друг друга.

Потц. Я надеюсь, госпожа Грюбель.

Анна. Сначала из моего Алоиса сделали кроликовода, а теперь его приучают к пению. Как господам будет угодно.

Потц. Но голос, госпожа Грюбель...

Анна. Память человеческая должна быть как сито, а не такой подвал в голове, в котором все остается навечно.

Потц. Но голос, госпожа Грюбель...

Анна. Да, я знаю, он должен петь соло для того, чтоб каждый вспомнил, что с ним случилось!

Потц. Госпожа Грюбель, как раз чудо этого голоса заставляет нас забывать обо всем земном. Не правда ли, Алоис?

Алоис. Я понимаю вас, господин школьный советник.

Потц. Вы действительно не верите в то, что музыка имеет власть над людьми?

Анна. Плевала я на музыку.

Потц. Госпожа Грюбель, весьма сожалею, но я должен прямо вам сказать: возможно, вы просто немузыкальны. Или *(быстро)* ...вы опять пьяны.

Анна. Алоис, ты идешь, наконец?

Потц. Но, госпожа Грюбель... праздник... все уже подготовлено. Соло является кульминационным пунктом...

Машник *(докладывает из глубины сцены)*. Прибыл земельный советник.

Потц. Земельный советник, госпожа Грюбель.

Анна. Алоис!

Машник. Господин бургомистр.

Потц. Господин бургомистр!

Алоис. Подумай, Анна. Какой большой праздник!

Машник. Хоровой кружок.

Потц. Алоис наконец будет принят. Это самый великий день в его жизни. Неужели вы его испортите? Вы этого не сделаете.

Флаги, гости под открытыми зонтиками появляются со всех сторон. Анна видит, что она окружена. Она мчится к триумфальной арке, срывает гирлянду.

Машник!

Машник. Анна! *(Вешает гирлянду на место.)*

Алоис *(мягко, уводя Анну налево).* Анна, не делай этого. Я так люблю петь. Ты же это знаешь. Позволь мне, Анна.

Анна. Но люди, Алоис. Они такие подлые.

Алоис. Они хотят меня послушать. Они радуются пению.

За это время все встали на свои места.
Потц докладывает Горбаху. Горбах стоит в центре, готовясь произнести речь.

Горбах. Алоис!

Анна удерживает Алоиса.

Алоис. Так точно!

Анна. Алоис!

Алоис. Иди, Анна. Я скоро приду домой.

Горбах. Алоис!

Алоис. Так точно! *(Подталкивает Анну и стремительно бежит к Горбаху.)*

Хоровой кружок Брецгенбурга, офицер французской армии, земельный советник, бургомистр и прочие гости уже собрались. Внимательно слушают. Горбах выступает, иногда заглядывая в маленькую шпаргалку.

Горбах. В тот день погода была лучше, чем сегодня, но это единственное, что было лучше. Страшный был апрель, клянусь богом, мы все это помним. И то, что мы сегодня, ровно пять лет спустя, так мирно, в полном здравии, здесь собрались, этим мы не в последнюю очередь обязаны мужеству нашего Алоиса Грюбеля. Да, да, Алоис. Тебе и согражданам, которые поняли, что́ было поставлено на карту. Когда в ту минуту я почувствовал, что́ ты задумал, на мои плечи легла тяжелая ответственность. Могу ли я, должен ли я... Я знал, что́ я должен и что́ я могу. Поэтому я позволил тебе удалиться к твоим кроликам, к твоим шкуркам, которые не без глубокого смысла носили имена наших еврейских сограждан. В те времена достаточно было подмигнуть, сделать одно чуть заметное движение рукой, чтобы понять друг друга. Разве тогда, в те бесчеловечные годы, кто-либо знал, кому можно доверять? Никто этого не знал. Скорее можно было тогда довериться этому воронью. *(Указывает вверх.)* Столько зла было тогда между людьми. *(Его явно раздражают вороны, которых он только теперь заметил.)* Да, эти вороны над нами... в те дни... именно они... они всегда... я хочу сказать... я счастлив, что вороны... я имею в виду, я счастлив, что не было произведено ни одного выстрела в защиту Брецгенбурга. Памятная доска, которую вы, господин бургомистр, через несколько минут откроете... Мы приведем своих детей к этой доске, и они прочтут тогда эти прекрасные слова: «Кто с оружием в руках защищает Родину, тот разрушает ее». Во время печальных событий того злосчастного апреля я принял решение: если мне будет дарована возможность остаться в живых, воздвигнуть здесь, на Дубовой горе, строение. Часовню. Как известно, существует весьма разумное правило: строй только то, что ты можешь финансировать. В один прекрасный день часовня будет построена. Для того чтобы приблизить эту прекрасную цель хотя бы на один шаг, здесь сначала будет построено другое здание. *(Делает знак Алоису.)*

Алоис сразу подает ему лопату.

В вашем присутствии я сделаю первый взмах лопатой. *(Взмахивает лопатой.)*

Общее одобрение.

И приглашаю вас всех к себе в гости на будущий год на вершину Дубовой горы в ресторан под названием «Вид на Тойтах»!

Громкое одобрение.

Благодарю вас. А теперь мне осталось выполнить самый приятный долг — сдержать обещание, которое я дал нашему Алоису в тот самый апрельский день. Тебе пришлось долго ждать. Всем нам пришлось долго ждать. Но сегодня, когда наш хоровой кружок снова воскрес, ты, Алоис, безусловно, тоже принадлежишь к нему. Я говорю тебе: приди и оставайся с нами долго-долго!

Сердечно трясут друг другу руки.
Растроганные аплодисменты.

Алоис *(весело, без намека на сентиментальность).* Я очень рад. Я всегда знал, что Общество любителей пения не может погибнуть. Да, я это знал, потому что сам люблю петь. Даже если Анна против этого. *(Смотрит по сторонам.)*

Общее веселье.

Женщина не все может понять. В особенности хоровой кружок.

Общий смех. Крики «браво».

Я вспоминаю унтершарфюрера Шёка, который сказал: «Алоис, мужские дела остаются мужскими делами».

Легкое отчуждение.

Я счастлив, что стал членом этого Общества. Конечно, я очень привязан к моим кроликам. Я так же привязан к Анне. Но с Анной я так же мало могу петь, как и с кроликами, в этом главная беда.

Общий смех.

Теперь я стал членом хорового кружка, у меня есть Анна, у меня есть мои кролики, большего человек не может требовать. Простите, но я так взволнован от счастья. Мне так сейчас хорошо, что у меня двоится и троится в глазах. То, что мы вообще все остались в живых и снова стоим здесь в день рождения фюрера!

Отчуждение.

Самое лучшее, когда ты не все знаешь. Оказывается, нас жестоко преследовали, и только теперь все это вышло наружу. Я здорово испугался, когда недавно на собрании общины узнал, как меня самого в те времена преследовали.

Смех.

Но поскольку никто не знает, когда кончается одно преследование и начинается другое, мы все должны радоваться тому, что мы вообще живы. Поэтому хочется петь, когда тебе в голову вдруг приходит мысль, что ты еще жив.

Одобрение.

Унтершарфюрер Шёк сказал: «Алоис, тот, кто постиг идею, тот уцелеет». А потом он сказал остальным: «Посмотрите на Алоиса, он простой человек, но идею он постиг».

Общее отчуждение.

Не думайте, что я стал воображать о себе или хочу возвысить себя. Унтершарфюрер был веселым человеком, и я, как говорится, был у него на хорошем счету.

Горбах все время делает знаки Потцу, чтобы тот, наконец, дал вступление хору. Один из полицейских приближается. Он явно ждет приказаний. Доктор Церлебек вынимает записную книжку.

Точно так же, как и у господина крейслейтера. Теперь он перестал им быть. Мы все бесконечно счастливы, что, наконец, в нашей стране царит покой, какого никогда раньше не было. Сколько огорчений пришлось пережить из-за меня нашему дорогому дирижеру в те времена, когда он еще вынужден был носить ненавистную форму. Теперь он ко мне хорошо относится. Из-за пения. Поэтому можно сказать: в пении — сила. Гораздо больше силы, чем в быке. Вот эти вороны, которые всегда здесь присутствуют на дне рождения фюрера, эти преданные вороны тоже видели тогда, как со мной произошел мой самый страшный рецидив большевизма. Я вчистую предал наш город, хотя, с другой стороны, это впоследствии пошло на пользу, что теперь выяснилось благодаря вон той доске. Я считаю, что перед воронами мы не должны стесняться. Они всегда наблюдают за нами, но все же не могут постигнуть, что человек ненадежен, пока он жив. А теперь он является членом общества, и он постиг идею. Теперь я член хорового кружка. Вашего кружка! У меня такое чувство, что со мной больше ничего не может случиться...

Потц, наконец, дает вступление. Хор поет «О прекрасный лес...». Горбах при последних словах песни берет Алоиса за руку и, мягко подталкивая, ведет налево. Алоис сопротивляется, Горбах передает его Машнику и полицейским. Алоис начинает петь. Слышен его звонкий голос, поющий: «Прощай, прощай!» Он не понимает, куда и зачем его ведут. Он поет до тех пор, пока его, как арестанта, не выводят со сцены.

Затемнение

7. Десять лет спустя на Дубовой горе.

Троицын день.

Подготовка к певческому празднику.

Только дуб с памятной доской напоминает о прошлом. Ресторан «Вид на Тойтах» с большой садовой террасой. Сцена празднично убрана. Штанги для флагов. Гирлянды. Наступил день певческого праздника.

Анна обтирает стулья. Она одна в будничном платье. У нее довольно неряшливый вид.

Появляется Горбах в светлом костюме с зеленой отделкой и роговыми пуговицами.

Горбах. Троицын день! Клянусь богом, не воздух, а чистый шелк. Я прямо ощущаю присутствие святого духа. Самый подходящий день для певческого праздника. Конечно, может пойти дождь. Но нет. Погода заодно с нами.

Анна. А что еще остается делать?

Горбах. Я говорю, Анна, что погода заодно с нами.

Анна. Да, это тоже.

Горбах. Только бы ветер не переменился.

Анна. Это вы насчет кроликов?

Горбах. При западном ветре невозможно выдержать этот запах.

Анна. Пока Алоиса не было, пока он был в больнице, вы должны были сами прикончить всех этих животных, а потом сказать, что приключилась кроличья чума. Надо было пораскинуть мозгами, господин директор, а не ждать, пока здесь начнет пахнуть.

Горбах. Я хочу, чтобы он сам это понял.

Анна. Тогда я советую вам: обратитесь к святому духу. Может, ему

придет что-нибудь в голову, что убедит Алоиса.

Горбах. Да, ангельские голоса были бы кстати.

Анна. Кролики, сказал он мне, это его дети. И это он говорит мне, господин директор.

Справа появляется Алоис в праздничном костюме. В руках у него цапка. Он ходит взад и вперед; низко наклоняясь, разглядывает что-то на земле.

Горбах. Что с тобой, Алоис? Ты что-нибудь потерял?

Алоис. Смотрю, не выросли ли за ночь сорняки. В Сент-Фаццене мы все обрызгивали такой ядовитой жидкостью. Она сразу уничтожала эту штуку.

Горбах. Что могла больница, то и мы можем, Алоис.

Алоис. Нет, нет, это снова большие расходы. *(Вырывает травинку.)* Ромашка! *(Растирает ее, нюхает.)* Понюхайте! Ее надо сушить и продавать. Выгодное дело.

Горбах. Да, вскоре нам что-то в этом роде понадобится. Когда люди совсем перестанут приходить сюда...

Алоис. Как это перестанут приходить?

Горбах. Кролики, Алоис. Когда так пахнет, не всем это по вкусу.

Алоис. Красивей моих ангорских кроликов нигде нету.

Горбах. Но их же никто не видит, Алоис. Люди только чувствуют их запах. А запах у них такой же, как у всех кроликов.

Алоис. Вы считаете, что нам нужно выставить клетки прямо перед домом...

Горбах. Во имя всего святого! Я хочу только сказать, что, если сюда никто больше не будет приходить, потому что здесь так пахнет, мы обанкротимся.

Алоис. Обанкротимся! Боже мой, это будет ужасно.

Горбах. Например, сегодня. Троицын день, певческий праздник, флаги развеваются, хоровые кружки соревнуются, душа радуется — и вдруг подует западный ветер. Что тогда делать?

Алоис тревожно смотрит на него.

Всегда получается так, что кто-то первый замечает этот запах и шепчет другому. Ты представляешь, как это происходит? Сначала они хихикают, потом хохочут, и в конце концов кто-то грубо говорит: «Здесь воняет!»

Алоис. Во время пения!

Горбах. Или в антракте. Что тогда будет с певческим праздником? Все пойдет прахом. И тогда мы окончательно обанкротимся. Тебе ясно?

Алоис. В таком случае я вижу только один выход...

Горбах. А я — никакого.

Алоис. И все же, господин директор, есть один-единственный выход: кроликов надо убрать.

Анна
Горбах } *(вместе).* Алоис!

Алоис. Убрать, говорю я, убрать.

Горбах. Но разве ты на это согласишься?

Алоис. Я никогда не смотрел на это дело с точки зрения ресторана, господин директор. Но если мы обанкротимся, если певческий праздник в опасности — певческий праздник, господин директор! — по нашей вине, моей и кроликов...

Горбах. Точнее говоря, по вине западного ветра.

Алоис. Ветер дует куда придется. А человек, господин директор, должен принимать решения. Певческий праздник или кролики.

Я член хорового кружка, господин директор. Кроликов нужно убрать. Я это понимаю. Теперь я это понимаю.

Анна. Алоис, скажи, что ты это делаешь и ради меня тоже.

Алоис. Будь счастлива, Анна, что это не ради тебя.

Анна. Пойдем, Алоис. Пойдем сразу.

Алоис. Ты всегда их ненавидела, моих...

Анна. Не надо, Алоис. Не говори так.

Алоис. Хорошо. Я не скажу этого больше. Пойдем, Анна.

Анна. Хорошо, Алоис.

Уходят. Горбах смотрит им вслед. Он не может скрыть радости. Слева выходит Машник.

Машник. Добрый день, господин директор!

Горбах. Машник! Ты пришел первым.

Машник. Они меня прямо замучили. У вас есть какой-нибудь инструмент?

Горбах. Для доски?

Машник. Именно так. Единогласное решение. Может быть, у Алоиса есть инструмент?

Горбах. Он занят кроликами. *(Делает жест, словно сворачивает шею.)*

Машник. Да? Неужели?

Горбах. Он понял.

Машник. Таким он стал разумным?

Горбах. По-видимому, этот Сент-Фаццен — очень хорошая лечебница. Ни одного слова больше про этого унтершарфюрера или как его там. И к тому же теперь он каждый день может ходить в церковь.

Машник. Ну да, потому что он там может петь.

Горбах. Самое смешное, Машник, он ходит на церковные службы, где не поют!

Справа выходит Алоис.

Машник. А вот и он. Алоис! Мне нужен инструмент. Слышишь?

Алоис *(Горбаху)*. Простите, господин директор, что я... Я попробовал. Анна сама это делает. *(Внезапно закрывает уши руками.)*

Горбах. Ты слышишь что-нибудь?

Машник. Никто и не пискнул.

Горбах. Я тоже ничего не слышу.

Машник. Алоис, сходи, мне нужен инструмент. Надо убрать доску, пока не пришли певцы, слышишь?

Алоис. Доску, говоришь? Позорную доску. *(Убегает налево.)*

Машник. Ах, господин директор, не знаю, но таким уж разумным он мне не кажется.

Появляется Алоис с инструментами. Машник хочет взять у него клещи.

Алоис. Дай я сам. Дуб очень крепкий, Машник.

Машник. А доска — не особенно. Последние дни я только и имею дело с этими досками. *(Начинает работать.)*

Горбах уходит направо.

Алоис. Давно пора было снять эту позорную доску. Когда так много людей будет на празднике. Возможно, даже иностранцы появятся. Теперь представь себе, что они это прочтут! Политический скандал, Машник.

Машник. Ты прямо можешь стать городским советником, Алоис, так ты все хорошо понимаешь.

Алоис. Или, например, что должен думать молодой человек, кото-

рого после троицы призывают на военную службу, а перед этим он читает надпись на доске и узнает, что он разрушит свою Родину, если будет ее защищать.

Машник. Если пораскинуть мозгами, так окажется, что мы все были самыми настоящими коммунистами после войны.

Алоис. От маргарина и сахарина, Машник, человек обессиливает. Он больше ни во что не верит. *(Отрывает доску от дерева.)* Так. Хоть с этой опасностью покончено.

Машник. Господин директор! Господин директор! Почтительнейше докладываю, что позорная доска уничтожена.

Справа возвращается Горбах.

Горбах. Как глупо это теперь выглядит.

Алоис. Каждому заметно, что здесь была доска. В этом месте дерево светлее.

Машник. По этому поводу мне ничего не было сказано. Только доску приказано уничтожить.

Алоис. Да, это ты должен был сделать. Такое должно исчезнуть с лица земли. Капеллан Бёрингер в Сент-Фаццене говорил: «Восток спекулирует на том, что мы не защищаемся». *(Достает из кармана листок бумаги.)* Ну-ка прочти. Здесь все написано. Ежедневно перебирать четки, во имя святой крови Христовой и пяти его святых ран. *(Читает вслух, водя пальцем по строчкам.)* «Для обращения грешников, в особенности в России» — теперь понятно, как обстоят дела?

Машник. Зачем нам такие дорогие самолеты, если приходится надеяться только на молитвы?

Алоис. Если ты так настроен, ты никогда не попадешь в Карлсбад.

Машник. Который теперь называется Карловы Вары, Алоис. Как я только подумаю о том, сколько бы мне там пришлось менять досок, с меня сразу пот градом течет. А «Пупп», господин директор, вы уже знаете? «Москва» они его теперь назвали.

Горбах. «Москва»? Вот это да...

Машник. С этим покончено, ничего больше не выйдет. Дети не хотят уезжать отсюда. Когда собирается землячество, детей хоть палкой загоняй. Теперь я пойду захороню доску.

Горбах. Но заметь это место, Машник.

Машник. Я посажу на нем незабудки. *(Уходит налево.)*

Горбах и Алоис в растерянности стоят друг перед другом. Горбах бросает быстрый взгляд в сторону крольчатника.

Горбах. Ты уже сосчитал праздничные значки, Алоис?

Алоис. Нет еще.

Горбах *(радуясь этому).* Давай я тебе помогу. Возьми эту коробку, а я эту. *(Садится и начинает считать.)*

Алоис. Это вам не положено, господин директор! Прошу вас, если кто-нибудь придет...

Горбах. Все люди равны.

Алоис. Только перед богом, господин директор! А перед ним мы предстанем самое раннее после смерти.

Горбах. Значит, ты веришь, что молитва чему-то помогает, Алоис? В политическом смысле, я имею в виду.

Алоис считает значки.

Алоис. Самое глупое, что коммунисты не верят ни в какого бога, значит, они ослеплены и все на свете оценивают иначе. И вдруг им покажется, что они самые сильные на свете, и тогда они нападут.

Поэтому-то и надо молиться, чтобы их осенило и им стало понятно, что они слабее.

Горбах. И ты в это веришь?

Они считают значки.

Скажи, ты теперь ненавидишь меня?

Алоис. Этого я себе никогда не позволю, господин директор.

Горбах. Я хочу сказать: из-за кроликов.

Алоис. Что важнее — кролики или дело?

Горбах. У меня же есть сын, Алоис. В этом все дело.

Алоис. Капеллан Бёрингер в Сент-Фаццене говорил, что собственность — это базис!

Горбах *(прекращая работу)*. Алоис, Алоис! Скажи прямо, куда ты два раза в неделю исчезаешь по вечерам? Анна говорит, что ты ходишь в церковь.

Алоис. Так оно и есть.

Горбах. Мне же ты можешь откровенно признаться, Алоис, что ты снова начал встречаться с теми людьми.

Алоис. С какими людьми, господин директор?

Горбах. Ну, с теми... прежними. Может быть, ты снова на стороне рабочих. Они же частично добились успеха во всем мире. Возможно даже, что это стоящее дело. Я хочу сказать: не может так дальше продолжаться, когда у одних есть все, а у других — ничего. В настоящий момент вы снова под запретом. Временно. Но что должно случиться, то случится. Просто История всегда сильнее человека. Например, сильнее, чем ты и я. Согласен?

Алоис. Безусловно, господин директор.

Горбах. Все люди должны быстро объединяться и сотрудничать друг с другом, как только оказывается, что Истории вздумалось сделать еще один шаг вперед. Ну как, тебе это подходит?

Алоис. Да, конечно.

Горбах. Ну, а что обычно получается? Упорное сопротивление против того нового, что рождается, а потом люди начинают удивляться, что столько народа погибает.

Алоис *(мягко улыбаясь)*. Я уже понял, что господин директор хочет ввести меня в искушение.

Горбах. Дважды в неделю проводить вечера в церкви, Алоис... *(Смеется.)* Это ты можешь рассказывать Анне.

Алоис. Если точно сказать, то по средам я помогаю Меснеру из Святого Венделина. Трудно поверить, сколько работы в такой церкви. А по воскресеньям, после церковной службы, сидим у Меснера и беседуем.

Горбах. Ладно, Алоис, я же понимаю, что ты не имеешь права ни о чем рассказывать. Только помни, если ты со своими друзьями нуждаешься в таком месте, где вам никто не может помешать, то комната за рестораном всю неделю к вашим услугам. Ужин заказывать не обязательно. Прибыль надо получать с богатых. Ну как, мы поняли друг друга?

Алоис. Это очень по-христиански сказано, господин директор.

Горбах. Ах ты хитрая бестия!

Одновременно появляются: слева — Потц и Шмидт, справа — Земпер и Блаб.

Алоис, пересчитай еще раз. А потом намалюй что-нибудь на этом месте, где доска висела, чтоб не бросалось сразу в глаза.

Алоис. Так точно, господин директор.

Земпер. Стой, Блаб. Дальше мы не пойдем навстречу брецгенбуржцам.

Потц *(Шмидту)*. Стойте, коллега. Мы тоже не будем спешить им навстречу.

Горбах. Вы позволите хозяину угостить вас по случаю примирения?

Блаб. Поскольку я неподкупен, я говорю «да».

Горбах уходит.

Земпер. Не садиться, Блаб! До тех пор, пока все спорные вопросы не будут разрешены. Так или этак, понятно?

Потц. Итак, братья по пению из Кретценберга и Бремберга! Я слышу, что нам в последнюю минуту ставят какие-то условия.

Земпер. Первый пункт касается участия доктора Тони Церлебека, мне очень тягостно, так или этак, но наш кружок обязан целиком директору Хартштерну, которому мы чрезвычайно благодарны. Заводы Хартштерна вообще очень... очень с нами связаны, так или этак, понятно?

Потц при упоминании имени Церлебека отворачивается и отходит. Земпер следует за ним. Шмидт и Блаб подходят ближе друг к другу. Как только спорящие взглядывают на них, они отодвигаются друг от друга.

Потц. Но это же прошлогодний снег, господин Земпер.

Земпер. Для меня, для вас, Потц. Но, может быть, вы сами знаете, что такое чувствительность. Людям пришлось бежать. Теперь они вернулись. Мы не можем от них требовать, чтобы они все понимали, так или этак, понятно?

Потц. Тогда разъясните этим людям, наконец.

Земпер. Так или этак, Потц, если ваш доктор Церлебек начнет петь вместе со всеми, господин директор Хартштерн не преминет отказаться от личного присутствия на празднике и все может кончиться скандалом, так или этак, понятно? Мы не можем рисковать, и поэтому для нас, кретценбержцев, это главное условие, так или этак, понятно?

Потц. Коллега Шмидт, что вы по этому поводу скажете?

Шмидт *(подойдя к Потцу)*. Без сомнения, это проблема.

Входит Горбах, неся на подносе наполненные стаканы, бутылку и закуску.

Горбах. Уважаемые господа, за чудо святой троицы!

Шмидт. Для нас, певцов, оно не является чудом.

Горбах. Потому что у нас у всех один общий язык.

Блаб. За пение!

Потц и Земпер с официальным видом чокаются и обмениваются холодным «Ваше здоровье».

Земпер. Речь идет только о его прошлом, я это совершенно ясно подчеркиваю.

Потц. Уважаемые господа, мы с вами братья по искусству, мы говорим друг с другом абсолютно откровенно и честно. Откровенно и свободно. Я сам, вы знаете, был сочувствующим — глупым, слепым, жалким сочувствующим. Но я искупил свою вину. Пять лет без хора! Вместо этого я работал в деревне, чистил хлев и даже рубил дрова. Этими руками!

Горбах. Еще стаканчик, господин старший школьный советник? *(Беспрерывно предлагает всем закуски.)*

Потц *(раздраженно)*. Для немца существует иногда нечто более важное, чем стаканчик.

Блаб. К сожалению.

Потц. Например, честь товарищеского сообщества.

Земпер. Мы к ней даже не прикоснулись.

Потц. Так! А что произойдет, если доктор Церлебек не сможет петь вместе с нами? Что произойдет, господин коллега Шмидт?

Горбаху удается налить вина в его стакан.

Шмидт. Н-да, это действительно проблема.

Потц. Его оклеветали. Хорошо, вы скажете, что ему не повезло. Рассмотрим этот вопрос политически, как воспринимает его господин директор Хартштерн. Преступления, бесчеловечность, ужас этих лет, скажет он. Так точно. Мы это знаем.

Земпер. Мы тоже.

Потц. Мы не оправдываем их.

Земпер. Мы тоже.

Потц. Но какой же выбор был у такого человека, как Церлебек? Красное или коричневое, господин Хартштерн, мы все стояли перед таким выбором. Ваше счастье, наше общее счастье, господин Хартштерн, что сегодня у нас такое государство, которое умеет избегать красной опасности. Национал-социализм стал ненужным и лишним. Это анахронизм. Но кто остался, спрашиваю я?

Земпер. Враг!

Потц. Враг, наш общий враг! Враг доктора Тони Церлебека, мой враг, ваш враг, господин директор Хартштерн: красные.

Земпер. В Европе.

Потц. Так точно. *(Милостиво позволяет налить себе вина.)*

Земпер. То, что вы сейчас высказали, каждый из нас в свое время высказывал, так или этак, понятно. Но Хартштерн почти болезненно чувствителен в этом вопросе.

Блаб. Не можем же мы вечно копаться во вчерашней вражде.

Потц. Но именно эта самая вражда привела Азию на берега Эльбы! *(Горбаху, который предлагает ему закуску.)* С сыром, пожалуйста. *(Ест и пьет, наверстывая упущенное.)*

Земпер. Вам легко говорить.

Блаб. Боже мой! Когда вокруг столько народу, Церлебек может не попадаться на глаза Хартштерну.

Шмидт. Классическое решение. Ваше здоровье, господин Блаб.

Земпер. Согласен, если Церлебек обещает, что он будет держаться в тени. Но я прямо заявляю, что по второму спорному пункту не может быть никакого компромисса.

Все снова разделяются на две группы.

Блаб... давайте теперь говорите вы!

Блаб. Как известно, у вас здесь есть один тенор, мы все знаем, что он не так чист, как ангорский мех. Вы отстраняете его от участия в конкурсе, и мы приходим к полному согласию! Ваше здоровье!

Земпер. Так или этак, понятно.

Алоис, держа в руках краску и кисть, красит дуб. Все начинают говорить тише.

Блаб. У нас в Бремберге говорят: если они приведут на соревнование своего соловья, мы притащим дрозда из церковного хора.

Земпер. Это просто оскорбляет все естественные чувства.

Потц *(приплясывая от возбуждения)*. Уважаемые господа! Уважаемые господа! Сколько лет я работаю? Тридцать лет. Мой самый лучший голос. Единственный голос, который у меня получился. Бедный, бедный Алоис. И его здоровье далеко еще не стабилизировалось. Последствия. Нет, господа, нет. Я протестую. Прошу вас, коллега Шмидт, принять на себя мои обязанности. Я ухожу в отставку.

Блаб. Вы выберете его почетным членом хорового кружка — это всегда самый лучший выход.

Земпер. И дадите ему золотой значок.

Потц. Нет, нет, нет! Я протестую.

Земпер. Давайте, наконец, сядем. Пожалуйста, господа. *(Садится.)*

Горбах приносит новую закуску. Все, кроме Потца, садятся.

Представим себе, что через час хор начнет петь. Слушатели поглощены музыкой, так или этак, понятно, и вдруг зазвучит этот достопримечательный голос господина...

Потц *(указывая на Алоиса)*. Господина Икс, если позволите.

Земпер. Господина Икс. О чем тогда начнут думать наши слушатели? Я вас спрашиваю, господин Потц. Конечно, о том, что известно всем по поводу этого соловья из Брецгенбурга. И тогда каждый начнет думать о концлагере, о тех бесчеловечных временах, так или этак, понятно. *(Закусывает.)* Мы не должны забывать эти бесчеловечные годы. Я последний, кто скажет хоть слово о забвении. Но певческий праздник, троицын день, мы стоим и поем: «Подобно гордому орлу несется песня в небеса, и с ней возносится душа и радостно поет хвалу». А куда вознесется душа, если зазвучит вышеуказанный голос? К небесам вознесется? Вы знаете, господин Потц, куда этот голос уносит душу?! К колючей проволоке бесчеловечных лет! Этого вы хотите?

Потц. Нет, конечно, нет. Я постигаю. Но это трагично. Насколько это трагично!

Земпер. Мы должны принести жертву во имя великой гармонии.

Потц. Кто ему скажет? Кто осмелится это ему сказать?

Блаб. Его жена.

Земпер. Вы. Горбах. Мы. Все вместе.

Потц *(испуганно)*. Он идет сюда.

Земпер. Вы не обязаны сразу говорить ему об этом.

Молчание. Входит Алоис.

Алоис. Ну как, хорошо посовещались?

Все вместе. Да, да. Конечно.

Алоис. Я заметил, что господа сделали перерыв, иначе я не осмелился бы вам помешать. Это по поводу краски. Как вы находите, будут ли вспоминать об этой позорной доске... или краска подходит?

Потц *(не слушая)*. Алоис, мы как раз говорили о вас.

Алоис. Обо мне? Я всегда говорю Анне: я пугаюсь, когда слышу, что говорят обо мне.

Потц. Господин Земпер и господин Блаб, или, может быть, вы, коллега Шмидт, кому я должен предоставить слово?

Шмидт. Я воздерживаюсь.

Неловкая пауза.

Потц. Нет желающих? Значит, все в порядке. Спасибо, Алоис.

Алоис *(растерянно)*. Пожалуйста. *(Хочет идти.)*

Земпер. Постойте. Господин Грюбель, мне чрезвычайно тягостно, так или этак, понятно, что именно я должен... но поймите, во имя высокой гармонии, певец не имеет права думать только о себе, вам это известно.

Алоис. Это вы насчет хора?

Земпер. Совершенно верно. Мы должны подчиняться. А если вы будете сегодня петь вместе с нами, так или этак, понятно, господин Грюбель, каждый поймет, откуда взялся этот прекрасный голос,

разве мы хотим напоминать людям о застенках тех бесчеловечных лет, сегодня, в троицын день, можем ли мы этого хотеть?

Алоис молчит.

Хотите ли вы этого?

Алоис медленно качает головой.

Я знал это, господин Грюбель. Значит, мы едины. Так или этак, понятно. Я благодарю вас. *(Протягивает ему руку.)*

Алоис *(кричит)*. Анна! *(Стремительно убегает направо.)*

Темнеет. Видны только движущиеся флаги. Одновременно звучат, накладываясь друг на друга, несколько народных песен. (Монтаж.)

Затемнение

8. Певческий праздник.

Третий рецидив Алоиса.

Вечер. Из ресторана приглушенно доносится пение. Перед рестораном одиноко сидит доктор Церлебек.
С правой стороны осторожно выходит Алоис. В руках он держит молоток и охапку кроличьих шкурок.

Д-р Церлебек. Алоис!

Алоис сразу бросает шкурки и встает по стойке «смирно».

Алоис. Господин доктор!

Д-р Церлебек. Алоис, подойди ко мне. Подойди. Нас только двое. Мы должны держаться друг друга. Мы не жалуемся, Алоис. Что мы совершили, Алоис? Мы выполняли наш долг и будем выполнять его дальше. *(Достает записную книжку.)* Как обстоят дела, Алоис?

Алоис. Я не должен вам больше ничего рассказывать.

Д-р Церлебек. Я не могу тебя принуждать. Но наука, Алоис.

Алоис. Анна не хочет, чтобы обо мне писали в книге.

Д-р Церлебек. Она все еще пьет?

Алоис. Все больше и больше.

Д-р Церлебек. Ей необходимо лечиться.

Алоис. Я тоже иногда так думаю. В ней сейчас появилось что-то дикое, неожиданное. Мне самому это знакомо. Только в лечебном заведении человек полностью приходит в себя.

Входит Анна, отгоняя ворон.

Анна. Кш... кш... обожравшаяся сволочь.

Алоис. Анна!

Анна. Вороны, Алоис. А-а, господин доктор! Снова пришли немножко пошпионить? Алоис, пойдем.

Д-р Церлебек. Госпожа Грюбель...

Анна. В зоологическом саду есть соловьи... здесь, на Дубовой горе, только вороны. *(Вырывает у Алоиса из рук молоток.)* Вороны, господин доктор. *(Угрожает ему молотком.)*

Д-р Церлебек. Она скинула маску. Оскорбление действием! Прекрасно! Оскорбление действием. До скорой встречи. *(Хочет уйти.)*

Из ресторана выходят Потц и Шмидт. Они навеселе.
Алоис и Анна, тесно прижавшись друг к другу, наблюдают за происходящим.

Потц. Доктор! Куда вы исчезли? Все требуют доктора Церлебека.

Шмидт. Настроение исключительно...

Потц. Хватит, доктор! Пойдемте. Конечно, существуют педанты.

Предадим забвению. Вчистую.

Шмидт. Настроение исключительно благоприятное для вас.

Д-р Церлебек. Я пойду с вами при условии, что Земпер принесет мне свои извинения.

Потц. Он сделает это, доктор. Пойдемте. Все принесут вам свои извинения. Все! В конце концов, все мы братья по пению.

Уводят доктора Церлебека в ресторан, распевая «Подобно гордому орлу».

Алоис. Анна, теперь они снова поняли.

Анна. Алоис, иди, беги принеси ружье господина директора. Вороны мчатся за мной. Они хотят кроличьего мяса. *(Кричит, закинув голову вверх.)* У меня его больше нет! Кш... кш...

Алоис. Анна, где ты видишь ворон?

Анна. Ты прав, Алоис. Я просто не буду больше смотреть в ту сторону. Я не должна была разрешать им подглядывать, как я... кроликов убивала. Теперь они хотят еще.

Алоис. Отдай мне молоток.

Анна. За все хорошее я должна быть благодарна этому молотку. Доктор ушел, кролики уже на небе, мой дорогой Алоис больше не поет. Такого счастья еще никогда не было. Скажи мне, что ты тоже хотел иметь детей.

Алоис. Да, Анна.

Анна. Хотя с детьми иногда бывает очень трудно?

Алоис. Да, Анна.

Анна. А если Хериберт разобьет грузовик?

Алоис. Я его снова починю.

Анна. Или Карл залезет в дом к зубному врачу?

Алоис. И украдет у него коронки.

Анна. По мне, пусть он его даже убьет.

Алоис. По крайней мере, ранит в руку или в плечо.

Анна. А потом заявится домой, топая ногами, начнет ругаться и скажет: «Ну, вот и я! Только что был у соседки и наплевал ей на постель... А теперь, мама, влепи-ка мне хорошую затрещину!» Ах, Алоис, я ему такую дам затрещину, что щека зазвенит. А он даст мне сдачи, ударит свою родную мать... Ну и пусть. Другие-то били. А от него можно стерпеть. Он же сын. Сын, Алоис.

Алоис. Да, Анна.

Анна. А теперь я пойду за ружьем.

Алоис. Отдай мне молоток.

Анна. А потом ты мне его вернешь, сразу после?

Алоис. Я верну его тебе сразу.

Анна отдает ему молоток.

Анна. Ах, дорогой Алоис.

Алоис. Иди принеси ружье.

Анна. Сейчас принесу. Кш... кш... кш... Обожравшаяся сволочь. *(Отгоняет ворон и убегает.)*

Алоис снова берется за свои шкурки, приближается к флагам. Появляется Горбах в праздничном костюме, с бокалом в руках. Ясно, что он уже немного навеселе.

Горбах. Алоис! Иди сюда. Мне сейчас необходим человек, понимаешь? Человек, который не поет.

Алоис отворачивается.

Я ведь тоже не пою. Из любви к тебе, Алоис.

Алоис снова поворачивается к нему.

Когда чем-нибудь жертвуешь, Алоис, в тебе пробуждается такое хорошее чувство.

Алоис. Ах, господин директор, я теперь сам не могу понять, как я согласился на убийство кроликов. В наказание я теперь не имею права петь со всеми вместе.

Горбах. Да нет же, Алоис, нет...

Алоис. Нет, это мне в наказание. Я понимаю... Я не должен был соглашаться с тем, что кроликов нужно убрать. Это несчастье, когда человек со всем соглашается.

Горбах. У тебя, по крайней мере, нет сына, Алоис. А мой на будущий год на пасху хочет поступать в семинарию. Стать священником, так он пишет. При этом он же настоящий баран. Что мне ему теперь посоветовать?

Алоис. При западном ветре клиенты жаловались, и вы сказали, что мы обанкротимся. Поэтому я согласился.

Горбах. Нам ведь всем порядком досталось. Что правильно, тебе никто не скажет. А вот избить тебя за неверный шаг каждый готов.

Алоис. Так уж создан человек — как только у него появляется коммерческий взгляд, он приходит в ярость. Я чувствую, что меня снова хватит рецидив при одной мысли, сколько всего мне еще придется постигать.

Горбах. Будущее, Алоис, это и есть самое страшное. В особенности если у тебя есть сын. В конце концов, не всякий человек — профессор истории. Алоис, ты что-то скрываешь, а ты мог бы мне посоветовать.

Алоис. Должен же когда-нибудь наступить конец, господин директор. Я принимаю решение ничего больше не постигать.

Горбах *(испуганно)*. Кто там? Кто-то здесь есть?

Алоис. Вороны. Они видели, как Анна убивала кроликов. Вы слышите запах, господин директор?

Горбах. Какой?

Алоис. Ветер переменился... западный ветер... пахнет теперь кровью... кровью моих кроликов...

Горбах. Даже ты, Алоис, думаешь только о себе, теперь я в этом убедился. Я сожалею об этом, Алоис. *(Уходит в дом.)*

Алоис. Теперь я думаю только о том, что я всегда со всем соглашался. *(Подкрадывается с молотком и шкурками к традиционным флагам. Прикрепляет на каждый флаг кроличью шкурку: он вешает шкурку на крючок на самом острие флага, там, где обычно прикрепляют ленты.)* Мориц родил Иосифа. *(Вешает шкурку на флаг.)* Иосиф родил Элию. *(Вешает шкурку на следующий флаг.)* Элия родила Дебору и Веньямина. *(Вешает две шкурки на третий флаг.)* Веньямин родил Хильду и Фрица. *(Снова две шкурки.)* Фриц родил Ламеха. *(Одна шкурка на флаг.)* Ламех родил Эзру, Руфь и Алоиса. *(Вешает три шкурки на флаг.)* Алоис родил Алоиса. *(Начинает прибивать последнюю шкурку к дубу, покрывая место, на котором висела памятная доска.)* Родил Алоиса, родил Алоиса, родил Алоиса.

Громкое пение из ресторана. Алоис кричит, стараясь перекричать шум. Флаги и шкурки развеваются на ветру.

Затемнение

9. Отъезд в различные заведения.

Человек в форме служащего Красного Креста проносит налево багаж Анны. Алоис ему помогает. Три перевязанные веревками картонные коробки и чемодан. Горбах стоит на террасе и наблюдает. Анна сидит безучастно.

Алоис. Ну вот, Анна, все готово!

Анна встает и хочет пройти мимо Алоиса.

Поправляйся, Анна. Любопытно, кто из нас первый вернется сюда, на вершину.

Анна стоит и смотрит на него безучастным взглядом.

Всего доброго, Анна. Слышишь? До свидания.

Анна уходит не попрощавшись. Слышно, как отъезжает машина. Алоис смотрит вслед, машет рукой, понимает, что это бессмысленно, и идет к директору на террасу. Здесь стоит его багаж — чемодан, картонная коробка и рюкзак. На рюкзаке лежит его меховая шапка.

Горбах. Она как будто не в себе.

Алоис. Хуже всего, что она ничего не говорит. Ни одного слова.

Оба смотрят в ту сторону, куда уехала Анна.

Горбах. Ты же знаешь нашего мельника. Когда его жена бросилась в Тойтах, он тоже запил. Стал совсем таким, как Анна. Совершенно ничем не занимался. С ним было так плохо, что он свой большой палец принимал за пробку и все время хотел его вытащить штопором, все вкручивал штопор, а он не входил. Вот увидишь, Алоис, они снова поставят Анну на ноги.

Пауза.

Но сейчас тебе, конечно, тяжело, это ясно.

Алоис. С той минуты как она принялась за кроликов, с ней самой все было кончено. Морица хлоп по голове — кончено. Даниэля хлоп — и в ящик. И ни одного слова не говорила, как будто фасоль чистит. Я тогда сразу понял: этого она не вынесет. Раньше она все-таки иногда что-то замечала, скажет, бывало: «Холодно, не надевай пока тонкие носки»; спрашивала меня, не дует ли, а потом уже больше ничего не говорила.

Горбах. Ты себе не представляешь, какие у них теперь средства. *(Берет со стола швейцарскую фуражку.)* Шапка, Алоис, не забудь взять ее.

Алоис. Не надо, господин директор. В Сент-Фаццене я все равно не имею права ее носить.

Горбах. По моему мнению, на этот раз тебе совершенно незачем ехать в Сент-Фаццен. Городской совет и хоровой кружок можно было бы убедить.

Алоис. Нет, нет, ради бога, не надо! В конце концов я же повесил кроличьи шкурки на флаги и одну даже прибил к дубу. Недопустимо. Самый настоящий рецидив.

Горбах. А разве ты сам действительно не знаешь, почему ты это сделал, Алоис?

Алоис. Просто нашло на меня. Это и есть самое худшее в таких рецидивах. Вдруг на тебя находит.

Горбах. Мы должны были бы найти объяснение, Алоис. Время еще не потеряно. Потц говорит, что он заступится за тебя, если узнает, какую цель ты преследовал, развешивая шкурки. Было ли это направлено против евреев или против хорового кружка? Ты должен был решить для себя этот вопрос и соответственным образом из-

виниться, тогда ты получишь выговор и все дело уплывет вниз по течению Тойтаха.

Алоис. Этим мне уже не поможешь, господин директор. Что-то во мне разладилось. Как видно, что-то еще осталось, какая-то гниль-ца. Возможно, остатки старого коммуниста, в свое время в лагере этого не заметили и упустили. А может быть, это следы тех бесчеловечных лет — профессор их в прошлый раз не заметил. Я должен узнать, почему со мной это случилось, иначе я ни минуты не могу быть уверен, что я снова что-либо подобное не выкину, а может быть, еще и похуже.

Горбах подходит к дубу.

Горбах. Значит, ты мне не хочешь сказать, что ты имел в виду.

Алоис. Господин директор, я клянусь...

Горбах. Возможно, ты получил задание.

Алоис. Это был рецидив.

Горбах. Алоис, я хотел бы знать, о чем ты думаешь.

Алоис. Я тоже, господин директор. Поэтому я и хочу уехать в Сент-Фаццен. Подсознательное, говорил профессор, это как белочка: нужно сидеть совершенно спокойно на солнце, тогда она вскочит на плечо, скользнет вниз по рукаву, съедет на колено и ест прямо из рук. *(Указывает вниз, в долину.)* Автобус уже остановился у ручья. *(Подходит к вещам, берет рюкзак и заглядывает в него.)*

Горбах. Там что-то шевелится, Алоис.

Алоис. Да, господин директор, я утаил от вас. Но ему было только одиннадцать дней, когда Анна прибежала с молотком... Он из рода Даниэля. Взгляните сами. Он здесь один-единственный. Потомства от него не будет. Он слишком слабенький. Я его беру с собой. Наверно, никому это не идет на пользу, когда ты остаешься последним. Вы не сердитесь, господин директор?

Горбах. Ты мог бы оставить его здесь, Алоис. Ему будет хорошо у меня.

Алоис. Вы меня обрадовали, господин директор. Только я все-таки должен взять его с собой. Он привык ко мне. Я его держал на чердаке. *(Осторожно берет рюкзак.)* Не забудьте посылать Анне иногда какие-нибудь пустяки, изредка, к воскресенью. В этих заведениях очень хороший уход, но по воскресеньям, после обеда... такая тишина стоит в доме... Хорошо, если что-нибудь в это время можно распаковать и бумага чуть-чуть шуршит.

Горбах. Желаю тебе счастливого пути, Алоис.

Трясут друг другу руки. Алоис надевает шапку.

Алоис *(беря картонку и чемодан).* Вы же знаете, я счастливчик! Просто стыдно, что мне всегда так везет, а на земле все идет хуже и хуже. Повсюду такое напряжение, а у меня спокойная жизнь в Сент-Фаццене. *(Прислушивается.)* Автобус!.. Ну, прощайте, господин директор! *(Идет налево, снова останавливается.)* Если вы Анне будете что-то посылать, то что-нибудь в серебряной бумаге. Она ее любит. Может быть, даже кусочек мха. В особенности осенью. Осенью она всегда так любила мох. Я об этом говорю, потому что я ей ничего такого послать не смогу. В таком заведении, господин директор, не растет никакой мох. *(Кивает, уходит.)*

Горбах машет ему вслед швейцарской фуражкой.

Затемнение

Рассказы финских писателей

■

С финского

ВЕЙО МЕРИ

Серебряное крыло

I

Сосед по комнате был светловолосый парень из Оулу, еще и на втором году обучения говоривший «Знашь?» вместо «Знаешь ли». На рождество сосед отправился домой. Он остался. Он южанин. Он никогда не спрашивает: «Знаешь ли?» — а всегда готов поговорить — о том, что знает, и о том, чего не знает.

В сочельник около полудня он сидел в комнате за письменным столом и курил. Стол стоял у окна. Койки стояли у боковых стен. Койка товарища была продавлена, он, как старый постоялец, выбрал себе койку пожестче. Покрывала на обеих были одинаковые, желто-коричневые, цвета кленовых листьев. В солнечные дни — желтые, в хмурые или осенью — коричневые. Он подошел к кровати товарища и разгладил складки на покрывале — иначе все так и осталось бы на целых три недели. Потом стал смотреть в провал двора, где еле-еле можно было разглядеть уголок асфальтовой площадки. Из окна видны были десять кухонь: бутылки молока между стеклами, пачки масла, на каждом балконе — елка. Хозяйская елка стояла в прихожей. Ее запах был слышен в комнате и напоминал о необъятном еловом лесе, который начинается у городской окраины и простирается до Тихого океана. Хозяйка пошла в молочную, взяв с собой обоих ребятишек — мальчик будет у нее на руках, девочка понесет покупки. Он дал знать Эйле по телефону. Эйла обещала прийти. В ящике стола лежал сверток с подарком — серебряная брошь, он отдал за нее четыре тысячи марок. Она была похожа на птичье крыло, с зеленым камнем в середине.

У них был условный звонок — четыре коротких, быстро, один за другим. Эйла была в шапочке, руки полны свертков. Она бросила свертки на одну кровать и присела на другую перевести дух.

— Умираю,— сказала она.

Терхо открыл окно.

— Который час? — спросила Эйла.

— Пять минут первого. Сними пальто.

Было десять минут первого. Когда он снимал с нее пальто, Эйла, не вставая, старалась облегчить ему задачу. Так полицейские удерживают арестованных, подумал Терхо. Руки в рукавах заводят за спину. Он глядел на затылок Эйлы. Женщинам просто невдомек, какие красивые бывают у них затылки. Это у женщины всегда самое красивое, какой бы красавицей или дурнушкой она ни была. А если затылок скрыт прической, он и тогда все равно красивый. Терхо повесил пальто на крючок у двери. Крючок не выдержал и вывалился из стены вместе с куском штукатурки величиной в кулак. Это было по меньшей мере уже в пятый раз. Он положил пальто на стол.

— Поезд отходит в половине первого,— сказала Эйла.

— Знаю. Корсо — ужасное место. Всякий раз, как я проезжаю мимо и вижу это сделанное из кустов изогнутое название там на склоне, слева от пути, мне хочется выскочить из поезда и разорвать его. Хотелось еще до того, как я познакомился с тобой. У меня было предчувствие.

Эйла сматывала бечевки, которыми были перевязаны свертки.

— Почему ты не поехал на праздники домой? — спросила она.

— Послал открытку, сказал, что остаюсь здесь. Меня очень звали одни знакомые.

— Ты их огорчишь.

— Ты приедешь завтра. Это решено.

— Это ты так решил.

— Да. А что, не приедешь? Ведь ты обещала.

— Поезда не будут ходить, но можно приехать и на автобусе. А у тебя есть еда? Если нет, беги скорее в магазин. А то ведь закроется.

— Есть.

— Где? Покажи.

— Все у хозяйки в холодильнике.

— Это правда?

— Да, да,— сказал Терхо и подал ей пальто. Волосы попали под воротник, и он высвободил их. Эйла вдруг обернулась. Они поцеловались и пошли. Терхо нес свертки и, проходя через переднюю, потихоньку привязал свой подарок к общему вороху.

Они вышли из ворот на улицу и поглядели по сторонам. Дома стояли ровной шеренгой, словно прятались друг за друга.

Трамваи, автобусы, люди на вокзальной площади как будто устремлялись все в одно место. Терхо и Эйле казалось, что они совсем особенные, не то что другие, что люди — это вот те, другие, что именно те — люди, а не они.

Мокрые вагоны казались черными, но водяная пленка на перронах была почти белой. Воды было столько, что в ней отражались вокзальные здания и поезда. Стоявший над лужей человек был виден и сверху и снизу — в зеркальном отражении на фоне неба,— словно стоял на высоком холме.

Пригородный поезд был набит битком. В иных вагонах двери уже закрыли, чтобы не впускать больше народу.

— Дай я провожу тебя в вагон. Попробуем найти местечко, чтобы не разорвали свертки,— сказал Терхо.

Он прошел вперед, неся свертки над головой на вытянутых руках. Они стали в проходе, лицом к лицу.

— Поезд вот-вот отойдет,— сказала Эйла.

— Знаю. У вас будет дед-мороз?

— Будет. Придет Салимяки.

Они смотрели в глаза друг другу и видели свое отражение, хотя оптика была ни при чем.

Поезд медленно тронулся. Паровоз не мог быстро взять с места. Состав двигался едва заметно. Пассажиры начали утрамбовываться, чтобы можно было закрыть наружную дверь.

— Тебе не выбраться из вагона,— сказала Эйла.

— Я провожу тебя до Корсо.

— У тебя нет билета.

— Кондуктору до меня не добраться.

Терхо пристроил свертки между собой и Эйлой, они пропустили между ними руки и крепко держались за пальцы. Когда вагон встряхивало, пальцы Эйлы судорожно сжимались. Поезд с трудом преодолевал подъем до Пасилы между красных скал. Время от времени издалека доносилось пыхтенье паровоза.

— Какое чудо, что есть рождество,— сказала Эйла.

— Какое чудо, что есть ты,— сказал Терхо.

По-видимому, эти слова поразили стоявшего рядом мужчину. Он взглянул на них и тут же отвернулся.

В Корсо они сидели на станции в зале ожидания. Терхо пошел узнать, когда отходит ближайший поезд на Хельсинки. В его распоряжении было три часа.

— Ты можешь вернуться на автобусе,— сказала Эйла.— По шоссе.

Они сидели на больших стульях у окна, выходившего на пути.

— Я провожу тебя до дому. Хочется посмотреть, как выглядит дом, где ты живешь. Когда-нибудь я приду и спою тебе серенаду.

— Мне пора идти. Отгадай, что тут? — Эйла показала на большой сверток.

— Гитара.

— Окорок. Еще не зажаренный. Видишь ли, вчера мы получили окорок. По заказу. И что же ты думаешь? В нем была пуля, он был весь черный. Мы вернули его и потребовали, чтобы дали другой. И нам дали. Ну, мне пора. Езжай автобусом, слышишь?

— Не беспокойся, уж как-нибудь выберусь. Провожу тебя немножко.

Эйла не ответила. Когда они прошли с полкилометра, она сказала:

— Вон тот белый дом. Ну, я пошла.

— Так обязательно приезжай завтра, приезжай, не то испортишь мне все рождество.

Эйла пошла, и между ними словно воздвиглась преграда. Ясное дело, они у всех на виду. Вокруг со всех сторон стояли дома. Чувствовалось, что на них смотрят. На полпути Эйла остановилась, обернулась и помахала рукой. Потом повернулась и вскоре скрылась за углом дома. Терхо медленно шел вслед по раскисшей дороге и украдкой приглядывался к дому, так, чтобы это было не слишком заметно. Дом казался знакомым, словно когда-то, в детстве, он жил в нем.

Местность тут была ровная и низкая, словно весь мир опустился на метр или два. Березовые рощи просматривались насквозь, будто оконное стекло в трещинах. К вечеру разъяснело. В красных тонах открылось небо, и на все лег красноватый отсвет, даже сам воздух стал красноватым. Солнце зашло. Казалось, будто в осень вклинился зимний вечер. Начало подмораживать. Когда он прошел еще километра два, песчаный настил дороги стал отвердевать. Над дорогой рдели ягоды рябины — несомненно, они остались с начала осени. Он вспомнил, как валялся в военном госпитале; у него была ангина и нарывы в горле. Когда он пил, вода шла у него носом. Его лихорадило, дышалось трудно. За окном, казалось, всегда стоял мрак и шел дождь. Электричество горело чуть ли не круглые сутки, словно они отсиживались в подземном бункере, хотя в действительности палата была

на четвертом этаже. Он мечтал об одном: прогуляться на воле по легкому морозцу, глотнуть свежего воздуха. Когда он оправился от ангины, ему сперва вырезали гланды, а потом опухоль на ноге, а когда он уже мог передвигаться без костылей, старшая сестра сразу задала ему работу: натирать до блеска вощеные полы. Толкая по коридору тяжелый механический полотер, он слышал, как врач говорил ассистенту: чем скорее ребята будут выписываться, тем лучше. Они слишком податливы душой и до того привыкают к госпитальной жизни, что им трудно распроститься с ней. Жизнь за стенами госпиталя пугает их, и они норовят остаться здесь. За два дня до рождества его отослали в часть — пускай снова входит в колею армейской жизни. Он хромал, нога болела, на улице моросил дождь, мир был бесцветен. Зашел в магазин посмотреть рождественские подарки и купил для себя дешевые издания немецких поэтов: Гёте, Мёрике, Новалиса. Такая возможность — купить иностранные книги — представлялась ему впервые. Книги остались непрочитанными. Он не вернулся в Хельсинки учиться, а устроился весною в налоговое управление. Ему вспомнилось, как, лежа в госпитале, он решил: всякий раз, как он будет дышать свежим воздухом на легком морозе, он будет вспоминать, что валялся в госпитале, а вот сейчас он идет по легкому морозцу и дышит свежим воздухом. С той поры прошло несколько лет, и это воспоминание приходило не чаще, чем раз в полгода — в год, и в эти моменты у него почему-то всегда появлялось то же ощущение, какое он испытывал тогда, когда за два дня до рождества под моросящим дождем отправился из госпиталя в бесцветный, сырой и грязный на вид город.

Внезапно он ощутил под ногами дорогу и увидел, что это та самая дорога, которая ведет на станцию и у которой стоит дом Эйлы. Было уже совсем темно, и он спокойно мог пройти мимо. На дороге стояли двое мужчин — один с велосипедом — и разговаривали. Когда он приблизился, мужчины повернулись в его сторону, и он сообразил, что неловко будет пройти мимо, не сказав ни слова: так не принято в провинции. Мужчины, должно быть, удивлены, гадают, зачем он здесь. Он спросил у них, не укажут ли они ему, где живет Салимяки, и — уже задним числом — испугался: а вдруг один из них окажется Салимяки? Мужчины указали ему дом — до него было метров сто. От дороги к дому ответвлялась тропинка. Он сам забрался в лабиринт, и теперь этот лабиринт не отпускал его. Мужчины смотрели ему вслед, и, пройди он прямо по дороге, они бы крикнули ему, что он пропустил поворот. Он свернул на тропинку, и ему стало не по себе: какое ребячество, какая глупость! Нечто похожее находило на него временами лет десять назад: какая-то робость, он насилу мог заставить себя идти по дороге навстречу людям. Иной раз он заранее представлял себе встречу — и все сходило благополучно, но это не всегда выручало. Из дома, конечно, видели, что к ним идут, в провинции всегда замечают, когда к дому направляется посторонний. В передней кто-то вышел ему навстречу, и он рассыпался в извинениях, что обеспокоил их в такое время — на рождество. Потом нашелся, что сказать, и спросил, где живет Салминен. Низкий мужской голос ответил ему. Он поблагодарил и поклонился, изобразив на лице любезность, хотя в прихожей было совершенно темно.

Мужчины по-прежнему стояли на дороге. Проходя мимо, он слегка приподнял берет — он совсем забыл, что на нем берет,— и снова надел. Можно было бы послать Эйле какой-нибудь подарок, передать через этого Салимяки, мелькнула у него мысль, и он попытался припомнить, нет ли у него в кармане чего-либо подходящего. Потом подумал, что дед-мороз наверняка вспомнит о встрече с ним, когда при-

дет к Салминенам, и скажет, что какой-то молодой человек спрашивал о них. Они удивятся — кто бы это мог быть? Спросят приметы. Салимяки их не сможет описать — разве что детально рассмотрел гостя, когда тот проходил мимо окна. А проходил ли он мимо окна? Если Салимяки скажет, что это был худой молодой человек в берете и непромокаемом плаще, Эйла все поймет. Ему стало до того стыдно, что он даже остановился. Но в конце концов, возможно, Салимяки и не разглядел его Тогда они наверняка весь вечер и завтрашний день будут удивляться этой встрече.

Он вошел в станционный зал ожидания — тут было светло. Хотел купить билет, но касса открывалась лишь за полчаса до отхода поезда. Он сел на тот же стул, на котором недавно сидела Эйла, и потрогал пальцами сиденье — фанерное, с просверленными дырочками, образующими звездчатый узор. Он еще не отдышался и уронил спичечный коробок на пол, когда стал закуривать. Станционный служащий нес к окну большую, сделанную из прозрачной бумаги звезду. Очевидно, внутри нее была батарейка от карманного фонарика, а сама звезда заинвентаризована как станционное имущество и снабжена номерком. Он встал.

— Ничего, сидите, сидите,— сказал станционный служащий, но он все же вышел во двор и, миновав крайний фонарный столб, остановился в тени у границы светового круга. Как раз здесь-то и росли кусты, высаженные в виде крючковатых букв, составлявших название станции. Он потрогал их носком ботинка. По путям, через рельсы, шагал дед-мороз, по-женски, обеими руками, подобрав полы длинного пальто. В зубах у него была сигарета, он держал ее торчком, чтобы не опалить бороду. Дед-мороз исчез за станционным зданием. Казалось, все это видится Терхо во сне, о котором он завтра и не вспомнит. Он докурил сигарету и вернулся в зал ожидания взглянуть, не открылась ли касса. Окошечко было открыто, и ему подумалось, что вот примерно через такое же окошечко исповедуются католики. В Италии в стенах женских монастырей есть отверстия с вращающимися полками. Кто хочет избавиться от детей, кладет ребенка на полку и нажимает звонок. Приходит монашка, поворачивает полки и забирает ребенка — все устроено так, что стоящий снаружи ей не виден. Одинокие матери не боятся приносить детей в монастыри, и это спасает жизнь многим новорожденным. Тамошние попы понимают, что с человеком всякое может приключиться. Чего только они не узнают о жизни, изо дня в день выслушивая исповеди и не требуя никаких объяснений.

II

Он открыл входную дверь тихонько, как только мог, но, когда закрывал ее, замок все же щелкнул. С этим ничего нельзя было поделать. Замок щелкал неумолимо, как бы осторожно ни закрывать дверь. А постараешься закрыть беззвучно, щелкнет еще громче. Темная комната была как театральная ложа во время представления, освещенные окна напротив — как маленькие сцены. Когда он зажег свет, комната превратилась в такую же сцену — комната холостяка, куда мать заходит, чтобы рассеять свои подозрения, отец — поговорить как мужчина с мужчиной, а горничная — показаться в блузке с глубоким вырезом. Он разулся и лег на кровать, головой к окну, так что видны были верхняя часть двери и стенное зеркало. Зеркало было как маленькое окошко в другую освещенную комнату, которая, чуть накренясь, находилась на месте прихожей. В такую потайную комнату ему случалось заглядывать мальчиком, когда он оставался дома один,—

через овальное зеркало. Разумеется, он понимал, что видит всего лишь собственную комнату, но, глядя на переиначенное отражение в зеркале, он по несколько минут кряду мог тешить себя иллюзией, будто заглядывает в чужую комнату, куда никогда не заходил и не зайдет. При мысли, что он может там оказаться, его охватывал страх: оттуда нельзя вернуться, туда можно лишь войти через вон ту дверь, приоткрытую в другой мир, существующий на месте этого.

В дверь постучали. Он был так глубоко погружен в раздумье, что не услышал стука. Лишь когда хозяйка была уже в комнате, он вскочил и стал шарить под кроватью ботинки.

— Вы никуда не уехали,— сказала хозяйка.

— Изменились обстоятельства,— ответил он.

— Тогда добро пожаловать к нам.

— Спасибо, не хочу вам мешать. Рождество — семейный праздник.

— Так ведь вы для нас — свой. Приходите скорее. Мы садимся за стол пораньше, чтобы мальчик вовремя лег спать. Когда в семье маленькие дети, приходится управляться пораньше.

Он приоделся — достал белую рубашку, ботинки на кожаной подошве.

Хозяйка накрыла в гостиной, где стояла елка. Супруг сидел в кресле-качалке, на нем был шерстяной норвежский свитер.

— Погода начинает разгуливаться,— сказал Терхо, обращаясь к нему.— Как жаль, что все так вышло, мне так неудобно.

— Ну что вы! — ответил супруг.

Хозяйка была в темно-красной юбке и пестром переднике от какого-то народного костюма. Она вполголоса разговаривала с детьми и подавала на стол. У нее были толстые губы, причем она сильно накрасила их. Сама она была дородной брюнеткой, отчего создавалось впечатление, будто яркие цвета для нее — нечто неотъемлемое. Дочь была похожа на мать.

Хозяйка положила мальчику картофельного пюре. Мальчику было полтора года. Он размахивал куском ветчины, зажатым в кулаке.

— У него непременно должно быть что-то в руке, когда он ест, иначе ничего не выходит,— пояснила хозяйка.

— Начнем,— сказал хозяин и протянул корзинку с хлебом.

Они начали с ветчины, затем был рулет с картошкой и брюквой, лососина. Наконец добрались до вымоченной трески, и тут к ним присоединилась хозяйка. Мальчика спустили на пол погулять. Когда принялись за рисовую кашу, хозяйка указала пальцем на край плошки:

— Берите отсюда, берите, берите.

Там оказалась миндалина. Обнаружив ее у себя во рту, он покраснел. Хозяйка торжествовала. Ему было неловко, но настроение у него поднялось.

— На счастье,— с улыбкой сказала хозяйка.— Через год увидим, что это вам принесет.

— Я не верю в приметы.

— А я ничего и не говорю, просто через год увидим. Разумеется, по вас и так видно. Безо всякой миндалины.

Он покраснел еще больше и успокоился, лишь когда хозяин начал рассказывать о том, как в студенческие годы ему пришлось жить в семье, где было трое почти взрослых дочерей. За рождественским столом миндалина досталась ему, но он ничего не сказал и лишь прикрыл миндалину ложкой. Так он заставил сестер налечь на кашу. Девушки заспорили, что миндалины нет, а мать уверяла, что есть. Девушки, сетуя, наперегонки уничтожали кашу. Копаться в блюде им не позволили. Когда каша была съедена, он открыл миндалину. Его гото-

вы были растерзать, такая ярость на них нашла. «Самая сердитая уберет со стола»,— сказал хозяин.

— Что он там несет? — спросила хозяйка.

— Рассказываю одну старую историю. Так, чисто мужской разговор.

— Можно зажечь елку? — попросила девочка.

— Елку, а не свечи? — попытался пошутить Терхо.

— Можно, если мать справится,— сказал супруг.

— Нет уж, увольте.

Хозяин зажег свечи. Хозяйка села и предложила спеть.

— Мы никогда не слушаем радио на рождество — весь этот вздор.

Затянули «Ужель настало лето посреди зимы...» и «Ангел небесный...»:

И ангел небесный промолвил вдруг:
Откуда смятенье, зачем испуг?
Народам земным несу я весть:
Великая радость в грядущем есть...

Хозяйка пела хорошо, хозяин не пел вовсе — просто сидел в кресле-качалке с мальчиком на коленях и качал его. Девочка стояла и слушала. «Пой, пой»,— время от времени, в паузах, говорила ей мать, и так быстро, что это никак не мешало пению. Терхо пел хорошо, они пели дуэтом, и весь конец песни хозяйка не стесняясь смотрела ему в глаза. Он чувствовал, что стал ей совсем близок, но близок издалека. Он подумал об Эйле, и ему пришло в голову, что он не знает, умеет ли она петь. Эйла никогда не пела при нем. Но это у нее могло быть только от робости.

— А теперь Тертту может сыграть,— сказал хозяин, когда кончили петь.

— Но сейчас придет дед-мороз,— заупрямилась девочка.

— Принеси скрипку с пюпитром и сыграй «Ангела небесного».

Понурив голову, девочка ушла в маленькую комнату. Отец сунул мальчика на руки матери, вышел в прихожую и плотно прикрыл за собой дверь. С расстояния трех метров мальчик норовил дотянуться до свечей. Стеарин дробно капал на расстеленную под елкой бумагу. Девочка играла торопливо и нечисто и не доиграла до конца.

— Унеси все обратно,— сказала хозяйка.— Когда есть дети, и рождество в рождество. А без них — все не то.

В прихожей послышался топот, мужские голоса. Один голос был явно хозяина, другой незнакомый, ворчливый и сипловатый. Девочка вцепилась в мать, ее щеки залил румянец.

— Это Йорма придумал такую игру, он там один,— сказала хозяйка.

Девочка ничего не слышала и во все глаза смотрела на дверь. Пригнувшись, пританцовывая в большущих валенках, из нее вышел дед-мороз. Мальчик заплакал. Мать повернула его лицом к себе. Мальчик оглянулся, снова увидел деда-мороза, прижался лицом к груди матери и заревел. Немного спустя все повторилось. Девочка взялась раздавать подарки. Матери она принесла то, что предназначалось для нее и для мальчика, свой отнесла прямо в детскую, отцовский положила на стол. Один из свертков достался Терхо. Он вспыхнул, смущенно заерзал на месте, забормотал: «Ну что вы... Это уже ни к чему... Я никак не думал... Большое спасибо...» Праздник для него был испорчен. Из обертки был вырван продолговатый лоскут — вероятно, подарок предназначался для хозяина, а уж потом на нем написали его имя. В свертке оказался одноцветный синий галстук.

Хозяин ушел в прихожую и вскоре вернулся. Терхо пытался вызвать девочку на разговор о деде-морозе, но та была всецело занята

своим подарком. Малыша подарки не интересовали, он топтался среди обрывков бумаги и переворачивал их. Девочка пришла показать всем большую глянцевитую картину с изображением девы Марии, младенца Иисуса, Иосифа и волхвов из восточной земли. Мальчик отнял у нее картину. Девочка отняла ее у малыша, и голова одного волхва осталась у него в руке. Оба враз заревели, и сестра принялась колотить братца. Мать выручила сына и отнесла его в постель. Он уснул не сразу и буйно орал в спальне с четверть часа.

— Орет как Муссолини,— сказал хозяин.

Они с Терхо закурили сигары, которые хозяин получил в подарок. Девочке разрешили сварить кофе и накрыть на стол. Она стояла на цыпочках у плиты и смотрела в кофейник. Неся посуду, она обеими руками прижимала ее к груди и ступала приседая, едва дыша.

Хозяйка вышла из спальни и поставила на стол торт, в котором торчала тонкая острая свеча. Еще она подала сдобную булку и сливовые пирожные в форме полумесяца.

— Между прочим, мы могли бы перейти на «ты»,— сказала хозяйка.

Был исполнен обряд брудершафта, и хозяин достал маленькую круглую бутылочку с ликером.

— «Драмбуйе»,— сказал он.— Купил на судне, пришедшем из Стокгольма. Фамильный ликер Стюартов, его рецепт долгое время составлял королевскую тайну.

Говорили о самом обычном: где жили, куда ездили. Разговор о таких вещах в рождественский праздник приобретал какой-то особый оттенок и смысл, в нем было что-то от устойчивости воспоминаний, все впервые заметили, что многое для них отошло теперь в дорогое, незабываемое прошлое. Терхо думал о Корсо, об Эйле и желал, чтобы она была с ними хотя бы мысленно, видела, каким симпатичным и спокойным он умеет быть. Потом хозяин начал балагурить. Дочь принесла ему книгу о мышонке Микки, и он рассказал по этому случаю историю. Во время войны в одной части служил лейтенант, который рьяно изучал разные языки. Как-то раз они шли по дороге среди дикой местности, прыгали через рытвины и пели: «Мышонок Микки через кочки прыг да скок, прыг да скок...» «Тут не должно быть «мышонок»,— уверял лейтенант.— Тут должно быть «тот самый». «Тот самый Микки Маус через кочки прыг да скок, прыг да скок...»

— Плоская шутка,— заметила хозяйка.

— Не шутка, а факт,— ответил хозяин.

Терхо искренне рассмеялся, но, поскольку хозяйка не смеялась, осекся и постарался обо всем забыть.

III

Наутро он сразу заметил, что ночью шел снег. Проснулся он в одиннадцать часов. В комнате было как-то необычно светло, и сам воздух, казалось, был белым. На крыше дома напротив лежала пелена свежевыпавшего снега.

На автобусной остановке он увидел Эйлу на фоне снега, и она показалась ему необычайно элегантной — на плечах словно белое манто. Люди еще сидели по домам, и даже на главных улицах виднелись лишь следы одиноких прохожих. Они пошли по Александринкату. Рестораны были закрыты.

— Пойдем к нам,— сказал Терхо.

— Но ведь хозяева не любят этого? У вас же уговор — не водить в гости женщин.

— Они очень славные люди, особенно Айли. Йорма чопорный, но когда оттает, славнее человека не сыскать. На первый взгляд может показаться, что он не говорит того, что думает, но это не так.

Терхо отчитался в том, как справил рождество, и, распахнув пальто, показал подаренный ему галстук.

— А у меня что есть! — сказала Эйла и расстегнула пальто.

— Откуда это у тебя?

— Дед-мороз принес.

— Покажи.

— Не здесь. А то еще увидит кто-нибудь и подумает: откуда это у нее?

Она обняла его, и они, виляя из стороны в сторону, пошли по улице. Терхо слепил снежок и запустил им в фонарный столб. Эйла сунула снегу ему за шиворот и побежала. На лестнице она отколупнула ногтем большой кусок краски со стены и остановилась в нерешительности — идти или не идти. Терхо сказал, что хозяева ушли на прогулку. Через полчаса после того, как он и Эйла вошли в квартиру, хозяева и вправду отправились гулять всей семьей. В передней долго обсуждался вопрос о том, брать ли с собой санки. Санки взяли. Терхо пошел на кухню варить кофе. У него был собственный кофейник и чашка. Эйла пошла вместе с ним и с любопытством разглядывала комнаты. Ей пришлось пить из чашки товарища, которую Терхо для верности вымыл, хотя она выглядела вымытой. В ящике его письменного стола была бутылка, слоеное пирожное и похожие на пропеллер сливовые пирожные. Они накрыли на письменном столе. Эйла заглянула под кровать Терхо.

— Все еще там!

— Что?

Эйла достала из-под кровати сверток. В нем был красный шелковый колпак для кофейника. Терхо надел его на голову и, гримасничая, подошел к зеркалу.

— Это для кофейника, чтобы не остывал.

— А что у меня голова простынет, ты не боишься?

— Как ты заботишься о себе! Держи голову в холоде, а кофе горячим.

— Пей кофе, пока горячий, девчонку люби, пока молода.

Она взяла колпак и накрыла им кофейник.

— Пей, не то остынет.

На них напал безудержный смех. Терхо взял брошь Эйлы и стал ее рассматривать.

— Вот ведь какие теперь делают броши.

Выпив кофе, они прилегли на постель товарища. Лежали они головами в ногах кровати, так что в окно им была видна белая крыша и такое же белое небо. Границу между ними невозможно было различить. Уже смеркалось. Половина дня была из белизны, половина — из сумрака. Устойчивого, прочного света не было.

— Отчего ты такая робкая? Ты стыдишься меня или боишься? Почему? — спросил Терхо.

— Ну как же ты не понимаешь,— быстро ответила Эйла.— Я хочу, чтобы все оставалось между нами. Я не хочу, чтоб кто-нибудь видел.

— Пусть видят, нам-то что.

— Ну, я не могу объяснить.

— В любви и на войне не объясняют.

Хозяева вернулись с прогулки, и они умолкли. В соседней комнате девочка начала играть на скрипке. Следовало бы зажечь свет, но они не мешали тьме сгущаться вокруг. Они чувствовали друг друга по всей длине тела, и им казалось, что они могут пролежать так сколько угодно.

Хозяева включили приемник — почти сразу же на полную громкость.

— Какая мерзость,— сказала Эйла.

Как только они до этого додумались, мелькнуло в голове Терхо. Ему казалось, что он теперь их почти ненавидит. Хотят быть добрыми к нам. Хотят сделать нам одолжение.

— А у меня рождество было ужасное,— сказала Эйла.— Мне все время представлялось, как ты бродишь там по дороге. Я думала о тебе весь вечер и проплакала ночь напролет. Гірицепила брошку к ночной рубашке и плакала, и она сделала мне длинную царапину.

Они повернулись друг к другу лицом и сплелись в тесном объятии. Приемник гремел, словно находился внутри черепной коробки. Эйла отцепила брошку и положила ее на стол.

Когда к ним в комнату проник свет из окон с другой стороны двора, словно кто-то посветил слабым лучом карманного фонаря, они оторвались друг от друга и начали оправлять на себе одежду. Терхо подошел к окну, задернул занавеску и зажег свет.

Они снова стали пить кофе. Он был еще горячий, и это их удивило.

— Хороший колпак,— сказал Терхо.

— Мне пора идти,— сказала Эйла.

— Когда ты теперь снова будешь в городе?

— Послезавтра.

Они надели пальто и, ничуть не осторожничая, прошли через переднюю. Терхо громко звякнул засовом и прихлопнул за собой дверь.

Снег на улицах был гладко утоптан, и они скользили. Воздух потеплел, с крыш капало. Начали ходить трамваи.

Ни слова не говоря, они медленно шли под руку. Когда вышли к вокзалу, Эйла повернулась и сказала:

— Пройдемся еще немного.

Они обогнули два квартала, прошли по Александеринкату — на ней было людно. Они заглядывали в витрины, пытаясь обнаружить там вещи, которые получили в подарок, и определить, сколько они стоят. Эйла увела его в переулок и немножко всплакнула.

— Ты чем-то огорчена?

— Нет, нет. Мне так хорошо.

— Ты плачешь.

— Это совсем другое, поверь мне. Ты не поймешь.

— Для слез нет причин.

— Это вовсе не слезы, поверь.

— У меня никогда еще не было такого рождества,— сказал он.

— Да какое же теперь рождество? Рождество — это только то мгновенье, когда...

— Да, да. Сейчас уже совсем другой день.

— Пойдем на автостанцию. Я поеду автобусом. Чтоб не пялили глаза. В автобусе ездить куда удобнее,— сказала она.— А брошка-то осталась у тебя! Ну да ничего, еще успею забрать. Всегда успею.

Мартышка

Надо полагать, сегодня мальчишка не придет. Позавчера я поклялся: если он еще раз покажется здесь, на углу улицы, и начнет махать руками в белых перчатках, я встану и скажу ему: «Мартышка». Нагляделся я на него — хватит. И кой черт его сюда носит — потешаться над нашим мартышкиным трудом!

В самом деле, что это, как не мартышкин труд? Вот уже целую вечность я сижу тут в газетном киоске и не вижу никаких перемен. Но говорить об этом бессмысленно. Меня не станут слушать. Да я и не рассчитываю на то, что меня станут слушать. Я лишь притворяюсь перед самим собой, будто меня слушают.

Люди не хотят меня слушать не потому, что им некогда. И не потому, что в конце-то концов я всего-навсего этакий старый сморчок и никому нет до меня дела. Я для них — «так, никто». Есть такие люди (их немало), которые для всех — «так, никто», решительно и бесповоротно. Вот и я один из этих «так, никто», продающий газеты. Других характерных примет у меня нет. В крайнем случае я могу оказаться неисправным, чем-то вроде машины, которая трещит больше, чем положено. Меня слушают и думают: «Полоумный старик, без конца бормочет себе под нос». И это действительно так — я и вправду бормочу себе под нос. Ну, а что, если заговорить в полный голос? Пускать каждому кратко и внятно: «Мартышка»? Результат известен: никого не устроит такое заявление. В ответ они сразу же не долго думая выдвинут контрпредложение: «Дурак». Все они конченые. Конченые, конченые. Именно поэтому они всегда, при любых обстоятельствах, слушают только себя и никого другого.

Глянь-ка, вон напротив отпирают дверь бакалеи. Скоро появится мальчик.

Ну, а кто я такой, что мне мало одного бормотанья? Они проходят — берут газеты и проходят,— но мне мало этого. Я не могу без них. Мне страшно хочется, чтобы меня выслушали, но меня не слушают, вот я и бормочу себе под нос, и мне кажется, что меня слушают. Что я бормочу? Да ничего, ровным счетом ничего. Хочется бормотать, вот и бормочу. Черт побери! Наверно, я единственный на свете добровольно согласился стать мартышкой.

Но вот второй мартышки что-то нет и нет. Опаздывает. Вчера вовсе не пришел. А сегодня опаздывает. С каким удовольствием я сказал бы ему: «Мартышка». Если нельзя сказать это тем, конченым, скажу хоть этому, пятилетнему. Но нет — и он тоже конченый. Тоже конченый. Ну, а вдруг он не сразу найдется, что мне ответить? Ой ли? Опять несешь пустое, старик. Будь спокоен, он ответит глазами. А на словах — после того, как расскажет матери, что старик в киоске обозвал его мартышкой.

Так неужто только для этого он мне и нужен? С самого начала он был мне нужен, и я внушал ему это по утрам. Разумеется, внушал про себя, бормоча себе под нос в то время, как он махал руками. По какой-то невидимой нити мне надо было довести до его сознания, что вот тут, за его спиной, сидит человек, которому холодно. Ведь долго мне тут уже не просидеть — ну, да это неважно, люди приходят и уходят, все обстоит так и не иначе, это неважно. Но когда такое вот

хожденье и все прочее, к нему относящееся, совершается так, что никто, кроме тебя, этого не замечает,— это уже плохо. От такой мысли мороз подирает по коже, тут уж никакая шуба не спасет. Сижу, словно примерз на таком вот морозе,— и ни с места. С тех самых пор сижу, как отстрелили мне ноги. Из пушки, наверно, никак не меньше! Но все равно — не из-за этого я здесь сижу. Мартышка всегда останется мартышкой, взгромозди ее хоть на какие ходули,— вот почему я здесь сижу.

Проклятый мальчишка — все не идет. Похоже на то, что, если мне придется прождать его до завтра, все начнется сначала. Сначала я лишь посмеивался над его фокусами, потом души в нем не чаял, а под конец свет стал мне не мил. Да, не мил, когда увидел, что ничего не могу ему внушить. Он для меня все равно что люк, который каждое утро раскрывается тут передо мною, делая меня свидетелем такого мартышкина труда, что потом меня весь день колотит озноб.

Он стоит всегда вон там, на углу, пока его мать делает покупки в молочной и бакалее. На нем синяя кепка, куртка и длинные коричневые брюки, такие длинные и широкие, что лишь ранты ботинок едва выглядывают из-под них. И еще он в перчатках — длинных белых перчатках. Потрясающе белых. Должно быть, он клянчил их у матери не день и не неделю; в этих перчатках у него такой вид, будто он достиг предела своих мечтаний. Он стал всемогущим богом — регулировщиком уличного движения. Не долго думая, он ступает на самый угол тротуара, вскидывает руку в белой перчатке — левую, а правой дает знак автомобилям трогаться. Потом поворачивается, старательно и торжественно, вскидывает правую, а машет левой. Он ничего не видит и не слышит — ничего, кроме проезжающих по перекрестку автомобилей и трамваев. Когда же показывается огромный, как дом, синий автобус — увы нам, бедным мартышкам! — тогда мальчик становится особенно серьезным — ни дать ни взять, сам господь бог, взирающий на миры, которые он формирует своими руками. Привстав на цыпочки, он поднимает торчком руку в белой перчатке и спроваживает с перекрестка автобус под треск выхлопной трубы. Так продолжается минут десять — пятнадцать, пока к перекрестку не подходит некто столь всемогущий, что никакие белые перчатки ему нипочем, и со словами «Ну, пошли» хватает поднятую кверху руку и уволакивает полицейского за собой.

Вчера мать приходила за покупками одна. А сегодня и ее не видать. Вот досада. Уж не захворал ли мальчуган? Я бы не пустил его на такой мороз в одной только курточке. Да нет, уж конечно, он надел вниз шерстяной свитер, как же иначе — опять несешь пустое, старик.

Вон, вон они идут. Нет, только мать. Мальчика не видно.

Не пришел, и сегодня не пришел. Мать проходит мимо, в молочную. Слишком надменное лицо, ничего не прочтешь. Мальчик заболел — должно быть, так. Что же, спросить у матери? Какая чушь. Кашель и насморк, у детей это бывает часто.

Но вот мать выходит из лавки, и я с грехом пополам встаю. А когда она приблизилась, начинаю:

— Сударыня...

Она оборачивается. Все-таки оборачивается.

— Простите, сударыня, я хотел...

Надо спешить — сударыня уже начала леденеть.

— С вами всегда был маленький мальчик, этакий крошка-мартышка... В этих самых... в белых перчатках...

— Ну, и что дальше?

— Дальше-то? Дальше? Так вот, уж не болен ли он, раз...

— Боже сохрани, ничуть!

И сударыня пронзает меня таким обличающим взглядом, что мне кажется, будто я совершаю злодеяние, напускаю порчу на ее дитя. Слова застревают у меня в горле — я не могу ничего ни сказать, ни объяснить, а сударыня мерит меня взглядом с головы до пят — вот уже смерила, смерила, я не успел. Не успел найти нужное слово. И теперь сударыня, как все они, конченый человек, бесповоротно конченый.

— А вам-то, собственно, что за дело до моего сына? — Она еще раз мерит меня взглядом.— Вам-то что за дело?

Все пропало. Слова опять приходят на ум, но теперь уже другие, те, что произносятся тогда, когда все безразлично.

— Вашего сына? Это был мой сын!

Никогда еще я не выражался более точно. Глаза женщины чуть не выскакивают из орбит, по лицу проходят все цвета радуги. Вскрикнув, она убегает.

Пусть бежит. У нее есть сын, у меня никогда не было. Я только вообразил себе на немножко, будто регулирую уличное движение, а вместо перчаток у меня слова «мой сын» и «был». Мне почти показалось, будто огромные автобусы какое-то мгновение катились по мановению моих перчаток. Но это неправда. Автобусы уже ушли. Ушли. Боже сохрани — воистину сохрани! — нас, мартышек.

Перевод В. СМИРНОВА

ОЛЛИ

Гипсолизоб

I

— Выходит, если аналогичный мультипелиоз в соединении с микролизобом гормонизировать с тригофлегмой, получится тетрафульгомаксимумкульминация! — воскликнул профессор Пепсиус.— Ура!..

От восторга профессор так растерялся, что по рассеянности забыл слово «ура» заменить научным термином.

Он сделал потрясающее открытие. Инферонируя пелагетические парасаксофолиертомодиоды... Короче говоря, ему удалось получить неведомые до этого лучи, которые могут стимулировать рост растений в несколько тысяч раз.

В районах, например, где снимают урожай пшеницы только раз в году, теперь, применяя гипсолизоб-излучение, урожай можно будет собирать по 20—35 раз в год. Таким образом, весь мир можно за короткий срок превратить в райский сад с тучными нивами.

II

Открытие профессора Пепсиуса вызвало такую сенсацию, что слух о нем дошел и до журналистов.

Долгое время ничего путного, однако, из открытия не получалось. Потому что для обсуждения вопроса об использовании открытия было создано несколько комиссий.

Комиссия по экономическим вопросам констатировала, что вопрос этот не так-то прост. С ним, между прочим, связана проблема

перепроизводства. Чем больше ее обсуждали, тем сложнее и запутаннее она становилась.

Общеполитическая комиссия до такой степени запуталась в своих внутренних противоречиях, что даже через три года не подошла к сути дела.

III

Через семь лет все комиссии вследствие недостаточности ассигнований распались. Сумма в полмиллиона, выделенная для развития и изучения открытия профессора Пепсиуса, была давно израсходована. Требовались дополнительные ассигнования, но особого интереса к открытию уже не ощущалось.

Чтобы возродить интерес к своему открытию, профессор Пепсиус проводил доклады, демонстрировал гипсолизоб-излучение, которое в течение нескольких минут на клочке земли с гектар вызывало буйный рост растительного покрова.

Аудитория удивлялась, но особого восторга не выказывала. В кинофильмах доводилось видеть чудеса похлеще этого.

IV

Потом случилось одно событие. Во время демонстрации профессор по рассеянности пустил лучи в обратном направлении.

В одно мгновение весь растительный покров на площади в один гектар был уничтожен.

Часом позже профессору Пепсиусу выделили из резервного фонда один миллиард. И для дальнейшего усовершенствования открытия еще десять миллиардов.

Гипсолизоб-излучение открыло совершенно новое, эффективное средство ведения войны. Растительность целой страны, даже всей земли, можно будет уничтожить одним движением руки!

В аптеке

Аптекарь только улегся, когда раздался звонок у двери. Пробормотав положенные проклятия, аптекарь пошел отворять.

В аптеку ввалились хозяева дальних хуторов — Вилле Тахкомен и Иисаки Хинтти.

Вилле: Добрый вечер, господин аптекарь!

Аптекарь: Какой там вечер. Теперь, скорее, ночь.

Вилле: Ну, доброй ночи тогда!

Иисаки: То же самое пожелаю вам и я.

Аптекарь: Какая же случилась беда, что хозяева в такой поздний час в дороге?

Вилле: Да беды никакой нет. И спешки тоже. Даже наоборот — с делами мы вроде управились, время у нас есть. Ведь у нас как? Если случится в кой-то век побывать в городе, всегда столько наберется дел, успевай только поворачиваться. Ну, и засиделись там, у Контиса — это зять Иисаки... Пожаловали мы сюда, видно, в непоказанное время?

Аптекарь: Да, время позднее.

Вилле: Говорят, если позвонить поздно ночью, кроме лекарств по рецептам в аптеке уже ничего не достанешь?

Аптекарь: Да, ничего. Таков порядок.

Вилле: А если не достанешь ничего, кроме тех лекарств по рецептам, то ведь ночью можно выдать их и без рецепта?

Аптекарь: Ни в коем случае.

Вилле: По закону, стало быть, не полагается?

Аптекарь: Ну, в случае крайней необходимости можно кое-что отпустить и без рецепта. И если уж хозяева приехали из такой дали, придется отпустить. Знать бы только, черт возьми, что им надобно!

Вилле: Мне-то, собственно, ничего не надо. Старуха вот разве что на колики жалуется...

Аптекарь: Заболела, значит, хозяйка Тахконенна?

Вилле: Да нет, не заболела. Слава богу, жива-здорова. Вчера утром, правда, немного сплоховала. Доила корову у хлева, а тут подлетел этот чертов петух да как заверещит у самого уха. Корова испугалась, лягнула ногой — старуха упала, подойник и скамейка тоже, и ножка — хрясь — пополам.

Аптекарь. Ай, ай, ай! И что же вы сделали? Наложили жгут? Помощь ей кто-нибудь оказал?

Вилле. Какая там помощь! Сам починю, как выберу время.

Аптекарь. Спаси и помилуй! Даже ничего не предприняли! Боли-то у ней сильные?

Вилле: У кого это?

Аптекарь: Ну, у старухи.

Вилле: Никаких болей у ней нет.

Аптекарь. Несмотря на то, что кость переломана?

Вилле: Ножка-то не у старухи переломана.

Аптекарь: Стало быть, у коровы?

Вилле: Да не у коровы. Хотя двинула она ею здорово. Этот чертов петух...

Аптекарь: Значит, переломана нога у петуха! И вы думаете, что лекарство тут поможет?

Вилле: У какого петуха? Ножка переломалась в той суматохе у скамейки.

Аптекарь: Тысяча чертей! Скажите же, наконец, что вам надобно!

Вилле: Ах, что нам надобно? Если бы знать, что не будете сердиться, я бы спросил, есть ли у вас в аптеке такой товар, как, скажем, тетеревиный жир, тещина кожа, смола от трубки, заячий...

Аптекарь: Тут есть все, что требуется. Вон в той стене плотник оставил отверстие, будет лучше, если хозяева в спешном порядке вывалятся в него. Так, чтобы зашипела смола в их трубках!

Вилле: Ну, стоит ли господину аптекарю так сердиться! Я хотел только спросить, правду говорят люди, будто есть такие лекарства.

Аптекарь. Тут вам не ночной клуб! В такое-то время с разговорами!.. Какое же лекарство велела вам купить ваша старуха?

Вилле: Ничего она не велела.

Аптекарь: Черт бы вас подрал! Не выдержу я этого! Вы же сказали, что старуха...

Вилле: Верно — старуха, но только не моя, а Иисаки. Дело-то к вам у Иисаки, я зашел так, за компанию, вроде толмача. Иисаки — он человек неразговорчивый.

Иисаки: Так что верно — моя старуха. Да. Не спит она по ночам. Так что... того...

Аптекарь: Так что требуется снотворное?

Иисаки: Вроде — да. Говорят, если в больнице хотят усыпить человека, ему дают понюхать этот лору... лору... Что это, собственно, за лору?..

Аптекарь: Хлороформ.

Иисаки: Вот, вот — лорукорм.

Аптекарь: Этого нельзя. Это только по рецепту.

Иисаки: Старуха и сама сомневалась. Сказала, если, мол, в аптеке не дадут этого лору... лорукорма, то спроси настойку.

Аптекарь: Какую настойку?

Иисаки: Ну да, настойку... или что-нибудь такого, что помогает от блох. Ну, порошка от насекомых, что ли...

Почему не идет рождественский дед?

Во избежание недоразумений предупреждаем:

Не ищите в нашем рассказе каких-либо литературных достоинств, психологических экскурсов, тяжелых переживаний или иных глубокомысленных рассуждений. Говорим это сразу, чтобы не возникло горьких разочарований у читателя.

Увлекательного — так, чтобы захватило дух,— в нем тоже мало; никакого душегубства тут не происходит.

Увлекательно лишь то, с каким нетерпением ждут тут рождественского деда.

Объяснять подробнее, что представляет собой рождественский дед, излишне — это знает каждый ребенок. Так что мы можем спокойно обойти деда и приступить сразу к самому рассказу, изложение которого можно бы, правда, начать и без лишних рассуждений. Но заметили мы это слишком поздно.

Итак, с этим теперь покончено.

То есть покончено с рождественским ужином в семье господина Метсокуутио и его спутницы жизни, госпожи Мирья Метсокуутио.

Глаза Яллу, Кайзу, Айно и Вилле так сияли, что соперничали со светом свечей на елке.

Часы показывали 19.05. Яллу, Кайзу, Айно и Вилле — прямые и законные наследники господина Метсокуутио, обеспечивающие ему приличное пособие по многодетности, ныли сейчас хором в четыре голоса:

— Где же рождественский дед? Почему он не идет? Когда же придет рождественский дед?..

— Идите поиграйте пока или спойте что-нибудь рождественское! — сказал отец Метсокуутио.— Не мешайте нам спокойно переваривать ужин!

Но детям не хотелось переваривать ужин. Это они еще успеют, когда вырастут большими и станут такими же скучными, как их родители. В один голос они продолжали ныть:

— Почему он не идет? Почему же он не идет?..

Но чем больше нетерпение, тем ближе рождественский дед.

Нетерпеливое ожидание достигло своего апогея, и тут в прихожей зазвенел колокольчик.

— Вот он, наконец, этот бездельник! — воскликнул господин Метсокуутио.

Он выскочил в переднюю. Оттуда послышалось какое-то невнятное бормотание. Длилось оно довольно долго.

Что, разве не увлекательно?

Потом господин Метсокуутио вернулся, запыхавшись. Схватил со стола лист бумаги и карандаш и снова так же стремительно исчез в передней. Оттуда опять послышалось бормотание. И длилось опять долго.

— Почему не идет рождественский дед? — волновались дети.— Почему же он не идет?

Случай совершенно исключительный! Беспрецедентный.

Держась за голову, появился опять господин Метсокуутио. Он вытер со лба пот.

— Что там случилось? — спросила госпожа Метсокуутио.

— Рождественский дед хочет сначала получить вознаграждение за свой труд. Но мы никак не можем выяснить, сколько же ему следует. Потому что приходится руководствоваться тарифом, утвержденным профсоюзом рождественских дедов.

— Тенериф — это остров,— пояснил Яллу, который учился в школе.— Разве дед идет к нам оттуда?

— Тенериф — это художественная вышивка,— поправила его госпожа Метсокуутио.

— Не мешайте! — в полном отчаянии воскликнул господин Метсокуутио.— Рождественские деды получают вознаграждение по утвержденному тарифу или трудовому соглашению, но никак не ниже установленного минимума. Кроме основного жалованья им начисляется известный процент за дополнительно потраченное время и за уточненный маршрут следования. В соответствии с коэффициентом означенных доплат, исчисленных по отношению к основному жалованью, выводится индекс, по которому следует производить расчет с рождественским дедом. А у нашего рождественского деда нет ни малейшего понятия, как это исчисляется. В школе я, правда, умел вычислять проценты, а сейчас все это начисто забыл... Что-то там делится на что-то... Яллу, ты в школе не проходил еще вычисление процентов?

— Я... я... собственно... да, то есть нет...

— Ясно. Ведь у тебя, бедненького, в рождественском табеле двойка по математике. О-о! Дайте сюда энциклопедию! На букву «П». По... про... про...

— Почему не идет рождественский дед? — заныли опять готовые зареветь Кайзу, Айно и Вилле.

— Пропс... Прозелит... Процедура... ПРОЦЕНТ!.. Так вот, тут говорится: «Если число «в» составляет «п» процентов от числа «а», это значит, что «в» составляет «п» сотых от числа «а», так что между числами «а», «в» и «п» возникает уравнение: «в» равняется «а», деленному на сто и помноженному на «п». Ну вот, попробую теперь проделать это вместе с рождественским дедом.

Господин Метсокуутио схватил со стола еще лист бумаги, взял под мышку энциклопедию и умчался в переднюю.

Пробыв там, по расчету детей, по меньшей мере лет сто — двести, господин Метсокуутио вернулся в полном изнеможении, хмурый и злой.

— Не беспокойся,— сказал он госпоже Метсокуутио.— Я делаю все, чтобы не свихнуться. Вот, посмотри! — Он показал на исписанный лист бумаги.— В результате наших расчетов получилось сначала, что рождественскому деду следует выплатить вознаграждение в сумме шести миллионов семисот восьмидесяти пяти тысяч пятисот двадцати семи марок и тридцати пяти пенни. Для рождественского деда это явилось, конечно, приятной неожиданностью. Я стал проверять расчет. Проделав все сначала, я получил результат в ноль целых семь сотых

марки. Это было приятной неожиданностью для меня, но рождественский дед объявил забастовку.

— Господи! — сказала госпожа Метсокуутио.— Сунь ему там отступные, и пусть он проваливает! С раздачей подарков мы управимся сами.

— Я уже пробовал,— сказал господин Метсокуутио уныло,— но дед не решается уклониться от установленного профсоюзом тарифа. И отказывается отдать мне мешок с подарками, пока я не выплачу гарантированное ему вознаграждение... Да, совсем забыл: помимо всего прочего, придется уплатить ему еще известный процент за упаковку, который исчисляется, исходя из общей кубатуры подарков. Нет ли там где-нибудь под рукой рулетки?

— Какое несчастье! Какое же несчастье свалилось на нашу голову! — простонала госпожа Метсокуутио.— Вот это так рождество!

— Нет, этому надо положить конец! — прорычал господин Метсокуутио.— Вот возьму сейчас и...

— Ради бога! Не делай этого! Ты навлечешь и на себя, и на нас всех крупные неприятности!..

— Ну, ну! Я постараюсь держать себя в узде. Попробую еще раз договориться с ним.

Догоревшие на елке свечи стали уже чадить, распространяя запах гари, когда в дверях показался сияющий господин Метсокуутио.

— С праздником! — сказал он.— Рождественский дед появится, как только расчешет свою бороду. Договорились об относительно умеренной оплате. И притом вне всякого тарифа!

— Возможно ли? — обрадовалась госпожа Метсокуутио.

— Возможно! — подтвердил господин Метсокуутио.— Позволь мне поздравить счастливую мать с прибавлением семейства! С новым сыном!

— Ой, помогите!.. Ты же обещал, что не свихнешься!..

— Наоборот, я поумнел. Мы выяснили, что тарифные ставки профсоюза рождественских дедов не распространяются на тех дедов, которые раздают подарки в своей собственной семье и являются членами этой семьи. И мы договорились, что я усыновлю нашего рождественского деда. После раздачи подарков мы аннулируем договор.

Отворилась дверь, и раздался простуженный голос:

— Есть ли в этом доме послушные дети?!

Перевод Б. РЕЙХМАНА

Литературное наследие

МИГЕЛЬ де УНАМУНО

Перевод с испанского СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

«Я чувствую головой, думаю сердцем»

Мигель де Унамуно (1864—1936) начал писать стихи рано, а публиковать их — поздно. Он был уже знаменитым в Испании философом, публицистом, романистом, филологом, когда в 1907 году выпустил в свет первый сборник стихов. Как и следовало ожидать от яростного полемиста, всегда шедшего наперекор господствующим мнениям и вкусам (один официозный франкистский историк назвал Унамуно «бациллоносителем сомнений»), он открыл этот сборник стихотворением-декларацией «Поэтическое кредо».

В начале нашего века испанская поэзия была увлечена пышной образностью и виртуозной стилизацией, поисками соответствий между пластической формой и словом — цветом и словом, звуком и словом, магической верленовской «музыкой прежде всего». Унамуно решительно оспорил почитавшуюся поэтами-современниками священной заповедь Верлена — он выдвинул свою формулу: «Поэзия — это что-то, что есть в стихе кроме музыки». Кроме музыки в стихе должна быть мысль, идея — и именно мысль, мысль прежде всего, не нуждавшаяся ни в каких образных «украшениях», составляла для Унамуно поэзию. Впрочем, Унамуно не раз доказывал, что аскетизм его поэзии — не от бедности: формальные задачи он решал с завидной легкостью (например, в стихотворении «Рифма»), а мелодия его стиха могла быть и пьянящей и завораживающей.

И в 20-х годах, когда увлечение пластикой и музыкой, переданными в слове, сменилось экспериментами в области ассоциативного строения стиха, культом метафоры, Унамуно стоял на своем. Отвергая бурлившие вокруг него авангардистские «измы», он требовал от поэзии одного — «мысли поплотнее». Многие тогда считали его упрямо старомодным, и лишь впоследствии, с исторической дистанции, выявилось, какое огромное влияние оказала эта упрямая независимость на самых оригинальных, самых ищущих среди младших его собратьев по стиху — от Антонио Мачадо и Хуана Рамона Хименеса до Федерико Гарсиа Лорки.

Унамуно написал тысячи страниц прозы. В философских эссе он рассуждал об общественном прогрессе и развитии личности, о могуществе и ограниченности научного мышления, о потребности в вере и невозможности веры для современного человека, о сущности национального характера и национальных традиций. Он создавал новые формы философской прозы и драмы, предвосхищая опыты Пиранделло и Сартра. Он выступал на митингах, писал газетные комментарии на злобу дня — его публицистика показывает, каким сложным, непрямым был путь его политической мысли. Кроме того, он преподавал греческую филологию, заведовал кафедрой, а долгое время и всем Саламанкским университетом. Чем же была для Унамуно

поэзия, какое место поэзия занимала в этой многогранной, фантастической по напряженности и объему интеллектуальной деятельности?

Александр Блок назвал свою первую книгу «дневником, который бог позволил написать стихами». Так мог бы ответить и Унамуно. Поэзия была его дневником. Унамуно обычно резал бумажный лист на узкие полоски, помещающиеся в кармане. То в дальних пеших прогулках, то в кабинете за научными занятиями он вытаскивал такую полоску и записывал — не пришедшую в голову мысль, не афоризм для очередного эссе — стихотворение. После его смерти были найдены и опубликованы 1755 таких стихотворных записей, датированных только с 1928 по 1936 год! Поистине дневник, задушевная тетрадка...

Однако в стихах Унамуно почти нет интимно-исповедальных нот. Однолюб, нежный муж и отец восьми детей, счастливый семьянин, он может показаться чуждым душевных волнений, страстей. Разве только боль от смерти маленького сына в нескольких ранних стихах... Но на самом деле страсти сотрясали Унамуно и переполняли его стихи. Когда Унамуно в поэтических кредо и эссе твердил: «Думает чувство, чувствует мысль», «Я чувствую головой, думаю сердцем»,— то это был не умозрительно выработанный тезис, а отражение индивидуальности Унамуно, своеобразия его личности. Эмоциональное и интеллектуальное, душевное и духовное были в нем неразделимы. Идею он переживал как страсть, мыслью, иногда самой отвлеченной, бывал так захвачен, что вытаскивал свой «дневник» и посвящал ей новое стихотворение.

Читая стихи Унамуно, мы не только входим в круг его интеллектуальных интересов, но и осознаем, какие глубокие пласты переживаний затрагивала и поднимала в нем мысль. Особенно в последние полтора десятилетия его жизни, когда его общественная деятельность обрела остро драматический характер. Недаром именно в эти годы Унамуно чаще, чем когда-либо раньше, прибегает к своему поэтическому дневнику.

В 1923 году, после ожесточенных классовых схваток и после неудачной колониальной авантюры, испанский король Альфонс XIII вступает в сговор с генералами. Власть берет военный диктатор Прима де Ривера. Вскоре Унамуно публикует статьи, содержащие резкое обличение милитаризма, диктатуры и крайне непочтительную аттестацию короля. В феврале 1924 года Унамуно отстраняют от преподавания и ссылают в Фуэртевентуру, на Канарские острова. Французские друзья организуют побег. Каждую ночь старый философ выходит на берег моря и ждет, не появится ли маленькая шхуна под романтическим названием «Эглон» — «Орленок». «Орленок» прибыл за изгнанником в тот день, когда диктатор, уступая общественному протесту, помиловал Унамуно. Но Унамуно решил не возвращаться в Испанию, пока не будет свергнута диктатура. Он отправился в добровольное изгнание.

В Париже, а потом в Андайе (городке близ франко-испанской границы) Унамуно чувствовал себя очень плохо. Обострение сердечной болезни, бессонница, одиночество (жена и дети могли лишь изредка навещать его), безумная ностальгия, страх умереть вдали от родины («Пусть я умру с открытыми глазами...») — жизнь и вправду казалась ему тогда «сплетеньем ливня, ветра, тени». Но Унамуно прятал от всех слабость и уныние. Он держался непреклонно, чувствуя свою ответственность перед Испанией, о любви к которой столько раз говорил и писал. И осыпал диктатора беспощадными, без промаха бьющими насмешками, преследовал его стихом, воскрешающим уличные песни испанских революций.

После падения диктатуры Примо де Риверы Унамуно вернулся на родину. Соотечественники устроили ему торжественную встречу, провозглашенная в 1931 году Испанская Республика осыпала Унамуно почестями. Но прошло немного лет — и Унамуно высказывает тревогу: он испуган размахом классовой борьбы в условиях республики. В Испании нарастал социальный конфликт, закончившийся национально-революционной войной 1936—1939 гг. Унамуно не видел исторической закономерности этого конфликта, представлявшегося ему разгулом слепых стихий. В ожидании страшных бедствий, в горе оттого, что он утрачивал контакт с современниками, Унамуно словно просит поддержки у родины, у ее прошлого, языка, культуры. В стихах последних лет жизни он воссоздает облик великих испанских поэтов: Кеведо, Луис де Леон, Хуан де ла Крус, снова и снова Сервантес... Стихотворение за стихотворением он посвящает старинным испанским городам, каждому в отдельности, перед его глазами проходят Барселона, Сантьяго де Компостела и совсем маленький город с длинным звучным именем Мадригал Высоких Башен... Он просто перебирает имена городов и сел, как бы лаская в последний раз «плоть» испанского языка. Он повторяет строфику и метрику народной песни, народной гномической поэзии — посмертно опубликованный сборник поэтому и назван «Кансьонеро» («Песенник»). «Мое последнее убежище, мое последнее завоевание»,— говорит он о родине в поэтическом дневнике этих трудных лет.

И все же Унамуно не только погружался в прошлое, не только сокрушался о грозной современности — его чуткая мысль и в те, действительно грозные годы прозревала в людях и в искусстве Испании скрытую силу, что рождала надежду на будущее. Так появляется среди последних стихов послание Федерико Гарсиа Лорке, неожиданно по-юношески бодрое: «Здравствуй, завтрашнее утро!»

Унамуно умер в Саламанке, захваченной франкистскими войсками, умер, написав

незадолго до смерти: «Мой дом — моя несчастная тюрьма», умер в горести и отчаянии, не рассчитывая уже увидеть зарю нового дня Испании. Среди посмертно опубликованных стихов его есть обращение к «богу моей побежденной Испании», в котором он просит «сделать мой язык языком пламени». Философ, ученый по главному роду занятий, он по призванию был поэтом, стремившимся «глаголом жечь...».

Советские читатели знакомы с философской прозой Унамуно по книге «Назидательные новеллы» (М., 1962 г.) и романам «Туман» и «Авель Санчес» (М., 1973 г.). А стихи Унамуно публикуются на русском языке впервые. Поэт-переводчик С. Гончаренко тщательно отобрал и отлично перевел наиболее значительное и характерное из поэтического наследия испанского философа.

И. ТЕРТЕРЯН

■ ■ ■

Я скоро буду сослан в память.
В былое буду выслан я.
В пустыне прошлого, друзья,
мой след ищите под песками.

У смерти выскользнув из рук,
умру, уйдя от вечной боли:
ведь я всерьез был жизнью болен,
а жизнь — смертельнейший недуг.

Но и уже сотлевший в прах,
уже сочтенный вами дважды
и трижды мертвым, я однажды
вострепещу у вас в руках.

Взяв эту книгу, ты берешь
меня. И если — дрожь по коже,
то знай, читатель: это тоже
тебя моя колотит дрожь.

Кастилия

Кастилия, ты ввысь меня возносишь
на заскорузлой, высохшей ладони
к ветрам студеным, к огненному солнцу
на небосклоне.

Отчизна наших душ и рук шершавых!
Буграми мышц твои поля застыли...
Здесь в каждом звуке слышен отголосок
старинной были.

Пустынны каменистые нагорья...
Но в сочном небе — голубая пажить!
Ты стала солнцу мягкой колыбелью
и храмом даже!

Кастилия, алтарь до поднебесья!
На этой высоте весь век мой мне бы
стоять, вдыхая полной грудью ветер,
вдыхая небо.

Я песнь тебе сложу, и если будет
она тебя достойна, край орлиный,
то спустится сама на землю, к людям
с твоей вершины.

«Немая сладостная мысль»

(Шекспир, XXX сонет)

Взрыв смеха в детской. А у нас — покой.
Накрывшись теплым пледом, я в гостиной
читаю Геродота у камина...
Ум эллина являет предо мной

свои глубины... И хотя порой
речь Пифии — тягучая резина,
но я слежу, как ткется паутина
истории... Жена сидит с иглой;

в глазах — само спокойствие и счастье.
И встретив взгляд ее, я в спор династий
вновь ухожу, вникая в тайный смысл

домашнего тепла неторопливо...
И трудится, как буйвол, молчаливо
во мне немая, сладостная мысль.

Правителям Испании

Вы и под небом родины
живете, как в изгнании.
Во мне — под небом-родиной
живет моя Испания.

Кровь души

Ты — кровь души, испанский мой язык!
Отчизна всюду мне, где речь родная
звучит и льется — ведь ее родник
полмира затопил, не иссякая.

Не всем потоп принес с собою свет.
Но в результате этого потопа
Европой стала дикая Европа
и вдвое больше оказался свет.

Язык мой — как ковчег. И в нем плывет
Рисаля и Хуареса[1] народ:
десятки рас и племена без счета...

Он никому не тесен и не мал.
Не зря на нем Сервантес написал
евангелие нам — от Дон-Кихота.

■ ■ ■

Доктор Примо де Ривера!
Генералам генерал!
Потерял давно ты разум,
нынче — маску потерял!
Из монаршего сортира
вышла партия твоя.
Как тебе — без роялистов?
Королю — без холуя?
В блоке с сельскими червями
из навозных жирных куч,
с тараканами столицы —
как могуч ты и вонюч!
Перед столь почтенным сбродом
только сморщишь ты чело —
как в восторге рукоплещут
подвывалы... И пошло!
«Что за ум!» «Какие речи!»
«Ай да вкус!» «Вот это да!»
«Рыцарь мысли!» «Бесподобно!»
«Гениально, господа!»
«Мать-Испания!» — кричишь ты...
Как же это понимать?
Ведь известно, что бутылка —
для тебя родная мать.
Подавай тебе «Власть власти»,
королевский попугай...
Знаешь, чем ты бесподобен?
Ну-ка, Примо, отгадай!
Тем, что ты свой генеральский
абсолют-идиотизм
нагло рядишь под пикантный
конституционализм.
Ах ты доктор-самоучка
розго-палочных наук!
Свист бича и посвист плетки —
для тебя сладчайший звук.
«Без доктрины дисциплины?
Как же можно, господа!»

---

[1] Рисаль-и-Алонсо (1861—1896) — национальный герой Филиппин, борец за свободу от испанского колониального гнета, крупный поэт и прозаик. Бенито Хуарес (1806—1872) — выдающийся мексиканский политический деятель. Сторонник демократии и национальной независимости.

Эх, водить тебе б овечьи
вдрызг лояльные стада!
А с людьми — куда сложнее!
Не помогут хлыст и кнут.
Вон свои — и те наглеют
и, того гляди, лягнут.

■ ■ ■

Так что такое жизнь в ее порыве?
Озерный ливень!
Что ей привычнее всего на свете?
Вершинный ветер!
Что значит жизнь в извечном обновленье?
Густые тени!
Озерный ливень!
Надрывный ветер!
Густые тени!
И правда: если плач похож на ливень,
тень — на тоску без тени утешенья,
а ветер, словно вздох души, надрывен,
то жизнь — сплетенье ливня, ветра, тени...

Сонет

Пусть даль зовет. Не слушай, путник, зова.
Взглянув назад, прочтешь пути итог.
Судьбой решен исход твоих дорог
там, где горит восток родного крова.

Грядущее — лишь зеркало былого.
Жизнь истечет, как этот миг истек...
Ты наизнанку выверни свой рок,
но все равно все повторится снова,

как повторится вод круговорот.
В миру царит надежная порука:
грядет за оборотом оборот,

в затылок узнаем лицо мы друга...
И тайна заколдованного круга
тебя и род людской переживет.

■ ■ ■

Пусть я умру с открытыми глазами,
вершины гор твоих в себя тая.
Мне будет свежий ветер над горами
дыханьем жизни, ветром бытия,
Испания моя!

Я буду спать в твоем гранитном ложе,
в тяжелом грунте, твердом, как броня,
в тебя врастая памятью и кожей...
Моя земля, прими к себе меня,
Испания моя!

Я стану сам испанскою землею
и буду слушать рост родных корней.
Пусть прорастут глаза мои травою,
питаясь светом солнечных лучей
Испании моей!

Вся зелень, взором выпитая прежде
и ставшая душой,— зазеленей!
И я пребуду в вере и надежде
под небосводом зреющих полей
Испании моей!

Пусть я умру с открытыми глазами,
в свой взор вобрав родимые края...
Спеленутый испанскими дождями,
я не уйду из мира бытия,
земля моя, Испания моя!

■ ■ ■

Зачем же рифма нам дана?
Что за вопрос! Она нужна,
во-первых, чтоб была видна
работа наша всем сполна.
Концы с концами лишь одна
она нам сводит. Ввысь должна
нас поднимать ее спина...
А впрочем, чаще в глубь без дна
она швыряет, как волна.
Есть строчки, где она вольна,
как птица. Чаще же она
на муки в них осуждена.
С ней пустота — и та полна!
Она — китайская стена,
и вдоль нее обречена,
косноязычна и длинна,
плестись, хмельная без вина,
строка... Ее ли в том вина?
Зачем же рифма нам дана?..

■ ■ ■

Саламанка! Саламанка!
Ты навек в моей судьбе.
О испанская чеканка
мысли, вызревшей в тебе!

Вбиты в каменные плиты
золотые письмена.
Имена не позабыты,
не забыта старина.
Педантичная святыня!
Манускрипты при свечах...
Сок живительной латыни
в грамматических корнях!
Да рифмуется со светом
этот университет!
То заря ли? Или это
от него исходит свет?

■ ■ ■

Фро́миста[1], Куэ́нка, Тортóса,
Гвадалаха́ра, Памплóна,
Пуэ́нте Хени́ль, Сарагóса,
Сиуда́д Реа́ль, Барселóна,
Туре́гано, Бу́ргос, Уведа,
Сума́ррага, Вальядоли́д,
Грана́да, Ка́дис, Сепу́льведа,
Арраменди́ага, Мадрид,
вы все — имена любимые
и данные на века,
вы — плоть непереводимая
испанского языка!

■ ■ ■

Федерико Гарсиа Лорке

Эй, испанцы! Пробил час!
Солнце светит и для нас!
Настежь окна, души, двери:
тень былого — не потеря,
праха прошлого не жаль.
Только будущее суще,
сущи только смех грядущий
и грядущая печаль.
Здравствуй, завтрашнее утро!
Каждый новый день премудрой
жаждой песни освяти.
А былое... Что ж, былое
тоже с нами: вьются роем
грезы в полузабытьи...

■

[1] Здесь и ниже — названия испанских городов и сел.

Критика

ГЕРМАН КАНТ

НАШИ СЛОВА—АРГУМЕНТ В КЛАССОВОМ СПОРЕ

С 14 по 16 ноября 1973 года в Берлине проходил VII съезд писателей ГДР. Съезд открылся вступительной речью Анны Зегерс, председателя правления Союза писателей ГДР. Затем с докладом выступил заместитель председателя правления Герман Кант. Мы печатаем перевод этого доклада.

Месяца три назад, когда шла подготовка к съезду, кто-то заметил, что эта седьмая в истории нашего Союза встреча может стать в своем роде первой, которая будет проходить пусть и не в условиях полного мира, но уже и не в условиях войны, первой встречей, когда о мире можно будет говорить уже как о реальности, определяющей нашу жизнь, а не только как о надежде, желании, требовании.

Конечно, товарищ, изобразивший столь прекрасную перспективу, был слишком великодушен в определении мира; мир для него означал прежде всего молчание пушек во Вьетнаме, и он на время как бы перестал слышать выстрелы в оккупированной португальцами Африке или в Северной Ирландии, где еще толкуют о боге, убивая людей, взрывы на Кипре и в Таиланде; до Чили было еще очень далеко, на Ближнем Востоке же было неспокойно, как всегда,— именно как всегда.

Это тоже одна из деформаций, которой подвержены люди, живущие в обстановке войн: нескончаемые ужасы притупляют нашу чувствительность, от долгих холодов у нас нарастает толстый слой жира, и большие пожары так ослепляют нас, что, когда их удается притушить, мы в первый момент не замечаем огней помельче.

И все-таки сейчас можно еще более уверенно, чем три месяца назад, говорить об улучшившихся перспективах прочного мира во всем мире, ибо, благодаря неустанной деятельности миролюбивых сил, прежде всего Советского Союза и дружеских социалистических стран, возросли шансы уберечь мир от глобальной войны. Конечно, опасный конфликт на Ближнем Востоке, вызванный израильской оккупацией, мог привести к новому обострению, и если вспомнить об убитых, сгоревших, лишенных крова, то каждая минута войны была слишком долгой, однако положение вещей предстанет перед нами в неверном свете, если мы упустим из виду, что именно в данном случае энергичная мирная политика Советского Союза принесла свои плоды, сделала возможным прекращение военных действий.

Разумеется, это потребовало немалых усилий, борьбы и даже жертв — так достигается мир, так приходит разрядка, иначе и не может быть; недаром мы всегда говорим именно о борьбе за мир.

Без этого не удалось бы достичь перемен и в Европе, перейти от «холодной войны» к разрядке, без этого невозможны были бы договоры, заключенные по инициативе социалистических государств, договоры, которые мы расцениваем как первый результат и как обнадеживающее начало.

Мира можно достигнуть только в борьбе за мир

Этот чрезвычайно сложный процесс можно сформулировать очень просто: мира

можно достигнуть только в борьбе за мир. А она ведется и за столом переговоров, и на пограничной вахте, и во время демонстраций и международных встреч миролюбивых сил вроде недавних, когда молодежь мира собралась в нашей столице на свой X фестиваль, а посланцы многих народов обменивались опытом на Всемирном конгрессе миролюбивых сил в Москве.

Но вот перед нами Чили!

Перед нами Чили, и мы видим воочию, на что способны реакционеры, враги народа, мы видим, что может сделать клика милитаристов и монополистов с такими, как мы, если им в этом не воспрепятствовать.

Перед нами Чили, и об этом здесь еще будет сказано — иначе и не может быть; но сначала давайте вспомним — именно потому, что мы не хотим прекращать разговор о перспективах, о возросших перспективах достижения мира,— давайте вспомним о долгом и все-таки столь воодушевляющем процессе, в котором мы больше десятилетия принимали участие — по-разному, но от всего сердца; давайте именно сейчас скажем о Вьетнаме!

Потому что название этой страны давно стало для нас символом солидарности, она стала нам близка, как мало какая другая; Вьетнам стал частью нашей жизни — мы вправе так сказать: ведь повествуя о нашем времени, мы говорили о Вьетнаме,—размышляя о будущем, мы говорили о Вьетнаме, мы говорили о нем, вспоминая свой опыт, с ним были связаны многие наши опасения и наши надежды; мы отдавали Вьетнаму часть нашего времени, да и заработка; мы привыкли — но эта привычка не притупила наших чувств — ощущать себя соратниками наших сражающихся вьетнамских братьев.

«Однажды— так начинается стихотворение Сары Кирш,—однажды я буду без памяти счастлива — когда услышу весть...» — и мы действительно почувствовали себя счастливыми, когда эту весть услышали: «Войне конец!»; правда, до «счастья без памяти» дело не дошло: арьергарды агрессора еще творили насилие над вьетнамским народом, да и слишком мало еще было мира после избытка войны, но «осознанного», так сказать, счастья все же хватало.

Орудие власти в руках народа

После Вьетнама у самой мощной империалистической державы стало чуть меньше мощи — о большем, вероятно, речи не идет, но об этом уже идет; и можно сказать, что мы, деятели литературы, очень сложным, не прямым, семикратно опосредованным образом, который бывает почти неощутим и о котором можно судить лишь по результатам, тоже способствовали новому положению вещей.

Если кому-то выбор слов покажется излишне скромным, пусть он скажет об этом; во всяком случае, ложной, то есть неправомерной, эту скромность назвать нельзя, да и какая тут скромность, если сравнить наш вклад со всеми жертвами, усилиями, страданиями, с дисциплиной и самоотверженностью, с поистине героической выдержкой вьетнамского народа — от сравнения стоило бы сразу отказаться из-за этой несоизмеримости, но и в таком решении было бы мало мудрости, потому что каждый проверялся на своем месте, а мы вправе сказать, что были на своем месте и старались выполнять свой социалистический долг.

Мы делали свое дело вместе с другими членами нашего социалистического общества, вместе с рабочими и крестьянами, с молодежью и солдатами, и в этом заключается, по крайней мере, частичный ответ на вопрос, всегда новый вопрос о силе и влиянии литературы — о силе ее воздействия, о ее влиянии на жизнь: наша литература внесла вклад в движение солидарности с вьетнамским народом; перелагая чувства в слова, она содействовала воспитанию чувств; она выполняла роль посредника не только между народами, но и между жестокой, почти непостижимой действительностью и людьми, которым нужно ее постичь, чтобы иметь возможность защищаться; она и здесь помогала понять правду, рассказав правду, подтвердив, что является орудием власти в руках народа.

Вряд ли стоило бы об этом так возвышенно говорить, если бы в мире не распространено было представление о бессилии слова — представление, которое иногда непрошено забредает и к нам.

Откуда только берется эта страсть — без конца доказывать, что литература бессильна, как будто, если принять ее всерьез, она когда-нибудь заявит претензию на власть, как будто литераторы сами не знают, сколько абсурда и злодеяний нагромождено в мире, где люди читают Софокла или Гёте, Толстого или братьев Манн.

Тем, что содержится в книге, нельзя даже задуть свечу, это верно, однако литература зажигает для нас и путеводные огни, озаряет темные углы, делает жизнь ясней и понятней — и вот это более верно, если воспользоваться не совсем позволительной в данном случае сравнительной степенью.

По не очень ясным причинам литературе любят приписывать отказ от игры, в которой она и не участвовала. Конечно, она не может предотвратить загрязнение среды, остановить рак и убедить промышленную компанию ИТТ вести себя по-человечески, но это можно записать ей в счет, лишь доказав, что она претендовала на это, вот в чем оговорка, которую, однако, не следует принимать за утверждение, что литературе нет дела до грязного неба, прожорливой болезни и разбойничьего концерна.

Литература отвечает не за положение в мире, а за то, что мы думаем об этом положении. Подобная оценка ее роли вовсе не уничижительна, и тот кто берет на себя такую роль, должен считаться с тем, что рано или поздно его кто-нибудь спросит: где

ГЕРМАН КАНТ
НАШИ СЛОВА — АРГУМЕНТ
В КЛАССОВОМ СПОРЕ

в его книгах можно прочесть, а если нельзя, то почему, как следует отнестись, скажем, к грязному небу или такому-то и такому распределению собственности; что думать, скажем, о социально обусловленной взаимосвязи между онкологическими и военными исследованиями, и стоит ли, скажем, сохранять злокачественный нарост вроде этой самой ИТТ.

Возникло новое самосознание

Тот, кто заявляет о своем желании участвовать в деле социалистической литературы — а нам должно быть ясно, что, когда здесь говорится о нас и нашей литературе, имеются в виду социалисты и социалистическая литература,— так вот, тот, кто претендует на высокую честь быть в нашей стране писателем, претендует в известном смысле на высокие полномочия и, всего лишь скромно переменив профессию, заявляет о своей причастности ко всему на свете; он только должен знать, что теперь и миру объявлено о нем, что все, все ловят писателя на слове, как будто он говорит специально для них, и обижаются, и слишком буквально понимают фразу: «Так ведь он же наш!» Это говорится не ради красного словца и не ради жалобы, такова просто повседневность литературы ГДР: всякий, кто берется писать, в представлении общественности основывает принадлежащее народу предприятие, общество считает его своим, а это имеет некоторые последствия.

Так, из протоколов наших собраний почти совсем исчезают упоминания о дискуссиях, столь же непременных, сколь и необходимых некоторое время назад, когда риторически раздельвались с пресловутым противоречием между властью и духом,— доказывать это приходилось все обстоятельней, поскольку новой публике надо было сначала описать этот старый конфликт и уж потом провозгласить его исчезновение; в конце концов проблема исчезла из общественного обихода, она выглядит старомодной и представляет интерес разве что для Би-Би-Си.

Или вот другое: чаще, чем когда-либо в истории литературы, к рассказу, телеспектаклю, а иной раз и стихотворению относятся как к реальным элементам реального мира, каковыми они, конечно, являются лишь весьма опосредованно; но хоть и неверно считать литературу прямым отражением или непосредственным продолжением действительности, это все-таки лучше, чем видеть в ней явление не совсем от мира сего, прекрасную иллюзию или, не в столь возвышенном варианте, подозрительное надувательство.

Литература, заставляющая современников спорить о том, как надо жить и как надо умирать, и наряду с этим вызывающая их на дискуссии о производственном обучении, о семье и школе, о целесообразном использовании служебных документов, о правильной деятельности учреждений, об общественной собственности, полноценном браке и идеологической роли некоторых видов продукции, выпускаемой фабриками готового платья,— такая литература все-таки знает, что обращается не в пустое пространство; что же касается опасности, не будут ли отношения между литературой и действительностью сведены к их отождествлению и не станет ли кто-то ругать изображение в тех случаях, когда надо бы ругать и исправлять изображаемое,— против этого писатели в конце концов всегда могут выступить.

Они это и делают — в статьях, в интервью, на тысячах читательских конференций, они делают это заметно чаще, нежели десять лет назад, в своих книгах, и некоторых из них стоит здесь назвать; но прежде чем к этому приступить — одно попутное замечание.

Перечисление заглавий под общей рубрикой — ну, например: в следующих книгах речь идет о проблемах рыбной ловли! — по разным причинам и справедливо относят к числу дурных ораторских привычек. Подобное же отношение вызовет и перечень книг, объединенных по тому признаку, что главный герой в них — писатель или журналист; и это в общем-то правильно, поскольку в литературе лишь особенное, единичное, сугубо индивидуальное заслуживает похвалы, а если не похвалы, то хотя бы внимания.

Поэтому приходится просить о снисхождении, если чья-то работа будет иногда названа в составе какой-либо литературной группы,— возможно, автору это будет легче перенести, если он вспомнит, что и Байрон, и Пушкин, и Брехт, и Лист, и Чайковский причислялись к одной группе — по той лишь причине, что все они однажды отразили в своем творчестве тему гетмана Мазепы.

Итак, несколько названий, несколько имен: вновь объявился Станислаус Бюднер и творит свои на редкость благодетельные чудеса: Курт Давид начинает свою новую книгу с рассказа о том, как писатель хочет выбросить свою начатую книгу; снова запел отец Батти; де Бройн в новом романе морализирует по поводу присуждения литературной премии; Юрек Беккер вводит нас в курс скрытых от глаз сражений между автором и редактором, а безымянный рассказчик у Нойча интересуется не только Гаттом и его ответственностью за свою и чужую вину, он исследует и добровольно взятую на себя роль рассказчика, репортера [1].

Этому почти массовому нашествию литераторов на страницы литературных произведений не следует приписывать какого-то особого смысла, однако дело тут и не в случайности, и не в сговоре авторов; с большой вероятностью это можно объяснить обстоятельством, о котором идет речь в данном разделе: выполняя свои задачи и ставя перед собой новые, литература ГДР достиг-

[1] Имеются в виду новые книги писателей ГДР: вторая часть романа Э. Штриттматтера «Чудодей», повесть Курта Давида «Оставшаяся в живых», романы Бернгарда Зеегера «Отец Батти снова поет», Гюнтера де Бройна «Присуждение премии», Юрека Беккера «Обман власти», Эрика Нойча «В поисках Гатта» *(прим. перев.)*.

ла нового самосознания, основанного и на результатах, и на высоких требованиях, предъявляемых к ней; оно связано с утвердившимся, особенно после VIII съезда СЕПГ, представлением о своеобразии, незаменимости художественного творчества — впрочем, художник не может отнести это на свой счет, если он не усвоил и связанной с этим ответственности: ведь говоря о незаменимости своей работы, нельзя сваливать на других задачи, которых не выполнил сам. Таким образом, новое самосознание, новоприобретенное представление литературы о самой себе, о своих возможностях и задачах, о своем месте в социалистическом обществе не может быть отделено и от возросших требований, от стимулирующих, бескомпромиссных ожиданий читателей, которые не довольствуются простым отражением действительности, а тем более благими намерениями и красивыми словами. Наши читатели — это люди, которые серьезно трудятся каждый в своей области, их интересует прежде всего качество, они не любят обмана, они привыкли делать дело и требовать дела—это тоже результат социалистического развития последней четверти века, и в ответ на возросшие читательские ожидания наша литература повысила требования к качеству, осознав, кроме всего, что нельзя играть в прятки, когда речь идет о координации усилий всего общества.

Доверие партии — обязывающая честь

Наша литература знает, что ей принадлежит в обществе место, к которому она всегда стремилась и которое занимает лишь при социалистическом строе. «Плечом к плечу с рабочими, с коллективным крестьянством и молодежью» — это цитата из интервью с товарищем Эрихом Хонеккером, опубликованного недавно в «Нойес Дойчланд», и именно потому, что это не первое высказывание такого рода со времени VIII съезда СЕПГ, именно потому, что Первый секретарь ЦК СЕПГ не в первый раз подчеркивает эту задачу, нам хотелось бы вновь подтвердить, что мы с удовлетворением принимаем почетное доверие, сознавая всю ответственность, которую оно на нас возлагает.

Тот, кто плохо представляет нас и наш строй, плохо представляет связь и взаимозависимость социализма и искусства, не поймет правильно нашу позицию; ему, если он исходит из буржуазных социальных норм и буржуазного представления о рангах, покажется странным тщеславием стремление писателя быть среди рабочих и крестьян — если же он, что тоже может быть, слишком долго читал лживые газеты или сотрудничал в них, отношения между нашим обществом и искусством представляются ему в виде репрессий с одной стороны и сервилизма — с другой или в виде лимитирования с одной стороны и субординации — с другой.

По подбору слов можно, вероятно, заметить, что здесь имеется в виду не та пресса, для которой «культура» — французский термин, имеющий какое-то отношение к дамским модам; речь идет об изданиях более высокого уровня, где наша литература изображается то в виде эдакого рупора, который изящно усиливает все, что пропыхтит в него начальство, то в виде жалкой телячьей кожи, из которой начальство старается выколотить всякую дурь.

Что ж, «начальство» и писателей объединяет еще и то, что они одинаково оценивают довольно убогую комичность таких представлений.

В отношениях между партией и литературой, между государством и искусством мы разберемся, впрочем, и без помощи извне. У людей, которые трудятся и в той и в другой сфере, много общего, вплоть до биографий; у них одни философские и идейные взгляды, одни политические цели, а значит, одни и те же союзники, одни и те же враги, у них одна основная общественная задача, осуществление которой требует, однако, от каждого разных форм работы.

Многообразие при общности основных принципов

Многие товарищи из числа государственных и партийных руководителей и писатели, во всяком случае, те, что постарше, а их вполне достаточно, чтобы говорить о типичном явлении, могли бы помочь друг другу, едва ли не под копирку печатая свои анкеты, ибо они родом из одних и тех же рабочих поселков и бедняцких деревень, они прошли в «деревянных башмаках» одну и ту же школу, вместе корпели над новыми книгами, защищали одни и те же баррикады от одних и тех же врагов, смотрели сквозь одни и те же решетки на свои и чужие небеса, а потом делили одну и ту же помещичью землю одинаковыми землемерными циркулями, они с одинаковой серьезностью и страстью вносили свой вклад в создание Германской Демократической Республики — как товарищи по классу, по борьбе, просто как товарищи.

При такой прочной и глубокой общности несовременными и далекими от действительности выглядят попытки выдавать разногласия за разрыв, а расхождения во мнениях — за коренные противоречия.

От глупостей мы не застрахованы; нам нельзя избегать споров; созданию прочных отношений способствует не в последнюю очередь и обмен весьма несхожими мнениями; на разных участках труда и борьбы возникают разные точки зрения; взаимопонимание могло и может затрудняться предрассудками и взглядами, доставшимися нам от прежних времен; без недовольства, ссор, а то и резких столкновений обходится разве что в раю, но рай никому из нас не нужен, поэтому на такой встрече, как наша, где мы хотим подвести итоги и договориться

ГЕРМАН КАНТ
НАШИ СЛОВА — АРГУМЕНТ
В КЛАССОВОМ СПОРЕ

о дальнейшем, было бы по меньшей мере нецелесообразно изображать себя безмятежно счастливыми.

Нет, это не так, но на вопрос о нашем самочувствии, то есть о перспективах нашей литературы, мы можем ответить; спасибо, мы пошли дальше, мы идем дальше.

Заметный прогресс, достигнутый нашей республикой за время между своей двадцатой и двадцать пятой годовщиной во всех областях общественной жизни, коснулся и литературы; это могут подтвердить не столько цифры названий и тиражей, сколько возросшая широта тематики, достижения в области формы и прежде всего — углубление морально-философских поисков.

Если вкратце сформулировать суть некоторых исследований и анализов, сделанных в ходе подготовки к этому съезду, то можно сказать, что наша литература теперь более свободно осваивает мир во всем его многообразии, в том числе и усложнившийся мир отдельного человека, можно сказать, что литература стала не просто шире видеть, но и шире мыслить, глубже проникать в собственную историю, лучше слышать голос народа, она стала нетерпимее к недостаткам и упущениям и в то же время более восприимчивой к комическим, гротескным и фантастическим явлениям жизни.

Упомянутые рабочие документы были предназначены именно для того, чтобы мы здесь не чувствовали себя связанными необходимостью перечислять произведения и комплектовать группы, не упуская по возможности ни одного имени, но и тут хотя бы несколько названий могли бы дать представление о широте диапазона: от энергичных деклараций Фолькера Брауна до естественной легкости Ирмтрауд Моргнер, от манеры, в какой Кунерт рассказывает о Техасе, до стиля Эвы Штриттматтер, повествующей о доме в Рейнсберге, от сложного переплетения идей, порожденного поездкой Фюмана в Венгрию, до здорового и веселого отношения к миру у Терека, от новелл Давида, еще раз подтвердившего, что не существует исчерпанных тем, до Пленцдорфа, доказавшего, что и старое может волновать по-новому.

Литературе ГДР никогда не были свойственны однообразие и монотонность, которые ей пытались приписать; и прежде можно было назвать имена Брехта и Бехера, Зегерс и Ренна, Кубы и Хермлина, Вольфа и Бределя, Байерля и Хакса и так далее и так далее, а за последние годы она стала, пожалуй, еще более разнообразной; но бесспорно и другое: она при этом никогда не отказывалась от единодушия в основных принципах, которым была верна с самого начала и которые признает и защищает каждый, кто вступает в эту литературу.

В числе этих принципов — ее бескомпромиссный антифашизм, делающий для нее невозможной, например, «ресоциализацию» Гитлера, как это происходит сейчас на Западе. Есть способы представить дело «объективно» и «человечно», а в конечном счете попросту снять с себя вину и ответственность. «Объективно» изображенный Гитлер возглавляет в ФРГ список бестселлеров — подходящий рождественский подарок для подрастающей молодежи, равно как и для отцов семейств, тоскующих по прошлому, который мы от души рекомендуем для изучения всем, кто с презрением говорит о партийности в истории и литературе.

Конечно, не надо с заведомым неприятием откликаться на все, что происходит у наших политико-идеологических оппонентов, но когда фашизм начинают описывать с бесстрастием натуралиста, нам хочется настойчиво просить наших старших товарищей: пусть они расскажут о том, чему были свидетелями.

В последние годы, вслед за воспоминаниями Фрица Зельбмана, стало появляться все больше книг мемуарного характера; среди их авторов — писатели и люди без литературного тщеславия, но поскольку беллетристика — не главное в такого рода свидетельствах о времени, профессия тут не так уж важна.

Растущий интерес к своему прошлому

Важно другое — свойственное всем сознание, что ты участвуешь в истории и творишь материал будущей истории; явно возросло доверие к ценности собственного опыта, усилился интерес общества к своему прошлому. Писать воспоминания — значит не только говорить о прошлом как о прошедшем, это значит участвовать в прощании с прошлым, рассказывая о нем; и можно, вероятно, предположить, что такие разные авторы мемуаров, как Клаудиус или Мевис, Кукхоф или Кучинский, одинаково хотели не только рассказать о себе (что, кстати, не нуждается в особых обоснованиях, ведь этого всегда и ждешь), но и ускорить смену эпох, описывая эту смену.

Приятно, что авторам названных книг по существу чужда позиция, когда в любом случайном споре между старшими и младшими прошлым пользуются как своего рода плеткой, чтобы заставить молодежь хотя бы состроить уважительную мину. Это негодная и ненужная для нашей страны позиция, так как различия между поколениями никогда не приобретали у нас характера коренного конфликта.

В то же время неверно было бы вообще отрицать всякий конфликт, всякое различие между поколениями. Для людей, убежденных в возможности и необходимости общественного прогресса, было бы весьма странно оспаривать неизбежность различий в интересах, склонностях, поведении, способах выражаться и т. п., свойственных представителям разных поколений.

Так же и в литературе: тому, кто вступает в нее без желания сделать что-то по-другому, по-новому, собственно, и незачем в нее вступать; и в литературе первые шаги всегда связаны с ожиданием чего-то, до сих пор небывалого, и в литературе время от времени приходится расставаться с отжившими привычками, однако и прогресс, и инерция определяются не датами рождения.

Молодость и старость — дело не личной заслуги, и юбилейного чествования удостаивается лишь тот, кто имеет на это основания.

Во всяком случае, насильственное разделение нашей литературы на поколения, а отсюда не менее насильственная периодизация нашей литературной истории — явление в основе своей комичное, отслужившее, изжившее себя, попросту ненужное; его можно сравнить с бытующей до сих пор склонностью противопоставлять столицу и возможности живущих в ней писателей — остальной Республике.

У нас достаточно действительных проблем, чтобы еще изобретать себе несуществующие.

Прежде всего, у нас есть общие обязательства и проблемы, перед лицом которых мы просто не вправе слишком долго занимать себя не столь уж значительными недоразумениями.

Ближе к жизни рабочего класса

Проблема, так сказать, первоочередная, постоянная, меняющаяся, непременная—это проблема связи нашей литературы с жизнью, с жизненными интересами, а также и с духовными потребностями рабочего класса.

Мы говорим об обязательствах, задачах и проблемах, хотя с полным правом можем утверждать, что естественная связь с историей, борьбой и общественными целями рабочего класса является неотъемлемой чертой литературы ГДР.

Не ослабить этой связи — вот наша кардинальная задача, тем более что у рабочего класса и творческой интеллигенции — иначе и не могло быть после длительного процесса общественных преобразований — появились новые общественные цели.

Говоря яснее, мы не можем долго тешить себя пролетарским прошлым многих писателей, поскольку оно, как бы эти слова ни задели некоторых, не передается по наследству.

Не существует и какого-то общественного механизма, который сам по себе укреплял бы связи рабочих с литературой, а литераторов — с рабочими; разные условия жизни и труда обусловливают разное видение и мышление, но как раз литература и способствует обмену опытом, позволяя добиться большей общности. Отношения между рабочим классом и писателями не могут быть сведены к выражению преданности с одной стороны и благосклонности — с другой; они должны быть основаны на взаимной убежденности, что и те и другие представляют собой части единого целого, что каждый должен требовать от себя и друг от друга дела, что один нужен другому и социализм так же неразделим, как неразделимы литература и рабочий класс, рабочий класс и литература.

Карл-Гейнц Якобс в прекрасном докладе на Берлинской окружной конференции рассказал о радостях и трудностях, с которыми приходится сталкиваться писателю, посвятившему себя теме рабочего класса, и, не произнося прямо этих слов, он дал понять, что отказ от термина «биттерфельдский путь» не означает отказа от связанной с ним позиции, от существа дела; с названием стоило расстаться, чтобы облегчить дальнейшее развитие, освободиться от односторонности и узости. Но то главное, что обозначалось этим понятием, навсегда останется важной составной частью социалистической культурной революции.

«Биттерфельдский путь» дал нашей культуре опыт непреходящего значения, благодаря ему занятие искусством перестали связывать с особым типом духовной организации, и с «биттерфельдским путем» произойдет то же, что и со многими другими явлениями нашего исторического развития, например, с машинно-тракторными станциями и рабоче-крестьянскими факультетами: когда уходят в забытое прошлое насмешки наших противников, шутки иных друзей, наши собственные тревоги и заботы, все, что было связано с этими понятиями, становится почти неопределимой, но неотъемлемой частью нашей общественной и художественной жизни. Говоря об этом, нельзя не почувствовать, до какой степени запоздало историко-литературное осмысление этого процесса, в корне изменившего нашу литературу. В этой связи вопрос о том, как обстоит дело с работами по истории литературы ГДР, приобретает политическое звучание.

В восьмом номере «Бюллетеня» Союза писателей за 1973 год можно найти объяснение, почему нет особой диспропорции в том, что четырем обобщающим работам о литературе ГДР, вышедшим в ФРГ, мы можем противопоставить лишь план издания аналогичного труда у нас: соотношение оборачивается в нашу пользу, если бросить на весы множество частных исследований, а их у нас в ГДР куда больше.

Допустим, хотя если у нас нет, скажем, велосипедов, нас вряд ли удовлетворит ссылка велосипедных заводов на приятное изобилие седел, рулей и звонков.

В последние годы идеологические споры, в том числе и по так называемому вопросу о «немецкой нации», по известным причинам все чаще стали переноситься и в область литературы, литературной критики, литературной истории, германистики, так что, если у нас до сих пор нет книги по истории литературы ГДР, написанной германистами ГДР, это не просто досадный факт.

Сказанное не означает, что германистов стоит только ругать, и мы не собираемся утверждать, что история литературы должна наверстывать упущения самой литературы, но нам просто не к лицу наблюдать, как о систематической интерпретации нашей работы для всего мира заботятся наши политические противники, признанные экс-

---

ГЕРМАН КАНТ
НАШИ СЛОВА — АРГУМЕНТ
В КЛАССОВОМ СПОРЕ

пертами по ГДР главным образом потому, что они из нее когда-то убежали.

И чтобы перейти поближе к критическим замечаниям в наш собственный адрес — несколько слов и о связующем звене между литературой и историей литературы, то есть о литературной критике. Хотя этой работой занимается специальная секция, было бы просто неестественно, если бы писатель ничего не сказал о критике.

Литература и критика — два полюса одного магнита

Опять начну с предварительного замечания: литература и критика противостоят друг другу и связаны друг с другом, как полюса одного магнита, примирить их или разделить — значит лишить их силы.

Взаимоотношения между литературой и критикой бывают порой грубоватыми, хотя это, конечно, не обязательно, и мы при всем своем честолюбии всегда должны помнить о высших целях; но такое положение дел все-таки лучше, чем только что обрисованное, когда отношения считаются порванными.

Литературной критике надо, пожалуй, отказаться от довольно жалкой позиции, когда некоторые ее представители просят о праве на существование или хотя бы о терпении; отношения должны быть построены на равноправии, иначе они теряют смысл.

Время от времени начинают распространять слухи, что такой-то писатель (называют разные имена), подвергшийся критике, перестал здороваться со своим критиком; мне кажется, пока не пойдут разговоры о критике, который после выхода такой-то книги перестал здороваться с ее автором,— до тех пор что-то будет не в порядке с нашей критикой, с ее чувством собственного достоинства.

Но чувством собственного достоинства нельзя наделить или наградить как отличием; оно приходит только в результате работы, и, к счастью для нашей литературы, у нас достаточно критиков, к которым относятся с большим уважением.

Один из них недавно говорил о желании увидеть свои работы сведенными в одну книгу; желание это понятно, и его надо осуществить; только что как раз вышло собрание сочинений одного критика, умевшего подтвердить свое мнение убедительными аргументами, имевшего мужество выражать глубоко личные суждения и в то же время не позволявшего себе судить о чем-либо без знания дела, придававшего своим работам форму, которая делала их настоящими произведениями искусства. Правда, имя этого критика Тухольский [1], но ведь в Тухольские его никто не производил.

Если писатели хотят, чтобы критики работали лучше, то есть были самостоятельными и действительно критиковали, они должны поддерживать критиков, убеждать редакторов, чтобы те не защищали литературу от критики. Неприятие критики нередко обосновывают словами о ее «вкусовщине» — что ж, такую критику надо критиковать, хотя стоит иметь в виду, что эта формула не должна служить предлогом для ограничения критики, ведь та ни на что бы не годилась, если б не отражала и обоснованных личных вкусов.

Первоочередную важность имеет и теоретическое осмысление некоторых проблем, которое не под силу одной критике; так, давно уже существуют рядышком две теории, делая вид, что не подозревают о существовании друг друга; одна гласит: идеологическая борьба в наше время становится все острей, другая: в нашем обществе конфликты, которые находят отражение и в литературе, теряют свой антагонистический характер. Очевидно, оба эти процесса нельзя отделять друг от друга, а в этом видится противоречие, требующее разрешения как в теории, так и в практике литературы; просто констатировать их существование вряд ли достаточно.

Гораздо менее значительна и даже по-своему способна развеселить концепция, согласно которой литература сама виновата, если она не придерживается рекомендованных ей теорий; в этой связи стоило бы кое-что рассказать, хотя бы потому, что оба теоретика, о которых здесь пойдет речь, являются крупными романистами.

Все знают знаменитое утверждение Арнольда Цвейга, что структура романа должна напоминать скелет рыбы (во всяком случае, с ним знаком каждый, кто писал романы и кто съедал рыбу не всю целиком, с этим мнением приходится часто сталкиваться), и тут же рядом я позволю себе привести высказывание Альфреда Дёблина, которое сближает с тезисом Цвейга то, что и здесь использовано сравнение из животного мира, и произнесено оно с такой же решительностью.

Меньше бояться споров

Вот представление Дёблина о романе, имеющее к романам Дёблина — и в этом-то весь секрет — такое же отношение, какое имеет теория Арнольда Цвейга к романам Арнольда Цвейга. «Если роман,— говорит Дёблин,— нельзя, как дождевого червя, разрезать на десять кусков, так чтобы каждая часть двигалась сама по себе, значит, он ни на что не годен».

И раз уж мы углубились в историю литературной критики, скажем еще вот о чем: конечно, критические бои, которые велись в давно минувшие времена вокруг пьес, стихов и романов, были связаны с острыми политическими разногласиями, незнакомыми нашему социалистическому обществу; конечно, в литературном обиходе буржуазного общества каждый представлял только себя и поэтому мог быть жестким в оценках и бесцеремонным в выборе слов, тогда как у нас существуют отношения сотрудничества, о которых никто не вправе забывать,— все это так, и все же хорошо бы нам быть не такими пугливыми.

---

[1] Тухольский, Курт (1890—1935) — видный немецкий писатель, критик, публицист.

Разумеется, не все, что мы могли в этом году прочитать в критических разделах нашей прессы, от «Зинн унд форм» до «Трибюне», было сказочно безупречно; но ущерба никому причинено не было. Слова «столкновение мнений» надо произносить с равномерным ударением; без спора, в котором происходит столкновение мнений, невозможны и мнения, ради которых стоит спорить. Недовольство резкостью некоторых недавних споров помешало нам, кажется, заметить, что мы при этом следовали давнему требованию: литература должна участвовать в критике литературы.

Если же кто-то хочет убедиться в пользе, которую получает общество, когда писатель ведет разговор о работах других писателей, то можно указать на недавно вышедший сборник Хермлина «Чтение». Здесь нам обеспечена высокая, но не абстрактная требовательность к качеству, перед читателями ГДР открывается большой мир, к которому не в последнюю очередь принадлежат и писатели ГДР, но это не мир вообще, а мир братьев, мир друзей, и хотя, конечно, не всем и не все суждения придутся здесь по вкусу, первый критический упрек следует адресовать скорей издателям, чем автору: зачем нужно было в данном случае, за которым стоят и другие, проставлять в издательских планах цифру тиража, которая, говоря словами Феликса Круля, «скорей скрывает, чем открывает» книгу для читателя?

О сотрудничестве писателей и издательств

Вот мы и добрались до любимой темы писателей — издательского дела. Однако не будем слишком увлекаться таящимися в ней соблазнами, поскольку и VIII съезд СЕПГ, и последовавшие за ним VI и IX пленумы ЦК СЕПГ, и большая работа, проделанная между этими партийными форумами, обеспечили в этой области существенные улучшения, и в принципе можно считать решенным, что наши коллеги в издательствах не горят желанием действовать нам в ущерб.

Естественно, столкновения интересов полностью не исключены, ибо хотя социальный заказчик у нас в конечном счете один, издательство, если воспользоваться абстрактно звучащей формулой, представляет собой экономическое учреждение с литературными интересами, а автор — литературное учреждение с экономическими интересами, и сотрудничество между ними, осуществляемое при посредничестве Союза, бывает недостаточно совершенным.

Сотрудничество здесь означает немногим больше, чем взаимное обсуждение дел, и вовсе не предполагает, что редакторы создают за авторов рукописи, а авторы слишком вплотную занимаются производственным процессом Но насколько естественным кажется редактор, занимающийся рукописями, настолько жалким выглядит автор, который стал бы заботиться о производстве книги или хотя бы о ее оформлении, так что суперобложки, переплет и иллюстрации оказываются для него теми сюрпризами, которые нам так часто преподносит жизнь.

Конечно, не стоит поступать и как Рихард Демель, который давал своему издателю С. Фишеру тысячи указаний, например такие, относительно закладки для книги: «Эта атласная лента с хлопчатобумажной изнанкой всегда шокировала меня в Ваших переплетах. Или тафтовая лента из чистого шелка, или плетенная наполовину с шелком, или целиком шелковая! Пожалуйста, решайте... Я лично за плетенную из чистого шелка. Золотой обрез я бы в любом случае сделал глянцевым, но не матовым... Кстати, в виньетках не всегда выдержано правильное соотношение между разными сторонами; об этом я сам позабочусь в Лейпциге».

Это письмо относится к числу тех историко-литературных документов, читая которые нынешний автор думает: «Э, да это надо бы прочесть на заседании биржевого комитета!»

Анахроничная мысль, я знаю, поэтому вот сразу другая, более близкая к действительности, окружающей нас: в издательском деле, к которому в данном случае следует отнести и журнальное дело, бытует известный фатализм, привычка к отношениям, когда даже не пытаются что-то исправить,— позиция, которая в конечном счете не приносит пользы никому и с которой именно писателям стоит бороться; речь идет о той покорности судьбе, с какой в редакциях принимают спущенные сверху сроки издания, как не подлежащие сокращению, или с какой в журнале принимают неудобочитаемый шрифт, навязанный типографией из экономических соображений.

В последнем случае технический прогресс и стремление к бережливости сводятся к такой «экономии», которая нигде, а тем более в деле издания литературы, не должна играть главную роль. Против скаредности следует выступать так же, как и против излишеств; тут мы делаем переход, который может показаться не совсем логичным, поскольку речь пойдет о другом средстве массовой информации — о телевидении.

Об этом чрезвычайно важном общественном институте и его отношении к литературе — в самом широком смысле, а соответственно и об отношении литературы к телевидению в последнее время шли такие острые и глубокие дискуссии, что нет ни возможности, ни смысла пересказывать их, тем более что и материалы этих дискуссий здесь имеются.

Телевидение, радио, писатель

Можно, однако, утверждать, что всякий раз, когда работники телевидения заговаривают о писателях или писатели — о работ-

---

никах телевидения, и те и другие расплываются в улыбках и их сердца переполняет отнюдь не внешнее дружелюбие.

Все мы чувствуем прогресс по сравнению с временами, когда мы сталкивались с реакционно-романтической позой отдельных литераторов, видевших в телевидении и неграмотного гиганта, и одновременно технически оснащенного борца против неграмотности, а также других, трогательно считавших, что телевидение вообще сделало достоянием прошлого такие убогие паллиативы, как книги и чтение.

Взаимоотношения между нами сравнительно дружественные; писатели, работающие на телевидении, встречают подобающее отношение, то есть именно как писатели, а не как их высшая или низшая разновидность; явно меньше стало глупых разговоров на тему «средство пропаганды или искусство», в книгах вспоминают о телевидении не только тогда, когда по ходу действия нужен какой-нибудь сатирический пассаж, а по телевидению передачи о книгах можно увидеть и услышать не только в период непосредственной подготовки к съезду писателей.

Так что же, все обстоит как нельзя лучше? Выразимся так: дело сдвинулось к лучшему, и этот сдвиг настолько важен, что мы должны его ускорить.

Несколько лет назад, когда наши отношения были не столь дружественными, состоялось совещание по проблемам телевидения; разговор тогда получился односторонним и потому не удался; возможно, пришло время предпринять еще одну попытку с участием Союза писателей.

Мы, попросту говоря, не вправе упускать ничего, что могло бы улучшить нашу работу; все мы участвуем в выполнении важных задач, поставленных VIII съездом СЕПГ, и здесь неуместны ни опека, ни высокомерие, ни глупая конкуренция. Если такое совещание состоится, мы, вероятно, для участия в нем привлечем и работников радио, которые всегда плодотворно сотрудничали с писателями, и не только потому, что возраст радиовещания равен среднестатистическому возрасту члена нашего Союза. У радио больше опыта и меньше стремления заново «воплощать» то, что уже воплощено в литературе, скажем, иллюстрировать чтение рассказов Штриттматтера ржанием лошадей — пример не покажется притянутым за уши, если вспомнить недавнюю передачу по книге названного автора, обогащенную кадрами пасущихся пони[1]. Это заставляет меня с большим нетерпением ожидать передачи по его чудесной книге «Синий соловей».

Данный доклад представляет собой попытку избежать традиции, заставлявшей докладчика в надлежащих выражениях и надлежаших пропорциях свидетельствовать почтение каждому жанру; лучше говорить о вещах, явлениях и проблемах, существенных для каждого; но при этом возникают пробелы, которые не могут быть оправданы.

Так, наша литература для детей поистине заслужила, чтобы ее еще раз почтили самой высокой похвалой, однако один лишь список имен детских писателей — и это тоже основание воздать ей должное — с годами до того увеличился что, если так будет продолжаться, на следующем съезде будет легче перечислить тех, кто еще не написал книг для детей и юношества.

С другой стороны, некоторые достижения здесь стоит отметить именно потому, что они относятся к небольшим специальным областям, которые незаслуженно редко становятся предметом дружеского литературного обсуждения — например, тонкие и увлекательные рассказы о нашем мире Раймара Гильзенбаха.

А фантастическая литература, а литература приключенческая, а литература песенная, а литература, которую создают наши переводчики и с которой дела сейчас пошли лучше, поскольку в этом году ее заслуги были подчеркнуты присуждением некоторым Национальной премии.

Но выражение благодарности переводчикам мы не всегда должны передоверять нашему правительству; литературе в целом не пойдет на пользу, если достижения в этой области будут оставаться незамеченными. Когда появились на немецком языке произведения Уолта Уитмена, Томас Манн опубликовал в одной из газет «хвалебное письмо», где благодарил переводчика Ганса Райзигера за «божественный подарок». Допустим, мы можем найти и другие выражения, но заслуженные аплодисменты всегда уместны, когда речь идет о работе, которая немало дает каждому из нас.

Каждому из нас и нашему Союзу в целом, ибо те поистине братские отношения, которые существуют у нас с писательскими организациями многих других стран, предполагают, естественно, прежде всего хорошее знание их литературы.

Мы рады возможности сказать, что наши контакты с другими Союзами во многих случаях далеко выходят за рамки обычных туристических или даже дипломатических поездок, они служат действительному обмену мнениями и опытом, дружественно-критическому знакомству друг с другом и с литературами наших стран, и это мы тоже вправе рассматривать как вклад в дело укрепления социалистического общества.

Дела складываются по-разному, это естественно, но в отношениях со всеми нашими друзьями мы стремимся к таким же результатам, каких уже достигли, например, в сотрудничестве с нашими советскими или польскими коллегами. При этом подтверждается плодотворность уже найденных и проверенных форм общения, их следует закреплять и повторять, ведь успехи невозможны без терпения и настойчивости; мы постепенно избавляемся от приподнятого тона взаимных деклараций и на последних встречах переводчиков, критиков, детских писателей и мастеров рассказа сумели до-

[1] Имеется в виду повесть Э. Штриттматтера «Пони Педро» *(прим. перев.)*.

вольно быстро перейти к конкретной работе.

Недавно в своем благодарственном слове к руководителям партии и правительства товарищ Адольф Хеннеке говорил об истории движения новаторов в нашей стране и заметил, что на каждом этапе этого движения, в каждом его проявлении есть частица советского опыта.

Позволительно отнести эти слова ко всему нашему развитию вообще — в том числе и к истории нашего Союза, нашей литературной жизни.

Дружба наших народов — мы с особым удовлетворением воспринимаем этот факт — укрепляется, среди прочего, и благодаря сближению наших литератур.

Во время встреч с читателями каждого из нас непременно спрашивают, кто в литературе оказал на него влияние, и на это бывает непросто ответить.

Но совсем легко, совсем просто — ибо это само собой разумеется — говорить о влиянии, наложившем отпечаток на всю литературу ГДР, оно связано с именами Горького и Маяковского, Шолохова и Федина, Эренбурга и Фадеева, Симонова и Катаева, Островского и Айтматова и многих, многих других.

Советская литература — литература друзей

Для нас советская литература — это литература друзей, которой мы очень многим обязаны, к которой мы относимся с любовью и уважением, на представителей и поборников которой мы никому не позволим клеветать.

Дружить — значит не только с благодарностью отвечать на дружбу, но и со всей резкостью выступать против врагов наших друзей.

Это ясно, как ясно и то, что мы не должны идти на поводу у наших общих политических противников, уделяя неломерно много времени и энергии на опровержение лжи и корректирование их понятий.

Социализм как движение и как строй может подтвердить каждому свою гуманность; именно при социализме человечность перестала быть делом мужества и благородства отдельной личности или угнетенного меньшинства; человечность стала здесь общественным принципом. Всеобъемлющая человечность возможна лишь там, где один человек не угнетается другим.

Повторим известные слова: лишь там, где земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает, фабрики — тем, кто их строит, машины — тем, кто на них работает,— лишь там и существует человечность. Человечность там, где не от кошелька и не от цвета кожи зависит, будешь ли ты сыт, здоров, обеспечен осмысленной работой, свободен от страха, получишь ли ты образование, будешь ли ты жить в мире.

Социализм, как это доказали Маркс и Ленин на основе анализа предшествующего развития и предвидения будущего, это подлинно гуманистическое движение против террора, именуемого голодом и расизмом, невежеством или колониализмом, нищетой масс или разжиганием вражды между народами.

Иначе говоря, социализм — это гуманистический ответ на прежнюю бесчеловечность, для нас он стал уже не мечтой, не словом, а реальностью, добытой в долгой кровавой борьбе, построенной, подлинной, конкретной, действенной, ощутимой на практике реальностью — и хватит уже вмешиваться в нашу работу, навязывать нам друзей, которых мы не желаем, твердить о врагах, которых у нас нет, хватит, наконец, выдавать нужду искусства старого общества за добродетель искусства нового, нашего общества.

Довольно с нас и возгласов о свободе, братских жестов и разговоров о равенстве, потому что мы, социалисты и коммунисты,— участники главного, мощного и победного движения истории; наша работа служит угнетенным всего мира, поэтому наши представления о братстве выше любых фраз, а наше понимание равенства и единства может служить примером для всех, кто, как и мы, ненавидит угнетение и эксплуатацию, как и мы, радуется победам эксплуатируемых и угнетенных.

Мы прекрасно знаем: на деле все бывает сложнее, чем выглядит сейчас на словах; приятней было бы ни с кем не спорить, поддерживать дружеские отношения чуть ли не со всеми в мире и предполагать добрую волю чуть ли не в каждом партнере.

Но пока что — и вероятно, так будет еще долго — наши дела, наши слова, наши книги участвуют в классовом споре, воспринимаются и понимаются как аргументы в этом споре.

Да, это так и еще раз так, и для наших писателей самые значительные произведения последнего десятилетия или даже десятилетий — это те, что помогли укрепить позиции мира: договоры между Советским Союзом и Соединенными Штатами, решения о приеме ГДР и ФРГ в ООН, договоры между двумя германскими государствами — все это имеет для нас первостепенное значение, ибо, несмотря на тягостные события последних трех месяцев, они означают: мир можно приблизить!

Классовая борьба сохраняет остроту

Но именно перед лицом этих достижений мы не вправе считать, что дело разрядки уже победило и разумное дружелюбие стало позицией всех спорящих сторон. Классовая борьба сохраняет свою остроту, пока существует империализм,— чтобы не забывать об этом, нам не нужен Ричард Никсон, поднимающий в воздух атомные бомбардировщики и призывающий человечество в могилы, потому что его сограж-

---

ГЕРМАН КАНТ
НАШИ СЛОВА — АРГУМЕНТ
В КЛАССОВОМ СПОРЕ

дане слишком надоели ему своими представлениями о чести и демократии.

Неослабного внимания требует от нас и обстановка у наших непосредственных соседей; тут теряет значение общность, существовавшая в истории и существующая в языке.

Там, правда, можно участвовать в демонстрации против чилийской хунты, но если эта демонстрация организована совместно с коммунистами, тебя исключат из крупнейшей партии государства — социал-демократической, потому что такое единство — примета народного фронта, и это очень напоминает о Чили до мятежа.

Учитель, заявляющий, что предприниматели нужны, чтобы рабочие могли жить,— там желательное и нормальное явление, но его коллега, который рассказывает своим ученикам о существовании классов и классовой борьбы, становится жертвой своего рода обезьяньего процесса подобно своим предшественникам по профессии, пропагандировавшим учение Дарвина.

Находящийся на государственной службе судья может назвать там концлагерь Дахау «своеобразной пекарней» — это происходит в 1973 году, и в том же году другому человеку отказывают в праве стать судьей, так как он принадлежит к партии, радикальной настолько, чтобы считать заступника Дахау не имеющим права быть судьей.

Там еще слишком многое остается по-старому, как бы ни хотелось нам верить в добрые перемены.

Вырвать товарища Луиса Корвалана из рук палачей

Это не значит, что мы не видим сил, стремящихся к новому и готовых к пониманию, что мы не видим разумных партнеров и прогресса в некоторых вопросах, но мы еще недостаточно верим в поворот Федеративной Республики, опирающейся на демократические силы в собственной стране. Нашей критической настороженности по отношению к западногерманскому обществу соответствует и отношение к некоторым организациям и объединениям, таким, например, как Союз писателей ФРГ.

Если свести все к простой формуле, то она будет звучать так: не каждый западногерманский писатель, покупающий билет на самолет в Москву, намерен участвовать там в Конгрессе миролюбивых сил — некоторые делают это для того, чтобы позлословить за дверями посольства о советской культурной политике; но тот, кто хотел встретиться с нами на Конгрессе миролюбивых сил, имел такую возможность: наш Союз и впредь можно будет встретить там, где пойдет речь о защите мира и культуры.

Сейчас есть на земле еще одно место, где нас наверняка может встретить каждый, кто нас ищет, и мы скажем «добро пожаловать» каждому, кто захочет с нами сотрудничать.

Мы готовы действовать сообща в вопросе солидарности с Чили.

Мы от всей души будем приветствовать всех, кто под общностью языка понимает совместное требование вырвать патриота и коммуниста Луиса Корвалана из рук тех, кто убил Альенде, Неруду и Харру.

Я заканчиваю свою речь словом в поддержку Чили, и вся наша дальнейшая работа должна быть словом в поддержку Чили.

Мы обращаемся к людям самоотверженным и эгоистичным, к мужественным и несмелым, ибо раны нанесенные в спину Чили, могут оказаться смертельными для всех нас.

Чили находится на дальнем краю далекого континента и в то же время в центре мира; фашизм — не географическое понятие, и права человека не становятся менее ценными из-за дальности расстояний.

Не может быть сомнений, что если примириться с бесчеловечностью в Чили—она воцарится во всем мире, если свобода растоптана в Чили — страдает свобода во всем мире, и когда речь идет о жизни Чили — идет речь о жизни всего мира.

Можно, во всяком случае, не сомневаться, что мы, писатели Германской Демократической Республики всегда будем там, где идет борьба за свободу, за гуманизм и культуру, за мир и социализм.

Перевод с немецкого М. СЕРГЕЕВА

Критика

В. БРИТАНИШСКИЙ

ПУТЬ К ПРОСТОТЕ

Поэзия Ярослава Ивашкевича

На протяжении тридцати лет Народная Польша трижды награждала Ярослава Ивашкевича государственной премией за его творчество в целом. Объем этого целого постоянно растет на наших глазах. Если каждый новый рассказ писателя (а «Собрание рассказов», изданное в Польше в 1969 г., составляло уже три огромных тома) вновь и вновь подтверждает давно сложившееся мнение об Ивашкевиче как о первоклассном мастере прозы, то каждая из последних трех книг стихотворений, выходивших в 1963, 1967, 1970 годах, каждый цикл стихотворений из появившихся в журнале «Твурчость» в 1971—1973 годах заставляют вдумчивого читателя и критика менять сложившиеся мнения, все больше и больше перемещать центр своего внимания от прозы Ивашкевича в сторону его поэзии. Меняется оценка удельного веса поэзии в творчестве Ивашкевича. Ивашкевич 60—70-х годов — это прежде всего именно поэт. Но в творческой биографии Ивашкевича нетрудно указать еще один период, когда его лирика преобладала над прозой подчиняла себе прозу. Так было в юности писателя, восьмидесятилетие которого в этом году совпадает с шестидесятилетием его творческого пути.

1

Выступая в Варшаве на юбилейных торжествах, организованных в его честь десять лет назад, в 1964 году, поэт говорил: «Глядя с этой вершины, ибо это, несомненно, вершина моей жизни, я задумываюсь над всем, из чего сложились моя судьба, мое творчество. Я смотрю на место, где стояла моя колыбель, овеянная сказками и песнями братского народа. Я гляжу на город на высоком берегу Днепра, город, который воспитал меня, я вспоминаю моих родителей, отца, который был участником восстания 1863 года, мать, которая связала меня с духом музыки...»

На первых страницах «Книги моих воспоминаний» (1957) мы видим домик семьи Ивашкевичей в большом саду, среди кустов сирени, с видом на пруд и деревню Кальник. В одной из комнат стояло фортепьяно. Среди впечатлений самого раннего детства — вальсы и мазурки Шопена, которые играла мать, первые уроки музыки, которые она давала сыну. В этом доме время от времени «появлялся слепой лирник Семен, он обходил дома... и крутил свою лиру, звук которой напоминал звучание клавесина; дрожащим голосом он пел думы и баллады о Пане Каневском и Сиротке Марысе».

«Дух музыки» пронизывал первые юношеские стихи поэта, учившегося в Киевском университете и одновременно в Киевской консерватории. Но в этих стихах можно было скорее расслышать звучание клавесина, чем простые напевы украинского лирника. В стихотворении «Липки весной» (вероятно, 1913 или 1914 года?) описывается аристократический дворцово-парковый район старого Киева, звучат мелодии экосезов и менуэтов:

Задумчиво и тихо в киевском
Сен-Жермен.
Вишни роняют наземь весенних платьев
трен...
Дрожит среди деревьев былых мелодий
мгла...

Вдали грохочет город... спешит к
прогрессу мир...
А здесь тихонько дремлют домики —
стиль ампир...

Лансье здесь танцевали и вальсы на три па.
И старых клавикордов еще слышна игра...

А в пору карнавала плясали млад и стар,
Играли экосезы и томный менуэт,
И вдоль поблекших залов шел тихий шепот пар...

И вновь цветут сирени, но в окнах жизни нет,
С ветвей последних вишен слетает белый цвет
На тротуары улиц, где все осталось так,
Как в дни, когда бывал здесь — сам Оноре Бальзак[1].

Вишневые деревья изображены молодым поэтом, конечно же, с натуры, но — после чеховского «Вишневого сада» — были уже символом. Чеховские декорации сменятся, но чеховские интонации этого юношеского стихотворения Ивашкевича неоднократно вернутся еще в его значительно более поздних рассказах.

Киев 1910-х годов был городом беспокойным, шумным и ярким. В 1910 году при известии о смерти Льва Толстого город вышел на улицы. В 1911 году здесь прозвучал выстрел, умертвивший Столыпина, и киевский генерал-губернатор опять отмечал «повышенное настроение среди жителей города Киева» и предупреждал их, что «возможные волнения» и «беспорядки» «будут подавляемы самым решительным образом»[2]. В 1913 году в Киеве открывается грандиозная и помпезная торгово-промышленная выставка. Киевские биржевики и промышленники воздвигают массивные здания банков и уютные особнячки, для увеселения новых хозяев жизни дают ся дивертисменты в закрытом театре, вспыхивают фейерверки в Купеческом саду.

Но в стихотворении Ивашкевича шум биржи, блеск модерна приглушены и притушены. Город торжествующей буржуазии остается где-то вдали, как бы за сценой. Мы входим в тихий и поблекший, как на картинах Борисова-Мусатова, умирающий мир обреченного русского дворянства, нездешний мир, все еще живущий отзвуками нездешней культуры прошлого и позапрошлого столетия. Стихотворение и начинается и кончается французским именем собственным, между этими двумя именами сконцентрировано необычное количество слов, заимствованных из французского: ампир, лансье, па, экосез, менуэт. Изысканная строфика. Изысканная рифмовка: в польском языке, где ударение обычно расположено на предпоследнем слоге слова, нормальной соответственно выглядит женская рифма, назойливое же повторение мужской рифмы на протяжении всего стихотворения звучало для польского слуха нарочито, как бы не по-польски, а по-французски.

В первой книге стихов Ивашкевича «Восьмистишия» («Oktostychy»), написанной до революции, в Киеве и на Украине, но опубликованной в Варшаве в 1919 году, по-прежнему звучат старинные танцы — менуэты, гавоты, исполняемые, по-видимому, музыкальной табакеркой, появляются старинные кремовые жабо, веера с картинками в манере Буше, царит дворцово-парковая атмосфера уже не киевских Липок начала XX века, а Версаля конца XVII века, с его рококо, с его «китайщиной» (chinoiserie), с его придворной оперой, Версаля, где

За веером с картинкой Буше — chinoiserie —
Прячет лицо Рагонда, открыв лишь брови и

Тюрбан и в нем алмазов дрожащие огни,
Твердя на все моленья седого раджи: фи!

А среди пальм и пагод, людей в сетях любви
И смеха попугаев над этими людьми

Играет менуэты, как Жан Батист Люлли,
На звонком тамбурине — брамин Тир-лир-ли-ли.

Стихотворение и называется по-французски «Indes galantes» («Галантная Индия»), напоминая об одноименном балете Рамо, о книге Верлена «Fêtes galantes» («Галантные празднества»), модной в 900-х годах, воскрешавшей дух рококо и вдохновлявшей, например, Дебюсси, когда он писал свой — доныне популярный и знакомый всем нам — ноктюрн для оркестра «Празднества», в котором французские музыкальные критики справедливо отмечали «верленизм а-ля Фрагонар».

Польский литературовед К. Заводзинский, учившийся когда-то в Петербургском университете и потому более чуткий, чем другие, к российскому колориту французских реминисценций раннего Ивашкевича, вспоминает в связи с книгой «Восьмистишия» не только Верлена, но и русского поэта М. Кузмина, и русского художника К. Сомова. Пожалуй, еще более уместно вспомнить здесь А. Бенуа, с его версальскими фантазиями. К. Сомов и А. Бенуа, которых современники называли «ретроспективными мечтателями», неотъемлемо принадлежат своему времени, своей стране, своему залу в Третьяковской галерее. Их творчество — характерный компонент русской художественной культуры начала XX века.

Даже экзотический брамин Тир-лир-ли из восьмистишия Ивашкевича становится на свое место, когда, перелистывая комплект журнала «Аполлон» за 1913 год, находишь «Письмо из Киева», автор которого среди текущих событий киевской театральной жизни упоминает пьесу для детей «Эликсир Тюр-люр-лю». В другой корреспонденции из Киева мы узнаем, что в городе в те годы в концертных программах уже начинал фигурировать Дебюсси.

За первой книгой стихов Ивашкевича стоит действительность, но это лишь худо-

[1] Здесь и далее, где имя переводчика не указано, стихи даны в переводах автора очерка.

[2] В автобиографическом рассказе, написанном сорок лет спустя, Ивашкевич вспоминает и смерть Толстого, и убийство Столыпина — «события, которые волновали всю тогдашнюю молодежь» (см.: Я. Ивашкевич, «Рассказы», М., ИЛ, 1958, стр. 464—465).

жественная действительность предреволюционного Киева, предреволюционной России. Характерна, например (и для культуры тех лет, и для книги Ивашкевича), повышенная театральность. Между прочим, Ивашкевич в киевские годы пробовал свои силы как актер в киевском польском театре-студии С. Высоцкой, известной актрисы, ученицы Станиславского; молодой поэт даже заведовал одно время в этом театре литературной частью.

Биографична и музыкальность «Восьмистиший». Много лет спустя, в своей книге «Встречи с Шимановским» (1947) Ивашкевич рассказывал, что в возрасте двадцати одного года он оказался перед проблемой: с детства он писал стихи, прозу, пьесы, но с детства же сочинял музыку и «вполне серьезно считал себя кандидатом в музыканты». За решением своей судьбы он обратился к жившему в то время в Киеве К. Шимановскому, другу и дальнему родственнику, высшему для юноши авторитету не только в области музыки. На суд композитору он принес цикл песен на слова Киплинга, поэму для двух фортепьяно и фортепьянную сонату. К. Шимановскому эти попытки показались недостаточно профессиональными, его юный друг «разочарованный вернулся домой и навсегда бросил сочинение музыки». Очень скоро, впрочем, именно К. Шимановский оказался первым, кто оценил и музыкальные ритмы лирической прозы молодого Ивашкевича, и «внутреннюю музыкальность», как он выразился, книги «Восьмистишия». Действительно, миниатюры этой книги отличают звонкость и звукопись; глубокие точные рифмы или, наоборот, изысканные редкостные ассонансы подкреплены внутренними рифмами, потоком льются аллитерации.

«Поэтом-музыкантом»[1] Ивашкевич остался на всю жизнь. Театральность же «Восьмистиший» он впоследствии сознательно преодолевал в своей поэзии и в прозе. Но в юношеском актерстве, в юношеских стилизациях, в юношеском эстетизме молодой Ивашкевич был самим собой. Поза его лирического героя — это его собственная тогдашняя поза. Вот как он описывает свою фотографию киевских лет: «Улыбаясь, я держал в руке большую белую маргаритку, как держит гвоздику юноша на картине Джорджоне».

Впрочем, некоторые восьмистишия заставляют предположить, что этот «юноша с цветком» уже ощущал разницу между изысканным и по-настоящему прекрасным:

Где вешние воды, Марыся? Прошли,
прошумели...
Остались лишь души, их вечные высшие
цели.

И дружбу и нежность, Марыся, умчало
теченье...
Лишь сложности жизни остались и
хитросплетенья.

Где запах сирени, цветенье весны
белопенной?
Остались лишь тайны пугающей темной
вселенной.

Где песенки те, что ты пела, их теплые
тоны?
Осталась нам холодность странной и
трудной канцоны.

Естественность живого чувства противопоставлена абстрактным метафизическим умствованиям, естественная и простая — скорее всего, народная — песенка Марыси противопоставлена ухищрениям композиторов. Даже самое имя Марыся заставляет вспомнить Сиротку Марысю из баллады слепого лирника Семена.

То, что тоска о простоте не была мимолетной, подтверждается интересным свидетельством — фрагментом из автобиографической повести «Месяц восходит» (1925), которая была в творчестве Ивашкевича своеобразным «портретом художника в юности», попыткой подведения итогов первого этапа пути. Начинающий поэт Антоний, alter ego автора, делится со своим приятелем Изидором тайной тоской о том, чтобы научиться писать просто. Изидор восклицает: «Ты и простота! Да ты ни одного простого стихотворения не сможешь написать; ты похож на барочный интерьер польского костела, с позолотой, с патетически искривленными фигурами ангелов и падших ангелов; до простоты тебе еще далекий путь, если вообще ты когда-нибудь до нее дойдешь.

— Ты ошибаешься,— сказал на это Антоний,—это не барокко, это как раз фрагменты простоты, они еще не сложились в целое, но кое-что уже намечается». Правы были оба собеседника: Антоний — в том, что кое-что уже намечалось, Изидор — в том, что путь к простоте предстоял еще далекий.

В праздничной, иногда легкомысленной музыке «Восьмистиший» слышалось юношеское ощущение бесконечности своих сил и возможностей, юношеское опьянение миром, воспринимаемым, жадно схватываемым всеми чувствами одновременно, как в стихотворении «Счастье»:

Держать, как каплю, на губах вкус
каждого мгновенья,
Взрезать решительным ножом страницы
свежих книг.

Атласом молодой руки брать пламя за
язык,
Всем телом чувствовать коня и мышц его
движенье.

Впивать глазами белый сад на звонком
синем фоне,
Натягивать и отпускать поводья на скаку.

Ступней смакуя твердый грунт, шагать
по большаку
И, как большой хрустальный шар, день
ощущать в ладони

[1] «Поэтом-музыкантом» назвал Чайковский в одном из своих писем «безусловно гениального», по его мнению, Фета: «...можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область... Это не просто поэт, скорее — поэт-музыкант...»

Весь дальнейший долгий творческий путь Ивашкевича, как удачно сформулировал польский литературовед К. Выка в статье о прозе писателя,— «упорная борьба за то, чтобы эту чуткость обратить к миру наиболее объективным образом... чтобы она начала служить многим сторонам мира, разнообразному богатству мира, а не масштабу личного лирического опыта».

2

В предисловии к «Собранию стихотворений» (1968), подчеркивая «единую линию развития» своей поэзии, от первого восьмистишия до последнего стихотворения восьмисотстраничного тома, Ивашкевич обращается к своей юности: «В моей юношеской повести «Месяц восходит» — которая остается, впрочем, моим любимым произведением, я сказал, что цель писателя — «познать мир, понять и выразить». Нужна была юношеская уверенность в себе, чтобы написать эту фразу. Потому что все эти три императива, поставленные перед писателем, в сущности, невыполнимы. «Познать, понять и выразить» — почти то же, что вычерпать ложкой океан...»

«Юношеская уверенность в себе» сменилась, как мы видим, у старого поэта трезвой оценкой своих сил и возможностей, но он не отказывается от выполнения своей юношеской, максималистской программы. В юношеском восьмистишии «Взлет» поэт собирался

...Поймать рукою дерзкой три мыльных
пузыря,
Три шарика стеклянных созвездья
Ориона.

Реальным взлетом оказались для поэта годы старости, отмеченные в его поэзии удивительным творческим подъемом, который породил у него ощущение этих лет как «вершины жизни», который позволил ему в эссе «О старости» (1964) утверждать, что «два есть возраста, когда каждый человек потенциально является поэтом: ранняя юность и поздняя старость». Трудно сказать, для всех ли имеет силу этот закон, для подобной статистики мало материала: Европа XX века, пережившая две мировые войны, поэтами, достигшими поздней старости, нища. Но то, что кривая поэзии самого Ивашкевича именно сейчас, в 60-е и 70-е годы, отмечена вторым — после юношеских лет — и гораздо более высоким максимумом, это бесспорно.

Книги стихов позднего Ивашкевича «Завтра жатва» (1963), «Круглый год» (1967), «Ксении и элегии» (1970), поэтические циклы, опубликованные в журнале «Твурчость» в 1971—1973 годах,— несомненно, вершина его поэзии.

«Глядя с этой вершины», он задумывался над недавно пройденной дорогой: «Если проследить путь этих стихов приблизительно так, как это сможет сделать читатель книги, можно заметить, что этот путь — постепенное приближение к простоте. Все проще становится ритм, рифма исчезает, остается лишь в зачаточной форме, а яркие краски метафор становятся приглушенными».

Сдвиги в поэтике Ивашкевича явились параллельно с давно подготовленными и назревавшими сдвигами в мироощущении. В своем долгом пути Ивашкевич отказывался все больше от необязательных атрибутов стиха, оставляя лишь самое необходимое. В то же время в его стихи входило все больше и больше людей. Недаром последним аккордом в «Книге моих воспоминаний» звучит «благодарность людям, которые дарили меня дружбой, любили или ненавидели — но из которых каждый обогащал, хоть одной частицей, мою возрастающую человечность».

3

В одном из стихотворений последней книги стихов Ивашкевича («Ксении и элегии») описывается поздняя осень:

...падают листья
красно-золотые

листочек-лехонь дождичек-тувим
падают на землю друг за другом

черные птицы
кружатся кричат
кароль тони юрек
и все убитые
ворочаются беспокойно в тучах

а мы присядем у камина
припомним лильку налку
полю пани марию
печеные яблоки
жареные каштаны
торт
и свечки на торте...

(Перевод Н. Астафьевой)

В поэзии позднего Ивашкевича элементы, свойственные фольклору, встречаются часто. В этом стихотворении фольклорные уменьшительные формы «листочек», «дождичек», фольклорный характер самих образов «листочек-лехонь дождичек-тувим» подчеркивают любовное отношение к обоим поэтам, Лехоню и Тувиму. Но параллелизм двух образов в этой строке — не только фольклорного, но и биографического происхождения. В «Книге моих воспоминаний» (1957) двум поэтам тоже была посвящена объединяющая их глава: «Лехонь и Тувим».

В последующих строфах перечисляются уже не фамилии умерших, а их имена, причем в той форме, в какой обращались к этим людям или говорили о них лишь в узкой литературной среде или даже только в кругу друзей. Композитор Кароль Шимановский и помянутый в одной строке с ним Юрек — поэт Ежи Либерт, который, как и Шимановский, умер от туберкулеза, но совсем молодым, 27 лет. Когда-то, шестнадцатилетним юношей, Либерт принес первые стихи в редакцию варшавской газеты, в которой Ивашкевич вел в то время отдел искусства и литературы; с тех пор Юрек Либерт был частым гостем в доме Ивашкевича. Поэтесса Мария Павликовская (Лилька), писательницы

Зофья Налковская (Налка), Поля Гоявичиньская. Пани Мария — вероятно, Мария Домбровская.

Читатель не знает многих упомянутых лиц и подробностей, но это не столь важно: не мешает же нам читать переводы из Катулла незнание почти всех упоминаемых им римлян и римлянок. Читатель получает главное: ощущение автобиографичности лирики, ее подлинности, достоверности. Авторский образ (о «лирическом герое» здесь уже говорить не приходится) предстает в житейской конкретности, в полноте его связей с окружающими. Литература здесь находится на самой грани с нелитературой: дневниками, письмами, застольными беседами друзей, семейными альбомами. Но Ивашкевич в своей лирике не переходит эту грань. Именно то, что мы не знаем всех подробностей внешней, а тем более душевной жизни автора, то, что читатель вынужден, для заполнения «пробелов», привлечь свой душевный опыт, свои воспоминания,— именно это придает реалистической лирике позднего Ивашкевича необходимую обобщенность. Частные дружеские связи становятся частным случаем и символом родства и братства людей.

Не случайно рядом с умершими, названными поименно, в стихотворении присутствуют еще многие и многие убитые в годы войн, объединенные словом «все», как братской могилой. В одном из рассказов Ивашкевича, написанных в годы оккупации, встречается тот же образ падающих листьев, что и в рассматриваемом стихотворном фрагменте: «Даже когда ты не очень стар, безотносительно к катастрофам, сотрясающим бытие человечества, поражает число существований, которые опадают, как листья, не нужные растению, возносящемуся все выше...» Именно в страшные годы оккупации и массовой гибели людей родилось у писателя то чувство, которое лучше всех определил М. Пришвин — «отношение ко всему телу человечества, как к своему собственному».

Книга стихов Ивашкевича «Завтра жатва» (1963) завершается «Эпилогом»:

Те что погибли
Те что уцелели
Те что прогуливались в оливковой роще
Те что собирали землянику
Те что убиты в Сандомире
Старые матери плакавшие в кафе
в Риме и в Париже
Те что читали Конрада...

. . . . . .

...Те что летели равнинами облаков
шли горами угля
Те которых я очень любил

Войдут со мною парами в этот Ковчег
который перевезет их через моря мрака

Гораций и его подражатели многих веков искали в поэзии памятника лишь для себя лично. Для современного поэта, пережившего две мировые войны, искусство имеет смысл, если оно может спасти от забвения не только его одного, но и всех людей, среди которых он жил, которых любил.

Как всякая настоящая лирика, это стихотворение Ивашкевича обладает обобщающей силой, борьба за спасение погибших из мрака забвения перерастает в борьбу за спасение живых от грозящей им в случае новой мировой войны массовой физической гибели. Такое прочтение стихотворения тем более правомерно, что в первые же послевоенные годы Ивашкевич, потрясенный войной прошедшей, становится деятельным борцом против войны, грозящей человечеству вновь и вновь. Как председатель Польского комитета сторонников мира, член Всемирного Совета Мира, Ивашкевич в эти годы постоянно участвует в конгрессах, конференциях, симпозиумах в городах и странах Европы и за пределами Европы. Плодом его поездки в 1948 году в Буэнос-Айрес и другие города и районы Южной Америки явилось «Путешествие в Патагонию» — поэма с комментариями, как определяет жанр сам автор. Несомненно ораторское звучание многих фрагментов этой поэмы (или, скорее, стихотворной сюиты), сам Ивашкевич в одном из комментариев говорит о том, что образцом для него были здесь поэмы Пабло Неруды.

Ораторские интонации, отзвуки Уитмена и Неруды можно расслышать и в верлибрах «Эпилога». Но среди верлибров Ивашкевича 60—70-х годов «Эпилог» — почти единственный пример верлибра ораторского. С классическими для этого типа верлибра стихами Уитмена сближает приведенные выше строки «Эпилога» подчеркнутая сквозная анафора (единоначатие), объединяющая начала строк («Те что...»): по подсчетам американских стиховедов, 2/5 строк Уитмена связано анафорой с соседними. Но, в отличие от Уитмена, интонация позднего Ивашкевича — сдержанная, голос — негромкий. Такова теперь эстетическая позиция поэта, прямо сформулированная в концовке одного из стихов книги «Ксении и элегии»:

...каждое слово выросло выкриком
но кричать по ночам нельзя
поэтому тише тише
произноси стихи

(Перевод Н. Астафьевой)

Не только в «Ксениях и элегиях», но и в книге «Завтра жатва» преобладает интонация элегическая, раздумчивая. Вот одно из характерных для этой книги стихотворений:

Колосья поникшие
колосья стоящие гордо
наравне с облаками плывущими на горизонте
колосья как спины лыжников прыгающих с трамплина
колосья овса как страусовые перья
колосья как толпы испуганных
сдающиеся доверчиво
колосья смерти
колосья жизни

Завтра будет жатва

(Перевод Н. Астафьевой)

В. БРИТАНИШСКИЙ

ПУТЬ К ПРОСТОТЕ

Внешний графический рисунок стихотворения отвечает музыкальному рисунку, движению интонации в стихе. Анафора («колосья... колосья») связывает строки крепче, чем любая рифма. Строка «завтра жатва» (вариант: «завтра будет жатва») проходит сквозным рефреном через весь этот цикл, она вынесена в название цикла и всей книги.

В монографии (1966) о поэзии раннего Ивашкевича польский литературовед Е. Квятковский подметил, что в первой книге поэта было много названий садовых цветов, но совсем не было хлебных злаков, хотя реальный пейзаж Украины — прежде всего хлебные поля. В книге позднего Ивашкевича «Завтра жатва» хлеб становится самым личным и самым важным в природе, символом жизни и смерти. Земля, рождающая хлеб, бессмертна. Бессмертна и вот эта старуха, потому что она окружена внуками:

Бабуся возле порога
играет с внуками в карты
и косится на небо
наползает огромная синяя туча
опять видно будет дождь
а завтра жатва...

(Перевод Н. Астафьевой)

Бессмертна эта старуха, бессмертно и человечество в целом, потому что рождаются все новые и новые дети:

Новые дети
такие же самые как те что бежали за
мной
в переулок святой Барбары
бархатцы астры георгины

дети с голыми ножками
я уже знаю чему будут служить эти
ножки
когда созреют как фасоль как репка
дети не знают

стоят смеются шелестят собою
такие же самые...

(Перевод Н. Астафьевой)

Вот оно, «отношение ко всему телу человечества, как к своему собственному». Близость Ивашкевича и Пришвина не случайна: оба поэта (Пришвин называл себя «поэтом, распятым на кресте прозы») — наследники Л. Толстого и Чехова. «Можно сюжетом объединить предметы, а можно любовью — просто родную землю и людей, как сделал это Чехов в «Степи», — говорил Пришвин. К этой «любви» восходит творческий метод самого Пришвина: «родственное внимание к личности всяких живых существ в природе, не только людей». Творческий метод позднего Ивашкевича во многом напоминает эту «любовь» Л. Толстого и Чехова, «родственное внимание» Пришвина, «доброту» Паустовского (как выразился Ивашкевич в очерке о нем).

В послевоенные годы Ивашкевич переводил на польский язык любимые книги: «Смерть Ивана Ильича» Л. Толстого, «Степь» и «Крыжовник» Чехова, «Суходол» Бунина. Особенно часто и охотно он высказывается о творчестве Л. Толстого. «Любовь Толстого,— писал он в 1964 г. в предисловии к новому польскому изданию «Войны и мира»,— была огромная и всеохватывающая... Она обнимает не только человека, но и всю «тварь», а прежде всего окружающую его природу. В выражении этого чувства видит Толстой цель художественной деятельности...» В этом же видит цель творчества сам Ивашкевич.

«Родственное внимание» позднего Ивашкевича охватывает все живое, не только людей. Уже оглавление третьего, последнего тома «Собрания рассказов» показательно в этом смысле: «Белочка» (1959), «Рассказ с собакой» (1964), «Рассказ с котом» (1964). В одном из этих рассказов писатель прямо признается: «Я заметил в последнее время, что стал особенно внимателен к судьбам, даже к настроениям животных».

В книге стихотворений «Круглый год» (1967) большое место занимает семичастный цикл (как бы своеобразная музыкальная сюита) «Купание коней», связанный с воспоминаниями отрочества и юности. Для русского читателя название цикла неизбежно ассоциируется с Петровым-Водкиным, чтение стихов лишь усиливает это ощущение, причем перед глазами встает не только знаменитое «Купание красного коня» (1912), но и сопутствующие картины художника, написанные в те же годы — годы юности Ивашкевича,— «Играющие мальчики» (1911), «Купающиеся мальчики» (1916). Вот второе стихотворение цикла (в переводе, так же как в оригинале, верлибр почти полностью «замещен» регулярным пятисложным размером, знакомым русскому читателю по «Песне о Соколе» Горького или, например, по стихотворению Бунина «Дымится поле, рассвет белеет...»):

Настанет лето
сброшу одежду
и совершенно голый
коня поймаю
и въеду в воду

...будут над речкой
Юзек и Янек
бренчать весь вечер
железной цепью

кричать: довольно
коней утопишь
и вот мы мчимся
все вместе

опять нас трое
голых
и мокрых

пахнущих речкой
и свежим сеном
как в то далекое время

Финал этого цикла автор назвал по-латыни: «Conventio ad creaturas», что можно перевести как «договор со всею живою тварью». Здесь действительно декларируется братство живых существ:

...прильни к живому существу
ни брату-псу ни брату-коту
не пожалей тепла

доверься мускулам коня
он пролетит как птица
переплывет
глубины

не нужны ни ружье ни западня
ни звуки рога и трубы
ни зверь лесов ни дичь болот
ни голуби
ни павлины...

Нельзя убивать птиц, птицы — тоже братья. В одном из новых циклов Ивашкевича («Твурчость» №7, 1972) птицам посвящено несколько стихотворений. В заглавном стихотворении «Птицы» речь идет даже не о братстве, а, по существу, о тождестве, автор пишет от первого лица:

Присядем перед дальней дорогой
на распускающейся ветви

не будем как эти глупые дикие гуси
которые улетели на север
крича на целое небо...

(Перевод Н. Астафьевой)

Стихотворение «Птицы» полно грусти поэта, полно ощущения последнего отлета далеко-далеко, туда, откуда не возвращаются. Но к читателю оно обращено светлой стороной:

...глянь в воде прозрачной
скачут живые рыбы

под расцветающим деревом
скачут живые дети

мир такой прекрасный
присядем на краткое мгновенье

на цветущей ветви
перед дальним отлетом

(Перевод Н. Астафьевой)

«Я никогда не писал без мысли о читателе,— говорит Ивашкевич в предисловии к «Собранию стихотворений» (1968).— Мои сочинения всегда были диалогом: читателю принадлежит в них тот «внутренний голос» — innere Stimme,—который звучит, затаенный, в некоторых произведениях Шумана. Я всегда старался сказать читателю: «Может быть, сам я действительно печален, но посмотри, как прекрасен мир!»

В «Рассказе с собакой» лирический герой разговаривает с таинственным собеседником, владельцем большого черного пуделя (что заставляет предположить в незнакомце Мефистофеля; догадку подкрепляет и эпиграф к рассказу, взятый из «Фауста»).

«— Хаксли,— сказал я,— утверждает, что доказательством существования бога являются последние квартеты Бетховена. Почему же нельзя сказать, что доказательством существования мира являются стихи? Конечно же так... Каждый раз, когда я слышу очень хорошие стихи, что-то сжимает мне сердце... И одновременно я конкретно ощущаю осязаемость мира...»

Разумеется, доказательством существования мира может быть и очень хорошая проза. Спрашивая себя, почему так пластичны у Толстого осеннее прозрачное утро на поле битвы под Бородино или описание сенокоса на лугах в «Анне Карениной», каким путем дошел Толстой до такого умения, Ивашкевич отвечает, что это не был «путь формальной красоты», что эти описания «можно проанализировать с точки зрения лексики и ритма, но в них обязательно останется какая-то частица, которую объяснить можно лишь с помощью «raison du cœur» [1].

4

«Raison du cœur» — «разум сердца» — согревает и освещает поэзию позднего Ивашкевича. Это не значит, однако, что анализ лексики и ритма и других «формальных» сторон этой поэзии оказался бы бесполезным. Наоборот, такой анализ значительно обогатил бы наши представления о содержании стихотворений. Польский литературовед К. Выка писал о прозе Ивашкевича, что ее типичный образец — это «рассказ, содержащий на дне существенную философскую, точнее, мировоззренческую мысль; рассказ, который передает эту мысль выразительным движением событий, а не комментарием или дискурсивной вставкой». Точно так же верлибры позднего Ивашкевича выражают содержащуюся «на дне» мысль «выразительным движением» ритма.

Есть, впрочем, во всех трех последних книгах стихов Ивашкевича стихотворения, полностью выдержанные в регулярном размере. Иногда это белый стих, как в стихотворении «Старые женщины», открывающем собой цикл «Ксении и элегии»:

Три женщины старых
За столом накрытым
За скатертью белой
Ждут звезду Христову...

(Перевод А. Эппеля)

Стихотворение это своей тематикой, лексикой, ритмикой напоминает польские народные колядные песни из рукописных и печатных сборников XVII века. Во второй строфе стихотворения характерный для фольклора параллелизм, присутствующий с самого начала («за столом»— «за скатертью»), оборачивается уже и рифмой, причем, что опять-таки характерно для фольклора, рифмой простейшей, глагольной:

Молодым не ждется
Водку поглотали
Сладку рыбу съели
Кости покидали...

(Перевод А. Эппеля)

В книге «Круглый год» несколько стихотворений выдержано в размере пеона третьего (четырехсложника с ударением на третьем слоге). Стихи — рифмованные. Вот строфа из стихотворения «Июль»:

...золотые копны хлеба
в сетке синего шпагата
реки справа реки слева
Бзура Мрова и Пилица
и Утрата...

(Перевод А. Эппеля)

[1] «Raison du cœur — *(франц.)* — выражение Паскаля, сказавшего: «У сердца есть свой разум, которого разум не знает».

Вот, наконец, рифмованный четырехстопный ямб, каким написано одно из стихотворений в книге «Завтра жатва»:

...И пусть войдут размыв дороги
и веток вишенных сплетенье
и те рога и те разлоги
во влажное стихотворенье...

(Перевод А. Эппеля)[1]

То, что верлибры и неверлибры Ивашкевича оказываются эстетически совместимы в одной книге, обеспечивается присутствием многочисленных промежуточных, «смешанных» форм, «полуверлибров», с их строфикой, эпизодической рифмовкой, эпизодической метричностью. Словом, присутствие неверлибров в книге верлибров оказалось возможным. Но зачем оно нужно? Что хочет Ивашкевич этим сказать?

Соседство верлибра и неверлибра в последних книгах стихов Ивашкевича призвано демонстрировать единство и преемственность поэзии, соотнесенность любого нового стихотворения со всем, что было написано до него другими поэтами. Тем самым снимается и оппозиция «верлибр — неверлибр», как оппозиция, преодоленная синтезом прежних и новых поэтических форм.

5

В поэзии позднего Ивашкевича снимается, преодолевается и еще одна оппозиция: между «поэзией природы, натуры» и «поэзией культуры». Эта оппозиция присутствовала в его собственном творчестве с первых же шагов как противоположность и несовместимость «песенки» и «трудной канцоны». Она же приводит иногда к поляризации поэтов, из которых одни становятся только поэтами культуры, поэтами искусства, поэтами совершенства, другие — только поэтами натуры, поэтами естественности, поэтами простоты. Типичное стихотворение позднего Ивашкевича — и «песенка» и «трудная канцона» одновременно.

В воспоминаниях о Шимановском (1947) Ивашкевич рассказывает, как удивила его, еще юношу, фраза композитора о вариациях Бетховена на тему Диабелли: «Это вовсе не красиво, здесь нет красоты. Но зато сколько здесь музыки!» Видя удивление собеседника, Шимановский утешил его: «Ничего, когда-нибудь поймешь. Будешь искать не красоту, а только музыку».

«Доныне,— продолжал Ивашкевич,— звучат у меня в ушах эти слова, которые так меня удивили тогда и столько раз приходили в голову потом, не только в отношении музыкальных произведений».

Не эти ли слова покойного композитора приходили в голову поэту двадцатью годами позже, в 1967 году, когда, обращаясь к молодым, он советовал писать, «не уступая соблазнам сделать «красиво»?

Проблема простоты в поэзии и в любом искусстве — сложнейшая проблема и для самих художников, годами ищущих свой личный путь к ней, и для исследователей искусства. «Нет ничего труднее, чем брать вещи такими, каковы они суть на самом деле»,— говорил Гёте. «Она всего нужнее людям, но сложное понятней им»,— говорил о простоте выстрадавший ее Пастернак.

Проблема простоты включает в себя в скрытом виде (но не в снятом виде — снять их удается далеко не каждому!) целый ряд частных, тоже достаточно сложных проблем. Такова, например, проблема противоречия между бесконечностью жизни и конечностью, жесткостью рамок искусства, его форм, его норм и правил, жесткостью рамок отдельного произведения. Об этом пишет Ивашкевич в стихотворении, открывающем цикл «Окно и дерево» и книгу «Ксении и элегии»:

Окно открыто.
Прямоугольник окна и ночь.
Что поместится в этом окне?

Поместится ли осенний туман?
Поместятся ли похороны?
Поместится ли шествие,
Медленно идущие лошади?

Стою и вглядываюсь
В глубь мира
Сквозь эту тесную раму.

Поместится ли в ней моя жизнь?
Поместится ли дерево?

(Перевод Н. Астафьевой)

Пусть останется открытым и этот очерк, в котором, конечно же, не поместилась поэзия Ярослава Ивашкевича.

[1] Стихи Я. Ивашкевича в переводах А. Эппеля см. в «Иностранной литературе» № 7, 1969 г.

Критика

В. БЕЙЛИС

ДОРОГА

Заметки о современной нигерийской драме

«Если драма представляет собой изящную имитацию существенного для людей действия, если она является изображением или воплощением одного или группы образов, если жизненные элементы такого изображения или воплощения — это речь, музыка, ритуал, песня, соединенные с танцем и пантомимой, и если, как говорят японцы о своем театре Но, поставлена цель открыть уши разума у зрителя и раскрыть ему глаза на красоту формы,— тогда драма в полной мере существует в Нигерии с тою же определенностью, как в Китае, Японии и Европе». Этими словами открывается одна из статей известного нигерийского литератора Джона Пеппера Кларка [1].

Итак, по свидетельству писателя, в нигерийской литературе наряду с лирическим и эпическим родами развивается и драматический. С произведениями, принадлежащими к первым двум родам, советский читатель знаком и, должно быть, вспомнит имена романистов Чинуа Ачебе и Киприана Эквенси, поэтов Кристофера Окигбо, Денниса Осадебея и других. Нигерийская драматургия у нас неизвестна, хотя она и появилась почти одновременно с романом, опережая в своем росте другие жанры молодой литературы.

В основе современного театра Нигерии лежат два одинаково мощных начала — европейский театр и традиция фольклорного драматического действа. В настоящее время драма — фактически единственный род литературы, доступный широким слоям населения страны, в массе своей еще неграмотным. Для того чтобы приобщить как можно больший круг людей к искусству, драматург должен обращаться к понятному всем материалу и более или менее привычной системе условностей в художественном оформлении этого материала.

Европейское влияние (а оно выразилось в интересе писателей и к Брехту, и к театру абсурда, и в увлечении английской драмой елизаветинских времен, и во внимательном изучении древнегреческой трагедии) осталось бы совершенно бесплодным, не будь этой возможности опереться на традиционный народный театр.

Пьесы, вобравшие в себя традиционные народные воззрения и мифологию, находят самый восторженный и горячий прием у любой аудитории. Нетрудно вообразить себе, что происходит на представлении, например, пьесы Воле Шойинки «Дорога», в которой изображается ежегодный праздник бога Огуна, до сих пор почитаемого кузнецами, водителями, механиками. В сельских районах спектакли даются на открытом пространстве. Зрители — население нескольких деревень — на таких спектаклях не просто смотрят, но активно участвуют в представлении, вслух одобряют или осуждают поведение персонажей, поют и даже танцуют вместе с исполнителями.

Ориентированность драмы на фольклорный материал делает пьесы приемлемыми и понятными не только для нигерийской интеллигенции, которая отлично знакома с теорией и практикой мифотворчества, но даже для неискушенного читателя и неграмотного зрителя. Европейский же читатель, незнакомый с африканскими истоками нигерийской драматургии, может, пожалуй, принять эти произведения за элитарную литературу и объявить интеллектуальной переусложненностью как раз то, что элементарно ясно любому крестьянину в Нигерии.

[1] J. P. Clark. Aspects of Nigerian drama "The example of Shakespeare", 1970, p. 76.

Преимуществом африканских литераторов является то, что в отличие от большинства своих западных собратьев они могут апеллировать к еще живой мифологии. Жизнь современной Нигерии с ее бурной, принимающей подчас уродливые формы, урбанизацией, с ее внутригосударственными конфликтами, которые разрешаются с помощью новейшего оружия,— все это сосуществует с мифологией не только в пьесах, но и в действительности.

Развитие нигерийской драматургии связано в первую очередь с именами Воле Шойинки и Джона Пеппера Кларка. Оба писателя родились в одном и том же 1935 году, оба окончили университет в Ибадане (Шойинка учился также в Англии в университете Лидса, где изучал драматургию и театр). Самый расцвет их молодости — двадцатипятилетие,— а также начало их постоянной творческой деятельности совпали с годом получения Нигерией независимости. 1960 год вошел в историю под названием «год Африки».

Писатели пробовали свои силы в стихах, прозе, критике, эссеистике; оба оказались наиболее удачливы в стихах и драме. Кларка и Шойинку называют в Нигерии и за ее пределами «университетскими умами». Напомним, что так же называли английских драматургов — старших современников Шекспира: К. Марло, Р. Грина, Т. Кида, Р. Пиля. Вполне возможно, что это название определяет и значение Кларка и Шойинки для нигерийской литературы. Титул «университетские умы» следует понимать не только в том смысле, что те, кто его носит,— широкообразованные люди, интеллектуалы или «интерпретаторы» (по выражению В. Шойинки). Высокое звание означает, что в этих писателях — надежда молодой литературы, что в их произведениях «отразился век» и, наконец, что общество готово признать их своими учителями.

И писатели всматриваются в общество и в человека с яростью и мучениями, с нетерпением и восторгом, с отчаянием и смутной надеждой. Сердцем они сострадают человеку, чьи представления о мире и самая жизнь которого рушатся под жестоким напором неумолимых законов буржуазного общества или реакционных сил так называемой «традиционной» Африки. Умом они регистрируют малейшие перемены, большие и малые процессы, происходящие в жизни страны. И соединение «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» дает яркую картину нигерийской действительности, в которой постоянно ощущается присутствие темпераментного художника.

Актуальность пьес Кларка и Шойинки неустанно отмечается африканскими, европейскими и американскими критиками, которые сопоставляют пьесы с событиями текущего дня. И такое сопоставление вполне справедливо, если только не считать, что злободневность является единственным оправданием художественного произведения. Тем более что чувство современности нередко вступает в конфликт со злобой дня. В нашей статье мы будем говорить о таких, по видимости, «частных» вопросах, как символы, метафоры, аллегории, для того чтобы расширить понятие «актуальность», чтобы попытаться обнаружить те глубинные мировоззренческие системы и идеологию, которые обусловили содержание пьес Кларка и Шойинки и мощно проявились в их образной системе.

Рассказ о современной нигерийской драматургии целесообразнее всего было бы начать с книги Джона Пеппера Кларка «Три пьесы». Произведения, помещенные в сборнике («Песнь козла», «Маскарад», «Плот»), составляют своеобразную трилогию о человеческой судьбе, о борьбе с роком и победе рока, о бесплодии, смерти и проклятии. Свою первую пьесу Кларк назвал так, что если бы ее перевели на древнегреческий язык, то ее название звучало бы — «Трагедия» (tragos — козел, ode — песнь; трагедия — песнь козла). Критики прошли мимо этого совпадения, а мы останавливаем на нем внимание не ради курьеза, но потому, что нам представляется интересной возможность сопоставления нигерийской драмы с античной. Нигерийская драма — в той мере, в какой она обусловлена фольклорным драматическим действом,— как и античная, сохраняет непосредственную и близкую связь со своими истоками. Истоки нигерийской драмы достаточно очевидны — это традиционные фестивали йоруба и иджо, организуемые «тайными союзами» и опирающиеся на ритуал посвящения и похоронные обряды, а также на представления о плодородии, рождении, смерти и бессмертии. Истоки греческой трагедии обнаруживаются в праздничных представлениях, связанных с культом Диониса, который мыслится как умирающий и воскресающий бог. Часто Дионис изображался в виде козла; козлы приносились ему в жертву. Разрывая козла, люди как бы терзали самого бога, чтобы, поедая козлятину, вкусить божественности Диониса. Об умирающем и воскресающем боге Кларк написал большую пьесу «Озиди». Что же касается козла, то в Африке, как и в Элладе, он является жертвенным животным и его убивают в ритуальных целях.

Пьеса «Песнь козла» рассказывает о судьбе семьи рыбака Зифы, который после рождения своего первого сына стал импотентом. Его жена Эбьере — женщина в расцвете сил, страстно жаждущая детей,— обращается за советом к деревенскому мудрецу, хромому предсказателю Массажисту. Массажист пытается внушить Эбьере, что предки одобрили бы ее поведение, если бы она родила ребенка от младшего брата Зифы — Тони. То же самое мудрец говорит и Зифе. Но оба они с возмущением отвергают совет старика.

В семье Зифы есть еще один персонаж — полубезумная пророчица Орукорере, тетка рыбака. Это своего рода африканская Кассандра. Некогда духи воды наделили юную красавицу пророческим да-

ром, но ее обуяла гордыня, и слова ее стали непонятны людям. Туманный смысл мрачных предсказаний Орукорере неясен даже для членов ее семьи. Никто не в состоянии растолковать ее слов о криках козла, которого задирает в лесу леопард. Проклятие нависло над всем родом Зифы.

Слова Массажиста оказывают свое подспудное действие на Эбьере, и она соблазняет Тони, который неистово борется с искушением, но не в силах ему противостоять. Узнав о беременности Эбьере, Зифа решает совершить жертвоприношение — зарезать козла, чтобы избавить дом от нечистой силы. Начинается зловещий ритуал: Зифа отрезает козлу голову и швыряет ее в горшок, в котором Эбьере готовит пищу. И этот магический акт, направленный против жены и ее еще не родившегося ребенка, оказывает немедленное действие: горшок разламывается — Эбьере с криком выбегает из комнаты — у нее выкидыш. Свидетель этих событий Тони кончает жизнь самоубийством. Увидев качающегося в петле брата, Зифа в приступе отчаяния и угрызений совести бросается в воду. О его гибели рассказывает хор соседей. Услышав о смерти Зифы, Орукорере хватает масляную лампу и вдребезги разбивает ее. «Пусть никогда больше не будет света в этом доме»,— говорит она, и это последние слова пьесы.

В центре второй пьесы трилогии — «Маскарад» — двое любящих молодых людей. Они готовятся к свадьбе, но свадьба расстраивается из-за того, что о женихе — чужом для деревни человеке—рассказывают, что он появился на свет от связи матери с младшим братом ее мужа. Мать его при родах умерла, а, по поверьям иджо и многих других африканских народов, ребенок, появившийся на свет при таких обстоятельствах, считается убийцей своей матери. Оказывается, что молодой человек — сын Эбьере и Тони, героев первой части трилогии, и что над ним тяготеет то же проклятие, что и над всем его родом. Невеста пренебрегает этим и полна решимости уйти с юношей, тогда отец убивает ее, чтобы проклятие не пало на всю его семью. Но поздно: тень проклятия уже легла и на его род. Мать девушки сходит с ума; она появляется с кошкой на руках, принимая кошку за свою убитую дочь. В исступлении юноша набрасывается на отца возлюбленной. Завязывается драка, в которой юноша погибает, убитый случайным выстрелом.

Третья пьеса—«Плот» — ни своим сюжетом, ни персонажами не связана с первыми двумя, но и по своему содержанию, и по образной системе своей она, безусловно, должна быть включена в трилогию. Здесь, как и в других пьесах, Кларка занимает тема бесплодной борьбы человека с роком и одиночества человека в борьбе. В этой пьесе меньше, чем в других, трагедийного пафоса; стычки героев между собой носят характер обыкновенной свары, но персонажи ведут себя так же: они боятся примет, пытаются избежать судьбы, обещают богам жертвоприношения—и гибнут; гибнут один за другим четыре персонажа пьесы: Олоту, Огро, Ибобо и Кенгиде.

Сюжет пьесы таков. На плоту в дельте Нигера — четыре человека. Они ругаются, ссорятся, сквернословят, вышучивают друг друга. Неожиданно плот срывается с якоря и плывет по течению. Люди на плоту вначале не придают этому значения, и перебранка продолжается, но через некоторое время становится понятно, что плот попал в водоворот. Олоту хочет спасти плот; он подходит к его краю, чтобы зацепиться за что-нибудь, но зацепиться не за что: сдишком глубоко. Внезапно плот с треском раскалывается, и Олоту остается на отколовшейся части плота один. Он кричит от ужаса, но прыгать боится — не умеет плавать. Олоту относит все дальше и дальше, и вскоре друзья теряют его из виду.

На реке появляется пароход, но он проходит мимо, как будто капитан не заметил терпящих бедствие. Огро, который не может поверить, что его не спасут, бросается, несмотря на протесты друзей, в воду и вплавь добирается до парохода. Но когда Огро хочет взобраться на борт, его бьют по рукам железными прутьями. Он теряет силы и тонет.

На плоту остаются двое — Кенгиде и Ибобо. Они подплывают к порту, видят огни города, в их сердцах теплится надежда, но опускается туман, спрыгнуть в воду они не могут, кричат, зовут на помощь и в ответ слышат лишь такие же испуганные возгласы, доносящиеся с земли. «Плот» кончается неожиданно двусмысленной ремаркой автора: «Огни!» (Восклицательный знак принадлежит Кларку.) Что означает это «Огни!» после того отчаяния, которое изобразил автор? Значит ли это, что герои спасены (то есть туман рассеялся), или эта ремарка означает свет в зале, как слово «занавес»? Что это — спасение или конец?

Пьесы Кларка истолковывались по-разному: прямолинейная интерпретация политического смысла трилогии уступала место попытке символического толкования. Один из африканских критиков пишет: «Когда пьеса «Плот» была впервые поставлена в Ибаданском художественном театре в апреле 1965 года, среди зрителей широко распространилось мнение, что пьеса изображает Нигерию, увлекаемую течением, перед лицом настоящей опасности, а четверо персонажей олицетворяют четыре региона страны. Раскол плота истолковывался как намек на возможное отделение восточного района страны». Тот же критик утверждает далее: «Можно, конечно, дать «Плоту» также и экзистенциалистское истолкование. В этом случае плот будет изображать мир, неудобный и ненадежный мир, кишащий москитами и жуками, на который человек обречен с самого рождения и в котором он брошен на волю течения, несущего его к неминуемой гибели. И если это так, то люди на плоту с самого начала мертвы и борьба бес-

полезна, потому что они могут поддерживать лишь видимость жизни до тех пор, пока решительно не утвердится реальность»[1].

Пьесы Кларка многозначны и поддаются самым различным интерпретациям. Трудно отрицать, что произведения драматурга содержат в себе отклик на события социальной жизни страны, хотя наивно полагать, что расколовшийся плот являет собой вульгарную аллегорию. Нет оснований сомневаться и в знакомстве Кларка с философией и искусством экзистенциализма. Однако ни то, ни другое не сможет объяснить своеобразия пьес этого автора, особенности драматургического творчества которого заключаются в последовательном обращении к мифологическим воззрениям народа иджо. Мы имеем в виду не только прямые упоминания различных божеств и духов, не только указания на тот или иной обряд и ритуал, но прежде всего представления о жизни и смерти, о воде, о приливе и отливе, о земле и т. д., а также метафоры, образы и характеры, основанные на этих представлениях. Это вовсе не означает, что мировоззрение современного писателя мифологично; дело в том, что правдивый художник не может пренебречь тем видением мира, которым обладает его народ и с которым он не желает расставаться даже под сильнейшим давлением Запада. Это не значит также, что в конфликте старого и нового в Африке писатель безоговорочно стоит на позициях строго традиционных; просто, констатируя болезненный и резкий характер перемен, художник ставит под сомнение не сами перемены, но те способы, при помощи которых новое добивается победы. Кларк предупреждает, что такая победа может оказаться пирровой.

Образы, символы и характеры в пьесах Кларка, как и в мифологических представлениях, переплетены в такой тугой узел, что порой трудно бывает понять, о чем идет речь: о земле или о женщине, о горшке, о доме или о материнской утробе, о выжженном и запущенном участке или об импотенции и бесплодии. При этом ни земля, ни женщина, ни дом не бывают сами по себе ни хороши, ни плохи. Отрицательный или положительный знак эти образы получают в зависимости от приложенного к ним определения. Все образы пьесы «Песнь козла» призваны обозначить два противопоставленных понятия: плодородие и бесплодие. Дом, горшок, участок земли могут обозначать и то и другое, и только эпитеты разводят их по разным полюсам.

«З и ф а. Все, что мне нужно,— это
Найти путь, путь, который
вывел бы меня
С этого выжженного клочка
земли.
М а с с а ж и с т. А ты никогда не думал,
что другому
Следует заняться обработкой
этой плодоносной
Почвы?
З и ф а. Я не так наивен, чтобы разводить
огонь
На моей земле и позволить
птицам
Добывать на этой земле корм» [1].

Эта сцена внешне выглядит как разговор двух земледельцев, советующихся друг с другом об обработке земли. На самом же деле речь идет не о земле и ее нерадивом хозяине, а о женщине, желающей ребенка, и ее муже-импотенте. К концу пьесы «Песнь козла» все эти образы постепенно вытесняются образами воды, течения, прилива и отлива, которые полностью господствуют в двух других пьесах трилогии. Образы эти переменчивы и подвижны, в фольклоре они могут означать и рождение и смерть, но в пьесах Кларка они приобретают в основном зловещую окраску, так же как часто встречающиеся образы рыбы, птицы и змеи. Вспоминая о том, при каких обстоятельствах был проклят его отец и он сам, Зифа сравнивает людей с рыбами:

...они общипали мою плоть
До костей, как это делают рыбы с
утопленником.

В пьесе «Плот» рыба является предвестником трагической судьбы героев. Протухая и разлагаясь в щели между бревнами плота, из которой ее нельзя извлечь, она первая подает сигнал, предупреждающий о гибели. Рыба либо питается мертвечиной (утопленниками), либо сама разлагается, напоминая о близкой смерти.

С образами смерти связана и самая большая пьеса Кларка, основанная на саге иджо об Озиди, карающем и мстящем боге, который получил это право — карать людей смертью — лишь после того, как он сам подвергся страданиям и умер, для того чтобы возродиться уже в облике мстителя. Было бы неверно упрекать нигерийских драматургов в сосредоточенности на идее смерти, так как концепция смерти у этих писателей наполнена фольклорным содержанием. А это значит, что смерть знаменует собой не только конец, но и начало новой жизни, и потому разработка этого мотива не является выражением сугубо мрачного и пессимистического взгляда на жизнь. «Озиди» заканчивается гибелью героя, ставшего в своей жажде мести страшной разрушительной силой, которая обратилась и на его собственную семью. Озиди стал беспомощен и бесплоден во всем, кроме убийства. Озиди — это смерть, но не может существовать смерть, которая не чревата рождением. В предыдущих своих пьесах Кларк показал, что бесплодие на земле обречено, что оно несет людям гибель, но в нем же и причина его собственного конца.

Текст пьесы «Озиди» заканчивается смертью героя, но действие не закончено. По авторской ремарке, на сцене затевается пляска, к которой постепенно присоединяются все участники и зрители спектакля. Пляску возглавляет... Озиди (вероятно, намек на новое рождение). Пьеса о смерти и наказании кончается всеобщим весельем и

[1] O. Ogunba. Modern drama in West Africa — in: Perspectives of African literature. Selections from the proceeding of the Conference on African literature held at the University of Ife 1968» ed. by C. Heywood, London-Ibadan-Nairobi, 1971, p. 95.

[1] Стихотворные тексты даны в подстрочном переводе.

танцами. Всепобеждающая амбивалентность фольклорного мировоззрения позволила драматургу превратить сцену, буквально заваленную трупами, в площадку для танцев.

Тема «Озиди», как, впрочем, и всех других пьес Кларка,— это гибель личности, противопоставившей себя обществу, коллективу. Кларк как бы примеряет к африканцам с их приверженностью к коллективизму личину западного индивидуализма. И оказывается, что в традиционном обществе эта личина приносит смерть не только тому, кто надел ее, но и всякому, кто к ней только прикоснулся. Человек, попытавшийся бросить коллективу вызов, уничтожается им («Маскарад», «Озиди») либо гибнет под обломками того общества, устои которого он расшатывал («Плот»). Осознанность трагической вины героя («Песнь козла») или ее неосознанность («Маскарад»)—несущественны. Индивидуализм приводит к распаду социальных связей, и строить на нем современное государство в Африке нельзя («Плот»). Трагедия героев Кларка — либо в невозможности выделиться из коллектива, либо в неумении создать коллектив, человеческую общность. В контексте пьес Кларка индивидуальность вне общества не имеет никакой ценности и над нею довлеет рок, который является фактически основным, хотя и незримым персонажем произведений нигерийского драматурга. Понятие «человек» у Кларка весьма близко подходит к той концепции человека, которую мы встречаем в античной литературе.

А. Ф. Лосев, исследователь в области античной эстетики, говорит: «Человеческое в античности — есть телесно человеческое, но отнюдь не личностно человеческое. Человек здесь — это отнюдь не свободная духовная индивидуальность, не неповторимая личность...» И далее, уже непосредственно о драме: «Формы проявления личности в античности совершенно своеобразны и оригинальны. Возьмем, например, греческую трагедию. Она-то уж во всяком случае могла процветать только в эпоху чрезвычайно большого развития личности, когда уравновешенный, величавый эпос уже давно перестал быть актуальным мироощущением. И тем не менее греческая трагедия в основном внелична. Основой ее внеличности является то, что главным действующим лицом является тут рок, безличная, слепая судьба, в руках которой человеческая личность оказывается только механическим орудием» [1].

Эта характеристика греческой трагедии вполне приложима и к пьесам Кларка, в которых мы сталкиваемся с тем же пониманием роли рока и такими же внеличными персонажами. И дело здесь, конечно, не в том, что современная Нигерия хоть сколько-нибудь напоминает Элладу, а в той мировоззренческой системе (мифологии), которая уже не может определять социальную структуру общества, но еще сохраняет свое значение для развития литературы.

[1] А. Ф. Лосев. История античной эстетики (ранняя классика). М., 1963, стр. 60, 63, 64.

Творчество Воле Шойинки известно советскому читателю шире, чем творчество Кларка. У нас публиковались не только его стихи, но также роман «Интерпретаторы» [1]; драматические произведения Шойинки получили освещение и оценку в тонкой статье Е. Л. Гальпериной, которая освобождает нас от необходимости подробно останавливаться на ранних пьесах писателя.

Критики отмечают у Шойинки внимание к народной традиции, умелое использование мифологии при постановке морально-этических проблем, сатиричность и политический темперамент. Все эти качества проявились уже в первых пьесах Шойинки, в особенности в «Лесной пляске», постановка которой, осуществленная самим автором, была приурочена ко дню получения Нигерией независимости. В этой пьесе есть и испытующее всматривание в будущее, и настороженный взгляд в прошлое, вместе с современными героями здесь действуют и мифологические персонажи. Причем этим последним поручаются, например, такие реплики:

«— Кто-нибудь нашел средства? Я — Цель, которая их оправдает.

— Я — Великая Причина, всегда готовая простить сегодняшние преступления, совершенные ради иллюзорного завтра.

— Я—Последствия. Неужто никто не видит, каким молоком я вскормлен?»

Главная мысль «Лесной пляски» в том, что люди, получившие право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, должны разобраться в своем прошлом и судить его с нравственной точки зрения, входя в будущее очищенными от крови, насилия и преступлений. Очищающая миссия возложена Шойинкой на художника, который своей деятельностью и самою судьбой (смертью) «искупает грехи человечества». В пьесе именно художник-скульптор Демоке, создавший тотем для праздника Единения племен, берет на себя смелость путем собственной гибели прервать нескончаемый цикл повторяющихся рождений, приносящих с собой те же преступления, что были совершены в предыдущей жизни героев пьесы (действующих как бы в двух своих рождениях: в XII и в XX веках).

Вехой на творческом пути Воле Шойинки явилась пьеса «Дорога», впервые поставленная в 1965 году. «Атмосфера хаоса, жестокости, убийств, гангстеризма в «Дороге»,— пишет Е. Л. Гальперина,— представляла собой в зашифрованном, условном виде отзвук нигерийской ситуации 1964—1965 годов» [2]. Это очень точная и емкая характеристика пьесы, к которой трудно что-либо прибавить. Поэтому мы остановимся лишь

[1] См. «Иностранную литературу» № 10, 1970.

[2] Е. Гальперина. Под знаком Огуна (Молодые писатели Нигерии в борьбе за демократическое обновление страны 1960—1965). В сб. «Современная литература за рубежом. Литературно-критические статьи». М., «Советский писатель», 1971.

В. БЕЙЛИС
ДОРОГА

на одном аспекте: содержащейся в пьесе попытке философско-художественного осмысления сущности смерти. Основные персонажи пьесы, в особенности Профессор, занимаются поисками этой сущности. Аналог этим поискам автор увидел в «агемо» — религиозном культе умирания плоти.

Главный герой — Профессор — на первый взгляд производит впечатление полубезумного старика. Он произносит бессвязные речи, говорит о поисках Слова. Он бегает на места аварий и катастроф, подбирает там обрывки газет и жадно их читает, но тут же отбрасывает, не найдя Слова. Лишь постепенно становится ясным смысл его речей и поступков, и ему удается вовлечь в свои поиски всех обитателей ночлежки, так или иначе сталкивавшихся по роду своей деятельности со смертью. «В Поисках таятся опасности, я знаю,— говорит Профессор,— но Слово, вероятно, сопровождает не жизнь, а Смерть».

Выстроенные в ряд слова «Поиски», «Слово», «Смерть» составляют вкупе ту самую загадку, которую загадывал эллинам Сфинкс. Разгадкой в обоих случаях является человек и его жизненный путь. Сфинкс так обозначил вехи человеческой жизни: «Утром — на четырех, днем — на двух, вечером — на трех». Профессор, разрешая заданную ему загадку, обозначает эти вехи немного иначе, хотя суть та же: жизненная деятельность (Поиски), направленная на достижение определенной цели (Слово), приводит человека к главному в его жизни (Смерть). Эдип, разгадав загадку Сфинкса, тем самым приблизил свою кончину. Профессор погибает в тот же миг, как ему открывается Слово. То есть, в сущности говоря, разгадка доставляет человеку мнимую победу: она так же смертельна и гибельна, как и сама загадка. Разгадать загадку так же страшно, как и не разгадать ее. Человечество, сколько помнит себя, занято разрешением этой загадки, в разное время формулируя ее по-разному: когда в виде вопроса Сфинкса, когда в форме дилеммы принца Гамлета.

Профессор надевает маску бога Огуна на хромого и немого Мурано, который пребывает в состоянии агемо, и устраивает ритуальные пляски. Устрашенные зловещим характером плясок, обитатели ночлежки убивают Профессора. Умирая, он постигает, наконец, Слово, пытается вымолвить его, но произносит лишь «элементарные истины, из которых оно состоит».

«Будьте как сама дорога,— говорит он.— Сглаживайте свои животы голодом неблагополучного дня, укрепляйте свои руки знанием смерти».

Что же, неужели это и есть Слово — «будьте как сама дорога»? А может быть, и впрямь «дорога» — это разгадка. Разве дорога не включает в себя начало пути, поиски и их увенчание? Не объединяет ли она в себе те три слова, которые почитал в своей жизни Профессор?

Так художественное осмысление политических событий в стране приводит Шойинку к философским размышлениям о смысле бытия, столько же соотносящемся с системами западной мысли, сколько и с мифологическими воззрениями йоруба.

Воле Шойинка внимателен не только к традиционной мифологии своего народа. Он интересуется также той псевдомифологией, которую подчас пытаются насадить политические деятели взамен народной. Конфликт реакционной идеологии, рядящейся в мифологические одежды, и традиционных взглядов на общественное устройство мастерски изображен в пьесе «Урожай Конги», написанной накануне кровавых событий в Нигерии, развернувшихся в длительную гражданскую войну.

В центре пьесы два персонажа, вокруг которых группируются два враждебных лагеря. Это традиционный вождь Оба Данлола и Конги — политический правитель западного типа, президент вымышленной страны под названием Изма. Добиваясь полноты власти, Конги произносит то демагогические, то заумные речи, прибегает к насилию и жестокости. Провалившись с попыткой противопоставить традиционным представлениям пустословие и ложь, уснащенную псевдонаучной аргументацией, Конги пытается приспособить мифологию для своих политических целей. Он хочет влиться в старую, но могущественную мифологию заполнить ее собой и остаться в ней один, вытеснив все остальное.

Для осуществления своих планов Конги должен дождаться грандиозного всенародного праздника Урожая, на котором традиционный правитель Оба Данлола во время ритуальной пляски поднесет ему первый батат. Поднесение первого батата — акт, символизирующий признание законности и божественности власти того, кому батат подносится. До сего времени первый батат по праву принадлежал традиционному правителю — Оба Данлоле. Оба Данлола не желает расставаться со своим законным правом и отказывается выполнять на празднике Урожая роль, уготованную ему Конги.

Конги, разгневанный отказом Данлолы, держит его и его сторонников в заточении. Конги пытается издеваться над своим противником, но тот не остается в долгу. Так у Данлолы отбирают штаны, якобы для того, чтобы он не убежал. Тогда Данлола, ни на секунду не задумываясь, заворачивается в полотнище флага, который Конги объявил государственным. Праздник Урожая приближается, и Оба Данлола дает уклончивое обещание выполнить свою роль в ритуале подношения батата. Праздник начинается, и вначале все идет по плану Конги. Он произносит заранее подготовленную речь, начинаются пляски, наступает момент подношения батата, но вместо батата Конги подносят... голову казненного по его приказу политического противника. Танцы прекращаются, Конги остается на сцене один, наедине с отрубленной головой. Он застывает в безмолвном ужасе.

Интересно проследить, как Шойинка сталкивает в пьесе две мифологические системы.

Вот, например, два резко противопостав-

ленных текста. Первый произносится в кругу сторонников Данлолы, второй — в окружении Конги. Первый текст — стихотворный:

Разве вы не видели, как мы
Вели за руку близнецов?
Разве вы не видели, как мы
Заслоняли глаза альбиноса
От ослепительного солнца веером
Из перьев попугая?
Так велит бог,
Чьи известковые руки
Создали калеку
И человека — летучую мышь.

Это явно магический текст с набором образов, целиком принадлежащих старой мифологии (близнецы, альбинос, калека, известь — по всей видимости, хтонические образы, связанные также с представлениями о смерти).

Второй текст — наукообразная абракадабра; но именно своей заумностью он напоминает магическую формулу. Да и цели его произнесения такие же. Рассказывая о последней речи президента Конги, его приспешники цитируют ее и восхищаются ею:

«Ни пословиц, ни стихов — только идеограммы, выраженные алгебраическими суммами. Если квадрат XQY равен QA корня квадратного из X — значит прогрессивные силы одержат победу над реакцией на протяжении×32-одного поколения».

В этой убийственно-саркастической цитате важна не только ее вторая, «алгебраическая», часть. Очень существенно и то, что в речи Конги нет «ни пословиц, ни стихов», то есть то, что Конги пытается игнорировать старую мифологию, пытается оттолкнуться от нее, чтобы создать совершенно новую, свою — пустую и фальшивую, но способную удержать его у власти.

Эта попытка провалилась, и Конги придумывает новый ход: старую мифологию отменить нельзя, значит, ее надо незаметно подменить. Для этого и предусмотрены небольшие, на первый взгляд, перемены на празднике Урожая. На этом празднике Конги произносит очень хитро построенную речь, где привычная мифологическая терминология перемешана с новой, изобретенной приспешниками Конги. Вот эта речь:

«Дух Урожая покарал врагов Конги. Справедливость земли одержала победу над предателями и заговорщиками. Боги благословляют Второй Пятилетний План Развития. Дух возрождения очистился в крови врагов нации, моих врагов, врагов нашего коллективного духа, Духа Посева, Духа Урожая, Духа Неизбежной Истории и Победы — которые суть я. Конги — это каждый измаит, а измаит... *(Выбрасывает вперед сжатый кулак.)*

Охранники. Тверд как гранит.

Конги. Измаит...

Охранники. Тверд как гранит» [1].

Это очень искусная, демагогическая речь тирана. Как ловко переплетены здесь Дух Посева с Планом Развития, благословение богов с Духом Неизбежной Истории, и как ловко все имена этих Духов сливаются в одно имя — имя Конги! А как хитро, с другой стороны, враги Конги превращаются в его устах во врагов нации! И, наконец, зажигательный лозунг, похожий на фашистское «зиг хайль!», объединяющий всех в едином порыве, потому что каждый измаит не только «тверд как гранит», но он еще содержит в себе частицу Великого Конги, соединившего в себе всех доброжелательных Духов-покровителей.

А вот Конги позирует перед фотоаппаратом, принимая позы, соответствующие словам, которые произносит его Секретарь. А Секретарь говорит следующее:

«Искушение Вождя... Страдания на Горах... Одиночество Чистоты... Беспокойная Голова... Святой в Потемках... Дух Урожая... Лик благожелательности... Жизнетворец... Председательствующий Дух как животворящий дух — мы можем вдолбить этот образ в каждое сердце и голову, какими бы упрямыми они ни были».

Опасность этих слов в том, что они облекаются в знакомую каждому и почитаемую фразеологию, извращая ее смысл. Нисколько не идеализируя традиционный уклад и даже акцентируя внимание на пороках власти вождей, Воле Шойинка тем не менее не может отдать предпочтение «прогрессивным переменам», когда они принимают отталкивающе-уродливый вид, который имеет деспотическая власть, пренебрегающая интересами своего народа и опирающаяся лишь на силу современного оружия. Уже после опубликования «Урожая Конги» писатель на собственном опыте сумел убедиться в справедливости своего неприятия «феномена Конги», проведя два года в тюрьме, куда он попал по ложному обвинению в шпионаже в пользу Биафры.

В 1967 году Шойинка начал работу над пьесой «Сумасшедшие и специалисты» («Madmen and specialists», опубликована в Лондоне в 1971 году), где в крайне зашифрованном виде представлена ситуация в Нигерии в военное и послевоенное время. Автор прибегает в этой пьесе к стилистике театра абсурда, пренебрегая, однако, поэтикой и телеологией абсурдистской драматургии. Монологи персонажей Шойинки могут напомнить героев пьесы С. Беккета «В ожидании Годо», но это лишь обманный маневр опытного шифровальщика, для которого абсурд — способ кодирования высказываний, имеющих прямой политический смысл и вполне конкретный социальный адрес.

Специалист в пьесе — это врач Беро, который во время войны «переключился», то есть сменил профессию, стал начальником разведки. Возвращаясь домой, он и слышать не хочет о своих пациентах, называет их «телами», а когда Си Беро, сестра врача, спрашивает о его практике, цинично заявляет: «Практика? Конечно, я намерен сохранить эту сторону моей практики. Важно иметь лабораторию. Все может помочь. Контроль, сестра, контроль. Власть приходит,

[1] Здесь игра слов: ismite—Is might. Дословно: измаит — могуществен.

когда ты подчиняешь Природу своей воле. Они называют меня Специалистом, а специалист — это... гм... специалист. Ты анализируешь, ставишь диагноз и *(прицеливается из воображаемого пистолета)* — предписываешь».

Сумасшедший — это Старик, отец Беро. Когда Си Беро спрашивает о нем у брата, тот отвечает, что его обязанностью на войне было помочь раненым приспособиться к их новому состоянию, научить их жить инвалидами, а он «вместо этого стал учить их думать, думать, ДУМАТЬ» «Можешь представить себе,— говорит Специалист,— большее предательство, чем водрузить мыслящую голову на искалеченное тело?» Во время войны Старик приходит к мысли, что страна уже «созрела для каннибализма», и призывает использовать трупы. Он не отказывается от этой идеи и после войны, считая, что время каннибализма еще не прошло, и проповедуя пародийный культ вымышленного бога «Как» («As»), «основная опора которого — Система». «В жизни Системы,— утверждает Старик,— есть лишь одна константа, и эта константа Как». «Как» может принимать различные формы, он присутствует и в политике, и в науке, и в экономике, и в этике — «от него не уйдешь».

Специалист заключает Старика в подвал собственного дома и приставляет к нему шпионов, роль которых исполняют четверо нищих инвалидов. Один из них слеп, другой страдает пляской святого Витта, двое остальных сильно искалечены. Нищие колеблются между двумя полюсами: они то шпионят за Стариком, то становятся яростными адептами бога «Как» и поют в его честь бессвязные гимны. Пьеса заканчивается сценой неистовых ритуальных плясок и песнопений, когда один из нищих калек должен быть принесен в жертву богу «Как» и сожран своими приятелями. Жуткий ритуал прекращается выстрелом Специалиста, направленным в его собственного отца, который уже занес над калекой руку со скальпелем. Вся сцена застилается дымом, которым окутывают место событий две мудрые старухи, такие же старые, как сама земля. Эти старухи, очень напоминающие «пузыри земли», ведьм из шекспировского «Макбета», олицетворяют у Шойинки традиционно доброе начало.

«Сумасшедшие и специалисты» — картина почти полного распада человеческих, социальных и культурных связей. Единственный персонаж, сохраняющий память о былой гармонии и поддерживающий связь с мифическими старухами,— это Си Беро. Но она совершенно бессильна перед тем вихрем кровавых событий, который врывается не только в ее семью, но и в жизнь всей страны. Когда возвращается домой Специалист, Си Беро, как того требуют обычаи, поливает землю перед порогом дома пальмовым вином, а затем развязывает шнурки на ботинках брата. Но Беро не дает снять с себя обувь. «Босые ноги, мокрая земля,— ворчит он.— Ты же знаешь, мы оросили твою добрую землю влагой более могущественной, чем эта».

По мнению американского критика Чарльза Ларсона, Нигерия в последней пьесе Шойинки — это «полицейское государство, в котором могут выжить лишь сумасшедшие и шпионы, в котором побежденные — безумцы, а победители параноидально страшатся возможности нового мятежа»[1].

Воле Шойинка сумел бесстрашно взглянуть в лицо социальной реальности и отважно рассказать о ней Нигерии и миру. Его мужество не только в том, что он говорит правду в лицо сильным мира сего, но и в том, с какой дерзостью он ввел в пьесу тему каннибализма как раз в тот период, когда даже собиратели фольклора выбрасывают из сборников сказки о людоедах, потому что «у европейцев может сложиться превратное представление об африканцах». Да, у нас есть каннибализм, как бы утверждает Шойинка, но он не там, где вы его ищете, а там, где его насадили, разрушив нашу старую культуру и не создав на ее месте новой.

Творчество Шойинки более подвижно, чем творчество Кларка, пьесы которого строги, как бы классичны и нигде не преступают мифологическую традицию, хотя архисовременная лексика врывается даже в такую драму-мистерию, как «Озиди». Пьесы Кларка носят в основном внеличный характер, хотя и в них человек пытается — пусть и безуспешно — выделиться из коллектива. Шойинка в гораздо большей степени персонифицирует своих героев, пытаясь вырваться из рамок канона, которые накладывает на драму миф. Шойинка говорит и об индивидуальной трагедии, когда смерть оставляет пробел, ничем не заполняя его.

Гражданская война в Нигерии и трудности послевоенного строительства усилили трагическое начало драматургии и привели к значительной ее политизации. Однако необходимость мгновенного отклика на события социальной и политической жизни страны не заслонила и не отодвинула, как это часто бывает в периоды катаклизмов, специфически творческих задач, стоящих перед молодой драматургией. Одной из таких задач является создание национальной традиции, которая могла бы восполнить отсутствие классической литературы и опиралась бы не только на достижения западной литературы, но и на свой фольклор. Путь нигерийской драмы показывает, сколь плодотворны поиски писателей, взявшихся за решение этой задачи.

---

[1] Ch. R. Larson. Wole Soyinka: Nigeria's leading social critic. "New York times book review". 1972. Dec. 24, p. 10.

◆

Заметки писателя

БОРИС АНАШЕНКОВ

ЭТОТ ХОЛОДНЫЙ, ХОЛОДНЫЙ, ХОЛОДНЫЙ МИР

1

«Вот, значит, какова наша свобода, какова она сейчас, какой была всегда. Хуже всего то, что мы и в самом деле думаем, будто мы свободны. А в сущности у нас есть лишь свобода передвижения, да и та зависит от заработка... Потребовалось много времени, пока я понял, что означает нынче свобода для нас, рабочих, и начал завидовать рабам Древнего Рима: они, по крайней мере, знали, кто их покупает и кто продает, кто их бьет. Сейчас даже это исключено, сделка совершилась на бумаге, зуботычины раздавал аппарат».

К такому вот неутешительному итогу приходит Пауль Поспишил, герой романа западногерманского писателя Макса фон дер Грюна «Два письма Поспишилу». А до этого вы видели Пауля в кабинете директора электростанции, на которой работает наш герой. Пауль прождал всего несколько минут (заметьте: не часов — минут!), и все равно директор чувствует себя как бы виноватым и, чтобы сгладить неловкость, сам выходит в приемную, берет героя, рядового, ничем не примечательного пролетария, под руку, торжественно, как долгожданного гостя, ведет в кабинет, усаживает в кресло, предлагает сигареты, внимательно и сочувственно выслушивает. «Он даже трубку не снимал, а только нажимал какую-то кнопку, видно, не хотел, чтобы нам мешали».

А до этого мы наблюдали Пауля за пультом электростанции (стекло, бетон, пластик, кондиционированный воздух, удобнейшие кресла на роликах — не предприятие, а рай, дворец) и ничуть не удивились, когда герой вообразил себя... богом. Да, да, богом, в руках которого судьбы, благополучие миллионов людей. «Я не завидую официальным работодателям, что у них есть виллы, у них виллы, у меня власть, и в моей власти наслать тьму на их виллы».

Недурно, не правда ли? Рабочий не просто продает свой труд, он испытывает от него гордость, удовлетворение, он — не спица в колеснице, не винтик, он — «великий бог», он повелевает.

А еще раньше мы встречались с Паулем и его близкими в его собственном домике на окраине Дортмунда, где он лежал в тенистом саду в шезлонге, катались с Паулем в его собственном автомобиле, радовались вместе с ним жизни. Если что и омрачало душу и сознание нашего героя, так это рассеянность жены, которая упорно ставит пиво в холодильник; по правилам, его надо держать в погребе, тогда оно не будет таким холодным. Убеждений, собственно говоря, у Пауля нет. Легко и бездумно плывет он по течению. «Отоспишься у себя за пультом, потом едешь домой играть с собачкой»,— говорит Паулю его друг Фред, старый коммунист, искалеченный фашистами в лагере.

Да, конечно, Пауль помнит, что была война, был фашизм, отец его по доносу негодяя попал в концлагерь, его самого, мальчонку, и мать чуть не пристрелили нацисты, он видит: старое подорвано, но не сломлено, его сосед, тоже рабочий электростанции — «активист», энтузиаст одного из бесчисленных реваншистских землячеств («каждый год езжу на встречу... ничего не могу сказать, полиция держится превосходно, ты себе и представить не можешь, сколько народу туда приезжает, тысячи, увидишь — глазам не поверишь»); Фред тоже пытается

раскрыть Паулю глаза на окружающую его действительность, но от него все — как от стенки горох. «Чушь»,— убежденно объявляет он, услышав, что за Фредом следят (коммунистическая партия в ФРГ в те годы была вне закона). Этого не может быть не потому, что не может быть вообще, а потому что Пауль Поспишил не хочет этого. Фред ему отнюдь не безразличен, он не может спокойно смотреть на его изуродованное фашистскими сапогами лицо, на искалеченную в концлагере ногу, но признать, что Фреда и сейчас не оставляют в покое, это значит занять какую-то позицию, проявить активность, а Пауль инстинктивно стремится избежать всякого беспокойства.

Что греха таить, не очень нам симпатичен такой герой, и не очень-то весомо, убежденно, согласимся, звучат его речи о рабстве. Может быть, просто с жиру бесится; проспится — и обеими руками ухватится за рабство, которое так гневно и красноречиво осуждал.

Кстати, именно так и поступает — не Поспишил, нет. Поспишил так и остается со своими вопросами-размышлениями—молодой, начинающий служащий крупной итальянской торговой фирмы (Гоффредо Паризе, «Хозяин»). На многие унижения идет герой, чтобы только зацепиться за фирму, под конец даже утверждается в философии, что высшая форма свободы для него — сделаться собственностью фирмы, потерять лица не общее выражение. Но когда хозяева, доктор Макс и его мамаша, вынуждают героя жениться на их слабоумной воспитаннице, ибо моральный долг повелевает им как-то пристроить бедную девушку, собственность не то чтобы протестует, гневается, нет, на это она (он) уже не способна,— но мнется, тянет время, чем причиняет хозяину невыносимые нравственные страдания. Как же так, в этого неблагодарного провинциала было вложено столько личного хозяйского участия: чтобы иметь всегда под рукой нового служащего, развивать перед ним свои взгляды, экспериментировать с ним, доктор Макс пошел на немалые жертвы, распорядился, чтобы его, хозяина, персональную уборную переделали под кабинет новичку, а сам стал пользоваться общим туалетом, а этот тип, этот эгоист думает только о себе, не хочет помочь бедной девушке, которой врачи настоятельно рекомендовали близость с мужчиной.

«Проспавшись», герой наш, конечно же, женится на идиотке, получает в приданое квартиру со всеми удобствами, с холодильником и телевизором, доктор Макс дарит ему совершенно новую машину, и герой наш наконец-то ощущает себя полноправным членом общества. Совсем недавно, пока он раздумывал: а не попытаться ли найти другую фирму, другого хозяина, не уехать ли вообще из города, не подать ли, по совету родителя, в суд на хозяина, попирающего его гражданские права и человеческое достоинство,— он себя таковым не чувствовал.

Больше того, герой находит удовлетворение в том, что женился именно на идиотке. С ней нет нужды, да и не о чем и невозможно, в силу ее идиотизма, разговаривать, и это плюс, потому что слова, самая необходимость их выговаривать — это отступление от принципа свободы, который исповедуют герой и его хозяин; дети от идиотки тоже, надо надеяться, будут слабоумными, и это замечательно — им не придется колебаться, сомневаться, размышлять, что нравственно и что безнравственно, они сразу вольются в организм фирмы, сразу приобщатся к той абсолютной свободе, к которой не без труда и не без потерь пробивался их родитель и которая заключается в полнейшем отказе от своего «я»,— идиотам тут равных нет, ибо они от природы лишены этого «я».

У героя «Холодных времен» К. Гайслера, двадцатипятилетнего экскаваторщика Алерса, тоже чуть ли не приятельские отношения с хозяином. Вот они сидят друг против друга в баре, потягивают пивко и разговаривают «за жизнь». Господин Ратьен помог Алерсу устроиться с квартирой и теперь интересуется, все ли в порядке, доволен ли его подшефный. Он, Ратьен, со своей стороны, готов снова скрасить Алерсу его жизнь. У Алерса «принц» — неплохая машина, бегает еще, но все же довольно-таки устаревшей марки, он, господин Ратьен, приглядел рабочему «таунус», более солидную и более вместительную машину, почти новую, рекомендует зайти посмотреть...

2

Бог ты мой, да могли ли деды, да что там деды — отцы наших героев мечтать о такой жизни для своих сыновей?!

Не о новой марке автомобиля (не хуже, чем у соседей), не о том, где лучше провести отпуск — на Балтике или в Италии, не о том, что стиральная машина без гладильного пресса теперь уже не полное удовольствие, не о том, какой костюм надеть нынешним вечером («синий, черный ли, клетчатый — он твоя гордость».— С. Чаплин, «Соглядатаи и поднадзорные»), не о собственном домике с садиком, который, конечно же, лучше отдельной квартиры из трех комнат, печалились рабочие — герои тех лет, а о том, как быть бы живу, где подзанять горсть крупы, ломоть хлеба, хоть немного картофеля до следующей получки, чтобы накормить себя и детей, как выбить из хозяина-кровососа копейку прибавки к заработку. Малейшие попытки рабочих сорганизоваться, выдвинуть программу встречались в штыки и предпринимателями и государством, профсоюзных активистов преследовали, зверски избивали и убивали из-за угла.

Директора, предприниматели были для рабочих недосягаемы, они их, как правило, и в глаза не видели, мастер, конторский служащий, в лучшем случае инженер — вот кому были отданы на откуп жизни и души рабочих; причем мастер, с которым нынеш-

ний рабочий не очень-то считается, на равной ноге, в те времена был царь и бог на участке, именно придирки мастера, верного хозяйского пса, зачастую служили той самой последней каплей, что переполняла в классическом «рабочем романе» чашу пролетарского терпения.

А ныне...

«Дамы и господа, я созвал вас потому, что подлежащие выяснению вопросы, на мой взгляд, не могут быть решены только мною и производственным советом. Прежде чем будет принято решение, их надо будет обсудить в коллективе» (Макс фон дер Грюн, «Светляки и пламя»).

Что это за дамы и господа, к которым обращается господин директор, он же, по совместительству, владелец предприятия? Члены наблюдательного совета?.. Самые обыкновенные рабочие, представители цехов. А что это за производственный совет, с согласия которого директор собирается принимать окончательное решение?.. Выборный, от рабочих и служащих, орган, своеобразная общественная администрация, без одобрения которой не решается ни один вопрос, затрагивающий жизненные интересы рабочих.

А чего ради собрались наши герои?.. Обсудить новый график. Им предлагают начинать работу не с шести тридцати утра, а с восьми, потому что в результате исследований установлено: спать большинство рабочих ложится поздно (смотрят телепередачи), организм не отдыхает, утром рабочий долго раскачивается (низкая производительность труда, повышенный процент брака) и только к девяти часам входит в норму, в ритм.

Производственный совет одобрил новый график. И тем не менее герой романа Юрген Форман (без году неделя на предприятии) оспаривает это решение. И склоняет на свою сторону большинство уполномоченных. А директор?.. Смотрит на смутьяна с отвращением и ненавистью? Топает ногами, грозит увольнением? Ничего подобного. Господин директор улыбается, похлопывает бунтаря по плечу расспрашивает о работе, обещает подумать о повышении. Что же касается нового графика, то директор, идя навстречу большинству, предлагает продолжить исследования на более широкой основе, пригласив еще одну, параллельную группу специалистов. А после того как исследования будут сведены воедино, собраться вновь и принять окончательное решение. Исследования стоят денег, и немалых, присутствие рабочих на собраниях тоже оплачивается, но господина директора это как будто и не трогает. Единственное, что для него важно,— мир. Без этой гармонии интересов рабочих и работодателей ему и белый свет не мил.

Что это, белая ворона в черной предпринимательской стае? А может быть, и нет давно ее, черной предпринимательской стаи, нет ни угнетателей, ни угнетенных, как утверждают буржуазные социологи, все современное общество развитых стран все быстрее и быстрее трансформируется в некий единый средний класс, в котором интересы всех социальных групп, малых и больших, находятся в трогательном взаимопонимании? Социальное партнерство, так это еще называется. Но та же литература, те же книги подтверждают, что суть эксплуатации осталась прежней, меняются только ее формы и приемы.

Господин Формакис (Костас Кодзяс, «Забой номер семь»), владелец шахты, обещает членам рабочей комиссии, угрожающим забастовкой, как только конъюнктура изменится в лучшую сторону, организовать производство на новых, «социалистических началах». «Под социалистическими началами он понимал следующее: ежегодно оделять приданым десять дочерей шахтеров, устраивать рождественский праздник с щедрыми подарками для детей и — самое поразительное — после составления годового отчета разыгрывать по жребию среди рабочих сто акций. Таким образом, вскоре все станут акционерами и будут получать свою долю прибылей».

Правда, «социализм» господина Формакиса далеко впереди, пока же он второй месяц не выплачивает шахтерам жалованья, затыкая за их счет прорехи в собственном бюджете, но и доверительные разглагольствования о социализме, и мечты о соединении труда и капитала тоже кое-чего стоят, свидетельствуют о том, что по-старому, с помощью наемных убийц, террора, управлять рабочей массой становится все труднее.

В «Медном котле» Б. Коллинз — сходная ситуация, с той только разницей, что у компании здесь несравнимо более широкие возможности для маневрирования, обмана, завинчивания гаек, более прочное экономическое положение. Потому и излишними, вредными представляются здесь разговоры о «социалистических началах», о социальном партнерстве.

До поры до времени в рабочем поселке царит мир. Компании нужны рабочие, и их — тоже политика — набирают буквально по всему миру, соблазняя высокими заработками (и платят на первых порах действительно хорошо).

И вот когда народу на узком пятачке собралось достаточно, есть даже некоторый резерв, когда одни национальные группы противостоят другим, а местные, австралийцы,— вообще всем иностранцам, которых они презрительно называют «проклятыми вогами», когда система материального стимулирования и трудовых соглашений закрепляет и усиливает эту рознь (переселенцы, работающие по контракту, за одну и ту же работу получают вдвое больше, чем местные, сдельщики), компания начинает завинчивать гайки и в конце концов доводит заработки рабочих до минимума.

Забастовка?

Но компания уже подготовилась к ней.

БОРИС АНАШЕНКОВ
ЭТОТ ХОЛОДНЫЙ, ХОЛОДНЫЙ,
ХОЛОДНЫЙ МИР

Созданы запасы руды, которые могут лежать годами, дожидаясь подходящих цен на мировом рынке. Во-вторых, компания владеет рудниками подобного типа не только в Австралии, но и в других странах, что расширяет возможности маневра. В-третьих, администрация заблаговременно постаралась обезглавить рабочее движение. Наиболее энергичные, авторитетные рабочие вожаки устраняются один за одним, причем не прямо, в лоб, не по политическим мотивам, а на «законном основании», так, что комар носа не подточит.

В книге Джованни Пирелли («По поводу одной машины») более локальная ситуация, но и она высветляет те же социальные отношения, что и романы Кодзяса и Коллинз.

В одном из цехов завода устанавливают новую машину, высокопроизводительную, очень простую в управлении (рабочий только нажимает кнопки да устраняет время от времени обрывы кабеля), но с точки зрения техники безопасности конструктивно несовершенную: одна работница уже потеряла из-за этой машины руку.

Мы знакомимся с героями романа как раз в тот момент, когда к новой машине, вскоре после несчастного случая, становится совсем юная девчушка Марианна Колли. Старые работницы пытаются объяснить новенькой, что такое «Авангард» (зверь — не машина), чем грозят новые станки работающим, но Марианне выбирать не приходится, она начинает работать, и ей объявляют бойкот.

В конце романа Марианна кончает с собой, бросаясь на станок. Непосредственным толчком послужила размолвка с возлюбленным, но причина эта скорее косвенная. Долгие месяцы Марианна пребывала в изоляции, ее преследовали, ей угрожали, ее стыдили, девчонка поневоле сдружилась с машиной, тоже ненавидимой всеми,— в ее вое, рокоте Марианна слышит живые сочувственные нотки, она поверяет станку все свои тайны, раздумья, и стоит ли удивляться, что в трудную, отчаянную минуту помутившееся сознание одного изгоя услышало спасительный призыв в голосе другого, механического?..

Дорогой ценой дается прозрение людям, травившим Марианну. Мы еще раз убеждаемся, что рабочее движение далеко не всегда развивается по восходящей, есть в нем свои отливы и приливы, завихрения, очень и очень осложняющие формирование классового сознания у массы рабочих и, наоборот, способствующие расколу рядов рабочего класса, проникновению чужой идеологии, обывательских взглядов, настроений. Действие романа развертывается как раз в один из таких трудных периодов отлива, отступления...

3

«По системе МТМ (сверхточный хронометраж, сделано в США.— **Б. А.**) работа разлагается на несколько основных движений. Все, что не служит непосредственно быстрейшему выполнению операции, исключается. Единица времени ТМУ, принятая для системы МТМ, равна 0,000001 часа. Чтобы установить эту единицу времени, сотни рабочих были «зафильмованы» — в прямом и переносном смысле. За работой, во время перерыва, при ходьбе, даже в уборной, частично съемка велась скрытой камерой. МТМ низводит человека до уровня робота. Операция «задуматься» рассматривается в графе «Непроизводительная деятельность», поскольку она вызывает «задержку в исполнении движения».

Это из репортажа Гюнтера Вальрафа, известного западногерманского публициста, устроившегося рядовым операционником на заводе «Фихтель и Закс». Как тут не вспомнить «Новые времена» Чаплина! На протяжении полувека солидные исследователи не раз решительно и бесповоротно хоронили тейлоризм! Еще в двадцатых годах раздавались речи о том, что тейлоризм-де устарел, поскольку совершенно не учитывал психо-физиологические факторы; наивысших результатов производительности можно достигнуть лишь в том случае, если предприниматели будут видеть в рабочем не машину, не придаток к ней, а «человека в целом» (Э. Мейо).

И вот сорок с лишним лет спустя в одной из самых развитых стран мира хозяйственная практика, как вредные и разорительные сантименты, отвергает любые разговоры о социальном партнерстве, о «человеческом капитале» как главном резерве эффективности труда и заводит у себя порядки, перед которыми и сам господин Тейлор склонился бы в почтительнейшем поклоне.

Как примирить эти крайности? Ведь с точки зрения беспощадных законов капиталистической экономики «человеческие отношения» — своего рода непроизводительные затраты, отклонения от прямых, классически ясных путей выжимания пота, и, казалось бы, кто отклоняется таким образом, вряд ли устоит в конкурентной борьбе с теми, кто идет к цели — максимум прибылей — по классической прямой.

И однако же — стоят. Больше того, идут на затраты, как бы и отвергающие привычные классические представления наши об «утонченном зверстве буржуазной эксплуатации».

С одной стороны, сверхточный хронометраж, расчленение работ на все более мелкие, ничтожные операции — причем в процессе специализации дробится не только вид работ, но и человеческая личность,— организация труда утверждают материально разделение на управляющих и управляемых: всяк сверчок знай свой шесток; а с другой — привлечение рабочих и служащих к управлению производством, теоретическое обоснование необходимости слияния труда и капитала, даже законодательное оформление «социального партнерства», конвейер, поток на некоторых предприятиях отменяются, сборка сложнейших приборов от начала и до конца поручается отдельным рабочим, и такая перестройка сопровождается

неизбежно укрупнением человеческой личности, подавленной и униженной до невозможности чрезмерной специализацией. Укрупняют ее и опыт, и неизбежный при такой организации труда рост квалификации, образования, и удовлетворение моральное от созерцания продукта труда в целом, готовом виде, и ответственность перед потребителем, ибо в случае рекламации прибор возвращается к рабочему, монтировавшему его, последний теряет естественно в заработке, в престиже...

На первый взгляд, объединить две эти противоборствующие тенденции единой формулой «утонченное зверство буржуазной эксплуатации» столь же трудно, как «примирить» директора, смущенного тем, что он заставил рабочего ждать себя несколько минут, и генерального директора, санкционирующего внедрение «зверюг» — «Авангардов». На деле же все эти крайности аккуратнейшим образом совмещаются в системе капиталистических отношений; если чему и удивляешься, так это необычайной гибкости, динамичности, приспособляемости к беспрерывно меняющейся действительности, которые проявляет система на пятачке, отведенном ей ее же собственной природой.

«Иногда, в условиях чрезмерного упрощения труда, умственно отсталые и душевнобольные оказываются более производительными, чем нормальные люди. Думать при некоторых условиях не только не нужно, но и вредно... Как может рабочий или служащий приспособиться к подобным условиям? Многие стараются отгородить себя от работы, не принимать ее близко к сердцу. «Работай с прохладцей: фабрика никуда не убежит!» Это единственная возможность выполнять работу, не теряя при этом некоторой доли чувства собственного достоинства. Однако чем больше человек отгораживается от работы, тем меньше остается в нем самоуважения и веры в себя».

Это из статьи, опубликованной в 137-м номере журнала «Америка», автор ее — Крис Арджирис, декан факультета административных наук Иельского университета. Симптоматично само ее название: «Можно ли сделать труд увлекательным?» Подразумевается, что до сих пор он таковым не был.

Почему исследователи стали задаваться такими вопросами? Выяснилось, что прежние системы выжимания пота в новых условиях зачастую не оправдывают себя. Приводят не только к падению качества и эффективности труда, но и таят в себе опасность невиданных доселе социальных взрывов.

Когда героиня романа Клер Эчерли «Элиза, или Настоящая жизнь» впервые попадает в сборочный цех крупного автомобильного завода, первое, что она слышит,— рев сродни звериному: непроизвольная реакция конвейерных рабочих на неожиданное появление в цехе женщины.

Механическая, однообразная работа, поясняет Элизе брат, возвращает людей в скотское состояние. «Звери видят самку и кричат. Животное выражение удовольствия».

Не дать рабочему осмыслить собственное положение, которое, как только он сумеет задуматься, сочтет (по Тейлору) невыносимо тяжелым,— что может быть лучше?.. Причем оглупляет, ослепляет, оглушает рабочего не индустрия (словечко-то какое!) развлечений, а силы куда более мощные, властные, постоянные, неотвратимые — сам процесс труда. В кино можно не пойти, телевизор выключить, а работу ни обойти, ни объехать. Но, не получая удовлетворения от своего труда, человек начинает искать разрядку в иных сферах, и нет гарантии, что эти поиски не примут социального характера и не потрясут все общество до основания.

К тому же выясняется, что возможности человеко-роботов не безграничны. Когда кривая специализации начинает особенно стремительно расти вверх, эффективность труда, против всяких ожиданий и прогнозов, падает вниз. Сборщики у К. Эчерли работают небрежно, отлично зная, что пострадают материально,— таким путем (совсем по К. Арджирису!) они утверждают себя, свое человеческое достоинство. «Работай с прохладцей: фабрика никуда не убежит!»

Конечно, если отталкиваться исключительно от условий труда, от уровня материальной жизни, довольно высокого, то истоки этого бунтарства разглядеть нелегко, того и гляди скатишься к обывательскому: «И чего им не хватает?» Но все дело в том, что бездуховность, обезличенность в производственной сфере — производные от системы в целом, рассматривающей человека всего лишь как средство, а целью провозглашающей (не декларативно, а самой сутью, природой своей) максимум прибылей от вложенных капиталов.

Снять это растущее напряжение в состоянии только социальная революция, но «хирургическое вмешательство» такого рода означало бы гибель буржуазного общества — уступки, пусть и в заданном направлении, делаются только частичные.

«Наша электростанция не ласковая и не суровая, не добрая и не злая. Она дает мне тысячу марок в месяц плюс тринадцатое жалованье — как участие в прибылях, плюс четырнадцатое — наградные на рождество... Пожалуй, в этом отношении у нас человеческое предприятие»,— размышляет Пауль.

Там, где есть возможность прямой, беспощадной эксплуатации, она не только сохраняется, но и усиливается, обостряется с помощью наиновейших достижений науки и техники (МТМ). Там, где старый механизм не срабатывает, на него набрасывается флер «человеческих отношений», «народного капитализма», «социального партнерства».

Почему так ухватился господин директор за бунтарские речи Формана? Почему мало ему производственного совета для одобре-

---

БОРИС АНАШЕНКОВ
ЭТОТ ХОЛОДНЫЙ, ХОЛОДНЫЙ, ХОЛОДНЫЙ МИР

ния нового графика и он созвал представителей от цехов? Из любви к митингованию? Нет, конечно же. Скорее всего директору хотелось скомпрометировать в глазах рабочих производственный совет. Сегодня совет интегрировался, смотрит в рот хозяину, а что будет завтра?.. Вдруг покажет зубки?.. А прежнего веса, авторитета уже и нет, опорочена, подорвана сама идея рабочего самоуправления.

Строптивцев типа Формана, которые только себя и слышат, тоже лучше загодя прибрать к рукам, похлопывание дружеское по плечу, улыбки, предложение лучшей работы — не слишком большая плата за приручение человека, который стал как бы неформальным лидером коллектива.

4

Вот истинная подоплека «человеческих отношений». Какие бы совершенные автоматические и кибернетические системы ни создавались, «человеческий резерв» в интенсификации труда был и остается главным. И чем выше уровень научно-технического развития, тем неизбежнее обращение к «человеку в целом». Но утонченность зверства современной буржуазной эксплуатации в том и состоит, что чем больше «человечности» пытаются напустить внутри своих заводов и фабрик отдельные предприниматели, тем отчетливее проступает бесчеловечность системы в целом.

Пока Пауль Поспишил находился в «рамках», с ним обращались по-человечески, директор почтительно усаживал нашего героя в кресло, угощал кофе, предлагал сигареты. Но стоило ему чуть выломиться из привычной, запланированной колеи, как «человечность» автоматически кончилась.

А началось все с письма. Старая мать Пауля встретила человека, который когда-то отправил в концлагерь ее мужа, отца Пауля, чуть не убил ее и ребенка. Старуха хочет, чтобы сын заглянул в глаза этому человеку.

Пауль не сразу, с трудом решается поехать. Но, решившись, вдруг не без удивления обнаруживает, что не такой уж он всесильный бог, каким воображал себя совсем недавно. Ему необходимо три дня, не так уж много, но эти дни ему не полагаются, он запланирован системой на год вперед, до очередного отпуска. Пауль, возможно, и отступил бы: производство есть производство, но ему дают понять, что пошли бы ему навстречу, если бы он, Пауль, руководствовался более возвышенными, более жизненными целями. Не ворошил бы понапрасну прошлое, которое и без того доставило немцам немало хлопот и огорчений, а вступил бы, по примеру соседа, в одно из патриотических землячеств...

И как ни инертен Пауль, как ни погружен в свою потребительскую спячку, как ни запрограммирован, тут он проявляет характер. Уезжает без разрешения, а вернувшись, узнает, что уволен.

Не бог весть какой проступок совершает Пауль, но и этого оказалось достаточно: система автоматически отторгает его как неустойчивый, ненадежный элемент.

Правда, система тут же и отступает: не без воздействия производственного совета, Пауля принимают на работу, но он должен начать все сначала... «Все ваши социальные льготы упраздняются, выплата из прибылей летом, рождественское пособие в декабре, то есть вы, конечно, получите то, что вам причитается, но только как новичок, отпуск у вас тоже сократится, по меньшей мере дней на восемь — до двух недель...»

Пощечина, и весьма чувствительная, человеку, который совсем недавно гордился тем, что работает на столь человечном предприятии, ставил себя превыше владельцев роскошных вилл, ибо в его власти — наслать тьму на их виллы. Но Пауль покорно ее принимает — деваться некуда, все лучше, чем оказаться без работы. Система отступила, но и отступление оказалось плановым: дан хороший урок сотням и тысячам других Паулей, которые тоже могли бы вот так, под настроение, выломиться из колеи, но теперь трижды подумают, прежде чем сделать это.

А Пауль? Открылись у него глаза?.. Да, пожалуй. Герой трезвее стал смотреть на окружающую его действительность, на собственное социальное положение. А вот станет ли Пауль сознательным борцом или же, уподобившись герою Г. Паризе, увидит полную свободу в полнейшем растворении своего «я» в системе — вопрос. «Запланированность», которой так возмущаются герои Макса фон дер Грюна, не только вне, но и внутри их, четких границ ей нет. Она не только в жестокой регламентации трудовых процессов, но и в характере, поведении, психологии общества, пустившей прочные корни в сознании многих рабочих. Пиво из погреба, а не из холодильника, «таунус» вместо «принца», «пежо» вместо «таунуса», отдельный домик, а не квартира — это тоже ведь «запланированность», остановиться на полпути, просто придержать себя, притормозить эту гонку значит потерять себя не только в глазах окружающих, но и в своих собственных.

В конце романа Пауль Поспишил получает еще одно письмо от матери. Жена яростно набрасывается на конверт, рвет и швыряет клочки под ноги супругу. Хватит с них одного письма! Пауль тупо взирает на неистовства жены. Так, пожалуй, и в самом деле лучше — спрятать голову под крыло, ничего, никого не видеть и не слышать, пусть это даже мать родная, дважды в год напоминающая о себе.

Но тут на сцену выступает Лисси, дочь Пауля, школьница. Долго, испытующе смотрит она на отца, опускается на колени и начинает складывать из обрывков письмо.

Образ Лисси сколько-нибудь глубокого развития не получил, она больше упомянута, чем раскрыта, но сцена получилась достаточно выразительная, даже символическая, не только в данном контексте, но и в контексте «рабочего романа» в целом.

Повсюду, и у Макса фон дер Грюна, и у А. Силлитоу, и у С. Чаплина, и у многих

других, дети стоят несколько особняком от родителей, от «стариков», даже если этим старикам не больше сорока, как Паулю. Это еще не бунт, но и жить по-отцовски молодые не хотели бы. Они сыты, обуты, одеты, более развиты, мобильны, они видят, что общество богато, и тревожит их не только несправедливость распределения этого богатства, но и неодухотворенность его, самоцельность, отчужденность. Люди, создавшие его, не властители, а рабы, причем унизительная, растлевающая эта закрепощенность растет не по дням, а по часам, и никто — ни «отцы», ни общество в целом не желают замечать этого, наоборот, преисполняются все большим самодовольством — так кому же верить, как жить?..

5

Взаимоотношения двух поколений прослеживаются и в «Соглядатаях и поднадзорных» С. Чаплина. Герой романа, молодой рабочий, кузнец по профессии, Тигр Мейсон тоже преисполнен недоверия и скепсиса к обществу, в котором живет, но зато в семье, с отцом, отношения у него на редкость добрые, теплые. Старый Мейсон сохраняет в себе исконное рабочее «естество», и в этом секрет его обаяния, его нравственной силы, притягательности для окружающих. Как бы далеко ни заводил Тигра его строптивый, неспокойный нрав, он, в критических ситуациях, неизбежно возвращается к отцу.

В отличие от многих своих литературных собратьев старик Мейсон не самоуспокоился, хотя основания для этого есть. Один сын — владелец ремонтного заведения, другой — школьный учитель и «маленько дерет нос», третий — машинист, четвертый — тоже рабочий высокой квалификации, верхолаз, ездит по стране с одной большой стройки на другую и коллекционирует пивные, младший, Тигр, тоже неплохо устроен, не успел жениться, как возмечтал уже о собственном домике...

И тем не менее на душе у старого рабочего смутно, тревожно. Он не то чтобы недоволен процветанием нынешнего общества, не доверяет этому блеску, нет,— он чувствует в этом процветании угрозу всему, чем жил, что до сих пор ему дорого.

«...Вспоминаю все то, о чем нам когда-то мечталось в те времена, когда работяги голодными походами шагали по дорогам, когда голодно было народу. С тех пор мы только и освоили, что уменье набивать животы и квартирки. А во всем прочем так и остались темными, как свиньи... Сам вглядись попристальней — и увидишь, что ничего мы не достигли!».

Старшие сыновья — отрезанные ломти, процветание отняло их у него, может быть, меньшой, Тигр, сумеет вырваться из колеи, из которой рвался всю жизнь он, отец? («Удалось все же раз или два подняться на время над нею — и в этом моя утеха».)

Надежду такую автор нам оставляет. О нет, Тигру далеко еще до классового сознания. Отношения на производстве его пока вообще не тревожат, завода мы почти не видим. Самое большее, на что пока способен Тигр,— это стать на сторону слабого, которого избивают сильные, бросить вызов домовладельцу-хищнику.

Элементарно?

Увы, и эта элементарность дается герою нелегкой ценой. Он молод, Тигр, задирист, энергичен, с обостренным чувством справедливости и собственного человеческого достоинства, но пока это на поверхности, носит, так сказать, частный характер, а глубже и вокруг — те же самые корешки благополучия, сытости, парализовавшие его братьев и многих товарищей. Бороться — значит рвать их, лишиться квартиры, и мотоцикла, и семейного уюта, возможно, и работы... У многих и многих людей нет на это сил. Они, вместе с Тигром, видят, как избивают слабого, но предпочитают устраниться, закрыть глаза. Тигр решается. Немного, если оценивать этот шаг с позиций старого Мейсона или тех классовых битв, которые вскоре потрясут ту же Англию, но и немало, если исходить из условий, изображенных в романе.

Другие герои и до этого элементарного, но уже вполне осознанного протеста не поднимаются. Просто кипят от ярости, бьют, ломают, что подвернется под руку, как герои Силлитоу, или же гасят возмущение в себе, на корню. Вот Конрой, молодой рабочий-чертежник (С. Барстоу, «Любовь... любовь?»), протестуя против обращения с ним как с мальчишкой, швыряет в физиономию начальнику заявление об уходе, а весь чертежный цех затих приниженно, изумленно, хотя безработицы нет, квалифицированные чертежники нарасхват. Главный герой, двадцатилетний Виктор Браун, на которого, кстати, тоже орали и топали ногами, разумеется, сочувствует товарищу, восхищается им, но у него и мысли нет, что его надо как-то поддержать. Рабочий?.. Да, несомненно (профсоюз чертежников один из самых многочисленных в Англии), но как бы и не осознающий своей классовой принадлежности, хотя и вырос в семье рабочего-шахтера. При первой же возможности Виктор оставит завод и станет продавцом, а в перспективе он — совладелец музыкального магазина. Эта легкость, с которой представитель одной социальной структуры переливается в другую, не придавая этому того социального, престижного значения, какое придавалось переходу в новое сословие на заре века, тоже примечательна.

На этом фоне совсем не случайными представляются рецидивы луддизма, с которыми мы сталкиваемся во многих книгах последних лет.

Да, луддизм! Но тех, первых луддитов нетрудно понять, темные, забитые люди, они видели факт: устанавливают в цехе какое-то сторукое чудовище и десятки людей

оказываются на улице, обреченные на голодную смерть. И вывод: долой чудовище!

А наш герой, дом которого буквально набит современной электротехникой, который если и не читал, то во всяком случае слышал о Марксе, о классовой борьбе, что вынуждает его бросаться на технику?

Это (дома) мое, а это хозяйское? Но нередко хозяина и нет, за предприятием стоит государство или же безликая техноструктура, причем рабочий и сам может (а то и должен!) иметь акции предприятия и, таким образом, как утверждают средства массовой информации, выступать его совладельцем, быть заинтересованным в его работе морально и материально...

Пауль Поспишил — именно такой совладелец, участвует (тринадцатая и четырнадцатая зарплаты) в прибылях, выбирает производственный совет... И тем не менее дважды покушается на свою (!) собственность. Первый раз, в припадке, не удалось, зато во второй, когда он приступил к делу в твердом уме и здравой памяти получилось. Один за другим Пауль вырывает из гнезд бесчисленные кабели, толстые, тонкие, черные, желтые, красные, синие, белые и уже предвкушает миг — вершину своей жизни, когда все наконец-то пойдет вкривь и вкось в этом до невозможности запланированном и запрограммированном мире, и тогда он, Пауль, наконец-то приподнимется над этой жизнью, над колеей, почувствует, что такое настоящая свобода... Но тут раздается язвительный смех одного из служащих: Паулю, для облегчения его трудов, предлагают ножницы.

Оказывается, система не просто запланировала самое себя, она и продублировала свою запрограммированность. Автоматика автоматически подменяет вышедшую из строя автоматику. И не исключено, что система дублирует себя не единожды, а дважды, трижды, и каким же ничтожеством, какой жалкой козявкой должен почувствовать себя человек, замахнувшийся на систему, уже вообразивший себя — на этот раз настоящим — богом и ошеломленно рассматривающий свой кулак: не сразу до него доходит, что если кому и навредил он, то только себе: Система несокрушима.

Это Пауль Поспишил, образованный, квалифицированный рабочий, сорока лет. А что же говорить о двадцатилетнем Алерсе, который спит и видит, как ковш его экскаватора разносит все вокруг в пух и прах (от этого соблазна он, правда, пока себя удерживает, страсть к разрушениям вымещает на безобидном детском самокате)? Что говорить о женщинах-работницах Д. Пирелли или о героях С. Чаплина, А. Силлитоу?

Да, бунт, бессмысленный, бестолковый, жалкий, необъяснимый подчас, потому что машины ненавидят и тогда, когда они не грозят безработицей. Но только на первый, поверхностный взгляд.

Герои восстают не против техники, как таковой. Они против мертвящей, опустошающей обезлички, которую несет и поневоле символизирует современная техника, наводнившая не только производство, но и торговлю, обслуживание, быт, маскирующая своей доступностью подлинную расстановку социальных сил в современном обществе; они против запланированности, проникающей во все поры жизни, подавляющей человеческую личность, отказывающей ей в главном — в ее индивидуальности, в ее физической и духовной неповторимости. Недаром же Поспишил и его напарник Франц придумали себе игру, в которой все идет не так, как полагается, а наоборот.

6

В советской литературе «рабочая тема» трактуется весьма широко. Это и понятно. Даже если основной конфликт разворачивается на уровне: министерство — завод или директор — главный инженер, мы все равно относим книгу к «рабочей теме», потому что в наших условиях такой конфликт, даже узкопроизводственного характера, не может не затрагивать самым непосредственным образом весь заводской коллектив сверху донизу.

В западной же литературе, особенно 50—60-х годов, к «рабочей теме» обычно относят произведения, раскрывающие будни рядовых, ничем не примечательных «работяг». Причем раскрываются эти будни не столько в производственной сфере, сколько в семейно-бытовой. И такому подходу к теме тоже есть объяснение. Хоть и похлопывают нынешние предприниматели и их управляющие по плечу рабочих, могут и за ручку поздороваться («человеческие отношения!»), но живут они, и на производстве и дома, в разных измерениях, разными интересами, почти не соприкасающимися.

И все же, думается, границы «рабочего романа» (повести, рассказа) требуют известного расширения.

Я не случайно упомянул в этих заметках роман Г. Паризе «Хозяин». Нарастающий процесс пролетаризации многомиллионной армии служащих, значительной части научных и инженерно-технических работников, не так давно еще кичившихся своим «особым» относительно привилегированным положением,— факт, с которым нельзя не считаться.

Бурно, стремительно, на глазах меняющаяся действительность, научно-технический прогресс и неспособность общества заглянуть в завтрашний день, предвидеть социальные, психологические последствия научно-технического переворота, усложнение социальной структуры общества, достижение относительного материального изобилия в развитых странах обусловили метаморфозы, которые претерпел роман о рабочих.

Книги 20—30-х годов выводили героя-пролетария на путь суровой борьбы. Наиболее распространенный сюжет тех лет — изображение нечеловеческих, архитяжелых условий труда, издевательств администрации, медленное, трудное пробуждение героя, не отрешившегося еще от крестьянской пси-

хологии, забастовка, кровавые столкновения с полицией, со штрейкбрехерами.

Даже когда герой и не поднимался до сознательной борьбы, авторы недвусмысленно давали нам понять, кто действительный виновник его тяжелого положения. О накале борьбы, об активности и социальной нацеленности авторских позиций говорит и тот факт, что рабочие романы тех лет нередко принимали остро публицистический характер, теряя при этом в художественности, разумеется.

Нынешний рабочий герой лучше одет, лучше живет, питается, более развит, образован, не чувствует уже себя изгоем, не стыдится появляться вечером на нарядной улице, в ресторане, в дорогом отеле — он, казалось бы, на равных с обществом, а вот гражданственность его, общественное сознание, как мы видели, нередко еще в зачаточном состоянии. Тут герой наш часто бывает удивительно близорук, растерян, беспомощен, наивен.

Литература не может перепрыгнуть самое себя, свои законы, свою специфику. Художническое осмысление нового этапа общественной жизни — это тоже немало. Надо считаться и с тем, что рисовать героя в период резкого обострения классовых битв, когда этот герой сам рвется на авансцену истории (и литературы), легче, проще, чем в периоды относительного затишья, благоденствия, смещения привычных социальных критериев. И мы должны быть признательны писателям за то, что они не упустили рабочего героя, не растворили его в «среднем» классе, наоборот, приподняли, укрупнили, найдя художественные формы, тон, адекватные сегодняшнему этапу общественного развития; сумели изобразить героя с таким тонким проникновением в его внутренний мир, так раздвинув границы этого мира, что эстетические, социальные, психологические барьеры между «рабочим романом» и всей литературой оказались нарушенными. Процесс в своем роде революционный. Потому что традиционный ряд литературных образов «потеснить» нелегко, хотя бы в силу снобизма буржуазной литературы, долгие годы чуравшейся мира труда.

Книги о жизни рабочего человека на современном Западе, послужившие основой для этих заметок, создавались главным образом в 50—60-е годы. Конец 60-х годов ознаменовался в странах Запада резким обострением общественных противоречий, быстрой политизацией всех сторон жизни, и нет сомнений в том, что реалистическая литература скоро покажет нам «повзрослевшего» рабочего героя.

◆

Культура и современность

Заметки на полях

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНВЕЙЕР

В августе 1973 года в обстановке исключительной секретности состоялся X съезд КПК. В его материалах нет ничего, относящегося к культурному строительству в стране.

Молчание маоистского съезда тем более удивительно, что практическая деятельность в области культуры далеко отошла от прежних методов «культурной революции». Очевидно, и новые методы в культурной политике не приносят плодов, которыми можно было бы гордиться.

В 1966—1971 годах «культурная революция» опустошила китайскую культуру. Художественная литература оказалась в опале. Маоистский нигилизм привел к фактической ликвидации в стране творческой деятельности. За эти годы не было издано ни одного нового романа или стихотворного сборника. Произведения прежних лет тоже не переиздавались.

Изменения начались с опубликования 16 декабря 1971 года изречения Мао Цзэдуна: «Надеюсь, что еще больше хороших произведений появится на свет». Странно это прозвучало в условиях, когда не было не то что хороших, но вообще никаких новых литературно-художественных произведений.

Санкция Мао Цзэ-дуна в принципе сделала возможным возобновление в Китае издательской деятельности.

Официальные материалы китайских газет позволяют предположить, что существовавшие затруднения вызваны разными причинами. Первая — и важнейшая из них — запуганность творческой интеллигенции, пережившей издевательства «культурной революции» и утратившей всякое желание возвращаться к любимому делу. Страх сказывается и теперь, после того как их «освободили» и призвали к «творчеству». Интересно и другое: даже молодые кадры «творческих работников», которые по молодости лет ничем себя в творчестве еще не проявили, зато стяжали «заслуги» в рядах хунвэйбинов и считаются вполне надежными с точки зрения верности «идеям» Мао Цзэ-дуна, не спешат «творить». Бывшие хунвэйбины, их жертвы и даже нынешнее руководство среднего уровня — все извлекли один урок из опыта «культурной революции»: творческая деятельность в Китае — опасна!

«Жэньминь жибао» прямо об этом пишет, когда через два года после санкции Мао Цзэ-дуна вынуждена признать:

> «Руководящие товарищи и творческие работники должны ликвидировать отраву идейки «опасно работать в искусстве», должны проникнуться высоким чувством революционной ответственности. Надо быть смелыми...» (23 мая 1973 г.)

Вторая причина — несомненное противодействие в высших сферах пекинского руководства со стороны «радикальных» маоистов, не желающих отказываться от практики «культурной революции». Эти деятели ведут себя так, словно ничего не изменилось. По-прежнему китайские газеты славословят «образцовые» спектакли, идущие уже десять лет с многократными переделками; устраивают шум по поводу, например, концертной программы из отдельных сцен и арий, взятых все из тех же «образцов».

Летом 1973 года была развернута пропагандистская кампания вокруг оперы «Бой на равнине», сделанной по набившему оскомину шаблону.

> «Надо еще больше учиться опыту образцовых спектаклей, этих славных плодов революции в литературе и искусстве, вдохновленных революционным курсом председателя Мао в литературе и искусстве»,— декларирует «Жэньминь жибао», так же как и в период хунвэйбиновского разгула семь лет назад.

В этих условиях маоистская издательская деятельность стала нарастать после организации нового руководящего ведомства — бригады по культуре при Госсовете КНР. На некоторых сборниках (в частности — концертно-эстрадных номеров) даже указывается, что их выходу в свет способствовало покровительство бригады. Она имеет особый отдел по руководству литературно-художественным творчеством.

В 1972 году были переизданы китайские классические романы «Речные заводи», «Сон в красном тереме» и др., за которыми на улицах Пекина стояли очереди. Из современных писателей первое место по числу книг занял некий Хао Жань. Еще в 60-х годах он издал трехтомный роман «Солнце светит ярко», который в 1963 году покритиковали, потому что роман был скучен и схематичен. Теперь, как жертва критики во времена «черной линии», Хао Жань выплыл на поверхность и переиздал свой роман. Он успел написать еще один многотомный роман «Светлый путь», который тоже издан. Рецензии газет говорят, что в романе «правильно» показана «борьба с черной линией» на материале китайской деревни.

Затем в изобилии стали появляться романы, сборники стихов и очерков. Нет нужды их перечислять, отметим общие весьма специфические особенности этой продукции. Во-первых, многие произведения написаны коллективно. Например, роман «История борьбы в Хуннани» создан «творческой бригадой», организованной специально для написания романа. Хуннань — название местечка в уезде Шанхай, неподалеку от крупнейшего города и культурного центра Китая. Газеты сообщают, что «Историю борьбы в Хуннани» писала бригада, в которую вошли крестьяне — бедняки и середняки («низшего типа»), низовые кадровые работники, а также «кадры из профессионалов». Близость Шанхая наводит на мысль, что «профессионалы» — это шанхайские писатели, которые записали рассказы крестьян и местных кадровых работников, а затем их обработали в «роман».

Многие очерки также подготовлены «творческими группами», «ячейками», «бригадами». Другие написаны самодеятельными авторами, и после обсуждения и «доработки» пошли в печать. Известные литературные имена на этих произведениях не значатся. Не содержат они и никаких признаков авторского своеобразия. Главная задача такого творчества — на местном материале проиллюстрировать «правильность идей» Мао Цзэ-дуна и воспеть «победу» маоистского курса.

Согласно канонам маоистского творчества, в центре каждого произведения должен стоять «типичный положительный герой» — разумеется, все такие «герои» совершенно одинаковы и различаются только по именам. Проповедь маоистского курса и «достижений» сочетается в этой литературе с явной ксенофобией. Так, в сборнике очерков «Война с рекой Хайхэ» рассказывается об ирригационном строительстве на этой реке. Китайские газеты не без гордости напечатали, что строители на Хайхэ не верили «иностранному опыту», подозрительно относились к «иностранному оборудованию» и вообще «боролись с пресмыкательством перед иностранной техникой». Дескать, применение иностранного опыта и техники снижало темпы строительства. И такое пишется наряду с признаниями — на других страницах — технической отсталости китайской экономики. Можно было бы посмеяться над очередной шовинистической выходкой китайской пропаганды, если бы не опасение, что за годы «культурной революции» маоистам действительно удалось отравить ядом шовинизма какую-то часть трудящихся Китая.

Издание художественной литературы вызвало к воскресению из мертвых китайской литературной критики. Проработочные статьи, разумеется, никогда не сходили со страниц китайских газет, но теперь появился вполне рабочий критический жанр. При этом рецензенты даже осмеливаются критиковать выпущенные книги!

Издательская база Китая позволяет выпускать литературную продукцию в широких масштабах. Так, в 1957 году одних романов было издано свыше ста. И ныне литературный конвейер маоистов запущен с немалым размахом. Литературная же продукция в массе своей производит на иностранного читателя удручающее впечатление абсолютной одинаковостью, строжайшим схематизмом и шаблоном сюжетов. А каково же восприятие этой литературы там, на месте, широким китайским читателем? На этот вопрос можно получить лишь косвенный ответ через настроение китайской критики и, главное, саму манеру критики.

«Жэньминь жибао», рецензируя сборник «Война с рекой Хайхэ», пишет:

> «В некоторых разделах сюжетные обстоятельства примитивны, персонажи обрисованы слишком поверхностно, так что произведение не способно взволновать читателя. В очерках нет прямого отображения активной роли инженеров и техников в обуздании реки Хайхэ; описание их идейной переделки сравнительно притянуто. В отдельных очерках использован лозунговый язык, оторван-

ный от конкретных обстоятельств и характеров героев, подменяющий собою конкретность в их изображении» (2 августа 1972 года).

Уж если «Жэньминь жибао» признает, что произведение не способно взволновать читателя, значит, оно действительно не пользуется успехом и за ним не выстраивается очередь покупателей, как за романом «Сон в красном тереме».

Совершенно справедливо отозвался рецензент о лозунговости языка в новой литературной продукции. Удивительно, что китайская печать только сейчас заметила эту лозунговость, свойственную буквально всем книгам. Но маоисты в трудном положении — ведь провозглашаемые лозунги, с их точки зрения,— «правильные». Поэтому рецензенты романа «Нютяньян» вежливо просят «одевать провозглашаемые принципы в одежду из речей и поступков действующих лиц», ибо так будет убедительнее для читателя.

Сказано довольно метко: новая китайская продукция — это парад «принципов», переодетых во имя «художественно-литературного» маскарада в одежды из диалогов и поступков героев-схем. Чтобы развеять всякие сомнения, укажем, что «принципы» — это все те же «идеи» и изречения Мао Цзэ-дуна.

Китайская печать часто отмечает композиционную слабость и сумбур в объемистых романах, а во всех жанрах — неумение изображать живых людей. Так, о сборнике рассказов «Новая высота» газета «Гуанмин жибао» писала:

> «Образы действующих лиц — героев этого сборника остаются худосочными, бледными».

А о сборнике очерков «Люди светлой мечты»:

> «С точки зрения уровня художественного изображения, произведения этого сборника тоже неодинаковы: некоторые из них фактически ограничиваются описанием конкретных событий, изобилуют подробностями производственно-технических процессов, авторы других не в состоянии показать героев в наиболее волнующие моменты борьбы линий. В итоге воздействие подобных произведений слишком слабо» (13 августа 1972 года).

Очевидно, что само пекинское руководство не испытывает удовлетворения результатами работы запущенного им литературного конвейера. Количество книг и количество страниц в каждой из них — вот единственные крупные показатели. Читать такую литературу — тяжелая и неблагодарная работа. Недаром даже у китайских рецензентов нет-нет да и прорывается искренняя просьба «сократить роман», с которой, например, обратился к везучему Хао Жаню рецензент «Жэньминь жибао» 28 октября 1972 года по поводу уже упоминавшегося романа «Светлый путь».

В 1972 году в Китае были изданы для детей и малограмотных три книжки-картинки по трилогии М. Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». Это радостное событие омрачено злонамеренностью издателей, которые не преминули предпослать книжкам предисловие с грубой клеветой о «перерождении» СССР.

В 1973 году китайская печать открыто заявила о широких издательских планах на будущее. Издано полностью «Детство» М. Горького, издан «Железный поток» Серафимовича, готовится новый перевод повести М. Горького «Мать», поскольку автор прежнего перевода объявлен «черным молодчиком».

9 апреля «Жэньминь жибао» сообщила об издании сочинений Лу Синя — единственного писателя первой половины XX века, которого опубликуют в современном Китае. Выйдет полное собрание сочинений и 24 отдельных выпуска его произведений. Но даже этот шаг в условиях постоянной междоусобицы предпринять было нелегко: сообщению о предстоящем издании предшествовала длительная кампания в печати на тему «Учиться у Лу Синя».

Междоусобная борьба серьезно тормозит издательскую деятельность маоистов. Видимо, противников культурного строительства и просвещения народа в Пекине не мало, и они пользуются серьезным влиянием. Поэтому все отмеченные перемены по сравнению с реальными потребностями совершенно ничтожны. Идейно-политические установки маоистского курса, главная причина запустения китайской культурной и духовной жизни, остаются для маоистов священными. Увеличение выпуска книг только усиливает впечатление однообразия и серости, строго соблюдаемого штампа. Недаром китайская творческая интеллигенция пребывает в пассивности и апатии. Творческие силы народа остаются парализованными, а маоистская печатная продукция имеет мало общего с подлинной художественной литературой.

А. ЖЕЛОХОВЦЕВ

◆

МЫ С ТОБОЙ, ЧИЛИ

По страницам чехословацкого сборника

Переводы с чешского и вступление Л. БУДАГОВОЙ

Первые же сообщения о контрреволюционном мятеже в Чили вызвали мощную волну протеста прогрессивных сил мира против произвола реакции, преследующей сторонников Народного единства, навязывающей стране режим террора.

Взволнованно откликнулись на события в Чили деятели чехословацкой культуры. Двадцать третьего октября 1973 года в Праге состоялось собрание Союза чешских писателей, решительно осудившее действия хунты. По его материалам и другим откликам на чилийскую трагедию издательством «Чехословацкий писатель» была «молнией» выпущена книга «Мы с тобой, Чили» (Прага, октябрь 1973). Задача не терпела отлагательств — мобилизовать общественное мнение, показать реакционность военного переворота, поддержать чилийских патриотов в их борьбе с контрреволюцией. На страницах книги выступили крупные писатели Чехословакии, прозаики и поэты — Йозеф Рыбак, Иван Скала, Иржи Тауфер, Рудольф Фабры, Владимир Рэйзел, Ян Пиларж, Мирослав Флориан, Донат Шайнер, Норберт Фрид, кинорежиссер Антонин Кахлик, вдова Народного героя Че-

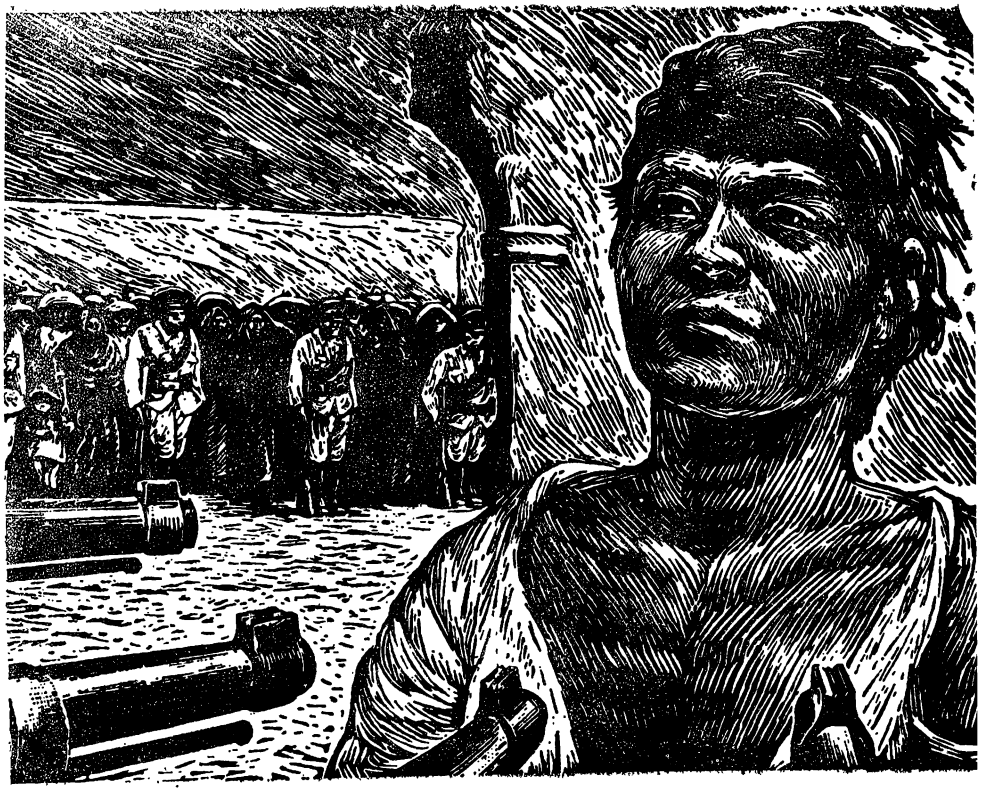
© Ceskoslovensky spisovatel, 1973.

хословакии, видная общественная деятельница Густа Фучикова и многие другие.

В книге прозвучал и голос великого чилийского поэта Пабло Неруды — его стихи «Сатрапы» и «Завещание». У чехословацкого народа к нему особое отношение. В известном смысле слова его можно назвать крестником чешской литературы. У Яна Неруды, классика XIX века, подчинившего свое творчество борьбе за национальное освобождение и социальный прогресс, взял свой псевдоним Рикардо Нефтали Рейес Басуальто, известный всему миру как Пабло Неруда.

Аналогии и параллели из отечественной и мировой истории, которые проводят авторы книги, убеждают в неотвратимости победы сил демократии и социализма — им принадлежит будущее. Демонстрируя свою солидарность с чилийским народом, показывая обреченность режима хунты, деятели культуры Чехословакии выражают, по сути дела, чувства и мысли всего прогрессивного человечества.

«Иностранная литература» горячо поддерживает инициативу чехословацких друзей. Ниже мы помещаем отрывки из книги «Мы с тобой, Чили», воспроизводя в своем монтаже основные элементы оформления сборника.



ЙОЗЕФ РЫБАК

Я обращаюсь ко всем честным людям земного шара: поднимите голос протеста против произвола, помогите спасти вождей чилийского народа, брошенных в тюрьмы, помогите спасти мучеников фашистских застенков и концлагерей.

Мы, чешские писатели, чья жизнь и творчество связаны с идеалами социализма, с волнением и сочувствием следили за героической борьбой чилийского народа, сра-

жавшегося под руководством правительства Народного единства за преобразование этой прекрасной и удивительной страны. Она лежит за тысячи километров от нашей родины, но нам близки и дороги ее история, культура, высокие цели, поставленные народом. Мы видели решимость и готовность прогрессивных сил вырвать страну из когтей американских монополий и эксплуататорских классов, отдать землю тому, кто возделывает ее своими руками.

Фашистская хунта, финансировавшаяся американским империализмом, незаконно свергла народное правительство и мстит его сторонникам. Гибнут люди, тюрьмы заполняются арестованными, вершатся расправы над вождями народа. Убивают те, кто любил произносить лицемерные фразы о конституции, демократии, свободе. А за ними и их фразами — медь, селитра, нефть и другие богатства недр чилийской земли. Впрочем, так всегда бывает в подобных случаях.

В книге истории — немало страниц, обагренных кровью борьбы за справедливое дело, против старого подлого мира. Но они в то же время и учат тому, что ни террор, ни насилие, ни преступления против человечности не повернут историю вспять.

Поэтому борьба продолжается, и окончится она, несмотря на временные неудачи, победой. Поэтому искусство и литература, всегда чутко реагирующие на несправедливость, эксплуатацию и жестокость реакции, берут в руки оружие, чтобы вступить в бой. И прежде всего поэзия, призванная сражаться за человечность и красоту.

Пусть наше оружие — боевая гневная поэзия протеста — скажет свое слово и на нашем собрании. Пусть прозвучат голоса наших поэтов и слово великого певца чилийского народа — Пабло Неруды, чье творчество, бессмертное и непобедимое, сражается и будет сражаться в одних рядах со своим народом до победного конца. Его гнев сливается с нашим гневом, его вера в силы народа — с нашей верой.

Народ победить нельзя.

ИВАН СКАЛА

ЧИЛИ

Под небесами, синими, как лепестки цветов,
горы из мрамора и серебра —
предмет вожделения конкистадоров.

По небесам, по морям, по земле
вновь несутся к ним стаи кондоров.

А за белыми стенами крепостей
горы трупов,
зноем обглоданных до костей.

Земля страдающая,
земля сражающаяся,
слышу твой стон — но не плач.
Рубашку бумажную,
униформу смертника,
на тебя натягивает палач.
После казни
из только что приземлившегося «боинга»,
как боксер на ринг, выскочит бойко
человек с железными челюстями...
Он из чемодана инструменты свои достанет.

Чтобы снова
измерить деревьев твоих высоту
и гребни твоих Кордильер,
чтобы снова
взвесить пеньку и медь,
твою нефть
и покупательную способность метисов;
чтобы снова
сверлить твою землю,
чтобы снова
занести в свои конторские книги
хрустальный воздух твоих гор,
звенящую твою красоту.

Земля страданий,
снова тебя одевают насильно
в ржавую кожу огня,
чтобы вчерашнего бедняка
согнать с земли,
по которой он впервые прошел, как хозяин,
и сделать опять бедняком;
чтобы шахтера с посветлевшим впервые лицом
вновь запереть в шахте;
чтобы из сухожилий
его смертельно натруженных рук,
чтобы из лент кардиограммы,
снятой с сердца твоего ограбленного народа,
веревку сплести
и набросить ее на тебя,
как на взъярившегося быка.

Земля страданий,
на тебя надевают красную окровавленную рубашку,
тебя покрывают серым пороховым дымом —
в лохмотья вернуть бедняков
бывшему хозяину необходимо.

А все потому,
что потомки непреклонных арауканов
взяли свою долю хлеба, свою долю солнца.

А все потому,
что ты — как клинок обнаженный
на боку непреклонного континента —
угрожаешь конкистадорам,
банкам их и конторам...

Земля под небом, синим, как лепестки цветов,
именно за это
человек с железными челюстями готов
одеть тебя в рубище голода,
на тебя налетают стаи кондоров
в жажде крови и золота.

Приставив дуло к виску твоему,
негодяи нажали курок...
Это горький урок,
но из маленькой ранки от пули, пробившей висок,
вылетел гнева пурпурный ангел,
он облетает планету,
полет его строг и высок.
Из маленькой ранки от пули
история вырывается, обжигая огнем,
дыша горячо и вчерашним и завтрашним днем.

Возмездие неотвратимо!

Когда сорняком и крапивой
порастут кварталы богатых вилл,
засыпанных пеплом чилийских везувиев,
над многострадальной Республикой
солнце будет вновь барабанить!

Перевод ЕВГ. ДОЛМАТОВСКОГО

НОРБЕРТ ФРИД

Чили — прекрасная страна. Еще до прихода к власти президента Альенде я был там по приглашению писательских организаций и лично Пабло Неруды. Мне не забыть тех знаков дружеского внимания, которым пользовался каждый приезжавший из Чехословакии, не забыть возрастающей активности прогрессивных кругов. Я приветствовал путь, который выбрала для себя эта страна, я болел за нее, осознавая, как много значит ее пример для всей Южной Америки.

Страшные сообщения, полученные недавно, свидетельствуют о неимоверной жестокости, с какой реакция пытается задушить демократию. Мы боимся за жизнь многих замечательных людей, но не верим, что убийцы и хунта смогут сломить народ, познавший радость надежды и избравший верный путь.

ПАВОЛ КОЙШ

ЧИЛИ, 1973

Разве Альенде убит? Нет!
Родина заслонила своего президента,
подняв его пылающее сердце.
Она истекает кровью, но живет.

Фашизм в мареве полдня
чует кровь
и жаждет крови,
фашизм из Лидице, из-под Сталинграда, из Тельгарта,
фашизм — орудие ненависти, фашизм — кровь за кровь,
обыкновенный фашизм...
Землю, чью сладость и надежду,
землю, чье сияние и вечность
первым выпил до дна
ее скромный возлюбленный Пабло Неруда,
нельзя истерзать ножами.
Землю-вулкан — не превратить в пепел,
не обескровить.
Благословенно будь, Чили, с твоим
упрямством индейцев...

21 сентября 1973

Перевод Л. БУДАГОВОЙ

ГУСТА ФУЧИКОВА

¡VENCEREMOS![1]

Ясно вижу ее перед собой — молодую хрупкую женщину небольшого роста, с распущенными каштановыми волосами, с серьезными темными глазами. В них—решимость и готовность строить вместе с молодыми чилийскими коммунистами и всем трудовым народом новый, справедливый мир. Его здание начал возводить три года тому назад фронт Народного единства. Это Гладис Марин, я виделась с ней совсем недавно на собрании Социалистического союза молодежи Чехословакии, где были и ее друзья, журналисты из Чили — коммунисты и социалисты.

Она говорила, как много значит для них, для ее молодых друзей и для всех прогрессивных чилийцев «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика. Как вдохновляет их эта книга, сколько душевных сил дает им в их нелегкой борьбе с реакцией.

Гладис Марин не скрывала, что бывшие хозяева медных рудников, бывшие помещики, владельцы латифундий, фабриканты, чья собственность была национализирована,— словом, вся чилийская реакция, которую поддерживает иностранный империализм, стремится навязать Чили гражданскую войну. И первыми жертвами могут стать самые отважные борцы, самые последовательные революционеры. Гладис Марин — одна из них. Она вернулась в Чили.

Дорогая Гладис Марин! Знаю, что путь борьбы, на который вступили вы и ваши друзья, не зарастет травой. Чилийский народ переживает сейчас суровые испытания. А я вспоминаю, какие страшные испытания выдержал мой народ. Нас хотели уничтожить фашистские агрессоры. Они погубили тысячи, десятки тысяч отважнейших борцов за свободу. Сровняли с землей Лидице. Но победил народ. Опыт истории убеждает меня в том, что и чилийский народ в конце концов победит! Venceremos, дорогая Гладис, дорогие чилийские друзья!

Прага, 17 сентября 1973

[1] Мы победим! (*Исп.*).

ЯРМИЛА ОТРАДОВИЦОВА

В БИТВЕ

Памяти Сальвадора Альенде

Тот мертв, кто был при жизни страшен своре.
Не руки — вверх, а в руки — автомат.
Пусть человечество сосредоточит взгляд
На том, чье имя — в каждом разговоре.

Убийца взять живьем бы рад.
Он даже труп стерег в неволе.
Плывешь в знаменах, словно в море.
А Чили в горе. Бьет набат.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

САЛЬВАДОР АЛЬЕНДЕ. Рисунок Р. Климовича.

КАРЕЛ БОУШЕК

КОНДОР ПИНОЧЕТ

Ко́ндор — исчадье Анд,
он никогда не сыт,
люди —
его провиант,
огненный клюв раскрыт,
перья — кровавый мрак,
когти — скопленье гнили,
в проволочный барак
он превратил бы Чили.

Кондор — голодный волк,
в детях он видит мясо,
он стережет, как вор,
золото здешних гор,
вулканический материк
у подножия Чимборасо.

Кондор — такой генерал
в Сантьяго, в чилийской столице.
На Ирода он похож
трусостью, наглой спесью.
Ласковые глаза,
длинные пальцы убийцы —
нет совести,
крыльев — тоже
и даже нет поднебесья.

Толкаемый сворой,
он движется тупо
сквозь бездну — в огонь
и к расплате — сквозь трупы.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

ЙОЗЕФ ВЕТРОВЕЦ

Утром на прошлой неделе я пережил потрясение, очень похожее на то, что мне уже пришлось испытать в юности, когда однажды по дороге на работу — а ходил я на завод Шкоды в Плзне — я прочел, что в Испании вспыхнул контрреволюционный мятеж, что демократии, победившей в 1936 году, угрожают фашистские фалангисты. Я испытал точно такое же потрясение, узнав о путче, который произошел в этой прекрасной и богатой стране, где живет свободолюбивый народ, в стране под Андами, вытянувшейся вдоль океанского побережья. Но движение к прогрессу, революционное движение к свободе, социальной справедливости и — я не боюсь этого слова, хотя речь идет о Южной Америке,— к социализму не может быть приостановлено даже этими гориллами.

ВОЙТЕХ ЦАХ

На долю чилийского народа выпали суровые испытания. Все прогрессивное человечество протестует против жестокости режима хунты. Трудно измерить чашу горечи, которую предстоит испить чилийскому народу. Но тем сильнее мы желаем — а нашей стране тоже угрожала опасность со стороны явных и скрытых врагов социализма,— чтобы, несмотря на страдания и кровавые последствия военного переворота, народ все же пробился к заветным целям — к истинной свободе и независимости и к такому общественному устройству, при котором человеческое достоинство не подвергалось бы унижению, а насилие и эксплуатация вспоминались бы как кошмары.

ВАЦЛАВ ГОНЗ

ЧИЛИ, 1973

Господа все это было и не стоит о том говорить
все это много раз
повторялось в истории

слышала вся Европа
треск горящих девичьих волос
у дворца президента

ах свобода свобода

генералы жонглируют пистолетами
у дверей его кабинета

один из них сейчас прицелится
прямо в сердце

господа все это давно известно и не стоит о том говорить

в дыму развалин
останавливается дыханье Сальвадора Альенде

Вальпараисо Вальпараисо
к древним морщинистым стенам твоим к его колыбели
приносят моряки гигантские зеленые цветы
вечерних прибоев

концерны
эти нежные североамериканские кошечки
снова ластятся к твоему родному побережью

ах свобода свобода

раненая заря демократии восходит
над твоею могилой

поднимаясь все выше и выше над острым хребтом Кордильер
генералам ее не расстрелять и не уничтожить

да пробудится лесоруб
Пабло

Перевод Л. БУДАГОВОЙ

ИРЖИ ТАУФЕР

ПАМЯТИ ПАБЛО НЕРУДЫ

Пабло Неруду я знаю много лет. Поскольку поэта легче всего узнать через его поэзию — это самый естественный для него способ самопроявления,— могу утверждать, что знаю Неруду с середины тридцатых годов, когда в «Интернациональной литературе», издававшейся в СССР на нескольких языках, я читал его первые литанические стихи и писал об этом Вацлавеку в журнал «У».

После Уитмена, Карла Сэндберга и Лэнгстона Хьюза к нам в Европу в строках стихов Неруды донеслись с американского континента удивительно сильные и суровые мотивы революционно-освободительной поэзии народа — простые, естественные и ритмичные, как страстная речь самой человечности.

А в пятидесятые годы я узнал его лично и много раз встречался с ним, и чем неожиданнее были наши встречи, тем сердечнее. До сих пор вижу, как его фотографируют под табличкой с названием пражской улицы, несущей имя чешского поэта, кому он обязан своим псевдонимом, именем, под которым его знает теперь весь мир.

Я люблю этого человека, в жилах которого текла кровь индейцев; люблю Неруду, друга Назыма Хикмета,— он встречался с ним, сражаясь против очагов военного пожара в разных уголках планеты; он был другом Витезслава Незвала, который перевел его поэму о Фучике, а незадолго до смерти, прикованный предательской болезнью к постели, с огромным напряжением трудился над переводом «Всеобщей песни», так и не успев закончить его. Я люблю Неруду, пылкого и верного друга великой страны Октября, боевого соратника борцов за свободу и лучшую долю — в рядах которых люди разных наречий и разных оттенков кожи.

Он умер в дни кровавого бунта чилийского Вчера против светлого Завтра чилийского народа. И есть в этом некая жестокая символика. Пабло Неруда умирает в момент, когда гибнут иллюзорные надежды и в горниле сурового, безжалостного опыта, в крови и смерти, в решающей борьбе рождаются надежды новые. Надежды на пусть далекий, труднодоступный, но неумолимый час расплаты с эксплуататорами человеческого труда, с расхитителями богатств древней чилийской земли, за жестокими делами и напыщенными речами которых нет ни малейшей идеи, ни малейшей философии, а есть лишь алчный хищнический интерес к меди и растущим акциям.

Недаром наемники горнопромышленников и акционеров в бессильной злобе уничтожают книги Неруды вместе с томами сочинений Маркса, Энгельса, Ленина. Это высшая честь, какой только может удостоиться поэт, с юношеских лет избравший для себя удел борца за будущее человечества. Да, горько, что Неруда умирает преждевременно, умирает в момент, когда, растревоженный, просыпается его лесоруб, рудокоп, пролетарий. Но его поэзия была и будет песней их грядущей победы, чего бы это ни стоило. Придет день, когда чилийский народ склонит свои революционные знамена, а потом они взлетят и затрепещут высоко, высоко — над бессмертной памятью о нем.

ВЛАДИМИР РАЙЗЕЛ

ПАБЛО

Волна убийств за волнами убийств —
как волны Анд,
как волны в кукурузном океане.
Глаза в слезах, солено-горький ад.
Люблю! — никто сказать не в состоянье.

Здесь народилась медь, а в ней — изъян:
в ней блещет золото. Теперь оно грозится
на виселице удавить крестьян,
не возвратившихся к бурде из чечевицы.

Но лесоруб отвергнет сонный бред,
придет в себя, упрется в купол звездный,
в миры, которые диктуют смерти: «Нет!» —

и признают законность воли грозной —
срывать погоны с грязного мундира
и с нами строить будущее мира.

Перевод ЮННЫ МОРИЦ

ПАБЛО НЕРУДА. Рис. Р. Климовича.

ЯН ПИЛАРЖ

ЧИЛИЙСКАЯ РАПСОДИЯ

В эти дни я все время думаю о распростертом голубином крыле чилийской земли, о залитых кровью его белых перьях. Я все думаю о степях и прериях Америки, о красноватых Кордильерах, где чилиец, смуглый сын гордой земли, защищает свое право на свободу.

Я все время думаю о чилийском поэте Пабло Неруде. Сразу после контрреволюционного переворота, незадолго до смерти «где-то в Чили» он написал поэтическое завещание, бросив слова ненависти в хорошо известное ему лицо «прожорливых гиен истории, грызущих завоеванное знамя, орошенное кровью, опаленное огнем; и сатрапов, тысячу раз себя продававших, которым неведомы иные законы, кроме как мучить и голодом хлестать народ».

И до присуждения Нобелевской премии Пабло Неруде ясно было, что это — поэт первой величины, перед могуществом которого склоняются и его идейные противники. Это был бард из рода Гомеров. Слагая «Всеобщую песнь», он создал монументальную «Илиаду» южноамериканского континента, эпос его земли и его народа, и «Одиссею» борцов за справедливость и достоинство грядущего мира. Он был поэтом всеобъемлющей человечности. Всю жизнь, все творчество он посвятил народу, стремясь раствориться в нем и петь его устами.

Стихи Неруды — и времен гражданской войны в Испании, и его ода в честь защитников Сталинграда, которую он в разгар войны изваял на городских стенах, и стихи, посвященные Юлиусу Фучику, и знаменитая поэма о мире, и строфы, воссла-

вившие победу кубинского народа,— несли в себе взрывную силу. Они умели разжигать пламя любви к самому святому и возбуждать ненависть к врагам свободы народов. Он называл своими именами «бесчисленные автоматы, алчущие долларов, расхищающие хлеб и воздух Америки», чтобы человечество о них не забывало. Поэзия Неруды — конкретна, материальна, она — понятная и земная, и, хотя он прошел школу многих мастеров мирового искусства, это прежде всего поэзия коммуниста, которому показал Маяковский, «как зажигаются звезды и из их сиянья восходят колосья».

Когда в пятидесятых годах поэт-изгнанник, едва избежав смерти, приезжает в Чехословакию, он изливает любовь и ненависть чилийского народа, удивительную веру бедняка-труженика в свою непременную победу. Уже тогда, работая над переводом поэмы «Да пробудится лесоруб!», я полюбил «распростертое голубиное крыло Чили, тысячи гроздьев убогих дверей, деревья-бедолаги, судорожно цепляющиеся за края обрывов, белье, развешанное среди нищенски бедных лачуг, стелющиеся туманы, рокот моря, хрипловатый посвист рыбаков, миролюбивый народ суровой Арауканы». Уже тогда я начинал понимать, что же это за земля Южная Америка, каких рождает она революционеров и каких поэтов дает миру народный гений. И когда три года тому назад на узкую полоску земли у побережья океана стала возвращаться справедливость, я вспоминал гомеровскую силу пророческих стихов Пабло Неруды, которые, как подожженный запальный шнур, разносили от человека к человеку революционные идеи. Я вспоминаю их и теперь, когда поэт навеки остался в глинистой земле своей родины, на голубином крыле которой проступают капли крови.

Озверевшая хунта сжигает на площадях вместе с книгами Маркса, Ленина и книги Пабло Неруды. Но ей не удастся погасить голос его поэзии. Ее боится тот, кто предал свою родину и осквернил имя поэта. И боится недаром. Подобно тому, как над открытой могилой поэта, окруженной наемниками контрреволюции, вдруг зазвучала вырвавшаяся откуда-то из сомкнутых уст молчаливой толпы народа мелодия «Интернационала», так однажды прозвучит и его песня о неувядающих зернах свободы, которые прорастут на опустошенных полях чилийской земли и «наполнят новый, человечный строй великой страдой победы».

ЯРОСЛАВ МОУХА

ЧИЛИЙСКИЙ КОМПАНЬЕРО

Рядом с тобою поставили к стенке слово,
беснуясь, что правду нельзя задушить.
Одна у убийц опора — это свинец и олово,
чтобы стрелять в человека или ударом его свалить.

Но разве можно слово убить вместе с тобой, компаньеро!
Слово хунту взорвет.
Она смертельно боится поэзии гнева,
слова Пабло Неруды, которое не умрет.

Компаньеро, товарищ мой верный,
твоя родина, Чили, к жизни вернется опять
без Иуд-предателей с клеймом доллара, со знаком скверны.
Правду твою,
компаньеро,
нельзя расстрелять!

Перевод Л. БУДАГОВОЙ

МИРОСЛАВ ФЛОРИАН

Когда дошло до меня печальное известие о кончине Пабло Неруды, я ясно представил его лицо, весь его облик и прежде всего — голос. Его звучный голос, декламирующий замечательные стихи, полные любви и гнева, любви к трудовому народу Америки, всего мира. Мне посчастливилось дважды встретиться с ним и близко узнать его. Первый раз — когда он приехал в Прагу в конце пятидесятых годов. Он стоял на маленькой сцене Клуба писателей рядом с Незвалом, читавшим отрывки из своего перевода нерудовской поэмы-гиганта «Всеобщая песнь». А потом — в шестьдесят пятом году в Москве: огромный зал, заполненный до отказа, горячо привет-

ствовал поэта. Пабло Неруда, о чем свидетельствует не только его псевдоним, взятый у чешского классика, был большим другом нашей страны. Он отражал в своих стихах впечатления о поездках и пребывании у нас. Можно вспомнить и известную поэму о Юлиусе Фучике. Мы знаем, что Пабло Неруда долго болел, но я убежден, что именно тот тяжкий период, который переживает сейчас его родина, сыграл свою решающую и трагическую роль в его смерти. Она стала своего рода протестом, молчаливым, но тем более убедительным и впечатляющим. Протест этот, как и все творчество Неруды, наполняет нас верой — опять проснется лесоруб, а с ним несокрушимая сила, сила народа.

АРНО КРАУС

ТВЕРЖЕ ШАГ

Снова
отдать чилийскую медь
Уолл-стриту!
Снова
горняков сделать нищими!
Латифундии
вернуть господским копытам!
Стрелять в безземельных!
Здесь властвуют хищники!

. . . . . .

И мы когда-то сорняки и мусор
февральским штурмом
гнали из истории.
Крестьяне Чили!
Рабочие Чили!
Вас не запугать
убийцам гнусным.
Сомкните ряды, тверже шаг,
мы раненых ваших подхватим, поддержим.
Кто пал за свободу,
не умирает,
он в шеренге бойцов
по-прежнему.

Перевод Л. БУДАГОВОЙ

ЛУИС КОРВАЛАН. Рис. Р. Климовича.

АНТОНИН КАХЛИК

Фашизм — это смерть демократии. Фашизм губит свободу народов, которые борются за освобождение из-под колониального или полуколониального ига. Фашизм влечет за собой физическое уничтожение всех прогрессивных сил. Конституционный режим в Чили потоплен в крови. Арест товарища Корвалана и готовящаяся над ним расправа воскрешают память о Георгии Димитрове, события в Чили заставляют вспомнить Испанию. Каждый честный человек в любом уголке земного шара должен требовать освобождения Корвалана, олицетворяющего чилийский народ. Мы должны добиться, чтобы Организация Объединенных Наций объявила фашизм самым ярым врагом человечества, опасным, как чума.

ДОНАТ ШАЙНЕР

ЧИЛИ

Черных птиц безбрежные стаи
летят, как надгробное слово о песне казненной.
По всей планете разносится эхо.
Очереди из автомата
ведут счет убитым.

Не счесть их, не перечесть,
ропщет море, горы встали.
Жизнь идет, рассвет приходит,
тучи солнце не достали!

Вот какая эта земля, медью пропитана до корней
(вспомните Гойю, каждый удар его кисти — боли застывший крик),
и поэзии жаркая кровь, как набат, пульсирует в жилах,
а с нею вера в полет свободы желанной.

Жар огня в крови и в песне,
пуль не страшен свист зловещий.
Жизнь идет, рассвет настанет,
тучи солнце не достанут!

Мертвые вместе с живыми восстанут!

Перевод Л. БУДАГОВОЙ

ГЛУБОКО ВЗВОЛНОВАННЫЕ СОБЫТИЯМИ В ЧИЛИ, МЫ, РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ, ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА НАШЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА, ПОДНИМАЕМ СВОЙ ГОЛОС, ГОЛОС ПРОТЕСТА, ОСУЖДАЯ ТЕРРОР БУРЖУАЗИИ, КОТОРАЯ САМЫМ БЕССОВЕСТНЫМ ОБРАЗОМ ОТДАЕТ ТРУДОВОЙ НАРОД ЧИЛИ, СТРАНЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ У ПОДНОЖИЯ АНД, НА РАСТЕРЗАНИЕ ФАШИЗМУ И СТРАДАНИЯМ.

ТЕРРОР, РАЗВЯЗАННЫЙ ВРАГАМИ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА — А СТАЛО БЫТЬ, ВРАГАМИ ВСЕЙ СТРАНЫ,— УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРАВ И ЗАВОЕВАНИЙ ГЛУБОКО ПОТРЯСАЮТ ЧЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ ВСЕГО МИРА.

БУРЖУАЗИЯ — В КОТОРЫЙ РАЗ УЖЕ — ПОКАЗАЛА СЕБЯ ЗЛЕЙШИМ ВРАГОМ ВСЕХ СВОБОД И СОЦИАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДЯЩИХСЯ, В КАКОЙ БЫ СТРАНЕ ОНИ НИ ЖИЛИ.

С ГЛУБОКИМ УВАЖЕНИЕМ СКЛОНЯЕМСЯ МЫ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ САЛЬВАДОРА АЛЬЕНДЕ. МЫ ЗАВЕРЯЕМ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ И ВЕСЬ ТРУДОВОЙ НАРОД ЧИЛИ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕМ ИХ И СОЛИДАРИЗИРУЕМСЯ С НИМИ В ИХ БОРЬБЕ ПРОТИВ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ.

Чехословацкий комитет Союза писателей
Чехословацкий комитет Союза работников театра
Чехословацкий комитет Союза композиторов и музыкантов-исполнителей

Сентябрь, 1973

ДЖЕЙМС БОЛДУИН

Имени его не будет на площади

Отрывки из книги

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму и сотрут его с лица земли.

Кн. Иова, XVIII, 17—18.

Отведите меня к воде

Будь по-моему,
Я бы срыл этот дом,
Будь по-моему, господи,
Будь по-моему, дети,
Я бы срыл этот дом.

Песня рабов

Остаться здесь еще немного,
Остаться здесь еще.

Народное

— Хорошая идея! — сказала моя мать. Она внимательно рассматривала смятый лоскут черного бархата, а потом спрятала его в шкаф. И не год и не два после этого я считал, что «идея» — это кусочек черного бархата, а потому нетрудно догадаться, сколько мне тогда было лет.

Многое, многое стерлось, чтобы только теперь заново возникать в обрывочных и ненадежных проблесках. По-моему, идею и черный бархат я связал в пять лет, но это могло случиться и раньше, скажем, в тот год, когда отец пожелал, чтобы меня обрезали,— ужасная операция, которая почти полностью изгладилась из моей памяти; а может быть, мне кажется, будто тогда мне было пять, потому что я помню, как я дергал мать за юбку и смотрел на ее лицо, пока она говорила кому-то, что ей двадцать семь лет. Из этого я понял, что она уже стоит одной ногой в могиле, и потянул ее за юбку еще сильнее. Я откуда-то знал — или сам себе внушил,— что я родился, когда ей было двадцать два года. И хотя теперь я не умею считать, в раннем детстве я считать умел.

Некоторое время я оставался единственным ребенком в доме (или домах?) — светлая пора, от которой моя память полностью отрекается, и если я запомнил, как дергал мать за юбку и смотрел ей в лицо, то лишь потому, что отчаянно боялся человека, которого мы называли отцом; в мой мир он по-настоящему вошел, когда мне было уже больше двух лет. Я написал и слишком много и слишком мало об этом человеке, которого не понимал, пока он не ушел за грань понимания. В моих воспоминаниях он появляется на кухне с посудным

полотенцем в руках. Мама одела меня, потому что идет со мной куда-то, по-видимому, это зима, потому что на мне, насколько я помню, матерчатый шлем с козырьком, застегивающийся под подбородком,— линдберговский шлем, если не путаю. По-видимому, мама держит меня на руках, так как я гляжу на отца через ее плечо; мы ближе к двери, и отец улыбается. Возможно, это — воспоминание, и так мне, во всяком случае, кажется, но может быть, это и выдумка. Когда я чуть ли не в последний раз видел моего отца на ногах, я глядел на него через плечо матери — она вбежала в комнату, чтобы разнять нас,— и отец не улыбался. Как не улыбался и я.

Его мать, Барбара, жила у нас в доме — а она родилась еще в рабстве. Она была так стара, что уже не вставала с кровати. Я помню ее бледную кожу и худобу, и, наверно, она обматывала голову платком, потому что я не помню ее волос. Я помню, что она меня любила: она выговаривала сыну за его обращение со мной, а он ее побаивался. Когда она умирала, то позвала меня к себе в комнату, чтобы отдать мне подарок — старинную круглую жестяную коробку с обычным цветочным узором, в каких прежде продавали леденцы. Она была уверена, что коробка полна леденцов, и я тоже так думал. Но когда она умерла и я открыл коробку, то увидел иголки и нитки.

Это, конечно, причинило мне ужасное горе, но еще большим горем была для меня ее смерть, потому что я любил ее и чувствовал в ней опору. Я знал — а ребенку это нужно,— что она будет защищать меня, насколько хватит ее сил. Как и моя мать — я это знал,— но к помощи матери можно было прибегать только в самых отчаянных случаях. Очень быстро, как и все остальные дети, появлявшиеся на свет друг за другом, я понял, что наша мать дорого расплачивается за попытки встать между нами и нашим отцом. Он умел причинять ей страдания, совершенно для нас непостижимые, и поэтому мы скоро научились полагаться друг на друга и безмолвно договорились оберегать ее (мы все до единого безжалостно и бескомпромиссно сплотились против отца). Кроме того, мы скоро осознали, что она вообще не принадлежит нам: она почти все время была в больнице, рожая очередного ребенка. Беспощадные дети, которые смертельно его боялись, беременности, роды, крысы, убийства на Ленокс-авеню, проститутки, жившие внизу, его работа на Лонг-Айленде (куда он отправлялся каждое утро в котелке или фетровой шляпе, в черном костюме, белой рубашке, темном галстуке — совсем проповедник, которым он и был,— и с черной жестяной коробкой для завтрака в руке) и томившая его любовь без взаимности к всемогущему господу — вот что тяготело над нашим отцом, и неудивительно, что он сошел в ума. Мы же, с другой стороны, к счастью для нашего отца и к большому счастью для нашей матери, просто принимали каждого нового ребенка в свою среду, и он становился нашим. Мне хотелось бы избегать обобщений — надеюсь, вскоре станет ясно, что этого требует сама суть того, что я пытаюсь сделать,— а потому я не стану говорить, что дети любят чудеса, но все-таки скажу, что мы, по-моему, их любили. Новорожденный младенец — это нечто необыкновенное; мне еще не приходилось видеть двух одинаковых младенцев, и даже плачут они каждый по-своему. И вот оно — это живое чудо, которое и мгновение не могло бы существовать без тебя: головка более хрупкая, чем яичная скорлупа, чудо глаз, ножек, ногтей на их пальчиках и (особенно) чудо легких. Он шарит на свету, как слепой,— да он и слеп, не понимая того, что видит. На головенке — реденький пушок, который скоро вылезет, зубов нет, он только и делает, что пикает на тебя, срыгивает, а испугавшись или проголодавшись, дает волю своим легким, даже не подозревая, какое чудо творит. Ты наблюдаешь, как он совершает необыкновенное открытие — у него есть рука; затем он обнаруживает, что у него есть пальцы на ногах. Вскоре он открывает, что у него есть ТЫ, а так как он уже убедился, что хочет жить, то встречает тебя беззубой улыбкой, воркует или попискивает, когда ты берешь его на руки, крепко вцепляется тебе в палец, в глаз или в волосы и, уже отвергая одиночество, вопит, когда ты кладешь его в корзину. И ты начинаешь удивительное путешествие, узнавая это существо и обучаясь справляться с ним. Не отдавая себе в этом отчета, ты различаешь тональность — вернее, смысл — того или иного крика. Ты знаешь, когда он голоден,— это одна тональность. Ты знаешь, когда он обмочился,— это другая тональность. Ты знаешь, когда он сердится, ты знаешь, когда ему скучно, ты знаешь, когда он испуган. Ты знаешь, когда ему больно. Ты прибегаешь, или убегаешь, или сидишь на месте в зависимости от того, как звучит крик малыша. И там, где родился я, ты оберегаешь его даже во сне, потому что крысам нравится запах новорожденного и они гораздо, гораздо его больше.

К тому времени, когда он умудрится заползти под все кровати, чуть не задохнуться в каждом ящике, чуть не удушить себя бечевкой, застрять позади батареи центрального отопления (одному богу известно, как он сумел туда втиснуться!), предпринять самоубийственное изучение лестничного пролета, от которого его приходится оттаскивать за ногу, и чуть не отравиться всем, что ему удается запихнуть себе в рот (лапки у него проворней твоего взгляда), ты либо научишься его любить, либо уйдешь из дома.

Я, Джеймс,— в августе. Джордж — в январе. Барбара — в августе. Уилмер — в октябре. Дэвид — в декабре. Глория, Рут, Элизабет и (когда мы уже думали, что с этим

кончено!) Пола-Мария, нареченная так мной и родившаяся в день смерти нашего отца,— все в летние месяцы.

■

Младший сын новоорлеанской ветви нашей семьи (слово «семья» тут употреблено в широком смысле), о которой мы не знали почти ничего и которая ничего не знала о нас, отец, преданный друг всемогущего господа, просто бежал с Юга, оставив там еще одну ветвь. Как я уже упоминал, он был сыном рабыни, и его младшая дочь от первого брака — ровесница моей матери, а его младший сын от первого брака старше меня на девять лет. Этот мальчик, не ладивший со своим отцом, был, насколько я разобрался во всем этом тогда, моим старшим братом и иногда брал меня с собой, когда шел куда-нибудь. Как-то он отправился со мной на плечах в прибой на Кони-Айленде, чтобы научить меня плавать, и вдруг выскользнул из-под меня — то ли балуясь, то ли захваченный волной. После мгновения чистого ужаса он поймал меня и приподнял над водой. Я все еще помню вязкую морскую воду и ослепительную зелень в тот момент, когда его тело подо мной исчезло и волны сомкнулись у меня над головой,— но это была не зелень, а сопли и блевотина всего мира, и они ворвались в меня. Когда моя голова была резко вздернута над водой, когда я ощутил руки брата и увидел его обеспокоенное лицо (его глаза неотрывно смотрели в мои с глубокой, но безличной тревогой хирурга, а небо в вышине оставалось смутным, а мои легкие никак не могли извергнуть могучий вопль, чуть не разорвавший их под водой, а мои не то четырех-, не то пяти-, не то шестилетние ноги отчаянно брыкались), когда мой брат вскинул меня на плечо, как кусок мяса или как горячо любимого брата, и вылез из моря вместе со мной — со мной, которого он все-таки спас! — я узнал нечто об ужасе, и об одиночестве, и о глубине, и о высоте любви.

А вскоре этот мой брат, уже подросток, болтая с девчонками или играя в кости с приятелями — кто знает? — задержался и вернулся домой поздно, что было строго запрещено в нашем баптистском доме, и после бешеной драки с отцом ушел из дома и больше в него не вернулся. Он поклялся, что никогда не вернется, что отец больше никогда его не увидит. И он не вернулся — пока был жив отец. Отец писал, но его сын не отвечал. Когда я стал молодым священником, то по просьбе отца писал ему — иногда эти письма диктовал отец. И брат отвечал мне — иногда, но отцу он не отвечал и не упоминал о нем. Отец постепенно начал осознавать, что никогда больше не увидит этого сына, который был его любимцем, зеницей его ока, и это разбило его сердце, сломило его волю, помогло ему попасть в сумасшедший дом и свело в могилу — пожалуй, единственное чувство в нем, которое за все эти годы показало мне, что он все-таки был человеком. Сын вернулся домой, когда отец умер, и помог мне его похоронить. Потом он опять уехал, и я увидел его снова, только когда мне пришлось поехать в Калифорнию в разгар борьбы за гражданские права, и он встретил меня в аэропорту. К тому времени мне исполнилось тридцать девять лет, а ему было под пятьдесят. Я сделал знаменитым имя отца, от которого он отрекся, и я покинул отчий дом точно так же, как прежде он, и примерно по той же причине, когда мне было семнадцать.

■

После смерти Мартина[1] в Мемфисе и того необычайного дня в Атланте что-то во мне переменилось, что-то исчезло. Возможно, даже больше, чем сама его смерть, то, как он умер, принудило меня вынести человеческой жизни и людям приговор, которого я прежде не желал выносить. И я отдаю себе отчет, что мой жизненный стиль, как его видят лица осведомленные, во многом определялся именно этим нежеланием. Увы, неоспоримо, что в значительной части люди, когда доходит до дела, стоят немногого, и тем не менее каждый человек — это неповторимое чудо. И пробуешь относиться к ним, как того заслуживает чудо, и в то же время оберечь себя от смертоносной опасности, в которую они превратились. Тут можно заметить сходство с верой, которой требовали все эти походы и петиции, когда Мартин был еще жив. Казалось, американцы уже не способны были ввести тебя в заблуждение, и ты уже не осмеливался ничего ожидать от огромной, необъятной безликой обобщенности. И тем не менее ты был вынужден требовать от американцев — в конечном счете ради них самих же — душевной щедрости, ясности мысли и благородства, каких им и в голову не приходило требовать от самих себя. В одном отношении ошибка оказалась непоправимой, так как походы и петиции предполагали существование некоего единства, которое так и не удалось обнаружить, то есть, другими словами, американского народа пока еще нет. Но к этой мысли (или тоскливой надежде) мы еще вернемся. Однако мораль всего этого (и надежда мира), быть может, заключается в том, чего ты требуешь не от других, а от себя. Но как бы то ни было, поражение и предательство навеки занесены в книгу судеб, обличая и покрывая непреходящим позором тех потомков варварской Европы, которые самовольно и надменно присваивают себе право называться американцами.

Сознание движется по своим странным и грозным путям, подчиняясь собственным

---

[1] Мартин Лютер Кинг, лидер движения за гражданские права в США, лауреат Нобелевской премии мира (1964), убитый расистами в Мемфисе 4 апреля 1968 г. На протяжении 50-х и 60-х годов Болдуин неоднократно выступал в поддержку проповедовавшейся Кингом доктрины ненасильственных действий как единственного пути решения расового конфликта в США. *(Здесь и далее — примечания редакции.)*

строгим правилам. И мое сознание, когда я уехал тогда из Атланты, начало возвращаться во времени к местам, людям и событиям, как мне казалось, давно мною забытым. К ним его гнала печаль, так мне кажется,— печаль и еще растерянность, рожденная, возможно, одним событием в моей жизни, которое было косвенно связано с похоронами Мартина.

Когда Мартин был убит, я находился в Голливуде, где работал,—работал, собственно говоря, над сценарием экранизации «Автобиографии Малькольма Х»[1]. Писалось мне нелегко — ведь я лично знал Малькольма, спорил с ним, работал с ним и питал к нему то величайшее уважение, которое почти, а то и вовсе неотличимо от любви. (Мое голливудское сидение ни к чему не привело, так как я не захотел стать соучастником вторичного убийства, но в Голливуд мы еще вернемся.)

Незадолго до гибели Мартина я выступал с ним в Нью-Йорке в Карнеги-холле. Я так долго пробыл на Тихоокеанском побережье, что для Карнеги-холла мне нечего было надеть, а потому я кинулся в магазин, выбрал темный костюм, его подогнали на меня, и я выступил. Через полмесяца я в этом костюме присутствовал на похоронах Мартина, затем вернулся в Голливуд и тут же должен был по делам снова съездить на Восток. Как-то вечером я встретил Леонарда Лайонса[2] и сказал ему, что никогда больше не смогу надеть этого костюма. Леонард упомянул об этом в своей колонке. Я вернулся в Голливуд.

Значительно позже я по какому-то делу, связанному то ли с борьбой за гражданские права, то ли с «Коламбия пикчерз», вернулся в Нью-Йорк. Там на рабочем столе меня ждали письма и записи телефонных звонков — а надо сказать, моя сестра Глория, которая тогда была моей секретаршей, крайне придирчива, если не сказать беспощадна, когда речь идет о моей почте и телефонных звонках. На мой стол попадают лишь крохи. Большей части адресованной мне корреспонденции я вообще не вижу. Справиться с ней выше моих сил, да и вообще выше сил человеческих. И Глория это знает. Но мой лучший друг (черный) времен средней школы, когда мне было лет двенадцать-тринадцать, звонил, звонил, звонил. Вина того, кто выживает,— это отнюдь не воображаемая вина, как я мог теперь убедиться. Каким-то образом, не ясным ни мне самому, ни моим соотечественникам, тот факт, что я «достиг всего» — появляюсь на телевизионных экранах и у Сарди[1], могу (предположительно!) расплачиваться чеками в любой точке мира, то есть, короче говоря, могу в ресторане укрощать метрдотелей с помощью имени, которое не было моим при рождении, но которое любовь заставила меня сделать своим,— этот факт означает, что я предал свой народ. Трудно найти более мучительный парадокс: получить как божий дар то, о чем ты и не грезил, о чем, если взглянуть в глаза трезвой и горькой истине, ты и не мог грезить,— но ценой подразумеваемого предательства своих братьев и сестер! И ты всегда, непрерывно опровергаешь это безмолвное обвинение, столь же бессмысленное, как и неизбежное.

Этого друга — да его едва ли уже можно было назвать другом — я не видел много лет. Я был способнее его или настойчивее — чем же я-то виноват? — и, хотя мы об этом не подозревали, на самом деле наша дружба кончилась, когда я стал священником, а к тому времени, когда я расстался с кафедрой, церковью и родным домом, от нее осталось не больше, чем от моих надежд на царствие небесное. Задним числом нетрудно понять, что этот разрыв, по необходимости беспощадно грубый и требовавший в конечном счете сознательного отречения от всех и от всего, кем и чем до тех пор определялась моя личность, не мог не оставить рубцов. Моя жизнь складывалась так, что я виделся с этим человеком довольно редко и каждый раз чувствовал себя ужасно виноватым, потому что мне нечего было ему сказать, а когда-то я поверял ему все или почти все. Я был виноват, потому что он был одним из тысяч и тысяч почтовых работников, а когда-то мы вместе рисовали для себя великое будущее. Я был виноват, потому что он и его близкие были очень добры ко мне в страшный период моей жизни, а теперь все это уже ничего для меня не значило. Я был виноват, потому что в глубине души сознавал, как сурово я сужу этого ничем не примечательного цветного — куда более сурово, чем судил бы, будь он белым, и сознавал, что это не только скверно, но и несправедливо. Я злился, потому что он считал мою жизнь легкой, а я считал ее тяжелой, и в то же время не мог не видеть, что, с его точки зрения, да и по всякой обычной мерке, моя жизнь в сравнении с его жизнью была действительно завидной. И если, как я все время повторял себе, я не был в этом виноват, то он и подавно. Я думаю, вам ясно, почему я был склонен избегать моего старого школьного приятеля.

Но, конечно, я ему позвонил. Я подумал: а вдруг ему нужны деньги — единственное, что я теперь мог бы ему дать? Но нет! Не

---

[1] Сборник автобиографических фрагментов и политических статей выдающегося борца за права негритянского народа США Малькольма Икс, убитого в Нью-Йорке 21 февраля 1965 г. Один из виднейших деятелей националистического движения «черные мусульмане» (участники этого движения отказываются носить полученную при рождении фамилию, поскольку она некогда принадлежала предкам «мусульманина» — рабам, а им досталась от их владельца), Малькольм в последние годы жизни начал отходить от лозунга «власть — черным!» и в созданной им «Организации афро-американского единства» стремился объединить всех противников расизма.

[2] Публицист, ведущий еженедельную колонку в «Нью-Йорк пост».

[1] Фешенебельный клуб в Нью-Йорке.

то он, не то его жена или кто-то из родственников прочли заметку Леонарда Лайонса и узнали, что у меня есть костюм, который я не ношу, а мы же — он помнил это в одном смысле, а я совсем в другом,— мы же с ним одного роста.

В моих глазах этот костюм был пропитан кровью всех преступлений, совершавшихся в нашей стране. И если я сказал Леонарду, что больше никогда не смогу его носить, то, несмотря на возможную высокопарность этих слов, я тем не менее говорил искренне. Ведь я не мог бы надеть его или просто увидеть, не вспомнив о Мартине, и о смерти Мартина, и о том, чем он был для меня и для стольких других. Я не мог бы его надеть, не подумав о будущем с холодным беспросветным унынием. Короче говоря, это одеяние было для меня слишком тяжелым. Но с другой стороны... это ведь был просто костюм, почти не ношеный. Не слишком дорогой, но все же мой друг купить себе такой не мог. Ему было не по карману держать в платяном шкафу костюм, который он не носит, ему было не по карману выбрасывать новые костюмы — короче говоря, ему было не по карману мое изысканное отчаяние. Мартин умер, но он-то еще жив, ему нужен костюм, и... и я одного с ним роста. Он пригласил меня пообедать у них вечером, и я сказал, что привезу ему костюм.

Положение вещей в Америке и характер подавляющего большинства американских шоферов такси привели к тому, что мне было строжайше запрещено подвергать себя неизмеримому риску, сопряженному с попыткой остановить такси на улице, и я был вынужден пользоваться прокатом. Конечно же, в этот вечер нечистой совести мне прислали «кадиллак» квартала в семьдесят три длиной, и, конечно же, шофер был белый. И ему никак не хотелось везти черного через Гарлем в Бронкс. Но американская демократия всегда была прислужницей доллара, и какие бы чувства ни вызывала у шофера такая поездка, терять свой кусок хлеба он не собирался. И вот мы — перепуганный белый и я — мчимся в брюхе этого чудища под ожесточенными взглядами местного населения. Но насмешливое презрение в глазах местного населения адресовалось не шоферу. Костюм я вез, перекинув его через руку, и меня томило страшное искушение помахать им: «Я всего только везу костюм приятелю!»

Я знал, как они относятся к черным в лимузинах — за исключением, конечно, кумиров дня,— и не осуждал их, и понимал, что ничего объяснить не смог бы. Мы подъехали к нужному дому, и я с костюмом на руке поднялся по знакомой лестнице.

Я уже не был тем человеком, которого знали и любили мой друг и его близкие,— я стал чужаком, остро сознавал это и изо всех сил старался держаться, так сказать, нормально. Но что может быть нормальным в подобной ситуации? Когда-то они знали меня и любили, но теперь их нельзя было винить за подспудную мысль: «Он считает, что мы ему — не компания». Нет, я этого вовсе не считал, но между ними и мной не осталось ничего общего: того робкого пучеглазого подростка, которого любила и бранила мать моего друга, больше не существовало. Я перестал быть прежним мной, а они остались теми же, как будто их навсегда законсервировали в том временном моменте. Они словно бы ни на день не постарели — мой друг и его мать — и встретили меня так, как встречали в то давнее время, хотя мне уже перевалило за сорок и я ощущал каждый из прожитых мною часов. Мы с моим другом оставались похожими только в одном — ни он, ни я не растолстели. Его лицо было по-прежнему мальчишеским, как и его голос, и только легкая седина на висках выдавала, что мы уже не ученики средней школы № 139. И в их маленькие, темные, нестерпимо респектабельные комнатушки, завоеванные немыслимым трудом, моя жизнь ворвалась, как взрыв шампанского и запах адской серы. Они все еще верили в Господа, но я рассорился с Ним, и оскорбил Его, и ушел из Его дома. Они не курили, но им было известно (они видели меня по телевизору), что я курю, и из уважения ко мне расставили повсюду в комнате эти мерзейшие пепельнички, которые вмещают ровно по одному окурку. А на столе красовалась бутылка виски, и они спросили, что я предпочту — бифштекс или курицу, ведь я столько путешествовал и мог утратить вкус к жареной курице. Испытывая большое облегчение, что могу сказать правду, я предпочел курицу. Я отдал моему другу костюм.

Его падчерица очень молода, считает себя непримиримой, и мы с ней коротко поспорили о «Нате Тернере» Билла Стайрона [1], которого я порекомендовал ей сначала прочесть, а потом уже осуждать. Это шокировало девочку, чья непримиримость, как у многих и многих, сводится к безотчетной ярости, лозунгам и цитатам. Присутствовавших это несколько ошеломило, так как им и в голову не приходило, что между мной и представительницей черной непримиримости могут возникнуть разногласия. Но главным было другое: наша краткая стычка косвенно показала, как мало эта девочка уважала своего отчима. Она, по-видимому, совсем его не уважала. Сквозило это не в том, что она ему говорила, а в том, что она с ним совсем не говорила. И даже не смотрела на него. Он был не в счет.

По-моему, это очень страшно, особенно когда происходит с человеком в его собст-

---

[1] «Признания Ната Тернера» (1968) — роман Уильяма Стайрона, изображающий восстание рабов в Виргинии в 1831 году. В романе содержится предупреждение об опасностях взрыва насилия, которым чреват расовый конфликт в США на сегодняшней его стадии. Книга вызвала резкие протесты со стороны негритянских литераторов, близких к ультралевым политическим кругам.

венном доме, и я всегда испытываю мучительную, стыдную жалость к таким людям. И злюсь на человека за то, что он допустил, чтобы до этого дошло.

Но как до этого дошло? Он не был способнейшим мальчиком в мире, да таких и не существует, но он был энергичным, подвижным, веселым, играл в гандбол и беззаботно подчинялся моей тирании, вплоть до того, что преклонил колени пред алтарем и обрел спасение души, не выдержав моих настойчивых требований. Я смотрел на него и вспоминал его потное и прекрасное лицо в тот вечер, когда он боролся с собой на церковном полу и наши молитвы довели его до победного конца. Я помнил его старшего брата, который погиб в Сицилии в битве за свободный мир,— Сицилию он едва успел увидать, и, безусловно, свободного мира он не видел никогда. Я помнил тот день, когда он пришел ко мне сказать, что умерла его сестра, которая была тяжело больна. Мы сидели на лестнице трущобного дома, и он сказал мне это, чертя пальцем кружок на деревянной ступеньке там, куда капали его слезы. Мы тогда были детьми — его сестра только немногим старше; он был младшим, а теперь и единственным ребенком. Но это произошло не потому, хотя, когда я смотрел на все еще красивое лицо его вдовой матери и видел, как она смотрит на него, мне становилось ясно, что ее нужда в нем могла поймать его в ловушку и заморозить. Все годы нашего знакомства она шила в «Доме готового платья» и бежала домой, чтобы ужин уже стоял на столе, когда муж вернется со своей работы: по вечерам и по воскресеньям он был еще и диаконом, и только один бог знает (или должен был бы знать), откуда у него брались силы. Когда я начал работать в «Доме», я иногда видел, как она бежит к автобусу в толпе черных и пуэрториканских женщин.

О да! Нас всех тогда связывала любовь, и я питал большое почтение к моему другу, который был более красив, чем я, и более ловок, и более популярен, и брал надо мной верх в любой игре, когда я по глупости пытался у него выиграть. Потом я пошел своим путем, и жизнь совершила свои неумолимые математические действия — и в конечном счете я был теперь всего лишь стареющим, неустроенным, политически неприемлемым, возмутительно неуравновешенным чудаком. А кем был теперь он? Он работал на почте и строил дом рядом с домом матери — на Лонг-Айленде, если не ошибаюсь. Следовательно, и они достигли всего. Но я не понимал одного: каким образом его ничто не коснулось? Мы переживаем, как выражается наша церковь, «последние полные зла дни» среди войн и слухов о войнах, если не сказать большего. Он, например, должен был бы что-то знать о программе борьбы с бедностью хотя бы потому, что его жена имела к этому какое-то касательство. Он должен был бы что-то знать о бушевавшей тогда битве за образование хотя бы потому, что его падчерица была учащейся и — независимо от того, продуманны были ее взгляды или нет,— несомненно, принимала в ней участие. Возможно, было время, когда она рассчитывала на его объяснения и помощь. Но нет. Казалось, катаклизмы в его собственном доме и повсюду вокруг трогали его не больше, чем почта, которая ежедневно проходила через его руки. Это представлялось мне невероятным и — из-за моего характера и нашей прежней дружбы — выводило меня из себя. Мы сцепились из-за войны во Вьетнаме. Вероятно, мне все-таки не следовало бы этого допускать, но тут не обошлось без подзуживания падчерицы. И я был поражен, что мой друг начал защищать именно это расистское безумие. Ради чего? Ради своей работы на почте? И я немедленно получил ответ — увы, да. Ради его работы на почте. Я сказал ему, что американцам там делать нечего, а уж черным и тем более незачем помогать рабовладельцу обращать в рабство новые миллионы людей с темной кожей и делать себя соучастниками преступлений белой Америки — нам, черным, понадобятся союзники, так как американцы, как ни странно это звучит в настоящее время, скоро лишатся своих союзников всех до единого. Нетрудно понять, сказал я, почему черный парень без будущего, околачивающийся на углу, решает пойти в армию, и нетрудно угадать, почему рабовладелец надеется, что этот парень останется лежать в чужой земле, а не вернется домой с винтовкой, но для чего же защищать это и оправдывать? То есть защищать и оправдывать собственное убийство и собственных убийц?

— Погоди,— сказал он.— Дай я объясню тебе, чего, по-моему, мы пытаемся там добиться.

— Мы? — крикнул я.— Какие еще, мать-перемать, мы? Попробуй объясни, сукин ты сын, и я тебе...

Он стоял и смотрел на меня. Его мать недвусмысленно показала (ведь только богу известно, какую боль я ей причинил), что не желает терпеть подобных выражений у себя в доме и что прежде я никогда не позволял себе ничего и отдаленно на это похожего. А я всегда любил ее. И никак не хотел ее оскорбить. Я смотрел на моего друга, на моего школьного друга, и чувствовал, что на нас смотрят миллионы людей. Я попытался свести все к шутке. Но было поздно. Их взгляды не оставляли сомнений, что я выдал свою истинную сущность. И тут больно стало мне. Уж они могли бы знать меня лучше — или хотя бы настолько, чтобы понимать, что я говорил искренне. Но принято считать, что знаменитости, придерживающиеся неудобных взглядов, на самом деле вовсе так не думают. Считается, что это лишь ловкий способ привлекать к себе внимание: например, принимаешь участие в походе в Монт-

гомери[1] для того лишь (в моем случае), чтобы твои книги расходились лучше. Ну что ж. Тогда говорить не о чем. Конец дружескому обеду с курицей. Конец полному любви прошлому. Я смотрел, как его мать смотрит на меня, не понимая, что произошло с ее милым Джимми, и отказывается от меня, ибо подтвердились самые печальные ее предположения. С великой горечью я налил себе еще одну большую рюмку, уже бесповоротно осужденный, и закурил еще одну сигарету, а они смотрели на меня, выискивая симптомы рака, и у моих ног разверзалась пропасть.

Ибо этот кровавый костюм принадлежал им, и был куплен для них, и даже был куплен ими — они сотворили Мартина, а не он сотворил их, и кровь, от которой заскорузла ткань костюма, была их кровью. Расстояние между нами—я как-то не думал об этом прежде — возникло потому, что они этого не знали, и теперь я имел мужество понять, что люблю их больше, чем они любили меня. Я не хочу сказать, что моя любовь была больше: кто посмеет судить, в какую невыразимую цену обходится другому человеку его жизнь? Кому известно, кто и как его любит и что вдруг будет призвана совершить эта любовь? Нет, карты выпали так, что я вынужден был знать о них больше, чем они знали обо мне, я знал их квартирную плату, а моя была им неизвестна, и волей-неволей я смущал и раздражал их. Ибо, с другой стороны, их, несомненно, прельщала та свобода, которой я, по их мнению, располагал: этот ужасающий лимузин, например, или возможность отдать новый костюм, или мои все более и более жуткие трансатлантические путешествия. Как объяснить, что свобода берется, а не дается, и что никто не свободен, пока все не свободны, и что цена высока?

Мой друг примерил костюм — он сидел на нем как сшитый по мерке, и все они ахали, и я отправился домой.

■

Ну что ж. Время движется и движется. Оно движется назад, и движется вперед, и несет тебя, и никто в мире не знает о времени больше того, что оно несет тебя через стихию, которой ты не понимаешь, в стихию, которой ты не будешь помнить. Но нечто — помнит, и можно даже сказать, что это нечто мстит: это ловушка нашего века и тема, которой мы займемся теперь.

Я покинул дом — Гарлем — в 1942 году. Я вернулся в 1946 году, чтобы в сотрудничестве с белым фотографом сделать книгу (одну из нескольких, так и не увидевших свет), намеревался жениться и понял, что не могу — или не должен, что в конце концов сводится к тому же,— бросил обручальное кольцо в Гудзон и в 1948 году уехал из Нью-Йорка в Париж. К этому времени я, конечно, был безумен, не менее безумен, чем мой покойный отец. Если бы не это, я не смог бы уехать.

В Париже я голодал, но и узнал многое: в частности, я влюбился. Или, точнее говоря, я впервые понял и принял тот факт, что любовь — не просто чувство, присущее людям вообще, не просто катастрофа, которой она уже столько раз оборачивалась для меня (по моему мнению), и не то, что постигает только других, как смерть, и не просто губительная опасность: нет, она могла постигнуть и меня, ибо вот же она, дышит рядом со мной, и она — ключ к жизни. И не просто к моей жизни, но к жизни вообще. То, что я влюбился, не относится к теме этой книги, но честность вынуждает меня упомянуть об этом среди других частностей, так как мне кажется,— нет, я знаю! — что моя история была бы совсем иной, если бы любовь не принуждала меня идти на компромисс с собой. Она принялась размыкать капкан, называемый цветом кожи, ибо люди влюбляются без соответствия со своим цветом — возможно, это удивит благородных пионеров и красноречивых астронавтов, не говоря уж о подавляющем большинстве представителей подавляющего большинства штатов, входящих в Соединенные Штаты Америки. А когда влюбленные ссорятся (а ссорятся они неизбежно), то это происходит не из-за степени их пигментации, и не могут влюбленные ни на каком уровне использовать цвет кожи как оружие. Это означает, что ты должен принять собственную наготу. А нагота не имеет цвета — это может удивить только тех, кто не знает, что такое нагие объятия.

Но как бы то ни было, в этот момент мир изменяется, и изменяется навсегда. Потому что ты любишь кого-то одного, ты всех людей видишь по-другому, чем прежде,— вернее, ты только начинаешь видеть,— и ты более силен, и более уязвим, и свободен, и скован. Свободен, как ни парадоксально, потому что у тебя есть теперь дом — любящие объятия. И скован, ибо приобщен той тайне, тем узам, которые дают тебе познать от славы и от страдания мира.

Я приехал в Париж без денег и, следовательно, в те первые годы жил главным образом среди les misérables[1], а в Париже les misérables — это алжирцы. Они спали по четверо, по пятеро, по шестеро в одной комнате, и спали посменно, с ними обходились как с последними тварями, и они добывали пропитание, какое могли, на грязных, неподатливых парижских камнях.

[1] В столице штата Алабама Монтгомери в 1955 году негритянские жители организовали кампанию бойкота автобусов, длившуюся 382 дня и завершившуюся десегрегацией транспорта. Этим событием открывается летопись борьбы за гражданские права, с него началась и политическая биография Кинга. Десять лет спустя Кинг организовал поход из Селмы в Монтгомери, преследовавший цель добиться включения негров в списки избирателей; в этом походе принимал участие и Болдуин.

[1] Отверженные (*франц.*).

Французы называли их лентяями, потому что они, казалось, почти все время сидели, попивая чай, в своих кафе. Но они не были лентяями. Им не удавалось найти работу, а их комнаты не отапливались. (Французские студенты тоже проводили почти все свое время в кафе, и по той же причине, но их никто лентяями не называл.) Арабские кафе были теплыми и дешевыми, и там они были со своими. Французские кафе, как правило, были для них слишком дороги, и, как правило, им там не радовались. И хотя они говорили по-французски, да в какой-то мере и были порождением Франции, в Париже они не чувствовали себя дома — не больше, чем я, хотя и по иной причине. Ведь они хранили память об изобилии, об изобилии вкусовых и осязательных ощущений, воды и солнца, какое мне и не грезилось, и во Францию они приехали не навсегда. В один прекрасный день они вернутся домой, и они точно знали, где их дом. Вот почему они обладали чем-то своим, внутренним, чего никогда не отдали бы Франции. Но на моей стороне океана — во всяком случае, так казалось мне тогда — мы отдали все или все было у нас отнято, и нам некуда было ехать: ведь мы были дома! Арабы в Париже были вместе, но черные американцы были одиноки. Алжирская нищета была абсолютной, их хитрости — угрюмыми, их личности (для меня) — непостижимыми, их настоящее — кровавым, а будущее, несомненно, еще более кровавым, и тем не менее их положение было гораздо осмысленнее моего. Не скажу, чтобы я им завидовал (этого не было), и прямолинейность их голода и других неудовлетворенных желаний пугала меня, но я уважал их, и по мере того, как я все больше понимал, чем их сделала их история, я начал с тоской подозревать, чем моя история сделала меня.

Когда я впервые приехал во Францию, французы все еще тяжело барахтались в Индокитае, и я жил в Париже, когда пал Дьен-Бьен-Фу. Алжирские лоточники и продавцы ковриков на улицах Парижа, несомненно, не имели тогда ни малейшего отношения к этой решающей французской неудаче, но полиция, и без того к ним всегда придиравшаяся, стала теперь их свирепо преследовать. Первое время я недоумевал — и напрасно. Такова реакция людей на потерю империи, поскольку потеря империи подразумевает коренные изменения личности, и впоследствии мне приходилось наблюдать это снова и снова не только во Франции. Арабы не имели отношения к Индокитаю, но они были частью империи, которая быстро рассыпалась в прах, а также частью истории, которая в самом буквальном и страшном смысле слова приближалась к своей развязке (то есть открывалась в своей реальной сущности, очень далекой от мифа, созданного французами), и право французов властвовать над ними с каждым часом оспаривалось все горячее. Власть, не находившая оправданий да и не искавшая их, все больше полагалась на голую силу. Любопытно, что это только изобличало ее испуг, и тогда же многие североафриканцы решили coûte que coute [1] довести французов до еще одного Дьен-Бьен-Фу.

Мне бросилось в глаза и другое обстоятельство, которое я впоследствии гораздо ближе наблюдал в своей собственной стране. Французов чрезвычайно обижало и злило, что их попечительство встречает осуждение — и особенно со стороны тех, кем они управляют: в этом своем чувстве они были не слишком оригинальны, но проявляли его очень бурно. В конце-то концов, не уставали они указывать, до их появления в этих колониях там не было ничего, ну совсем ничего, да и имеющиеся там скудные запасы минералов и нефти не приносили туземцам ни малейшей пользы, потому что туземцы ничего про них не знали и не знали даже, для чего они могут пригодиться. Следовательно, эксплуатация ресурсов колоний проводилась исключительно в интересах туземцев. И французы так красноречиво расписывали выгоды, получаемые от них колониями, что было бы верхом невоспитанности поинтересоваться, что получили от колоний они. (Позже, побывав в Сенегале и Гвинее, я кое-что узнал о том, каков был этот честный обмен.)

Было странно, оказавшись в другой стране, слышать на другом языке все те же старые песни и слушать, как тебя безоговорочно осуждают все на тот же старый манер. Французы (например) всегда находились в прекраснейших отношениях с туземцами и располагали сокровищницей соответствующих «случаев из жизни». (Мне ни разу не встретился туземец, который подтвердил бы такой случай, но, с другой стороны, мне не приходилось видеть африканца, который не относился бы к доктору Швейцеру [2] с самой горячей неприязнью.) Они ссылались на построенные ими больницы и школы — позже мне довелось увидеть некоторые из этих больниц и школ.

Порой кого-нибудь смущал цвет моей кожи или выражение моего лица, или я говорил что-то смущавшее их, или самовольно претендовал на родство с арабами (возможно, они бы с этим отнюдь не согласились). И во всех этих случаях мне с великодушной улыбкой объясняли, что я — совсем другое дело: le noir Americain est très évolué voyons [3]! Но арабы вовсе на меня не похожи, они, в отличие от меня, ничуть не «цивилизованы». Я был несколько потрясен, что меня считают цивилизованным, но, увы, это некогда столь заманчивое причисление к избранным пришло слишком поздно, и мне показались интригующими некоторые несообразности. Так, я ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь француз назвал Соединенные Шта-

[1] Любой ценой *(франц.)*.

[2] Немецкий философ и врач, с 1913 года живший (с перерывами) в Африке и открывавший больницы для местного населения.

[3] Черный американец далеко ушел от варварства *(франц.)*.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН
ИМЕНИ ЕГО НЕ БУДЕТ НА ПЛОЩАДИ

ты цивилизованной страной, даже француз, питавший к ним симпатию. Дело тут, мне кажется, в том, что, по мнению французов, в мире нет нации, сравнимой по цивилизованности с Францией. Впрочем, суть не в этом. Но если столь неотесанная нация, как Соединенные Штаты, могла создать существо столь великолепно цивилизованное, как я, то почему же французы, вооруженные веками утонченнейшей цивилизации, не смогли цивилизовать арабов? Мне этот вопрос представлялся весьма коварным, но я ошибался, ибо ответ был очень прост: арабы не желали цивилизоваться.

О, американец не способен понять этих людей так, как понимают их французы,— ведь, что ни говори, а они прекрасно ладили более ста тридцати лет. Но у них, у арабов, есть свои обычаи, диалекты, языки, племена, областные особенности, иная религия, а то и религии, французы же — не расисты вроде американцев, они не считают допустимым уничтожение местных культур. А кроме того, араб всегда что-то утаивает — неизвестно, что он думает в действительности, и на его слова полагаться нельзя. И к женщинам они относятся совсем по-другому. Как звери. Короче говоря, они насильники, воры и ходят с ножами. Но французы терпели это сто лет и готовы были бы терпеть еще сто, несмотря на тот факт, что Алжир — это прорва, поглощающая национальные ресурсы, и на тот факт, что алжирцы (ввиду того факта, что Алжир — часть Франции, один из ее департаментов и, черт побери, им и останется) могут приезжать в Париж, когда им заблагорассудится, и подрывать экономику, и бродить по улицам неизвестно с какими намерениями, и эксплуатировать французских женщин. Короче говоря, вся хроника французского великодушия была столь безупречна, что мог ли кто-нибудь поверить, будто дети всерьез замышляют революцию?

Француз, возможно, и не мог, но я мог. Однажды мне пришлось наблюдать, как при свете яркого солнца полицейские до бесчувствия избили на улице старого однорукого араба, продавца арахиса. И я видел равнодушные лица французов на верандах кафе и багровеющие лица арабов. Да, я мог в это поверить — и вот это сбылось.

Не без предупреждения и не без прецедентов в прошлом, но научило это чему-то лишь поэтов, ибо они должны раскапывать и воскрешать историю.

■

Я вернулся в Нью-Йорк в 1952 году, после четырехлетнего отсутствия, и попал в самый разгар сводившей всю страну судороги маккартизма. Эта судорога меня не удивила—вероятно, американцы уже ничем не могли меня удивить, но во многих отношениях и по многим причинам она внушала страх. В частности, я прекрасно отдавал себе отчет, что от прямого, а точнее, публичного внимания американских инквизиторов меня спасли только цвет моей кожи, неизвестность и относительная молодость, то есть, другими словами, полное отсутствие у них воображения. Я был чуть-чуть слишком юн, чтобы обзавестись юридически признаваемым политическим прошлым. Тринадцатилетний мальчишка — несовершеннолетний, а если к тому же он черный и живет в черном гетто, то, по мнению нашей республики, ему с рождения предназначено быть на посылках. На самом же деле в тринадцать лет я был убежденным «попутчиком». Я принимал участие в первомайской демонстрации — мы несли знамена и скандировали: «Ист-Сайд, Вест-Сайд, с нами пойте. Эй, домовладельцы, трущобы сройте!» О коммунизме я тогда не знал ничего, зато о трущобах — очень много.

Но в 1952 году мне было много больше тринадцати, и я уже другими глазами видел это гнусное, подлое время — мое презрение к большинству американских интеллигентов и (или) либералов восходит к моим тогдашним впечатлениям от их мужества и стойкости. Я сказал «к большинству», а не ко всем, но исключения составляют величественнейший пантеон, и особенно те, кто погиб в пламени, в которое были ввергнуты их жизни и репутации. Я вернулся домой, в город, в котором без малого все, позабыв про какое бы то ни было достоинство, спешили спрятаться, где друзья швыряли друзей на съедение волкам и оправдывали свое предательство высокоученными лекциями (и толстенными томами) о предательстве Коминтерна [1]. Кое-что из написанного в те годы — например, оправдание казни Розенбергов [2] или распятие Олджера Хисса (а также канонизация Уиттэйджера Чэмберса) [3] — показало мне всю меру безответственности и трусости либеральной общественности, и этого я не забуду до конца моей жизни. Их мастерство, даже больше той смеси невежества и высокомерия, с помощью которых эти либералы всегда отгораживались от всего, чем были чреваты страдания черных, убедило меня, что блеск без страсти всегда бесплоден. Все-таки необходимо помнить, что я-то был знаком с этими людьми задолго до того, как они начали знакомиться со мной,— ведь до этого я много лет доставлял их па-

[1] В годы маккартизма и «охоты за ведьмами» в США усиленно распространялся миф о том, что III Интернационал был организацией террористического характера, готовившей «экспорт революции».

[2] Супруги Этель и Юлиус Розенберг были арестованы в июле 1950 года по обвинению в государственной измене и, вопреки протестам мировой общественности, казнены 5 апреля 1953 года. Казнь Розенбергов остается одним из самых тягостных преступлений маккартистской эпохи.

[3] Олджер Хисс — американский юрист, до 1948 года работавший в ряде правительственных учреждений. Арестованный по обвинению в шпионаже в пользу СССР, журналист Дж. Д. Уиттэйджер Чэмберс, спасая себя, обвинил в своих показаниях Хисса в «сотрудничестве с Москвой». После двух судебных разбирательств, в ходе которых Хисс отверг предъявленные ему обвинения, суд в 1950 году приговорил его к 5 годам тюрьмы. Процесс Хисса — одна из позорных страниц истории США первых послевоенных лет.

кеты, и выносил их мусорные ведра, и получал их чаевые (на чаевые они скупы). А то, что они на моих глазах в эпоху Маккарти проделывали друг с другом, было в некоторых отношениях куда хуже, чем все, чего пришлось натерпеться от них мне, так как я, по крайней мере, никогда не был настолько безрассуден, чтобы рассчитывать на их принципиальность.

Мне представляется ясным как день, что, объясняя свои побуждения, они лгут и превращаются в игрушку своей вины — что, короче говоря (если копнуть поглубже), они всего лишь добропорядочные потомки всевозможных иммигрантов и отчаянно пытаются удержать и сохранить обретенные ими блага. Ибо, на мой взгляд, интеллектуальная деятельность всегда бескорыстна и может быть только такой, истина — действительно обоюдоострый меч, и если ты не готов подставить собственную грудь этому мечу даже с риском умереть на нем, тогда вся твоя интеллектуальная деятельность — только мыльный пузырь самоупоения, только гнусный и опасный обман.

Я делал что мог, чтобы понять происходящее и удержаться на плаву. Но я отсутствовал слишком долго. И не только не мог заново приспособиться к жизни в Нью-Йорке, но и не хотел — я не собирался опять превращаться в черномазого на побегушках. Однако мне предстояло убедиться, что у мира есть много способов оставлять тебя в черномазых. Если рука ослабеет тут, она крепче сожмется там, и вот мне с чрезвычайной любезностью предложили вступить в клуб. Мне уже приходилось завтракать в модных бистро и обедать в аристократических клубах. Я пытался смотреть без предубеждения на озабоченность моих соотечественников судьбой такой трудной личности, как я, и всех моих непокорных собратьев — я с полной искренностью старался быть терпимым, хотя не без недоумения, а позже и не без злости. Мне становилось все более не по себе. Я испытывал тягостную тревогу, мучительно боялся, что сбиваюсь с пути. Я не вполне понимал то, что слышал. Я не доверял тому, что слышал из собственных уст. В том немногом, что я слышал, было ли в нем что-нибудь, в чем отражалось бы известное мне, пережитое мной? Моя мать и отец, мои братья и сестры не сидели за столами, за которые садился я, и никто в этом обществе не слышал об их существовании. Самые мои основы, мои инстинкты начали колебаться так же нервно, как сигаретный дым, завивавшийся вокруг моей головы. Я вовсе не цеплялся за мои невзгоды. Наоборот, если моя бедность наконец уходила в прошлое — тем лучше, да и давно пора! И все же я все больше холодел, как будто всю остальную мою жизнь мне предстояло прожить в молчании.

Возможно, я начал подозревать в бессилии и нарциссизме людей, чьи имена привык уважать, именно из-за своей одержимости маккартизмом. Случая судить о них, так сказать, с близкого расстояния у меня не было. Просто Маккарти был для меня трусом и погромщиком без чести и без права на какое-либо иное к себе отношение. С моей точки зрения, у этой сомнительной медали не было и не могло быть другой стороны, а вредоносность и опасность его зловещего воздействия были самоочевидны. И тем не менее они могли часами спорить, враг ли Маккарти внутренних свобод или нет. Я только недоумевал, какие еще доказательства им требуются! И тем не менее этот ученый, цивилизованный, интеллектуально-либеральный спор бушевал в полном вакууме, а каждый час приносил все больше горя, смятения — и бесчестия — стране, которую они якобы любили. Предлогом для всего этого, разумеется, была необходимость «сдерживать» коммунизм, который, как они, не краснея, втолковывали мне, был угрозой «свободному» миру. Я не объяснял в ответ, какой угрозой был этот свободный мир мне и миллионам таких, как я. Но я спрашивал себя, каким образом оправдание наглой и бессмысленной тирании на любом уровне может послужить свободе, и я спрашивал себя, какие внутренние, не выражаемые в словах потребности этих людей делали для них необходимой столь малопривлекательную иллюзию. Я спрашивал себя, а как они на самом деле относятся к реальной человеческой жизни — ведь они до такой степени были набиты всяческими формулами, что, казалось, полностью утратили всякую связь с ней.

Все они — во всяком случае, какое-то время — очень мной гордились, то есть гордились тем, что я сумел всползти до их уровня и «стал своим». И в полуночные часы они не терзались вопросами о том, что я-то думаю об их уровне и каково мне чувствовать себя «своим» или во что мне это обходится. И я спрашивал себя: а способно хоть что-нибудь лишить их сна? Ведь они ходили по тем же улицам, что и я, ездили в той же подземке, несомненно, видели тех же самых отчаивающихся, полных враждебности мальчишек и девчонок и должны были хотя бы изредка проходить через «Дом готового платья». Да, конечно, даже те, кто преподавал в Колумбийском университете, ни разу в жизни не видели Гарлема, но, с другой стороны, все, чем Нью-Йорк стал в 1970 году, уже зримо и стремительно начиналось в 1952 году — достаточно было сесть в автобус и проехать через город, чтобы увидеть, как он темнеет и становится все хуже, как растут человеческая растерянность и враждебность, как рвутся человеческие связи — и, быть может, бесповоротно. Конечно, в отличие от меня, эти либералы не мозолили глаза полиции в «не тех» районах, а потому не знали на собственном опыте, с каким упоением полицейский претворяет в дело полученный сверху приказ. Но вот права не знать этого у них не было — если они этого не знали, они не знали ничего и не имели права разглагольствовать так, словно в их обществе им принадлежала ве-

дущая роль. Их пособничество тогдашним «патриотам» означало, что полицейский действует во исполнение и их приказов.

Нет, я не мог этого переварить. Когда мой первый роман был наконец продан, я забрал аванс, отправился прямо в пароходную контору и снова купил билет во Францию.

■

Я помещаю этот случай тут, хотя он произошел не в этот мой приезд, а в один из следующих. Однажды вечером я оказался в одной комнате с моими либеральными друзьями после частного просмотра французского фильма «Плата за страх». Дебатировался вопрос о том, следовало или не следовало бы показать этот фильм в Соединенных Штатах. Вопрос этот возник потому, что фильм в нелестном виде показывал американскую нефтяную компанию. Не помню, говорил ли я что-нибудь или нет,— во всяком случае, вряд ли я мог сказать много. Я был парализован, заворожен, как кролик перед змеей. Ведь я уже видел этот фильм во Франции. Ни мне, ни моим знакомым и в голову не приходило, что он хоть в какой-то мере имеет антиамериканскую направленность — ее никак нельзя было счесть лейтмотивом фильма. И все же эти осенние патриоты горячо обсуждали вредоносность фильма, который осмелился намекнуть, что американские нефтяные компании плевать хотят на человеческую жизнь. При этом присутствовала француженка, молчаливая, ожесточенная, далеко не молодая. Возможно, она была — а возможно, и не была — вдовой вишистского генерала, но, во всяком случае, ее симпатии носили соответствующий характер, и я никогда не забуду, как она сказала, глядя на меня в упор: «Мы всегда знали, что вы, американцы, в один прекрасный день поймете, что дрались не на той стороне».

Мне было стыдно, что я нахожусь в этой комнате, но, кроме того, я радовался — радовался тому, что присутствовал при этом, что добрался туда, где услышал, как говорит дьявол. Эта женщина дала мне что-то — я никогда ее не забуду, и я ушел из-за гостеприимного стола.

Однако надежда — надежда на то, что мы, люди, все-таки лучше, чем мы есть,— умирает нелегко; и, может быть, позволив этой надежде умереть, ты не сможешь жить. Но и видеть то, что видишь,— нелегко. Видишь, что в большинстве люди несчастны и становятся плохими на тот или иной лад, потому что они несчастны. И следовательно, уход от того, что я назвал гостеприимным столом, диктуется таинственной клятвой, которую ты дал, сам того не подозревая,— не позволить себе пасть так низко. Пусть ниже, гораздо ниже, в самую придонную муть, но только не так.

■

Слава богу, я никогда ни в малейшей степени не романтизировал Париж, ни до того, как поселился там, ни уж тем более после. Быть может, я романтизировал Лондон — из-за Чарльза Диккенса,— но этот романтический флер продержался ровно столько времени, сколько мне понадобилось, чтобы выйти с чемоданами из вокзала Виктория. Я ехал — или бежал — не в Париж, а просто подальше от Америки, и Париж я выбрал, почти буквально закрыв глаза и ткнув наугад в карту. А потому я не испытывал той деморализующей растерянности, которой не избежал бы, если бы опрометчиво считал Париж самым цивилизованным городом мира, а французов — наименее первобытными из населяющих его народов. Но я слишком много знал о французской революции, я слишком много читал Бальзака. Всякий раз, когда я проходил по площади Согласия, я слышал стук подъезжающих повозок и рев толпы, а там, где теперь высится обелиск, я видел — и до сих пор вижу — la guillotine [1]. Всякий, кому довелось оказаться во власти людской толпы, уже знает о нас много страшного и, навсегда сохраняя недоверие к ее патриотизму, будет избегать самых веселых и добродушных сборищ.

Тем не менее мое бегство было продиктовано надеждой найти место, где со мной будут обходиться гуманнее, чем у меня на родине, где опасности и невзгоды будут более личными, а моя судьба определена менее жестко. И все это Париж мне дал — предоставив меня самому себе и одиночеству. Я прожил в Париже очень долго, прежде чем у меня появились знакомые французы, и еще дольше, прежде чем мне довелось побывать у француза дома. Но это меня не задевало, так как Генри Джеймс гораздо раньше побывал тут и великодушно предупредил, чего мне следует ожидать. К тому же черный мальчишка, который вырос на подачках службы социального обеспечения и на дрянненьком доброжелательстве американских либералов, мог воспринять это полнейшее равнодушие только с огромным облегчением, почти как знак уважения. Если я добьюсь своего, так добьюсь — и тем лучше. А не добьюсь, так не добьюсь — и тем хуже. Я не хотел ничьей помощи, и французы, бесспорно, мне ее не оказывали: они позволили мне все сделать самому. И по этой причине, хотя я знаю то, что знаю, и абсолютно не романтичен, между мной и этим нелепым, непредсказуемым конгломератом буржуазных шовинистов, который называется la France [2], навсегда сохранится нечто вроде любви.

Другими словами, и причины, приведшие меня в Париж, и относительная свобода моей жизни во Франции означали, что к Франции я отношусь совсем по-другому, чем любой алжирец. Те, кто для меня были в меру приветливыми хозяевами, убивали его и его братьев. А ведь Алжир — это все-таки часть Африки, а ведь Франция — это все-таки часть Европы, той Европы, которая вторгалась на африканский континент,

[1] Гильотина *(франц.)*.
[2] Франция *(франц.)*.

и насиловала его, и истребляла тех африканцев, которых не могла поработить, той Европы, от которой, если смотреть правде в глаза, Африке еще только предстоит освободиться. И перед этой неопровержимой цепью фактов то, что я никогда не видел алжирской касбы, имело не больше значения, чем то, что алжирцы никогда не видели Гарлема. И алжирцы и я равно были жертвами этой истории, и я оставался частью Африки, хотя меня оторвали от нее почти четыреста лет назад.

Никогда раньше вопрос о моей личности не был так решающе связан с необходимостью — и с необратимостью — морального выбора. Неотъемлемое и тягостное свойство всякого морального выбора состоит в том, что он по самому своему определению произволен — хотя это и звучит напыщенно,— а также безрассуден, во всяком случае внешне, и не имеет иных оправданий, кроме себя самого (или в себе). В данном случае моя реакция на первый взгляд была безрассудной не только потому, что я ничего не знал об арабском мире, но и потому, что я никак и ни в чем не мог принять их судьбу. А в то же время их судьба была каким-то образом связана с моей, их битва была не только их битвой, но и моей, и для меня стало делом чести не уклоняться от этого факта, чем бы он ни был чреват.

А кроме того (хотя более в теории, чем на практике, как я имел случай убедиться), моя жизнь в Париже в какой-то мере протекала под эгидой моего зеленого паспорта. Этот паспорт провозглашал, что я — свободный гражданин свободной страны, а посему со мной не положено обращаться как с частицей нецивилизованной черной движимости Европы. Тот же паспорт на другом берегу океана, преобразившись во время плавания, провозглашал, что я не какой-нибудь африканский принц, а свой, местный черномазый и ни одно иностранное правительство не оскорбится, если мой труп закупорит канализационную трубу. У меня никогда прежде не было случая задуматься над блистательностью белой стратегии: черные не знали друг друга, едва могли объясняться друг с другом, а потому между ними не было доверия — и куда ни посмотри, мы всюду оказывались на территории белых и во власти белых. Четыреста лет на Западе, бесспорно, превратили меня в западного человека, и это обойти невозможно. Но четыреста лет на Западе не выбелили меня — и это тоже обойти невозможно, а моя история на Западе самым будничным образом обрекла меня на такую смертельную опасность, что я в обход невозможного бежал во Францию. Ведь в 1948 году еще не существовало ни одного независимого африканского государства, да оно, конечно, и не испытывало бы нужды в черном американце без гроша за душой, и, конечно, не раскрыло бы ему свои объятия — за исключением разве Либерии. Но под надзором даже и черных надсмотрщиков я вряд ли долго протянул бы на каучуковой плантации.

■

Осенью 1956 года я освещал для «Энкаунтера» (или же для ЦРУ) Первую Международную конференцию черных писателей и художников, которая проводилась в Сорбонне в Париже. Как-то в ясный солнечный день мы небольшой компанией, включавшей покойного Ричарда Райта, неторопливо шли по бульвару Сен-Жермен, собираясь пообедать. Многие среди нас были африканцами и все мы — черными (хотя кое-кто — лишь юридически). Из каждого газетного киоска на этом широком тенистом бульваре на нас с фотографий смотрела пятнадцатилетняя Дороти Каунтс, проходящая сквозь вопящую, плюющую в нее толпу по дороге в школу в городе Шарлотт в штате Северная Каролина. Лицо этой девочки, шедшей к храму знания под улюлюканье истории за ее спиной, выражало неописуемую гордость, напряжение и муку.

Я впал в ярость, исполнился ненавистью и жалостью, и мне стало стыдно. Некоторым из нас следовало бы быть сейчас там, с ней! Я пробыл в Европе еще почти год из-за моих личных дел и из-за романа, который пытался кончить, но я понял, что уеду из Франции, именно в тот солнечный день. Я уже не мог больше посиживать в Париже, рассуждая о проблемах алжирцев и черных американцев. Все вносили следуемую с них плату, и настало время мне вернуться домой и внести свою.

■

Я уехал домой летом 1957 года, намереваясь отправиться на Юг, как только получу от какой-нибудь газеты или журнала подходящее задание. В 1957 году это было нелегко, и я застрял в Нью-Йорке на вымотывающе долгий срок. И теперь мне приходилось как-то сживаться с Нью-Йорком — ведь я впервые за девять лет вернулся домой, чтобы тут остаться. Остаться! Если от этой мысли мне становилось холодно, то одновременно я испытывал облегчение. Ведь только здесь я в конечном счете мог узнать, что дали мне мои странствия и что они сделали из меня.

И я начал видеть Нью-Йорк по-иному: за бесформенностью я различал в деталях карниза, в очертаниях окна, во взлете каменных ступеней — различал за почти непобедимым, на пределе отчаяния, шумом звук многих языков, оспаривающих господство. И раз я приехал, чтобы остаться здесь, мне необходимо было исследовать Нью-Йорк, заново узнать его и разобраться, любил ли я его когда-нибудь. Но в самом этом вопросе, как мне казалось, уже заключался тоскливый ответ на него. Если я когда-то и любил Нью-Йорк, эту любовь из меня выбили в буквальном смысле слова; люби я его, моя жизнь не могла бы строиться на столь долгой разлуке с ним и на столь глубоком от-

чуждении, люби я его, я радовался бы, а не боялся, вернувшись в свой родной город. Нет, я не любил его — во всяком случае, больше не любил, но я намеревался выжить в нем. А для того, чтобы выжить в нем, мне нужно было бдительно следить за ним. И хотя Юг, которого я никогда не видел, преследовал меня в кошмарах, мне не терпелось скорее попасть туда — возможно, чтобы кошмары подтвердились, но несомненно — чтобы выбраться из «великого незавершенного города», как мне однажды его описали.

Наконец я получил задание, которое мне было нужно, и отправился на Юг. И началось нечто для меня гигантское. Я познакомился с такими благородными, такими прекрасными людьми, каких только можно себе представить, и я видел много прекрасного и много ужасающего. Я был достаточно зрелым, чтобы понимать, какими глубокими и давящими были мои страхи, какими многообразными и непреодолимыми — поставленные мне ограничения. Но самое большее, что человек может потребовать от жизни,— это чтобы она сделала ему честь, потребовав от него: научись жить со своими страхами, научись жить изо дня в день в пределах своих ограничений и вне их.

Должен прибавить для моих столь простодушных и преступных соотечественников, что сегодня, пятнадцать лет спустя, фотографию Дороти Каунтс сменила фотография Анджелы Дэвис. Эти фотографии как бы подводят итог волеизъявлению американцев — наследников всех веков — в отношении черных...

■

В Америке меня всегда потрясала эмоциональная нищета—настолько бездонная— и ужас перед человеческой жизнью, человеческим прикосновением — настолько глубокий, что буквально ни одному американцу словно бы не удается достичь полноценного, органического слияния своего общественного положения со своей личной жизнью. Вот почему они так непредсказуемы, так трогательны, так невыносимы и так ненадежны. «Только бы связать»,— сказал Генри Джеймс. Пожалуй, лишь у американского писателя могли вырваться подобные слова, так как отсутствие в жизни большинства американцев наиболее элементарных и важных связей ставит под угрозу само его существование.

Этот крах личной жизни всегда оказывал катастрофическое влияние на общественное поведение американцев и на взаимоотношения черных и белых. Если бы американцы менее страшились собственной личности, им не понадобилось бы изобретать то, что они все еще называют «негритянской проблемой», и они никогда не попали бы в такую от нее зависимость. Эта проблема, которую они придумали для обеспечения своей чистоты, сделала из них преступников и чудовищ, она губит их. И дело тут не в том, что делают или чего не делают черные, а в той роли, которую виноватое и сведенное судорогой воображение белых отвело черным...

Сначала, если память мне не изменяет, я побывал в Шарлотт в Северной Каролине. Потом я побывал в Литл-Роке, где в числе прочих познакомился с мистером и миссис Бейтс. Я побывал в Атланте, где в числе прочих познакомился с преподобным Мартином Лютером Кингом. Я побывал в Бирмингеме. Я побывал в Монтгомери. Я побывал в Таскаджи. Не знаю, сколько времени я провел в дороге. Парусиновый чемодан, с которым я ехал туда, к тому времени, когда я, вернувшись, вскинул его на плечо, был настолько набит контрабандой, что лопнул прямо посреди нью-йоркского Центрального вокзала, и секреты подпольного движения разлетелись по всему полу. Но, к счастью, никто не проявил ни малейшего любопытства. Я кое-как собрал все это, стянул чемодан брючным ремнем и поднялся по лестнице в город.

В квартире моего друга в районе, который тогда еще не назывался Ист-Виллидж (в мое время он был известен как Лоуэр-Ист-Сайд), я свалился без сил и, вновь переживая свою поездку, сдался кошмарам и исчез — то есть для Нью-Йорка. Я был не в состоянии встретиться с ним, не в состоянии выйти из этой квартиры с ледяной водой. Я все собирался и все откладывал — в течение пяти дней. С вокзала я позвонил Глории, моей сестре, и она знала, что я в Нью-Йорке, но понятия не имела, где именно. Поэтому мои родные и друзья разыскивали меня по всем улицам и барам Гринвич-Виллидж и даже уже подумывали прибегнуть к весьма сомнительной крайней мере — обратиться в полицию.

Но в конце концов я вынырнул на поверхность, вполне сознавая всю безответственность своего поведения: я был потрясен, вдруг обнаружив, что все это время меня парализовал своего рода ретроспективный ужас. На Юге я подавлял его достаточно хорошо, чтобы вести себя нормально, но когда напряжение спало, мной овладел какой-то особый ужас, и я был ни к чему не пригоден, как лопнувшая резинка. Это меня терзало. Мне почудилась в этом система, с которой я, собственно говоря, так до конца и не справился. Я всегда буду помнить измученное лицо моего черного друга, который после многих суток бесплодных поисков столкнулся со мной на Шестой авеню, когда я покаянно брел к подземке. Он увидел меня, выйдя из-за угла, в ту же секунду, что и я его. Он встал как вкопанный, и мне пришлось идти к нему. Слабая неохотная улыбка дергала уголки его рта. И тут я подошел, и Лонни сказал: «Ну, я не стану материть тебя. Ты уже сам это сделал». И мы с ним выпили, и я поехал к сестре, где в те дни ночевал на диване.

Проповедник на церковной кафедре в заключение вроде бы бессмысленной истории говорит: я сказал все это, чтобы сказать следующее,— вряд ли я даже отдаленно представлял, что́ есть ужас, до того, как поехал на Юг. И я имею в виду (хотя хватило

бы и этого) не только ту спазму внутренностей, которую испытываешь, понимая, что столкнулся с собственной смертью. Тогда, как и теперь, вполне хватало северного полицейского (черного или белого), белого сослуживца или черного сослуживца, бесцветных стен подвала полицейского участка, бесцветных наручников, бесцветного будущего, чтобы в твою жизнь вошло парализующее сознание, что эта жизнь может оборваться в любую секунду. Кроме того, этот ужас способен породить собственное противоядие — несокрушимую гордость и гнев: готов ты умереть или нет, ты ведешь себя так, словно не боишься смерти. И в эту минуту, поскольку отступить значит примириться с гораздо худшей смертью, ты и правда не боишься умереть, надеясь только (последняя малая милость господня!), что захватишь с собой и своего убийцу.

Среди искупленных немногие имеют представление об этой страсти, которую они описывают — не сознавая, насколько исчерпывающе они тем самым описывают себя,— как самоубийственную. Ведь они имеют в виду, что выступать против силы, несомненно или по-видимому превосходящей твою, значит совершать самоубийство и что им самим и в голову не пришло бы ничего подобного. И еще они имеют в виду, что они по самой своей сути благодаря численному превосходству и есть превосходящая сила, не подозревая, на какое беспощадное презрение обрекает их это косвенное и высокомерное признание. Человек, который знает, что стоит перед лицом смерти, а точнее, знает, что в конечном счете он сам, своим упорством, создал эту минуту, может непроизвольно в отчаянии закричать, или заплакать, или даже обмочить штаны. Но он не отступит. Отступить для него немыслимо — вот почему он может кричать и плакать и его зловоние может заполнить воздух. Он сам привел себя к этой минуте, и это ОН (пусть на мгновение) — ОН, а остальные ниже его и безвестны во веки веков, потому что ценят свое мужество меньше, чем он.

Однако ужас, о котором я говорю, не имеет отношения к конкретному страху за себя, он родствен дантевскому «Я не поверил бы, что смерть скосила стольких»...

Например, я приехал в Литл-Рок во время знаменитой — тогда знаменитой, а теперь почти забытой — школьной бури. Эта буря, напоминаю, разразилась по вопросу об интеграции и образовании черных детей, хотя интеграция и образование — вовсе не синонимы, как, по-видимому, считают американцы. Я горожанин. Моя жизнь началась в Большом Городе и шаг за шагом проходила на городских мостовых. А потому я не был подготовлен к явлению вроде Литл-Рока, который безусловно не является большим городом, но также безусловно уже и не маленький городок. Кстати, говоря географически, его нельзя было назвать и южным. Южным он был только в действительности, с точки зрения истории — другими словами, в конечном счете он был южным по собственному выбору. Таким образом, если не смягчать выражений, южным его сделала история Америки — Соединенных Штатов Америки, а теперь за эту бесконечную бойню расплачивались черные мальчики и девочки. Они пытались пойти в школу. Они пытались получить образование в стране, где «образование» — символ идеологической обработки, если ты белый, и подчинения, если ты черный. И вот они, чисто умытые, аккуратно причесанные, в незабываемых накрахмаленных платьицах, в незабываемых синих костюмчиках, сошлись лицом к лицу с враждебной армией, с общиной, с белыми отцами, с белыми матерями, с отпрысками этой общины, с белым прошлым, не говоря уж о белом настоящем,— маленькие солдаты, вооруженные накрахмаленными белыми платьицами и длинными и короткими синими штанишками, входили в колонию прокаженных. Они были так юны, что верили, будто эту колонию можно исцелить и спасти. Они, эти дети, заплатили страшную цену за свою миссионерскую работу среди язычников.

Мой ужас требовал осознания природы этих язычников. Во время первой моей поездки мне не довелось встретить моих официальных убийц. Я встречался с друзьями негров. Вот так мне пришлось узнать, что до тех пор, пока твой друг воспринимает тебя как негра, у тебя нет друга и нет друга у него — твоего друга. Вы становитесь сообщниками. Между вами все определяется тем, что он не может сказать тебе и что ты не хочешь сказать ему. И один из вас слушает. Если же один из вас слушает именно то, что вслух не говорится, напряженность такого внимания едва ли можно назвать дружеской. Если один из вас слушает, то вы оба вынашиваете тайные планы, хотя, возможно, сознает это только один. Возможно, вы оба строите планы спасения, но поскольку перед каждым из вас открываются совсем непохожие пути, вы строите планы, как спастись друг от друга.

Нельзя долго пробыть на Юге, не столкнувшись с вопросом о том, что такое человек, что он должен делать и чем стать. В конечном счете мир, в котором мы живем,— это отражение желаний и действий людей. Мы ответственны за мир, в котором оказались, хотя бы потому, что мы — единственная разумная сила, способная его изменить. Меня же над этим вопросом заставил задуматься тот факт, что большинство черных, с которыми я разговаривал на Юге в те годы, были (за неимением лучшего слова) героями. Я не хотел бы, чтобы меня напрасно заподозрили в дешевом восхвалении своих, но никакой беспристрастный наблюдатель Юга того времени не мог бы прийти к иному заключению. Их героизм проявлялся не столько в большом, сколько в малом, не столько на общественной арене, сколько в частной жизни. Некоторые из тех, кого я имею в виду, были достаточно крупными

общественными фигурами и инициаторами больших событий, но меня потрясало не это. Меня потрясало то, как они занимались своей обычной ежедневной работой в тисках южного террора. Например, впервые я увидел преподобного Шатлсворта, когда он, сдвинув шляпу на затылок, совсем один, неторопливо шел через стоянку автомашин в мотеле, где я ночевал. Был поздний вечер, а в Бирмингеме Шатлсворт был бельмом на глазу у многих. Он поднялся ко мне в номер и в течение нашего разговора все время подходил к окну. В конце концов я сообразил, что он присматривает за своей машиной, возможно, проверяя, не подкладывает ли кто-нибудь в нее бомбу. Но раз он сам про это не упомянул, естественно, мне тоже оставалось только молчать. Однако меня тревожило, что он поедет домой один, и когда он прощался, я, не выдержав, сказал об этом. А он улыбнулся — улыбнулся, как наивному новичку, который еще многому должен научиться (что было правдой), улыбнулся так, словно был бы рад кое в чем меня просветить (что довольно скоро и сделал), и ответил, что отлично доедет, и спустился, и сел в свою машину, и уехал в тихую алабамскую ночь. Он держался без малейшей бравады. Только когда я, запинаясь, сказал ему о своей тревоге, по его лицу скользнула тень печали. Скользнула и исчезла. Я больше никогда не видел на человеческом лице страдания, настолько отчужденного от личной судьбы. Казалось, он сознавал величайшую истину, что грозящая ему опасность — ничто по сравнению с духовными страхами, которые правят теми, кто пытается покончить с ним. Они могли причинить вред ему, но обрекали себя.

Никогда прежде я не видел этого ужаса, этой нищеты, хотя много лет назад имел дело с южанами, работая для армии во время войны. Это было страшно, неприятно и опасно, но все-таки я не находился на их территории: в каком-то смысле (так, во всяком случае, оскорбленно считали они) это они находились на моей территории. К тому же я в какой-то мере мог защищаться от их хищных посягательств и от страха, который они мне внушали, искренне считая их сумасшедшими. И я был слишком молод, чтобы мысль о смерти, о гибели могла всерьез овладеть моим сознанием. Тот, кому меньше двадцати, не способен по-настоящему понять, что смерть уже назначила ему номер, который рано или поздно должен выпасть.

Но теперь я был не на своей территории. Я был на территории абсолютно враждебной и совсем незнакомой. И я достиг возраста, когда уже понимаешь, что тебя можно убить. Как ни странно, мне повезло, что я так долго не был в Америке и приехал на Юг практически из Парижа, а не из Нью-Йорка. Если бы я приехал не из Парижа, то несомненно попробовал бы применить кое-какие нью-йоркские трюки, обеспечивающие выживание — а их у меня был большой запас,— и неизвестно, к чему это привело бы, так как на Юге они, безусловно, не сработали бы. Но я настолько забыл свои нью-йоркские штуки, что был не способен воспользоваться ими даже в Нью-Йорке и теперь просто, обнаженно, беспомощно оказался своего рода заезжим иностранцем и мог воспринимать окружающее только так. И как заезжий иностранец, я испытывал не столько страх, сколько завороженный интерес.

А завораживало там многое. Глубины Юга — Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи, например,— раскинулись огромной хмурой, гостеприимной и окровавленной землей, такой прекрасной, что дух захватывает от удивления и больно сжимается сердце. Эта земля словно плачет под гнетом испражнений этой цивилизации. Взрослые и дети слепо бродят в лесу реклам, антенн, бутылок с кока-колой, бензозаправочных станций, мотелей, жестянок из-под пива, музыки, полной жестокой и непобедимой тоски, деревянных веранд, щелкающих вееров, вызывающих задниц, пустых бутылей в бурьяне, гниющих автомобильных трупов, бурых, как жуки, блеска сережек в сумраке автобусных вокзалов — и надо всем этим нависает ядовитый полог похоти, томления и бешенства. Каждый южный город, казалось мне, лишь совсем недавно был извлечен из трясин, которые терпеливо выжидали, когда же удастся вновь его поглотить. Все люди, казалось, помнили свое пребывание под водой и, страшась, предвкушали возвращение к этой свободе от ответственности. Каждого черного, каков бы ни был его стиль, испещряли рубцы, словно от какого-то племенного ритуала, а белые, почти все без исключения лишенные стиля, были искалечены. И повсюду женщины — самые притесняемые существа в здешних краях,— с суженными глазами и поджатыми, втянутыми губами, которые еще хранили скверное послевкусие, смотрели, раскачивались в качалках, ждали. Некоторые из них напомнили мне момент, который я пережил подростком, когда моя подружка, чуть старше меня, сошла с ума и ее забрали в лечебницу. Я отправился навестить ее и, войдя во внутренний дворик женского отделения, остановился перевести дух. Почему-то я обернулся. И понял, что стою на виду у сотен запертых женщин. За этими решетками и стеклами уж не знаю сколько пар женских глаз были устремлены на одинокую мужскую фигуру во дворике. Я смутно различал их лица за окнами по всей высоте и ширине стены, и все они молчали. На мгновение мне почудилось, что ноги так и откажутся унести меня прочь от этого невыразимого, отчаявшегося, пленного алкания.

В первый свой вечер в Монтгомери я, как хороший репортер, решил познакомиться с городом. Меня предупреждали, чтобы, выходя на Юге в темень, я соблюдал особую осторожность,— собственно, мне советовали не выходить совсем. Но вечер был очень приятен, сумерки только-только сгустились и наступало время ужина.

Я шел мимо темных веранд, которые почти все тонули в полной тишине, и все же чувствовалось, что кто-то сидит там во

Мельница

Из работ Эмиля Нольде

Две блондинки

Натюрморт

Брат и сестра

мраке, порой — но очень редко — вырисовываясь силуэтом на фоне распахнутой двери. Иногда виднелся светлячок сигареты или слышался детский голос. Всюду был разлит тихий покой, и, как ни странно, я радовался, что приехал на Юг. Хотя многое нас разделяло и хотя некоторые из них смотрели на меня с неизбежным подозрением, я чувствовал себя дома среди темнокожих людей, которые жили там, где по логике вещей родился бы и я, если бы столько не было разрушено и разорвано. Под всеми наслоениями я ощущал глубокое единение, непривычный мирный покой, почти так, словно после безнадежного, уродующего путешествия наконец вернулся домой. Если это ощущение отчасти было самообманом, то отчасти оно было и правдой. За все годы в Париже я ни разу не испытал тоски ни по чему американскому — ни по вафлям, мороженому и сосискам, ни по бейсболу и кино, ни по Эмпайр стейт билдингу, ни по Кони-Айленду, ни по статуе Свободы, ни по «Дейли ньюс», ни по Таймс-скверу. Со всем этим я расстался так же спокойно и естественно, как со старыми носками, и даже еще более равнодушно. Что до меня, их могло бы и вовсе не быть, и мысль, что я могу их больше никогда не увидеть, нисколько меня не тревожила. Но я скучал по моим братьям и сестрам, по моей матери. Я хотел снова увидеться с ними, увидеть их детей. Я надеялся, что они меня не забудут. Мне не хватало Гарлема по утрам в воскресенье, и жареных кур, и домашних лепешек, мне не хватало музыки, мне не хватало этого стиля — стиля, которого ни у кого в мире больше нет. Мне не хватало возможности видеть, как замыкается темное лицо, как смотрят темные глаза и как расцветает темное лицо, словно озаряя все вокруг. Особенно мне не хватало моих братьев — улыбки Дэвида, серьезности Джорджа, бешеных вспышек Уилмера. Короче говоря, мне не хватало моих близких, той жизни, которая меня породила, вскормила и расплачивалась за меня. Теперь же, хотя я и был чужим, я был дома.

Расовое разделение южных городов запутано и расставляет ловушки приезжим, так как границы районов не обозначены так четко, как на Севере,— во всяком случае, для приезжих. Я прошел мимо веранды с темнокожими людьми; на углу в конце улицы был ресторан. Когда я поравнялся с рестораном, я вошел в него.

Я никогда этого не забуду. Не знаю, сумею ли я это описать. Все мгновенно застыло в гротескной пародии на ужас, как мне показалось даже тогда. Все белые лица до единого окаменели — прибытие ангела смерти не могло бы вызвать большего потрясения, чем возникновение на пороге ресторана щуплого, невооруженного, растерявшегося человека с черной кожей. Я осознал свою ошибку, едва открыл дверь, но беспредельный ужас на всех этих белых лицах — клянусь, никто даже не шелохнулся — совершенно меня парализовал. Они смотрели на меня. Я смотрел на них.

Оцепенение нарушила женщина, каких, хочется верить, создает только Юг: ее лицо было похоже на проржавевший топор, а глаза — на два ржавых гвоздя, оставшихся после распятия. Она кинулась ко мне, как будто собираясь сбить меня с ног, и пролаяла (в этих звуках не было ничего человеческого):

— Чего тебе нужно, парень? Чего тебе нужно здесь? — и добавила: — За угол, парень. За угол.

Я ничего не понял и попятился с порога.

— За угол, парень,— сказал голос позади меня.

На тротуаре, всего секунду назад пустом, неизвестно откуда появился белый. Я с недоумением взглянул на него. Он смотрел на меня пристально, с какой-то затаенной угрозой.

Ошеломление прошло. До этого момента я не успел почувствовать ни страха, ни гнева. Теперь во мне поднялись и страх и гнев. Я понимал, что мне необходимо уйти с этой улицы.

Это было страшное мгновение — краткое, как молния, и озарившее несравненно больше. Я осознал, что этим человеком руководят самые, с его точки зрения, добрые побуждения. Да он и был добр, насколько этого можно требовать от проводника по аду. Я осознал, что не должен отвечать ему, не должен вступать с ним в какое бы то ни было общение. Есть мне расхотелось, но этого я, конечно, сказать не мог. И не только потому, что это означало бы начало столкновения, которого я не хотел и боялся, но и из-за моего северного акцента. Только теперь я сообразил, что этот акцент окажется заметным минусом. Изменить его я не мог, и оставалось искать способа, как превратить его в плюс. Но не в это накаленное мгновение на этой темной и пустой улице.

Я спас свою честь, подумав с решимостью надежды: «Ты же ради этого и приехал сюда! Действуй!» — и оторвав глаза от его лица, я вошел в дверь, которую он с такой добротой указал мне.

Я очутился в крохотной комнатушке с единственной электрической лампочкой и стойкой, перед которой стояло четыре-пять табуретов. В стене напротив двери было окошко — вернее, квадрат из мелкой проволочной сетки с небольшим отверстием в ней. Я находился теперь за ресторанным залом, хотя никто в нем не мог меня увидеть. Я был позади ресторанной стойки, позади женщины с ржавым лицом, которая спиной ко мне обслуживала белых клиентов. Я был так близко, что почти мог дотронуться до них и, несомненно, мог бы дотронуться до нее — так близко, что мог бы убить их всех, а они меня так бы и не увидели.

Ржавое лицо повернулось ко мне:

— Чего тебе нужно?

ДЖЕИМС БОЛДУИН
ИМЕНИ ЕГО НЕ БУДЕТ НА ПЛОЩАДИ

Теперь она не сказала «парень» — в этом больше не было необходимости.

Я сказал ей, что возьму рубленый бифштекс и чашку кофе. Я не хотел ни того, ни другого, но я хотел посмотреть, как обслуживают тех, кто находится по эту сторону сетки, и прикинул, моет ли она руки всякий раз, как возвращается к своим белым клиентам. Наверно, нет: бифштекс появился на бумажной тарелочке, а кофе — в бумажном стаканчике.

Я постарался ничего не сказать, когда расплачивался с ней, и она отвернулась. Я сел на табурет, а в комнатушку вошел черный, буркнул мне «здравствуйте», подошел к окошку, дал заказ, расплатился, сел и принялся за еду. Я сидел там и думал, что напросился на черт-те какое задание. Я не жалел, что приехал,— и никогда впоследствии я об этом не жалел и до смертного часа буду считать великой честью, что пусть и не так, как мне хотелось бы, но я побывал там. Однако в этот момент я понял, что трудности подстерегают меня совсем не там, где я их ждал, не в других, а во мне самом. У меня не было никакой уверенности, что я способен просуществовать тут хотя бы день, а если я не сумею заставить себя, то поставлю под угрозу все, чего добиваются другие, и предам их безмерные усилия. Они подвергались и преодолевали задолго до моего появления здесь, и они меня сюда не звали — моей задачей было собирать материал, а не самому им становиться. Я смотрел, как ест мой терпеливый сосед, смотрел на него с удивлением и уважением. Если он был на это способен, то люди по ту сторону сетки имели основания бояться — если он был способен на это, значит, он способен сделать все, и когда он пройдет за сетку, его уже ничто не остановит. Но я пока еще не был на это способен — мой желудок сжался в тугой резиновый мячик. Я взял свой бифштекс, вышел на улицу и бросил его в бурьян. Темное безмолвие улиц теперь пугало меня, и я вернулся в гостиницу.

Моя гостиница была настоящей черной дырой, настолько нищей и так давно нищей, что ни прятать, ни терять ее обитателям было нечего, хотя они не прекращали своих попыток и терпели неудачу в первом с таким же скучным постоянством, с каким преуспевали во втором. Жизнь все еще манила надеждой на нечаянную удачу. Казалось, там все время не смолкая звучит музыка и кто-то все время танцует. Невнимательному взгляду могло представиться, что здесь сходятся все городские подонки, и это было истиной. Но поскольку городские подонки включали черную общину целиком, то эта истина оказывалась многоликой и о многом говорящей. В глубинах Юга вопросы жилья для приезжих черных и развлечений для местных подчинены строжайшему регламенту, и потому приезжий, который не может остановиться у родных или друзей, селится в гостинице вроде моей, а если родственники или друзья хотят угостить тебя, они идут с тобой в бар этой же гостиницы. Мне это очень нравилось. Мне нравилось наблюдать, как солидные баптистские священнослужители и их дородные накрахмаленные жены усаживаются за столик по соседству с тем, за которым расположились местные распутные и падшие дамы в обществе своих ненакрахмаленных мужчин. Мне это представлялось оздоровляющим, так как снижало возможность самообмана — особенно в те годы. Все были упрятаны в один мешок и по одной причине, независимо от того, какой костюм носит упрятанный и в каком автомобиле ездит. И мне казалось, что люди тут обращаются друг с другом гораздо уважительнее, чем в Нью-Йорке, где, разумеется, возможностей для самообмана было относительно куда больше.

Там, где виски запрещено законом, вы просто покупаете его у блюстителей закона. Я много раз проделывал это по всему Югу — вначале желая проверить, правду ли мне говорили, посмотреть своими глазами, заплатить ему своими руками, а позже потому, что эта кочевая жизнь начала сказываться на моих нервах. Почти всюду можно было достать только кукурузное виски, и до сих пор его запах вызывает в моей памяти злобные глазки помощников шерифа, кобуру на бедре и зловещие деревья вдоль шоссе. И нигде на Юге вы не можете пообедать без того, чтобы вам не предложили белесую комкастую безвкусную кукурузную кашу, которую южане упорно считают деликатесом, хотя, по моему мнению, они едят ее в наказание за свои грехи. «Что? Вы не берете каши?» — спрашивает официантка, тараща глаза, пока еще без враждебности, а только с недоумением. Отойдя, она сообщает всем вокруг: «Видите вон того? Так он не ест каши!» И вы уже меченый человек.

На Юге нетрудно стать меченым — для этого достаточно просто приехать туда. Аэрозокзал в Монтгомери, например, был в те времена задорной лачужкой, торчавшей среди пустоты. В то утро, когда я впервые туда прилетел, его охраняли трое более или менее почтенных граждан металлического отлива и крайне скупых на слова. Я был единственным предметом какого бы то ни было цвета, доставленным в аэропорт в это утро, и они стояли у ворот и следили, как я иду через летное поле. Я нес пишущую машинку, и она вдруг стала очень тяжелой. Я боялся. Их пристальный взгляд пугал меня. Их молчание пугало меня. Мартин Лютер Кинг обещал, что в аэропорту меня будет ждать машина. Ни одного автомобиля у ворот не было, но я знал номер телефона Монтгомерийской ассоциации... Только бы найти автомат, только бы пройти мимо этих людей у проволочной изгороди. Было и жутко и поучительно осознать, что мне, хотя они такие же люди, как я, нельзя ждать от них человеческой реакции на самую простую мою просьбу. Позади меня было только пустое пространство, а впереди — только эти трое, и мне оставалось только идти к ним. В конце-то концов я сел в самолет для того, чтобы прилететь сюда. Самолет приземлился, и вот я

здесь — так что они, собственно, могли с этим поделать? Разве что убивать подряд всех черных пассажиров или взорвать аэропорт? Но сколь бы соблазнительными ни были эти две последние возможности, их осуществление представляло известные трудности. Я прошел мимо них и направился к первой же телефонной будке, которую увидел, не позаботившись взглянуть, попал ли я в зал ожидания для белых или для черных. Я с самого начала решил избегать столкновений, если удастся, но уже было понятно, что удаваться это будет далеко не всегда. К тому времени, когда я под их немигающим взглядом набрал нужный номер, подъехал автомобиль «МА». Обладай глаза этих людей силой стереть машину в порошок — они бы ее стерли, как в Библии был стерт с лица земли греховный город: никогда в жизни мне не приходилось видеть такой сконцентрированной, такой злобной нищеты духа.

Не забудьте, что в Монтгомери черные тогда сплотились для организованного протеста и должны были вот-вот поставить на колени автобусную компанию. То, что началось в Монтгомери, начинало теперь происходить по всему Югу. Студенческие сидячие забастовки были пока делом будущего. Никто еще не слышал о Джеймсе Формене [1] или Джеймсе Бивеле [2]. Мы только-только услышали про Мартина Лютера Кинга. К Малькольму X еще предстояло отнестись серьезно. О существовании Хьюи Ньютона, Бобби Сила [3] или Анджелы Дэвис знали только их родители. Со смерти Эммета Тилла [4] прошло два года. Бобби Хэттон и Джонатан Джексон [5] начинали лепетать свои первые слова и совсем недавно обнаружили, как весело, держась за чью-то руку, ковылять вверх и вниз по ступенькам лестницы. О, первые из первых! Я сел в машину, и мы поехали в город — колыбель Конфедерации, белейший из городов к западу от Касабланки и один из самых несчастных на всей земле. Несчастный потому, что никто из имеющих власть в городе, в штате, в стране не обладал достаточной силой, или смелостью, или любовью, чтобы научить вежливости, спасти души этих трех отчаявшихся людей, которые стояли у ворот убогого аэропорта, воображая, будто удерживают потоп.

Но как мне передать, какими были некоторые из черных мужчин и женщин тогдашнего Юга? А попытаться сделать это — необходимо. Называть имена я не могу — потому что одни не помню, другие никогда не знал или же по иным причинам. В подавляющем большинстве мужчины были священниками, мелкими торговцами (это последнее слово охватывает — во всяком случае, должно подразумевать — бесчисленные и неописуемые усилия) и людьми интеллигентных профессий — например, учителями, зубными врачами, адвокатами. Поскольку Юг представляет собой (во всяком случае, представлял тогда) замкнутую общину, цвет их кожи, светлый цвет, бросался в глаза гораздо больше, чем такие же оттенки на Севере: именно запрет социального общения подчеркивал размах биологического слияния. Девушки с золотистой кожей, мужчины почти цвета мела, волосы как шелк, волосы как хлопок, волосы как медная проволока, глаза голубые, серые, зеленые, светло-карие, черные, как у цыган, темно-карие, как у арабов, узкие ноздри, тонкие ноздри, широкие губы, тонкие губы — всевозможные сочетания, располагающиеся по невероятной шкале. Нет, не на Юге мог человек сохранить свою тайну! И черномазые, конечно, и не пытались, хотя они знали своих белых братьев, сестер и отцов и ежедневно наблюдали, как они расхаживают, щеголяя белой кожей. И иногда убирали мусор своих кровных родственников, а иногда отправлялись со шляпой в руке искать работу или предпринимали что-нибудь более отчаянное. Но они были способны на это, зная то, что они знали. И белые не могли этого стерпеть, зная то, что они знали: ведь не только на Востоке белый цвет — цвет смерти.

Так, я помню преподобного С., невысокого бледнокожего человека с волосами как пережаренные кукурузные зерна, и его крохотную церквушку в крохотном городке, где каждый черный принадлежал какому-нибудь белому. На демократическом жаргоне, разумеется, это звучит как «каждый черный работал у белого», и демократический миф требует, чтобы мы верили, будто они работали вместе, как люди, и уважали, почитали и любили друг друга, как люди. Но демократическое краснобайство подразумевает свободу, которой нет и не может быть, пока рабству в Америке не будет положен конец,— в этих городках в те дни (если говорить только об этих городках и только о тех днях) черному, который вызвал неудовольствие своего нанимателя, есть после этого оставалось недол-

---

[1] Один из лидеров негритянского движения в США; начинал как активный приверженец идей Кинга, в настоящее время выступает идеологом партии «Черные пантеры», программа которой квалифицируется в выступлениях руководителей компартии США как «ультралевый аспект оппортунизма».

[2] Участник движения за гражданские права, призывающий бойкотировать попытки объединения белой и негритянской общин в церквах Юга США.

[3] Студенты Меррит-колледжа в Окленде (штат Калифорния), создатели партии «Черные пантеры», появившейся в 1966 году после негритянского восстания в Уоттсе (пригород Лос-Анджелеса), подавленного при помощи войск. «Черные пантеры» объявили себя организацией негритянской самообороны, однако вскоре эта партия выступила и с программой политического решения расового конфликта ультралевыми и экстремистскими средствами.

[4] Негритянский активист, убитый расистами на Юге.

[5] Активные деятели «Черных пантер».

го; другими словами, предполагалось, что ни ему, ни его жене, ни детям нечего заживаться на свете. И все-таки каждое воскресенье преподобный С. со своей кафедры в церкви, где сидели его жена и дети и где стены были пробиты пулями, убеждал своих прихожан действовать, протестовать, идти к избирательным урнам. Ибо в те дни мы верили — или внушали себе, будто верим,— что поход черных к избирательным участкам будет охраняться Вашингтоном.

Я вспоминаю преподобного Д., который, кроме того, был бакалейщиком, и тот вечер, когда он рассказывал мне, как стал убежденным сторонником принципа ненасилия. Черный бакалейщик в глубинах Юга, как и все бакалейщики повсюду, должен где-то закупать бобы, которые он выставляет в своей лавке на продажу. Это означает, что черному бакалейщику, который призывает и убеждает регистрироваться на избирательных участках, будет крайне нелегко сохранить свое дело, не говоря уж о своей жизни. Это был веселый великан, сильный как бык, упрямый как мул — муха, не предназначенная для липкой бумаги,— и он сохранил свое дело. Это ему кое-чего стоило. В то время бросание бомб еще не стало излюбленным развлечением южан, и они просто били его окна кирпичами. Он вооружился сам, вооружил своих сыновей, и они ночь за ночью дежурили в темной лавке, ожидая появления своих сограждан. Но сограждане, зная, что они вооружены, так и не появились. А потом в одно прекрасное утро после долгой ночи преподобный Д. решил, что такая жизнь не годится ни для мужчин, ни для женщин, ни для детей. Возможно, к настоящему времени его уже принудили снова переменить мнение, но он был первым, кто сделал для меня живым принцип ненасилия,— ибо этот принцип стал тогда делом личного, а главное, собственного выбора, и я впервые увидел, каким трудным может быть подобный выбор.

(Окончание следует)

Изобразительное искусство за рубежом

Н. ПОЛЯКОВА

Эмиль Нольде

Читатели журнала, вероятно, помнят замечательный роман Зигфрида Ленца «Урок немецкого», где повествуется о драматической судьбе художника Макса Людвига Нансена, приговоренного фашистским режимом к творческой изоляции и бездействию. Этот глюзерупский отшельник — угрюмый северянин в запачканном краской старом плаще и такой же старой выцветшей фетровой шляпе, с неразлучной трубкой в зубах — действительно существовал, упрямо писал свои «ненаписанные картины» и действительно пережил иго фашизма и дождался не только справедливой победы, но и признания и славы своего искусства.

Прототип Нансена — подлинная его фамилия Ханзен, которую он сменил на Нольде в 1901 году, родился в 1867 году в Норшлезвиге. Детские годы и ранняя юность будущего художника были тесно связаны с устоявшимся крестьянским бытом его родительского дома, а первые яркие впечатления и эстетические переживания были навеяны суровой природой северного Шлезвига. В 1884 году Нольде стал учиться резьбе по дереву на мебельной фабрике во Фленсбурге. Почти до конца века Нольде работал как художник-прикладник, но влечение к «большому искусству» не оставляло его. В 1898 году он поступает в Академию в Мюнхене, затем посещает частную школу Фридриха Фера, проводит более года в Париже в Академии Жюльена.

С 1901 года Нольде полностью отдался живописи. Он поселяется в небольшом домике во Фленсбурге, летом живет на острове Альзен, осенью — в рыбацком доме в Гудерупе, где на берегу моря строит маленькую мастерскую. Однако его живопись остается непризнанной: слишком не похожа она даже на самую смелую по тем временам манеру импрессионистов. Холсты Нольде ослепляют яркостью цветовых контрастов, возмущают грубостью живописной поверхности, где щетинятся рельефные мазки, изображающие гребни волн, или груды грозовых облаков, набухших свинцово-серой водою.

В 1906 году Нольде выставляет свои работы в творческом объединении дрезденских молодых художников «Мост». В 1907 году состоялись еще две выставки. Картины Нольде появляются в экспозиции Берлинского сецессиона. Однако в 1910 году жюри выставки, где преобладало импрессионистическое направление, отклоняет картины Нольде. В 1911 году он организует самостоятельную группу художников, выступающих под именем «Нового сецессиона». Он пишет пейзажи, серии картин на библейские и евангельские сюжеты, его привлекает драматизм ситуаций традиционных сюжетов: трагедия одиночества обреченного («Тайная вечеря»), радость первого материнства («Святая ночь») и т. д. Краски в картинах Нольде звучат подобно музыке, передавая то настроение скорби, то торжество радости. Художник почти отказывается от объемного воспроизведения натуры, от опоры на литературно-повествовательную основу. Сначала приходит успех в узком кругу знатоков и профессионалов, дававший материальную базу для творчества, но не удовлетворявший морально тех, кто хотел творить для народа. Между тем надвигался фашизм. Художник становится жертвой коричневого режима. В 1937 году на 1052 произведения Нольде был наложен запрет и в том же году его картины и гравюры появились на выставке «Искусство вырожденцев», устроенной на поругание и посмешище перед оболваненным фашистской прессой обывателем. Художник замыкается и живет отшельником в Зеебюле на самом берегу моря, самозабвенно работает, стараясь не обращать внимания на клевету фашистских газет, объявивших его «лженемцем», «красным большевиком» и пр. В 1941 году его исключают из членов палаты искусств и запрещают работать по специальности, учредив за ним регулярную слежку. Нольде лишь тайком, урывками пишет в год три-четыре картины маслом, остальное время работает акварелью, чтобы быстрее запечатлеть мотив и сохранить его до лучших времен. Так возникают его «ненаписанные картины». И в эту мрачную пору Нольде получает мировое признание. Открывается его выставка в Нью-Йорке, на аукционе в Люцерне европейские и американские коллекционеры спешат приобрести работы этого «художника-вырожденца», изъятые из музеев и продаваемые немецким правительством по высокой цене. Но семидесятилетний мастер даже не знает об этом. Он живет в нищете и стоически переносит тяжелые испытания, болезнь и смерть жены. Здесь, в Зеебюле, на родной земле встречает он освобождение, и сюда к нему приходит подлинное признание и слава. В 1947 году в Любеке состоялась его первая послевоенная выставка. Художник испытывает новый прилив сил, он пишет светлые, радостные картины. Его награждают почетными званиями, присуждают медали, международные премии (Венецианская бьеннале 1950 года). Умер Нольде в возрасте 89 лет, оставив более тысячи холстов и несколько сотен графических листов.

◆

Среди книг

Издано в СССР

РОМАН: ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Д. Затонский. Искусство романа в XX век. Москва, «Художественная литература», 1973. 535 стр.

О судьбах романа в последние десятилетия спорят на Западе особенно ожесточенно. Одни считают его невоскресимым жанром прошлого, другие предрекают близкую и неизбежную гибель. Несколько лет назад дискуссии о романе обрели в некоторых странах, например в ФРГ, поистине жгучую актуальность — в связи с активизацией «новых левых», которые провозгласили традиционные виды литературы продуктом буржуазной системы, не обладающим общественной значимостью и потому не имеющим шансов выжить.

Однако — и практика мировой литературы это с достаточной наглядностью подтверждает — «старый» жанр неутомимо демонстрирует свою жизнестойкость, обновляясь и в то же время оставаясь наиболее «емким» и тем самым пригодным для отражения многоликих, переплетающихся процессов современной действительности. Перед исследователем литературы жанр этот ставит сегодня трудные задачи, весьма отличные от тех, которые возникали, к примеру, у ученого, делавшего предметом рассмотрения «добротный» роман минувшего столетия. Что современный роман в огромной мере видоизменился, что он обрел новые характерные черты, ни у кого не вызывает сомнения. В чем же специфика новых романных структур, чем он отличается от своего предшественника — романа «традиционного», в чем истоки тех трансформаций, которые он претерпевает к середине нашего столетия?

Выделить некоторые наиболее существенные новые явления, «характеристики» современного романа, показать их историческую и социальную обусловленность — такую задачу ставит перед собой известный советский исследователь Д. В. Затонский. Его новая книга так и называется — «Искусство романа и XX век».

Автора интересует не роман «вообще», а лишь некоторые, определенные его формы, которые, хотя и не отражают широко панорамные процессы эпохи, тем не менее схватывают нечто очень существенное для ее понимания, затрагивают какую-то важную струну, нащупывают нерв современности. Речь идет о лирических, гротескных, условных, метафорических формах, о структуре романа, который автор предлагает называть «центростремительным».

Что же это такое «центростремительный» роман? Один из главных его признаков связан с тяготением художников современного Запада к преломлению или «расщеплению» жизни индивидуальным сознанием, со стремлением писателей приблизить действительность к восприятию героя. Классический роман был, по мысли автора, условно говоря, «центробежным»: Бальзак и другие классики прошлого века (как и многие крупные писатели века нынешнего), расставив действующих лиц по местам, давали «сюжетный толчок» и медленно, последовательно развертывали круговую панораму бытия, расширяя ее с каждой страницей. В «центростремительном» романе действие сгущается, уплотняется, иногда оно занимает несколько дней или даже часов, а главное — оно сосредоточено вокруг какого-то решающего, переломного момента в жизни героя. Человек в таком романе — не просто объект писательского

внимания, он средоточие всего: «к человеческому центру повествования тянутся извилистые, прерывистые нити рефлексий».

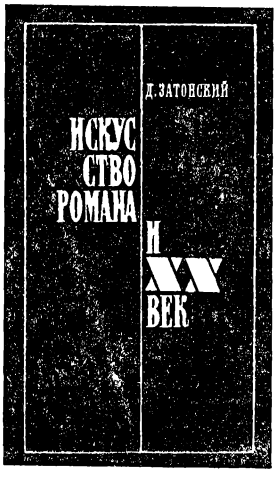
«Центростремительный» роман тяготеет — эту важную закономерность Д. Затонский особенно выделяет — к демократическому герою. Действительно, если мы обратимся к практике современной зарубежной литературы, то станет очевидным: все, что в ней есть значительного и талантливого, связано с таким героем (как бы его ни называть — «маленьким» или «простым» человеком). Он глубоко чужд буржуазному общественному механизму, живет в состоянии непрекращающегося конфликта с этим миром, хотя часто и не понимает причин и характера конфликта.

Такой герой неизменно противопоставляет себя (порой активно) капиталистической системе, которая в последние годы все чаще выступает в облике «общества потребления» с его культом вещей и запрятанной под маской «массовой культуры» бесчеловечностью, бездуховностью коммерциализированного бытия. И, как верно замечает автор исследования, именно с помощью такого героя самые разные писатели — от Хемингуэя и Фолкнера до Кёппена, Грина, Силлитоу или Моравиа и Мерля — не просто разоблачают буржуазную действительность, в разладе с которой этот герой живет, но выражают свой гуманистический идеал, пытаются обрести пафос утверждения. И происходит это в значительной мере под прямым или косвенным, часто не осознаваемым самими художниками, влиянием идей нового мира.

Изображая действительность через мировосприятие своего героя, писатель-реалист сохраняет способность видеть дальше и знать больше, нежели герой, при всей их духовной близости. Д. Затонский пристально следит за тем, как смена повествовательной перспективы, угла зрения на происходящее ведет за собой коренные изменения всего строя произведения. Этот круг вопросов занимает немаловажное место и в другой, недавно опубликованной, работе Д. Затонского — книге «Франц Кафка и проблемы модернизма» (Москва, «Высшая школа», 1972), где он выявляет, как композиционно-стилистический принцип (отсутствие дистанции между писателем и героем, неумение и нежелание писателя выйти за рамки ощущений и восприятий своего центрального персонажа), как этот художественный принцип перерастает в мировоззренческий, идеологический. Тонко и всесторонне анализируя творчество Кафки, исследователь приходит к выводу, что модернистские писатели так или иначе связаны с натурализмом (какими бы абстрактно-параболическими ни были их построения), ибо для них характерен тот же отказ от обобщения, отбора, от осмысления фактов и явлений реальности.

Здесь, пожалуй, и пролегает та главная линия, которая отделяет авторов «центростремительных» романов от писателей-модернистов. Способность осмыслять, преодолевать границы мировосприятия героя отличает «центростремительный» роман от романа модернистского с его тяготением к натурализму, которое ведет, в конечном итоге, к деформации реальности. При этом Д. Затонский подчеркивает, что кажущаяся фрагментарность современного реалистического романа конструктивна в своей основе, ибо изображаемое включено здесь в цепь «исторически необходимого», предстает как результат идейно-художественного обобщения.

Д. Затонский с полным основанием исходит из того, что природу новых романных форм легче осмыслить, выявляя их сходство с предшественниками, пусть даже «неромannыми», с теми «камерными» жанрами прошлого, которые в известной степени предвосхищают новую структуру и которые сложились до того, как определился и занял ведущее место роман монументальный, панорамный, отражающий жизнь в «формах самой жизни». Автор внимательно вглядывается в историю романа, от его истоков, скрупулезно, тщательно выделяя то, что объясняло бы появление этих новых форм. Иначе говоря, он считает необходимым рассматривать современный роман не в «готовом виде», а в связи с историей жанра. И для того чтобы выяснить, имеет ли тут место разрыв с традициями или речь идет о продолжении, развитии определенных традиций, он заглядывает в прошлое романа, отправляется в путешествие по столетиям, «спускается» к Алеману, Сервантесу и еще глубже, к Гелиодору, обращается к Флоберу, Мелвиллу, Теккерею, к Толстому и Достоевскому — ведь «центростремительный» роман, будучи преимущественно явлением западной литературы XX века, подготавливался, подчеркивает Д. Затонский, и реалистическим русским романом минувшего столетия. В цепи предшественников автор обнаруживает сочинения романтиков,



«иронических авторов» XVIII века, «гиперболических фантастов Ренессанса» — ведь все они творили «на переломе, на стыке эпох, в моменты революционного преобразования мира».

Совершая плодотворные экскурсы в историю романа, исследователь легко оперирует огромным материалом, не сбиваясь на поверхностность и не впадая в схематизм.

При всей спокойной объективности книга Затонского полемична в своей основе. Она спорит и с теми, кто приговорил роман к гибели, и с теми, кто пытается сузить его рамки, ограничить его возможности, и с теми, кто бездумно отметает новые формы как курьез. Опираясь на конкретный анализ явлений литературы, автор опровергает точку зрения, согласно которой всякое произведение, «усеченное» в своих внешних параметрах и разветвляющееся в сфере ассоциаций и рефлексий, есть непременно «нечто модернистское». Ведь никакая школа в искусстве, справедливо напоминает Д. Затонский, не владеет монополией на повествовательную технику. Нарушение хронологии, перемещение пластов времени, «раздерганное» и кажущееся хаотическим повествование вовсе не тождественны сами по себе модернизму. Исследуя произведения современной западной литературы, автор демонстрирует, как «центростремительная» романная форма становится средством воссоздания специфической ситуации современного капиталистического общества, как преломляется в ней опыт художника, сознание того, что и сложная действительность, и человеческая индивидуальность — прежде всего феномен исторический, социальный. И потому новые романные структуры предлагается рассматривать в первую очередь как способ передачи самого движения истории, сложных процессов современности.

Полемика, которую ведет Затонский, более чем актуальна, хотя многие породившие ее взгляды были сформулированы довольно давно. Автор исследования стремится показать и доказать, что современные формы романа отнюдь не противопоказаны реализму, как пытаются объявить иные теоретики, настаивающие на том, что право на существование имеет лишь роман в его бальзаковской ипостаси, а все остальное — от лукавого, проявление буржуазного декаданса. Автор спорит с теоретиками школы Лукача, с теми, для кого роман — продукт вырождения эпоса, явление специфически буржуазное. А ведь именно эту мысль всячески варьировали на исходе минувшего десятилетия «новые левые», которые из тезиса о «буржуазности» романа делали вывод о его «ненужности». Автор аргументированно опровергает и весьма распространенную, долгие годы бытовавшую в нашем литературоведении мысль, что реализм, начиная с Флобера, угасает, «разлагается», все больше сменяется декадансом.

Вопрос о новых формах романа теснейшим образом связан в книге Д. Затонского с вопросом о реализме, неотделим от него. Автор работы последовательно отстаивает свою идею, что новые формы не могут и не должны отметаться как модернистские лишь на основании того, что отличаются от классических эпических образцов. Попытка относить разнообразные «непанорамные» формы романа к нереалистическим, тем более к декадентским, означала бы, как замечает автор, уступку империализму в сложной идеологической борьбе современности. При этом Д. Затонский опирается на работы других советских ученых, обращавшихся к проблемам соотношения реализма и модернизма в современной литературе. В частности, он ссылается на Б. Сучкова, который неоднократно подчеркивал, как неправильно было бы считать, что реализм зиждется лишь на одном виде обобщения действительности, повторяя ее формы: ведь в таком случае слишком многое в мировом искусстве — то, что не укладывается в эту догму,— оказывалось бы «выведенным за пределы реализма». А между тем литературный процесс современности свидетельствует о том, насколько плодотворной и перспективной оказывается и сегодня реалистическая тенденция.

Д. Затонский в своей книге рассматривает исследование идейно-эстетических особенностей современного романа как важный вопрос марксистско-ленинской идеологии. Отстаивая свою точку зрения, он нигде не бывает голословен: его суждения вытекают из детального анализа. Правда, порой разнообразие и обилие материала чрезмерно увлекают автора, несколько раздробляя ход мысли. Однако важней другое: в этом серьезном исследовании советского ученого вскрываются мало изученные пласты современной литературы. Перед нами работа, актуальная по сформулированной в ней задаче и принципиальная в своей методологической основе.

И. МЛЕЧИНА

РОЗЫ И РОЗГИ

Остин Кларк. Среди терний. Повесть. Перевод с английского А. Клышко. Редактор Е. Суриц. Предисловие Вл. Иорданского. Москва, «Молодая гвардия», 1972. 167 стр.

Почти пять веков назад острова эти были открыты Колумбом и получили свое географическое имя — Вест-Индия. Почти пять веков спустя молодой вестиндский писатель Остин Кларк открыл на нашей литературной карте один из этих островов — бывшую британскую колонию Барбадос.

Мир и покой моря, блестящие листья земляничного дерева о чем-то шепчутся с самонадеянными пальмами, крабы разгуливают по песчаному берегу, еле слышно по-

скребывая по нему клешнями — будто по грифельной доске мелом кто пишет. На этом обманчиво-спокойном фоне разыгрываются драматические события в жизни девятилетнего Мильтона — рассказчика и главного действующего лица повести Кларка «Среди терний».

На окраине города в приморском негритянском поселке живет он со своей матерью. Она стирает на белую леди с Эспланады и в толк взять не может, зачем одинокой женщине такая прорва белья и одежды. Отец с ними не живет, потому что любовь матери променял на придорожную канаву, где и валяется небось с пустой бутылкой в обнимку, сообщает Мильтон. Иногда к матери заходит поболтать ее приятель Вилли-Вилли, и тогда сидят до поздней ночи, не зажигая огня, а он рассказывает небылицы о «роскошной жизни» в своей стране грез Гарлеме или страшные истории, пока Мильтону не начинает мерещиться, что привидения полезли изо всех щелей. Сын деревенской черной прачки не может быть белоручкой — и у Мильтона полно обязанностей по дому; матери нужно много воды для стирки, и он таскает ее от уличной колонки в большом ведре на голове — тяжело, конечно, зато чего только не услышишь и не увидишь там, пока вода льется. Очень приятной была обязанность чистить стекло керосиновой лампы: с ним Мильтон дружил — его можно поднести к правому глазу и петь песню собственного сочинения про капитана с подзорной трубой.

Мильтон ходит в школу — для бедняков. Высокими показателями успеваемости эта школа не блистает — чего нет, того нет, зато по садоводству занимает все призовые места: «Не стали бы, в самом деле, богатые белые люди, живущие по соседству от нашей школы, платить директору за нашу грамотность; розы — другое дело!» Воспитать отпрыска, особенно мальчика,— все равно что вырастить розу на приз, утверждает директор школы Блекмен. И чтобы легче было растить «черную розу», в классном шкафчике рядом с хрестоматией для первоклассника (негритянские дети проходят ее в четвертом) и грифельными дощечками (тетрадей не хватает) наготове розги — толстые узловатые пруты тамариндового дерева.

После изуверской порки в школе, разрисовавшей спину Мильтона, как географическую карту, после несправедливых материнских оплеух он поздно вечером со всех ног убегает куда глаза глядят — к свободе.

Желанная свобода обернулась для него всего лишь свободой прятаться в подвалах, и в церковном подвале он становится свидетелем преступления, а из подвала родной лачуги узнает важную тайну: оказывается, его отец вовсе не Натан Бульдозер, а Вилли-Вилли. Обретя отца, Мильтон через несколько часов лишится его снова — на этот раз уже навсегда,— и лишь в его памяти и сердце останется этот непутевый добряк и веселый враль.

Тропический ураган не только отнял у Мильтона отца — он привел в дом ненавистного Натана, любовника матери, и отныне надо жить с ним под одной крышей и называть отцом. «Завтра с утра пораньше я возьму его за шкирку и поведу в каменоломню. Я научу его держать в руках отбойный молоток и дробить камень!.. Забудь, что такое школа!» — заявил Натан.

В эту ночь кончилось детство Мильтона. Детство-то кончилось, а ребенком Мильтон так и остался, и в своем пока еще внутреннем протесте он ничего не может противопоставить жестокому миру взрослых, кроме детского гнева, и в отчаянии придумывает кару Натану — пусть унесет его ураганом, ни дна ему, ни покрышки,— сам закрывает глаза в ужасе от этих мыслей, и в нем растет злость к матери, и ненависть к Натану, и любовь к Вилли-Вилли.

Житейский опыт Мильтона невелик, и он еще не знает, сколь многого лишен, и счастлив оттого, что есть пляж, пистолет из трубочки сахарного тростника, иногда даже — яркий леденец. А еще можно смотреть, как сменяют друг друга на карауле оловянные солдатики в казармах, или подглядывать, спрятавшись в тени, как в отеле топчутся туристы в размашистом ритме калипсо.

Мильтон внимательно и пытливо смотрит на окружающий мир и размышляет не только по поводу того, почему его не любят собаки и почему штаны всегда рвутся в форме буквы «г», повиснет ли он на гвозде в заборе или же его тяпнет пес. Откуда у людей берутся деньги на дома и всякие необыкновенные вещи, если они нигде не работают?.. И почему это так получается, что его мать, которая трудится за шестерых белых по семь дней в неделю, должна жить под протекающей, как решето, крышей?..

Сюжетное действие длится менее двух суток, но писатель с таким искусством строит повествование, что под слоем бытовых сцен открывается мозаичная панорама Барбадоса со многими его социальными и расовыми проблемами. На этом панно—и негритянский поселок с укладом жизни, уходящим корнями в Африку; и город с особняками белых, розариями и теннисными кортами; и школа, где учат лишь десяти заповедям да гимну «Правь, Британия!»; и американские корабли в порту; и туристы; и безработица; и религиозная и официальная демагогия; и мечты негров спастись от нищеты возвращением на землю предков — в Африку. С детской непосредственностью и целомудрием Мильтон рассказывает даже о таких сторонах жизни, о которых детям его возраста знать не положено.

Познавая мир и наблюдая прямые связи явлений, Мильтон многое в окружающем воспринимает по-детски буквально: шиллинги — это хорошее настроение матери и еда, смешение рас — это когда двое идут,

взявшись за руки, и одна рука белая, а другая — черная.

«Ты опять замечтался?» — этот окрик не раз вырывает Мильтона из его счастливого воображаемого мира. Из-за того, что рассказчик ребенок — а в детстве все фантазируют,— мир грез естественно и гармонично вписывается в сюжет и несет значительную смысловую нагрузку.

С одной стороны, фантазии Мильтона не знают границ: он отправился бы на парусниках искать континенты и счастье, как Колумб, победил бы всех англичан — и было бы веселье и еды до отвала, а он стал бы королем и женился на английской королеве, потому что король всегда прав.

С другой стороны, воображение Мильтона создает такие модели, которые состоят из элементов реальной действительности, повседневно окружающей его... Мать убила Натана. На похороны соберутся женщины — в белом, мужчины — в черном, и все соседи, друзья и враги, сразу станут друзьями, потому что Натан умер. И все будут петь и пить, а детей будет сжигать одна мечта — заглянуть в овальное отверстие гроба: каков Натан мертвый? И тут же пастор Бест, привыкший говорить, что негры после смерти попадут на небеса, ибо земную жизнь провели в аду. И мать, несчастная не оттого, что Натан умер, а оттого, что он позволил себе умереть в ее доме и мертвый обошелся ей дороже, чем живой. Картина похорон настолько живописна, что не сразу спохватываешься, что это — вымысел Мильтона, а Натан — живздоров.

Но своеобразным «мифотворчеством» занимается не только Мильтон: школа и церковь вбивают в юные головы созданную колонизаторами сказку о родине-матери — о прекрасной и могущественной Британии, которая в стародавние времена отправилась в Африку и освободила всех африканцев, через ужасные моря и океаны привезла их на Барбадос и дала добрых наставников и замечательных белых людей, которые нанимают черных поливать сады и выносить кухонные помои (до того чудесные, что большую часть их они, черные, съедают). Эта Британия охраняет остров от всех посягательств, и русские, которые ходят все в красном, не посмеют подойти к острову на пушечный — с подводной лодки — выстрел. И уж конечно Британия позаботится, и никто из британцев (а негры на острове — это черные британчики) никогда не будет рабом. Но если выдумки Мильтона дают представление о реальном, окружающем мальчика мире, то эта колониальная сказка фальсифицирует действительность — и обличает ее авторов.

Остин Кларк — мастер тонкой иронии, и он использует в повести все ее оттенки — от добродушного юмора до злого сатирического гротеска (не зря писатель дал рассказчику имя в честь великого английского поэта и публициста XVII века). Особенно уничтожающ в своей разоблачительной силе «репортаж» Мильтона о проповеди в миссионерской церкви, которую он наблюдает из подвала сквозь щели в полу у себя над головой. Пастор Бест своим поведением в церкви напоминает ему боксера на ринге, ведущего бой с грозным чемпионом,— и Мильтон с точностью и бойкостью спортивного комментатора и с беспощадностью насмешливого наблюдателя фиксирует все финты пасторского переливания из пустого в порожнее.

Эта повесть вест-индского писателя непроста для перевода — в ней трагическое переплетается с комическим, возвышенное — с заземленным, но А. Клыщко удалось в русском тексте передать разнохарактерность произведения и живой разговорный язык.

Книга оказывает сильное эмоциональное воздействие, этим она обязана активной гуманистической позиции писателя и его художественному мастерству. Открытая композиция повести оставляет Мильтона и его мать на трагическом перепутье: во время урагана мать Мильтона в безоглядном бунте разорвала треклятое белье белой леди, заткнула им многочисленные прорехи своей лачуги — и почувствовала себя свободной, как никогда. Но что будет с ней завтра? Что ждет Мильтона в каменоломне? И хотя жизнь на сахарном острове не сахар, надежда не оставляет героев повести — недаром она и заканчивается такими словами: «Завтра будет другой, совсем другой день. Потерпи...»

М. ВАШКЕВИЧ

Издано за рубежом

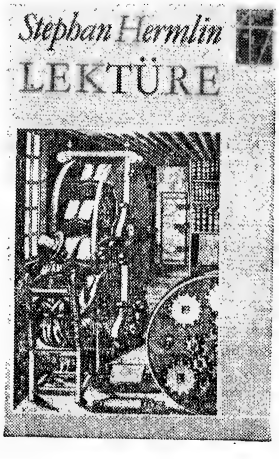
КРИТИЧЕСКАЯ ПРОЗА ПОЭТА

Stephan Hermlin. Lektüre 1960—1971. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1973.

Творчество Стефана Хермлина знакомо советским читателям по многим публикациям. У нас переведены и основные его стихотворения и антифашистские новеллы «Путь большевиков», «Комендантша», и книга документальной прозы о подпольщиках, боровшихся против гитлеровской диктатуры, «Первая шеренга»; недавно в сборнике немецких радиопьес появилась его пьеса «Скарданелли», посвященная трагической судьбе поэта-тираноборца Гёльдерлина. Как видим, творчество Хермлина многожанрово. Но основная его стихия, бесспорно, лирика.

Сборник стихотворений Стефана Хермлина «Полет голубя» вышел на русском языке свыше десяти лет назад. Стоит напомнить строки из предисловия к этой книге, в котором Илья Эренбург говорил о немецком поэте: «Он мне сразу понравился: все в нем было цельным и удивительно противоречивым. Он говорил непримиримо — сказывалась молодость, прожитая в подполье, концлагерях, среди врагов,— и вместе с тем чувствовалась нежная мечтательность, присущая его натуре, хотя он и сжимал ее в кулак, готовый задушить, как птенца. Он потратил много времени и рвения, переводя на немецкий язык стихи Элюара; с обожанием говорил о поэзии призрачной, почти бесплотной, не подчиненной стихотворным размерам, пренебрегающей побрякушками рифм. А сам он писал баллады с посылками, как Вийон, терцины, как Данте, сонеты, как Шекспир. Ему казалось, что в эпоху наводнения слезами и кровью, буйства стихий нужны набережные из гранита — труднейшие классические формы. Он показал, что можно быть современным, обращаясь к королеве Горечи или к даме Надежде».

Опыт личного участия в сражениях с фашизмом отметил творчество Хермлина навсегда. Его внимание, как поэта и прозаика, приковано к тем жизненным ситуациям, когда обнажается самая суть человека, проверяется его готовность к героике, самопожертвованию. Его поэзия обращена к нравственным основам личности, ее глубинным пластам. Отсюда идет и своеобразие его стиля, раскованный и вместе с тем собранный строй речи. Поэт пуще огня боится банальности многословия, напряженно ищет слов простых и неизбитых, стремится сочетать высокую, даже изощренную культуру стиха с прямотой и ясностью речи. Традиции, на которые он опирается, очень разнообразны, он сам не раз говорил об этом; в поэтическом наследии народов ему дорого многое: от лютеровских хоралов до Брехта и Маяковского.



Эти свойства Хермлина-художника сказываются в его кратких статьях, речах, рецензиях, эссе, которые в большинстве своем печатались раньше в журнале «Зинн унд форм», а теперь объединены в сборнике под названием «Lektüre» — «Чтение». Многие из них были нам известны и раньше. Но, будучи собраны вместе, они приобретают новое качество: уже потому, что в них раскрывается интернациональная широта литературных интересов и пристрастий писателя. Тут и Шатобриан, и Амброз Бирс, Мигель Эрнандес, и Атилла Йожеф, и еще многие другие. За краткими статьями, взятыми вместе,— богатство многолетних не только литературных, эстетических, но и жизненных впечатлений. И каждая из этих критико-публицистических миниатюр — пусть даже и облеченных в непритязательную форму рецензий, отклика на только что прочитанную книгу или памятную дату,— отмечена незаурядным словесным мастерством.

Некоторые из статей написаны по непосредственно политическим поводам — в них сказывается дар Хермлина-полемиста. С этой особенностью личности Хермлина знакомы те советские литераторы, которым доводилось его слышать на международных встречах, литературных собраниях. Мне вспоминается съезд писателей ГДР в 1961 году. Там присутствовали на правах гостей некоторые литературные деятели из ФРГ и Западного Берлина. Один из них, прозаик с громким именем, использовал предоставленную ему трибуну для ехидной атаки на культуру социалистического мира. Хермлин немедленно, экспромтом, парировал удар — изящно и зло.

Так же уверенно ведет Хермлин полемику и на страницах своей книги: он без снисхождения расправляется с последышами нацизма («Коричневая пресса», «Летние привидения»), со спокойной и уничтожающей иронией пишет об антисоветских репортажах Р. Хагельштанге («Два путешественника»). В таких статьях Хермлина привлекает не только меткость удара, но и прежде всего моральная бескомпромиссность автора. Он не дает себя ослепить даже блеском крупных имен и походя, с документами в руках, развеивает, например, легенду об «оппозиционности» поэта Готфрида Бенна по отношению к гитлеризму («Литература и поэзия в третьей империи»).

Хермлин не случайно и не зря обращается к недавнему прошлому. Он принципиальный противник забывчивости — идет ли речь о былых писаниях иных нынешних апостолов западной «демократии», или о благородных делах борцов против фашизма, даже скромных, невидных. Многие ли помнят ныне австрийского поэта-антифашиста Теодора Крамера; так ли широко известны заслуги Рудольфа Леонгарда, который одним из первых немецких поэтов приветствовал Октябрьскую революцию, а по-

том в оккупированной Франции печатал нелегально стихи-призывы, обращенные к солдатам вермахта, под псевдонимом Роберт Ланцер? Хермлин хочет, чтобы о таких фактах знали, помнили. Его очерки, написанные о собратьях по профессии, будь то Франц Фюман или Иоганнес Бобровский, подкупают не только тонкими наблюдениями над творчеством этих писателей, но еще более того — неподдельностью личной интонации. Статья «Вспоминая Бехера» была первоначально прочитана на заседании ПЕН-клуба ГДР по поводу десятилетия со дня смерти Бехера; я слышала это выступление Хермлина, оно было произнесено негромко, без всякой патетики — оно и в напечатанном виде сохраняет обаяние непосредственности, тон уважительно-бережного разговора о старшем товарище.

В статье о Бехере примечательно промелькнувшее мимоходом личное воспоминание: «Первая книжка, которую я еще в детстве купил на карманные деньги, был сборник стихов под названием «Голодный город». Хермлин несколько раз и по другим поводам говорит о том, как повлияла ранняя пролетарская литература на его духовное формирование. Он прочно убежден: «Всякое великое художественное произведение обращено ко всем людям», нужно помочь народу, строящему новую жизнь, выработать в себе восприимчивость к подлинному искусству.

Это желание все время подспудно сквозит в статьях и очерках Хермлина. Он ищет и находит свои способы сделать культурное наследие более близким и понятным читателям. Пример тому — маленькая статья «Письма Моцарта». Несколько живых штрихов, несколько цитат из писем композитора, с их бурлескным юмором и затаенной грустью,—и как-то по-новому раскрываются и философские глубины моцартовской музыки, и вся драма жизни гения, не нашедшего поддержки у сильных мира сего.

Еще одна «просветительская» статья — о Франсуа Вийоне. Экскурс в Средневековье? Ничего подобного. По мысли Хермлина, Вийон «неслыханно и естественно современен... Многие великие поэты нашего времени были бы немыслимы без него—Аполлинер, Незвал, Брехт. В его поэзии впервые — неприглушенно, вызывающе, требовательно — прозвучал голос обездоленных».

Все живое в искусстве нашего столетия связано — прямо или косвенно — с освободительной борьбой человечества: к этой мысли Хермлин часто возвращается. Иногда связь эта не лежит на поверхности, но надо уметь ее видеть: в трагической поэзии Атиллы Йожефа по-своему преломились идеи, которые он воспринял еще подростком, читая «Государство и революцию».

О советских писателях Хермлин пишет с неподдельной любовью, будь то Андрей Платонов или Маяковский. Он показывает неразрывную слитность «агитатора, горлана, главаря» с проникновенным лириком. Маяковский, по словам Хермлина, «боролся своими стихами за повышение производства стали и этими же стихами — за более высокую человечность, за такую любовь, которая была бы достойна новых людей. Он не щадил себя, за какую бы задачу он ни брался. Он бурно требовал, чтобы поэт занял подобающее ему место в новом обществе, и сам делал все, чтобы заслужить такое место».

Стефан Хермлин много работал и работает в области поэтического перевода. Об этой отрасли литературного дела он говорит в высшей степени серьезно, делясь своим опытом, взыскательно-дружески отмечая успехи товарищей. Он высказывается по вопросам, вызывающим профессиональные разногласия. «Отход от ритма подлинника, от порядка рифмовки в нем может оказаться неминуемым, если язык перевода очень далек от языка оригинала. Это всегда беда, но все же она не столь велика, если... перевод сам по себе есть поэзия».

Хермлин вообще отнюдь не боится высказать то, что спорно, иногда как бы намеренно вызывает на возражения. Он немилостив к догматикам и упрощенцам — это вполне можно понять; подчас эта немилость распространяется на литературоведов вообще — это понять труднее. Меня, кстати сказать, всегда огорчает, что в немецкой библиографической практике работы литературоведов, критиков именуются «вторичной литературой» в противовес литературе «первичной», художественной. Что делать — оставим библиографам привычную для них терминологию. И есть, конечно, свой резон в пожелании Хермлина, чтобы учащиеся читали художественные тексты скорей, чем «вторичную литературу», комментарии к текстам. Но ведь бывают не только посредственные учебники: бывает и посредственная поэзия. А с другой стороны, есть, сегодня в ГДР, ценные критические работы — литература бесспорно «первичная» по своему уровню, по своим достоинствам.

Разумеется, и «Чтение» Стефана Хермлина — первичная литература в самом высоком смысле слова. Она заслуживает внимания читателей не в меньшей мере, чем его стихи или рассказы.

Т. МОТЫЛЕВА

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА» КЛАССИКОВ СТИЛЯ

Yves Gandon. Du style classique. Paris, Albin Michel, 1972.

Каков жанр этой книги? Исследование? Разумеется. Литературно-критические очерки? Несомненно. Биографии? Немного. Эссе «по поводу»? Конечно. Скорее всего — сплав этих жанров и плюс еще «что-то», идущее от личности самого автора, крупного писателя, вложившего в

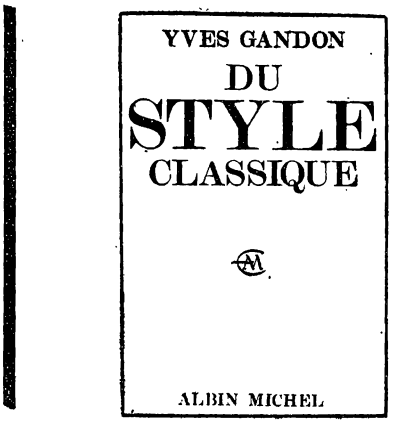
свою новую работу много сил литератора и исследователя-ученого.

Ив Гандон не впервые обращается к изучению стиля французских писателей разных эпох. Его книга «Демон стиля», вышедшая много лет назад и ставшая по мнению французской критики классической, заслужила «Гран при» критики. Писатель намеренно сузил временные рамки своего нового исследования — «О классическом стиле». Это XVII—XVIII века, то есть эпоха расцвета так называемого классического стиля в творчестве великих писателей того времени. Из их числа Ив Гандон выбрал шестерых мужчин и двух женщин, разместив в каждой главе по два имени. В первой из них мы видим Паскаля и Вольтера, в другой — Боссюэ и Дидро, в третьей — Лабрюйера и Руссо и в четвертой — г-жу де Севинье и г-жу дю Деффан.

Автор сам объясняет причины своего выбора. Почему XVII—XVIII века? Потому, что это были век «уверенности и вопрошания, век совести и век огней». Почему именно эти восемь имен? Потому что «таким образом более ощутима эволюция стиля от одного века к другому».

В предисловии Ив Гандон подчеркивает, что в его задачу входило заставить читателя «поверить откровениям автора», показать, что у него оригинального в мыслях и средствах выражения, и особенно «дать ему почувствовать биение сердца, которое сопровождает и окружает всякое совершенное произведение».

Знакомство с книгой быстро убеждает в том, что Ив Гандон не отделяет автора от его эпохи и анализирует его творчество и самый стиль в тесной зависимости от той среды, в которой тот вращался. Во всяком случае, он совершенно прав, утверждая, что, прочитав произведения «подследственных» авторов, быстро убедился в их «удивительной молодости» и, стало быть, современности. А поскольку Ив Гандон считает своим долгом адресоваться не к критику, а к читателю-непрофессионалу, да главным образом молодому, его книга представляет пример популяризации литературы, причем в той области, которая, как нам кажется, наиболее субъективна,— области стиля литературного творчества.



Написанные им восемь очерков — не равноценны по «выполнению». И в этом нет ничего удивительного. Ив Гандон любит и восхищается всей «великолепной восьмеркой». Но некоторые из писателей ему ближе, яснее, чем другие. Поэтому фигура Вольтера предстает под его пером куда многограннее, чем просто стилиста, как, впрочем, и Дидро, и Руссо.

Достоинством работы Ива Гандона является и то, что он стремится в каждом очерке передать еще и физический облик своих «героев», то есть обращается к их портретам и скульптурам. Он считает, что «стиль неотделим от тона» и поэтому «поучительно искать в портретах и бюстах моих авторов — в тех, которые, конечно, сделаны с натуры,— знаки, приметы... словесного гения, их прославившего».

Таким образом, книга «О классическом стиле» Ива Гандона слагается из многих компонентов. Эрудиция Ива Гандона умножена тут на мастерство литератора, который и сам понимает сложность своей задачи.

Что касается самого предмета анализа — то есть стиля великих писателей XVII и XVIII веков,— то задача Ива Гандона заключалась не только в том, чтобы систематизировать сказанное до него, подчеркивая главное, непреходящее в прозе «его авторов», но и определить свое отношение к предмету. Обильно насыщая книгу цитатами — что абсолютно закономерно, ибо его выводы опираются именно на прочтение соответствующих образцов стиля,— Ив Гандон свободно оперирует этим огромным материалом, сравнивая стиль одного автора с другим, сопоставляя оценки их творчества крупными критиками прошлого — Сен-Бёвом и другими, приходя подчас к неожиданным и парадоксальным выводам.

Подчеркивая, что для Паскаля стилистические правила сводились к тому, чтобы «избегать помпы, выспренности, порождающих путаницу», что огромное литературное наследие Вольтера свидетельствует о «ровности стиля», который Ив Гандон называет «прозрачным», автор отвлекается на минуту, чтобы написать: «Коли уж был стиль XVIII века, наиболее блестящими представителями которого являются Вольтер, Дидро, Монтескье,— это стиль литературы неуважения, или, как бы сказали сегодня, антиконформистской литературы, отличается в первую очередь режущей четкостью мазков. Он сечет, как хлыст, и оставляет следы на коже. Хотят того или нет, но Вольтер стоит во главе этой группы».

Ив Гандон напоминает далее, что Боссюэ был великим оратором и проповедником, в котором «неотделимы человек, священник и писатель», усматривая в его размышлениях предшественника Фрейда, а затем образно сравнивает его стиль с Дидро:

«Стиль Боссюэ напоминает мощную крепость, твердо стоящую на недосягаемой скале, которая, будучи защищена своими стенами, бросает вызов всем, кто ее осаждает. Стиль же Дидро напоминает дом с широко раскрытыми навстречу всем ветрам окнами. Боссюэ запечатлел определенный момент во французском языке, достигшем стадии совершенства, Дидро направил его по новым путям». Ив Гандон особо отмечает, что «непринужденная гибкость» стиля Дидро сближает его с современным французским литературным языком и делает провозвестником современного стиля. И, уж явно выходя за рамки выбранной темы, с восхищением пишет о его «искусстве портрета», о том, что писатель «страдает от того, что не все сказал» о своих героях, пишет о его популяризаторской деятельности в Энциклопедии...

Споря с утверждениями о том, что Лабрюйер является изобретателем «рубленого, то есть жесткого, стиля» и грешил, мол, выспренностью, Ив Гандон подчеркивает, что автор «Характеров» избегал неологизмов и уважал традиционное построение фразы. «Изобретатель рубленого стиля, он не боялся пользоваться длинными периодами, когда это требовалось... Книгу надо делать с тем же искусством, что и часы... Лабрюйер прекрасно знал это ремесло».

Для более предметного разговора о стиле того же Лабрюйера Ив Гандон обращается к тщательному анализу его творчества. Чтобы подчеркнуть, скажем, его юмор, он приводит отрывок из «Характеров»:

«Меналык спускается по лестнице, открывает дверь, чтобы выйти, закрывает ее за собой; он замечает, что не снял ночной колпак, и, посмотрев на себя внимательнее, обнаруживает, что выбрит лишь наполовину, что шпага закреплена справа, что чулки его спускаются на пятки, а рубашка вылезает из брюк...»

Можно согласиться с Гандоном, что этот стиль близок современному сценарному стилю комического фильма и что американцы Максенетт или Чаплин, вероятно, сделали бы превосходную комедию с Меналыком.

Но Ив Гандон называет Лабрюйера не только юмористом, но и оратором («Вы, власть предержащие, министры, фавориты! Знаете, что я скажу вам?») и философом, размышляющим о смысле жизни («Безвозвратно уходят дни, месяцы, годы, теряясь в пропасти времени; само время будет уничтожено: это — всего лишь точка в огромном пространстве вечности, и она будет стерта...»).

И вот вывод Гандона: «Это даже не тон Боссюэ, а пророков. Ибо великие стилисты владеют любыми интонациями. Лабрюйер из этого числа».

Этому писателю, которого Ив Гандон называет «ироничным, нежным, тонким и прекрасным», он противопоставляет Руссо: «Благоразумный буржуа, если только он был таким, Лабрюйер принадлежал к сильно иерархизированному обществу, в котором, не без раздражения сохраняя приличия, соглашается занимать свое место. Капризный и богемный, одержимый индивидуалист, по его же словам, то «презренный и гадкий», то «благородный, добрый, величественный», Жан-Жак Руссо готовит, немного себе во вред, великий взрыв, который произойдет спустя 11 лет после его смерти». Любопытно, что Ив Гандон усматривает в Руссо не только предшественника Шатобриана, Гюго, Флобера, Барреса, но и виновника «определенной порчи языка», которая все более усиливается в наши дни. Однако стиль Руссо, пишет он, отличает благородство, ораторские приемы. Руссо, как никто, умел строить фразу, придерживаясь определенного ритма, чувствуя музыку слов, составляющую фразу, стремился всегда «сказать все, но только не как угодно». «Вот в чем этот предшественник романтизма остается классиком»,— констатирует Гандон.

И — последняя глава, посвященная дамам: де Севинье и дю Деффан. Тут, надо сказать, Ива Гандона больше интересует судьба этих «умнейших во Франции» женщин, чем их вклад в литературу, тем более что вклад этот чисто эпистолярный. Однако он признает незаурядность их стиля, отличающегося у первой естественностью, простотой, у второй — чистотой, которую так ценил Вольтер.

Ив Гандон создал книгу во славу классического литературного языка не случайно. Говоря о своих кумирах, он решал еще одну, так сказать, сверхзадачу — посрамить тех, кто сегодня топчет ясный, чистый, столь богатый французский язык, начиняет его бытовизмами, арготизмами, «франглизмами». Ив Гандон напомнил непреходящие истины, заявив, что «ясный французский язык» в опасности. «Написав «О классическом стиле»,— говорит он в предисловии,— я попытался, насколько это в моей власти, восстать против деградации, угрожающей ему с каждым днем все более».

Трудно представить себе более благородную и более трудную задачу.

А. БРАГИНСКИЙ

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

«ВЫСКОЧКА» ПИЙЕРСА ПОЛЯ РИДА

Издательство «Секер и Уорберг» выпустило в свет новый роман известного писателя Пийерса Поля Рида «Выскочка», в котором переплетаются две темы, традиционные для английской литературы: рассказ о восхождении по общественной лестнице и о «духовном возрождении» раскаявшегося преступника.

Как пишет рецензент американского журнала «Тайм», новое произведение Рида — «дитя от брака Эмилии Бронте и Грэхема Грина»: от Бронте он унаследовал склонность к яростным разоблачениям сильных мира сего, а от Грина — интерес к исследованию христианской души.

Автор пишет о том, что хорошо знает,—о классовой системе Англии, о классовых предрассудках и противоречиях. Как подчеркивает рецензент книжного приложения к газете «Нью-Йорк таймс», «класс в романе Рида — это сама сущность жизни».

Повествование ведется от лица главного героя, Хилари Флетчера, который рассказывает свою историю «преступления и наказания».

В новом романе Рида в ход пущены все атрибуты сенсационной литературы. Вместе с тем рецензент отмечает, что «даже самые мелодраматические сцены исполнены такой мрачной силы, что вся история Хилари Флетчера воспринимается как символическая картина зла».

Джером Килти, известный своей пьесой «Милый лжец», в основу которой легла переписка Вернарда Шоу и актрисы Стеллы Патрик Кемпбелл, обратился теперь к переписке известного английского поэта и драматурга Роберта Броунинга с поэтессой Элизабет Баррет. По мнению рецензентов, новая пьеса Килти «Крепкая любовь» уступает «Милому лжецу» уже потому, что письмам Броунинга «недостает свойственного Шоу блестящего юмора, который придавал очарование его переписке». На снимке: сцена из спектакля. В роли Роберта Броунинга—Кейт Мичел, Элизабет Баррет — Джеральдин Макэван.

(Еженедельник «Санди таймс»)

БЕЛЬГИЯ

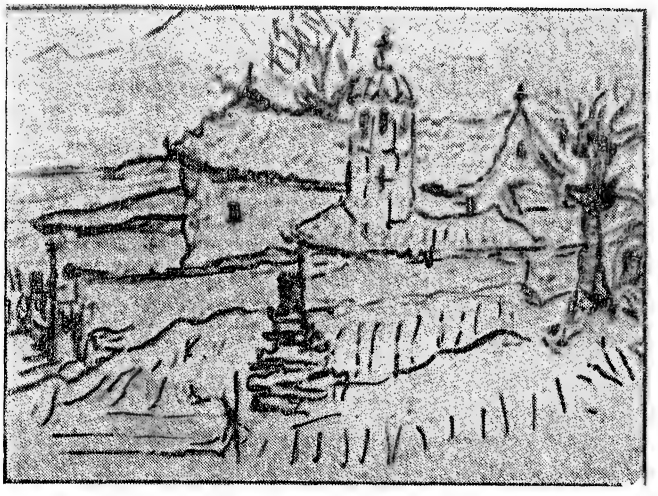
ЕДИНОДУШНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Бельгийская критика с редким единодушием приветствовала появление нового романа Луиса Поля Боона «Питер Данс».

Л. П. Боон известен рус-

скому читателю по трем произведениям — «Сладкая жизнь Помпон», «Красная ночь», «Галлюцинация», — опубликованным в сборнике «Рассказы бельгийских писателей» (М., «Прогресс», 1968).

«Питер Данс» рассказывает о борьбе фламандского рабочего класса за свои права, о зарождении социалистического движения в Аальсте, одном из промышленных центров Бельгии. «Титанический труд, и написанный в то время, когда думали, что Л. П. Боон исчерпал себя... Боон настолько владеет материалом, что совершенно не замечаешь, что вас досыта накормили фактическими данными»,— пишет критик Дирк Мартенс в ежегоднике «Снуке-73». Публицистический и строго документальный заряд книги дает некоторым критикам основание сравнивать Л. П. Боона с Мультатули.



Народный художник Златю Бояджиев в связи с его семидесятилетием награжден орденом Георгия Димитрова. «Творчество Златю Бояджиева,— говорится в газете «Работническо дело» — глубоко национально и самобытно. Пейзажи своего края, портреты своих близких он пишет не как наблюдатель, а как кровно связанный с ними человек». И хотя тяжелый недуг лишил художника возможности писать правой рукой и он вынужден писать левой, его творчество приобрело еще большую проникновенность и глубину.
На снимке: один из последних рисунков Златю Бояджиева.

(Газета «Отечествен фронт»)

БОЛГАРИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ О ПОЭТЕ

Вышла из печати книга Симиона Правчанова «Последнее лето», посвященная творчеству замечательного болгарского поэта Христо Смирненского, семидесятипятилетие со дня рождения которого в минувшем году широко отмечалось по всей Болгарии. «Для нас,— пишет в еженедельнике «Литературен фронт» литературовед И. Цветков,— Христо Смирненский навсегда останется певцом первой весны, Октябрьской революции, борьбы европейского пролетариата, создателем величественных образов, железных гулких ритмов, бессмертных гимнов, поэтом, занимающим по праву одно из первых мест не только в болгарской, но и в мировой поэзии».

Симион Правчанов в книге «Последнее лето» стремится показать, каким образом Христо Смирненскому удалось постичь сущность нового, социалистического искусства, объяснить исторические предпосылки революционной поэзии Смирненского.

Как пишет критик еженедельника «Литературен фронт», в книге С. Правчанова «яркие факты биографии поэта дополняются анализом его произведений, раздумьями о его необыкновенной человеческой и творческой судьбе».

ВЕНГРИЯ

НАРОДУ ЧИЛИ ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Уже много лет существует в Венгрии театр «Литературная сцена». Он является активным пропагандистом как венгерской, так и зарубежной литературы среди самых широких слоев населения. Поэтические вечера, вечера, посвященные прозе, инсценировки по произведениям известных писателей, встречи с любимыми актерами — вот далеко не полный перечень «жанрового» репертуара, с которым выступает театр не только в Будапеште, но и в других городах страны.

Сейчас, в трудные для чилийского народа дни, после государственного переворота, совершенного реакционной военщиной, театр подготовил спектакль «Чили, до каких границ простирается земля твоя?!». В спектакле звучат стихи Пабло Неруды и других поэтов, отрывки из прозаических произведений, в том числе из произведений Брехта, фрагменты выступлений Фиделя Кастро, подлинные документы. Авторы инсценировки Жужа Бенце и Тибор Орбан создали взволнованный рассказ о революционной борьбе латиноамериканских народов и о тех трагических днях, которые переживает сейчас народ Чили.

«Этим спектаклем мы, работники искусства, вносим свой вклад в борьбу народа Чили за свою свободу», — сказала Жужа Бенце.

Наряду с известными венгерскими актерами в спектакле принимают участие

чилийские студенты, обучающиеся в Венгрии.

По свидетельству газеты «Непсабадшаг», интерес к этому спектаклю огромен.

ВСТРЕЧА С ПЕТЕРОМ БОРНЕМИССОЙ

На сцене Национального театра в Будапеште идет пьеса Миклоша Хубаи «На спине кита». Спектакль интересен тем, что в основе его лежит первое драматическое произведение, созданное в Венгрии,— «Комедия о предательстве Меньхарта Белашши». Автором этой пьесы, по утверждению ученых, является выдающийся просветитель венгерского Возрождения, прозаик и поэт Петер Борнемисса. Миклош Хубаи рассказал сегодняшним зрителям о самом Петере Борнемиссе и его эпохе.

Петер Борнемисса (1535—1584) — один из крупнейших представителей венгерской прозы и поэзии XVI столетия, его перу принадлежит пятитомная «Книга завещаний», широко известны также книга Борнемиссы «Прощальный стих» (1556), считающаяся по сей день жемчужиной старовенгерской поэзии, книга прозы «Мефистофельские призраки», в которой он выступил против феодальной раздробленности государства, «Книги песнопений» (1582) и многие другие значительные произведения.

Венгерская печать с интересом встретила новую пьесу Миклоша Хубаи, она единодушно отмечает, что, «несмотря на некоторую перегруженность пьесы историческими событиями, главная заслуга драматурга — в создании образа Петера Борнемиссы и исторической атмосферы, в которой была написана первая венгерская драма».

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

«АФРИКА НАПИШЕТ СОБСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ»

Эти слова выдающегося борца за освобождение Африки Патриса Лумумбы предваряют книгу африканского ученого-историка, профессора Жозефа Ки-Зербо из Верхней Вольты «История черной Африки от вчерашнего дня до завтрашнего». Книга вышла в парижском издательстве «Атье».

В предисловии Ки-Зербо рассказывает, что готовил этот труд более десяти лет. Собирая материалы для книги, он побывал во многих странах континента, работал в библиотеках Парижа, Брюсселя, Копенгагена, Лондона. Ки-Зербо использовал арабские и европейские источники, данные об археологических раскопках, фольклорный материал, труды по африканской лингвистике. Результат этой огромной работы — книга в 700 страниц.

Книга делится на тридцать глав, первая из которых посвящена периоду предыстории, а последняя называется «Проблемы сегодняшней Африки». Как отмечает рецензент журнала «Жён Африк» Жан-Пьер Н. Д'яй, автор, рассматривая каждый исторический период, «анализирует социальный состав общества, механизм власти, народные верования, одним словом, разбирает исторические «как» и «почему».

Жозеф Ки-Зербо, пишет рецензент, не просто решил собрать в одной книге все, что человечество знает сегодня об Африке. Прежде всего он думает о будущем континента. Назначение своего труда определил он сам: «Эта книга — как бутылка, брошенная в море с надеждой, что ее подберут прежде всего молодые, она поможет им представить подлинное лицо вчерашней Африки, еще так мало знакомое и такое искаженное, и поможет строить ее завтра».

Сцена из спектакля «На спине кита».

(Журнал «Критика»)

ГДР

«В ПОИСКАХ ГАТТА» ЭРИКА НОЙЧА

Горняка Эберхарда Гатта вскоре после войны командируют на работу в редакцию газеты. Оторвавшись от привычной работы, от знакомой ему среды, Гатт теряет почву под ногами, теряет уверенность в себе, в своих друзьях, перестает понимать свою жену Рут. Расставшись с Рут, он переживает тяжелый кризис и

в конце концов тяжело заболевает.

Рассказчик, от лица которого ведется повествование, долго ничего не знает о Гатте, а когда встречается с ним снова, то видит уже нового человека, сильного, обретшего себя, занимающегося своим любимым делом. Гатт снова возвращается на шахту, умудренный новым опытом. Он многому научился и может теперь учить других.

Таков краткий сюжет нового романа Эрика Нойча «В поисках Гатта», выпущенного издательством «Миттельдойчер ферлаг». Эрик Нойч известен своими рассказами и романами о современности («Биттерфельдские истории», «След камней» и другие), которые в свое время вызвали оживленные дискуссии.

«Писатель всегда откликается на важнейшие проблемы нашей современности,— пишет рецензент газеты «Нойес Дойчланд».— Новый роман Нойча продолжает основную линию его творчества, он заставляет читателя о многом подумать. Поиски Гатта можно воспринимать не только как поиски исчезнувшего человека. Это и поиски ответа на многие вопросы, которые волнуют рассказчика, а вместе с ним и читателей: взаимоотношения личности и коллектива, борьба за становление человека, борьба за счастье свое и окружающих людей».

«Главное в романе Нойча — вопрос о том, каким должен быть человек, как он должен жить и работать»,— пишет журнал «Форум».

«ЕВА И АДАМ»

Так называется новый телевизионный фильм Герхарда Бенгша, поставленный режиссером Хорстом Е. Брандтом. Четыре части фильма связаны между собой общей темой и общими героями, но вместе с тем каждая из них сохраняет определенную самостоятельность. Это истории о жизни и судьбе людей разных профессий, разного возраста, разных характеров. Фильм поднимает важные вопросы о новой семье, любви, воспитании детей, совмещении служебных и семейных обязанностей, об этике отношений между мужчинами и женщинами, о положении женщины в обществе, ее равноправии.

Анжелика Домрёзе в роли Веры Шмитт и Хорст Дринда в роли доктора Бунге.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

«Этот темпераментный, свежий фильм о жизни людей 70-х годов очень трогает зрителя,— пишет рецензент еженедельника «Зонтаг».— Все, о чем рассказано в фильме, близко людям нашего времени, это — их жизнь, их радости и горести. Герхарду Бенгшу вместе с режиссером Хорстом Брандтом удалось найти интересные детали, при помощи которых они создали реалистические и одновременно очень поэтичные образы людей».

«Ева и Адам» — глава из нашей жизни, рассказ о новых взаимоотношениях людей»,— отмечает газета «Нойес Дойчланд».

«Несомненно, телевизионный фильм вызовет оживленные дискуссии»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

ФРГ

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ МАРТЫ ХАНАУ

Героиня нового романа западногерманского писателя Дитера Кюна «Президентша» — не вымышленный персонаж. Имя биржевой спекулянтки, женщины-предпринимателя Марты Ханау, достигшей сказочного богатства и влияния, гремело в 20—30-х годах во Франции. Начав с торговли косметическими товарами, Марта Ханау опустошала карманы потребителей благодаря умело поставленной рекламе. «Открывая новую коробочку, женщина вырывается из обыденности. Приключения — вот что надо продавать»,—объясняла она, давая своей продукции экзотические названия и выпуская ее в экзотически оформленной упаковке.

Автор изображает свою героиню как человека, прежде всего хорошо усвоившего законы общества, где главная цель и главный критерий — прибыль. Недюжинный знаток социальной психологии, Марта Ханау заботится о создании своего «образа». Этому служат и роскошная вилла, и автомобиль, и некая видимость «культуры». Биржевая спекулянтка рассуждает о Вагнере, Бетховене, Моцарте, она поощряет молодых художников, даже намерена учредить какую-то премию. В газете, принадлежащей Ханау, публикуется не только реклама ее продукции: здесь выступают видные писатели и политики, ведутся

развлекательный и семейный разделы. «Президентша» весьма печется о морали населения; страницы ее газет пестрят словами вроде «доверие», «порядок», «труд», «бережливость», «дисциплина». Не забыты и предупреждения о «большевистской опасности».

К концу своей карьеры Ханау владеет уже концернами, акционерными обществами, контролирует целый ряд газет. Положение ее, казалось бы, непоколебимо... Если бы не случай.

Редактор одной из подвластных Ханау газет, желая оказать на нее давление из корыстных побуждений, публикует разоблачительную статью о нечистоплотных махинациях «президентши». Это было не так уж страшно: начавшийся суд явно шел к мягкому приговору за незначительные нарушения. Но Ханау потребовала полного оправдания. Она решила сражаться за свою репутацию, убежденная, что нельзя назвать преступлением то, на чем основана вся экономика общества. Это обернулось для нее катастрофой и привело к самоубийству.

Дитер Кюн дополняет историю Марты Ханау сходными фактами из современной экономической жизни ФРГ. Он вводит читателя в свою творческую лабораторию, вместе с ним перелистывает газетные подшивки. Книга, имеющая подзаголовок «Роман одного преступления», создается как бы на наших глазах. «Она читается как авантюрный роман»,— замечает западногерманский еженедельник «Ди цайт».

ДРВ

«ВАН НГЕ» — 25 ЛЕТ

Исполнилось 25 лет еженедельнику «Ван нге» («Литература и искусство») — печатному органу Ассоциации работников литературы и искусства Вьетнама.

За прошедшие годы еженедельник стал одним из самых популярных вьетнамских изданий, его читают все те, кто любит и интересуется литературой и искусством. Еженедельник знакомит читателей с культурной жизнью Вьетнама и зарубежных стран, публикует статьи по проблемам литературы и искусства, организует конкурсы на лучший рассказ и стихотворение. В дни юбилея был выпущен юбилейный — 500-й номер еженедельника.

«ЛЮДИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ПОЛЯ»

На экраны кинотеатров Демократической Республики Вьетнам вышел художественный фильм «Люди возвращаются на поля». Фильм снят первой женщиной-режиссером Бать Зиеп, известной своей картиной на историческую тему «Государь Чан Куок Тоан ведет войска в бой». Сценарий написал писатель-фронтовик Ле Лыу.

В центре картины — образ инвалида войны Ле Вана, потерявшего в боях руку. Он возвращается в родную деревню, чтобы вместе со своими односельчанами налаживать работу в сельскохозяйственном кооперативе. Ему пришлось столкнуться со многими трудностями, пришлось бороться с отсталыми взглядами некоторых членов кооператива... По сути дела ему вновь приходится вступать в бой, но этот бой уже на мирной земле Вьетнама за завтрашний день страны.

В фильме поставлены важные проблемы, возникающие в период социалистического строительства в деревне. Вьетнамская критика подчеркивает актуальность темы, затронутой создателями картины. Несомненно, фильм явится еще одним шагом в разработке и воплощении на экране темы строительства новой деревни во Вьетнаме.

Прессой отмечены интересные актерские работы Нгок Тхюи в роли Ле Вана и Тхань Лоан, создавшей запоминающийся образ девушки-бригадира.

ИНДИЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

Фильм «Далекий гром» индийского режиссера Сатьяджита Рая удостоен на международном фестивале в Берлине первой премии — «Золотого медведя». Уже в четвертый раз жюри берлинского конкурса называет этого выдающегося мастера в числе своих лауреатов.

Актриса Тхань Лоан в роли девушки Риенг в фильме «Люди возвращаются на поля».

(Еженедельник «Ван нге»)

Сумитра Чаттерджи в роли Гангачарана. *(Журнал «Линк»)*

Сценарий построен по мотивам популярного одноименного романа бенгальского классика Бибхутибхушана Банерджи, который великолепно знал сельскую Индию и создал десятки глубоко реалистических образов ее обитателей. Экранизация в 50-е годы двух его новелл — «Песня на дорогах» и «Апароджито» — принесла Сатьяджиту Раю не только огромный успех на родине, но и заслуженное признание международного экрана, пишет рецензент журнала «Линк» Ашиз Барман.

Как и два вышеупомянутых фильма, новая лента повествует о страшном народном бедствии — небывалом голоде, поразившем Бенгалию в начале 40-х годов. В объективе — жизнь одного небольшого селения. Тщательно прослеживает режиссер взаимоотношения жителей в ту тяжелейшую пору. Он показывает, как общее несчастье у одних проявляет лучшие человеческие качества, у других — усиливает все отрицательное, уродливое.

Рецензент, однако, упрекает создателей фильма в том, что они недостаточно показали социальную основу уродливых явлений, чем лишили себя возможности сделать более широкие социальные выводы.

Особо критик останавливается на значении цвета у Сатьяджита Рая. Здесь цвет исполняет заданную ему определенную роль. Он помогает раскрыть характеры героев, выявляет те или иные оттенки их настроений и создает общую атмосферу картины. Кадр за кадром режиссер как бы монтирует серию живописных произведений, причем использование цвета по контрастам, глубине и эмоциональности напоминает, по свидетельству рецензента, творчество истинного живописца.

На редкость правдивым, по мнению критика, получился в фильме образ главного героя, крестьянина Гангачарана. Его играет один из талантливейших бенгальских актеров Сумитра Чаттерджи. Глубоко волнует музыка, написанная Сатьяджитом Раем.

ИТАЛИЯ

«МОРЕ ВИННОГО ЦВЕТА»

Не будет преувеличением сказать, что каждая новая книга Леонардо Шаши воспринимается в Италии как первостепенное литературное событие. Не случайно во время бурных споров вокруг одного из произведений Шаши, романа «Контекст», один из итальянских критиков высказал точное замечание: Шаша пишет только тогда, когда ему действительно есть что сказать людям.

В современной Италии, с ее сложной, полной противоречий социальной и духовной реальностью, творчество Шаши играет особую и важную роль: писатель как бы продолжает традиции просветительства и нередко замечает в истории прошлого и в сегодняшней хронике событий такие грани, которых не видят другие писатели.

Это объясняется и талантом Шаши, и особым складом его духовных и гражданских интересов, и тем, что он сицилиец, живет в Палермо, в самом центре мафии, далек от литературно-салонной суеты и вглядывается в действительность зорко, смело, не приноравливаясь к вкусам «среднего читателя», не пытаясь гоняться за очередной литературной модой и неизменно стремясь писать правду. Эта правда нередко бывает жестокой, но Леонардо Шаша ее не любит приукрашивать — это противоречит его эстетической и гражданской позиции.

Недавно вышла новая книга Шаши «Море винного цвета», в которую он включил тринадцать рассказов, написанных в период между 1959 и 1972 годами. В этом небольшом — всего 160 страниц — сборнике как бы воплотились самые сильные стороны дарования Шаши: интерес к гражданской теме, лаконизм, ирония, умение строить фабулу по принципам детективного жанра, не впадая, однако, в «желтизну» детектива. Кроме того, Шаша включил в сборник несколько рассказов, написанных в его излюбленной манере: он берет событие, происшедшее в XVI или XVII веке, неизменно храня верность документальной и хронологиче-

ской канве, и при этом одним каким-нибудь штрихом превращает событие это в нечто современное, порою — актуальнейшее. Для этого, разумеется, нужно особое, своеобразное мастерство.

Итальянская критика с редким единодушием приветствовала «Море винного цвета». Литературный критик «Униты» Витторио Спинаццола озаглавил свою статью «Элегия Шаши». Анализируя рассказы, Спинаццола сближает их с другими произведениями Шаши, с романами, в которых Шашу постоянно интересуют серьезные нравственные проблемы: человек и общество, индивидуум и закон. То, что Шаша родился в Сицилии, во многом объясняет пристальное внимание, с которым писатель относится к этой проблематике. Шаша не просто моралист и не просто бытописатель, фотографически точно запечатлевающий окружающую сицилийскую реальность, у него неизменно есть вполне ясная гражданская, а не только моральная позиция.

Стремясь охарактеризовать сущность поэтики Шаши, Спинаццола определяет принципиальную позицию писателя как «моральный стоицизм», окрашенный некоторым пессимизмом, поскольку Шаша не так наивен, чтобы рассчитывать на то, что одной художественной литературе может оказаться под силу изменить существующую действительность. Лет семь-восемь тому назад Шаша всерьез подумывал о том, чтобы перестать заниматься художественной прозой и целиком отдаться педагогической и публицистической деятельности. К счастью, он так не поступил — это было бы большой утратой.

ИСПАНИЯ

ПЕЧАЛЬНАЯ АНКЕТА

Испанский поэт Антонио Мачадо с горечью отмечал, что в Испании не читают. С тех пор прошло почти сорок лет, но положение мало в чем изменилось. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Институтом общественного мнения среди рабочих муниципальных округов с количеством жителей от 10 000 до 50 000. Средний возраст опрошенных 23—29 лет. 89 процентов рабочих лишены каких-либо серьезных культурных запросов, 49 процентов — не прочли за год ни одной книги. Поэтому неудивительно, что многие книги, получившие большую известность и изданные тиражом всего в три тысячи экземпляров, не могут быть распроданы даже в течение нескольких лет.

Телевизор и футбол занимают все свободное время среднего испанца, а посещение театра, концерта, выставки — привилегия незначительного меньшинства.

КАНАДА

РАДОСТЬ И СЛЕЗЫ ОСТИНА КЛАРКА

«Когда он был свободен и юн и ходил в шелках» — так вест-индский писатель Остин Кларк, живущий в Канаде, назвал свой первый сборник рассказов, вышедший в издательстве «Ананзи» в Торонто. Как отмечают рецензент американского еженедельника «Паблишерз уикли» и критик журнала «Канадиен литерере», в новой книге Остин Кларк еще раз продемонстрировал свой необыкновенный талант рассказчика: виртуозное владение языком и умение передавать свои наблюдения в высокохудожественной форме.

Герои сборника рассказов Остина Кларка — жители Торонто и Южной Америки.

Хотя темы рассказов и мелковаты, книга Остина Кларка тем не менее, как замечают критики, все же явление в современной канадской литературе, так как «определенная узость социального охвата жизни искупается высоким мастерством и тонкостью наблюдений автора, пристально вглядывающегося в жизнь, в ее радости и слезы».

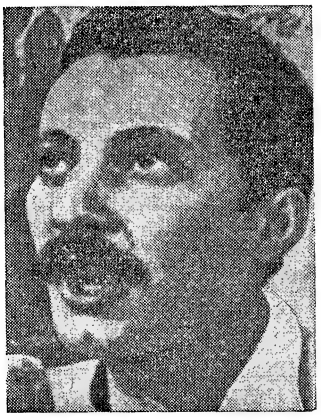
Итальянское телевидение осуществило инсценировку по рассказу А. П. Чехова «Драма на охоте», дав ей название «Оленька». Режиссер передачи Александро Бриссони пригласил для исполнения главных ролей ведущих актеров театральных трупп Рима. На снимке: сцена из спектакля.

(Газета «Паэзе сера»)

ЛИВАН

«ЭТИ ТВОРЕНИЯ СОЗДАЮТ ЧЕЛОВЕКА»

Имя палестинского писателя Гассана аль-Канафани



Гассан аль-Канафани.

широко известно как в арабских странах, так и за рубежом. Его произведения переведены на русский, венгерский, английский, немецкий, шведский языки. По мотивам романа Канафани «Человек на солнце» поставлен фильм «Обманутые», отмеченный международными премиями.

Талантливый писатель Гассан аль-Канафани родился 9 апреля 1936 года, в дни, когда арабский народ Палестины поднялся на борьбу против британского господства и враждебных сил сионизма. А через 36 лет, 8 июля 1972 года, он погиб в Бейруте от взрыва бомбы, подложенной в его машину. Гассан аль-Канафани стал жертвой кампании террора, начатой Израилем против прогрессивной интеллигенции Палестины.

Всю свою короткую жизнь аль-Канафани посвятил народу и его освободительной борьбе. Он боролся за свободу родины как представитель Народного фронта освобождения Палестины, как писатель и журналист.

Комитет памяти Гассана аль-Канафани выпустил недавно собрание сочинений писателя. В первые два тома вошли романы и повести, а в следующие четыре — пьесы, литературные, политические статьи и речи.

В предисловии ко второму тому сочинений аль-Канафани известный египетский писатель Юсуф Идрис написал: «О народ Палестины! Читай творения Гассана аль-Канафани, впиши его историю в Коран, воспевай его творения, переводи их, учи наизусть. Эти творения создают человека».

НОРВЕГИЯ

«ДИКАЯ УТКА» НА ОТКРЫТИИ ДОМА ИБСЕНА

В городе Шиен, где родился великий норвежский писатель Генрик Ибсен, состоялось торжественное открытие Дома Ибсена—культурного центра с двумя театрально-концертными залами, библиотекой, детскими комнатами, помещениями для выставок, лекций, занятий музыкой, изобразительным искусством и т. п.

Событие это вызвало большой отклик в стране не только потому, что построен «самый красивый и самый удобный в Норвегии театральный зал», как пишет газета «Ставангер афтенблад», но и потому, что это большая победа общественности, восемь лет боровшейся за то, чтобы город, в котором родился великий норвежский писатель, получил наконец театральное здание. В Шиене бережно сохраняется дом, куда после финансового краха переселилась семья Генрика Ибсена и где будущий драматург пережил первые столкновения с суровой действительностью. Атмосферу лесоторгового

Сцена из спектакля «Дикая утка». Хенника Шёнберг в роли Хедвиги и Юханнес Экхор в роли старика Экдаля.

(Газета «Арбедербладет»)

Шиена тех лет, гнетущую обстановку в семье, отравленной горечью разорения, свои собственные моральные потрясения — все это писатель воссоздал в знаменитой «Дикой утке». Именно «Дикая утка» была показана на сцене Дома Ибсена в день открытия, и сыграли ее артисты Государственного театра Норвегии, который, как говорится в газете «Ставангер афтенблад», в течение 15 лет «объезжал стороной город Шиен» из-за отсутствия там подходящего театрального помещения. Теперь в Доме Ибсена можно ставить и оперы.

Это событие имеет огромное значение для норвежцев еще и потому, что проблема строительства учреждений культуры приобрела особую остроту в стране. Даже в столице нет настоящего современного концертного зала, консерватории катастрофически не хватает учебных помещений, а в Бергене так и стоит недостроенным Дом Грига — нет денег на завершение строительства.

Обозреватель шведской газеты «Афтонбладет» считает, что пришедшему после недавних выборов к власти правительству Рабочей партии придется всерьез заняться вопросами культурного развития.

ПАКИСТАН

СБЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Вышла из печати книга «Народные эпические песни» пакистанского поэта Ахмада Салима, возглавляющего Центр по исследованию фольклора. В предисловии к книге Ахмад Салим обращает внимание литературной общественности Пакистана на необходимость спасти от исчезновения произведения устного творчества пенджабского народа и других народов долины Инда. Он подчеркивает, что в условиях развития массовых средств коммуникации фольклор даже в деревне перестает быть жизненной потребностью, а в городе он низведен на положение хобби состоятельных людей. Для того, чтобы спасти от забвения то, что можно еще спасти, А. Салим выработал план организации записи и публикации пенджабского фольклора. Его книга «Народные эпические песни» является первым шагом на пути к осуществлению предложенного им плана. Он сообщает, что им подготовлены к публикации еще три книги: «Отражение национально-освободительного движения в фольклоре», «О народных танцах» и «Образ Хир в народных песнях»—о популярной фольклорной героине.

Книга «Народные эпические песни» издана также в Индии.

ПОЛЬША

В ПАМЯТЬ СТЕФАНА ЖЕРОМСКОГО

В издательстве «Чительник» вышел первый том, открывающий двадцатитрехтомное собрание сочинений Стефана Жеромского, которое приурочено к пятидесятилетию со дня смерти писателя. Эта годовщина будет отмечаться польской литературной общественностью в ноябре 1975 года.

Первый том включает рассказы и новеллы. Он сопровождается научным комментарием Вацлава Борового — крупнейшего знатока творчества Стефана Жеромского.

Тексты Жеромского подготовил к печати Станислав Пигонь, ему же принадлежит предисловие, дающее яркий философский анализ первых прозаических творений будущего автора романов «Пепел» и «Бездомные», которые поставили Стефана Жеромского в ряд классиков польской литературы.

Стефан Жеромский относится к числу наиболее популярных за границей польских классиков. С 1945 года вышло 60 произведений писателя в переводе на 18 языков.

ПИСЬМА ШОПЕНА К ДЕЛЬФИНЕ ПОТОЦКОЙ

В Польше и за границей уже в течение двадцати пяти лет ведутся споры о подлинности писем великого польского композитора Фридерика Шопена к Дельфине Потоцкой. Они продолжаются уже четверть века, ровно столько, сколько прошло времени с момента обнаружения этой переписки.

В письмах к Дельфине Потоцкой, этой обаятельной и одаренной, по свидетельству современников, женщине, Шопен пишет о своей работе, о том, как следует интерпретировать его произведения. Интерес к письмам настолько велик, что, по сообщению еженедельника «Литература», научный совет Общества имени Фридерика Шопена обратился с просьбой к филологам, историкам литературы, музыковедам провести тщательные исследования этих писем. Научный совет обратился с просьбой ко всем лицам в стране и за границей предоставить в его распоряжение любого рода материалы, могущие пролить свет на этот вопрос.

На кафедре криминалистики Варшавского университета была проведена экспертиза рукописей, которая дает основания утверждать, что письма написаны рукой самого Шопена.

«Почерк должен исследоваться всесторонне, с учетом обстоятельств,— сказал завкафедрой криминалистики Збигнев Чечот,— поэтому наша лаборатория использовала несколько методов. Мы использовали технику, позволяющую определить топографию почерка, взаимозависимость размеров элементов букв и многие детали их написания. Соотношение этих элементов в спорных и контрольных текстах фиксируется на фототаблицах. Комплекс особенностей считается индивидуальным

В Кракове в Театре имени Словацкого поставлен спектакль по книге Бориса Васильева «...А зори здесь тихие». Инсценировка Ю. Любимова и Б. Глаголина. Режиссер спектакля — Ирена Бабель.
Сцена из спектакля: на первом плане Катажына Мейер в роли Кирьяновой, Тадеуш Влударски в роли сержанта Васкова и Моника Немчик в роли Гали Четвертак.
(Журнал «Театр»)

и неповторимым, и поэтому на этой основе может быть высказано однозначное мнение».

Но несмотря на заключение специалистов, спор о подлинности писем Шопена продолжается, в него вовлечены как специальные издания, так и популярные.

РУМЫНИЯ

МИКРОРЕПОРТАЖИ ДЖЕО БОГЗЫ

Семь лет назад в «Контемпоранул» появились первые заметки Джео Богзы, старейшего писателя, основателя румынского монографического репортажа, автора широко известных книг «Страна камня», «Книга Олта» и др. Публикуемые из номера в номер лирические микрорепортажи Богзы стали неотъемлемым элементом литературного пейзажа Румынии и обрели широкое общественное звучание.

«Как бы выглядела пятница, день, когда мы открываем «Контемпоранул» и сразу устремляем взор к квадрату света в верхнем правом углу,— пишет в статье «Гулливер» поэтесса Мария Бануш,— если бы вместо этого просторного окна, прорубленного в мир людей и во вселенную, была бы стена, пусть расписанная яркими, искусно продуманными словами, но все же только стена?.. Нет, я не хочу и не могу представить себе, как бы выглядел наш духовный мир, наше восприятие времени и отдельных его мгновений без этого озона богзовских репортажей».

Самые разнообразные явления и события привлекают внимание писателя-гражданина: мир во Вьетнаме, воспоминание о забытом художнике, подвиг Ю. Гагарина, и полет «Скайлэба», и крайне необходимая далекому провинциальному читателю книга. В этих коротких микрорепортажах можно встретить и напоминание о том, что на могиле Караджале мало цветов, и теплые слова о Пикассо, и суровые строки о трагических событиях в Чили, где, как некогда в Испании, «генералы совершают такие же преступления против народа, говорящего на языке Пассионарии и Э. Че Гевары». О смерти Неруды...

«Много лет тому назад он приезжал в Румынию, и я удостоился чести приветствовать его в нашем писательском доме. Я сказал тогда: «Пабло Неруда среди нас. Всю свою жизнь я искал необычайное и порой находил его. Но редко доводилось мне произносить столь необычайные слова: «Пабло Неруда среди нас!»

Теперь его уже никогда не будет с нами. И горестно сознавать, какой болью были пронизаны последние мгновения поэта в черный час его родины,— горестно сознавать, что не стало его — великого, благородного певца свободы...»

Каждую пятницу выходит «Контемпоранул», и в каждом номере новый микрорепортаж Джео Богзы. «Дела нашего мира,— продолжает М. Банущ,— их смысл и сокровенная суть, печаль и величие — ничто не минует его взора, и все это он щедро предлагает нам: радуйтесь великолепию мира, не миритесь с его кровавыми трагедиями, преобразуйте, оберегая от непоправимых потерь».

«ЗОДЧИЙ МАНОЛЕ»

«Подлинным праздником культуры» назвал рецензент «Ромыния литерарэ» премьеру Клужского национального театра — постановку пьесы поэта Лучиана Благи «Зодчий Маноле», написанной по мотивам знаменитой народной баллады с тем же названием.

Молодому режиссеру Алексе Висариону, автору постановки, удалось передать драматизм судьбы художника, вынужденного жертвовать жизнью любимой во имя воплощения своего художественного замысла.

После премьеры «Зодчего Маноле» состоялся — при участии представителей других национальных театров и Клужского венгерского театра — коллоквиум на тему «Современные средства сценического воплощения классического репертуара».

США

ШЕСТОЙ РОМАН ДЖ. К. ОУТС

Большинство рецензентов склоняется к мнению, что новый, шестой, роман американской писательницы Джойс Кэрол Оутс «Делай со мной, что пожелаешь» — лучшая ее книга. Однако в некоторых отзывах прозвучали и ноты разочарования, причем эти немногочисленные упреки касаются тех особенностей нового романа Оутс, которые другими критиками превозносятся как достоинства книги.

«Роман производит сильное впечатление,— писала американская газета «Интернэшнл геральд трибюн».—Лучшие черты творчества Оутс—динамика повествования, точность наблюдений и свойственное ей ощущение ужаса американской жизни — очень удачно соединены в этой книге». Газета сравнивает роман с «Большими надеждами» Диккенса — «это мрачная притча о больших надеждах в наше время».

Героиня романа — Елена, сирота при живом отце, которого ее мать лишила отцовских прав и вынудила покинуть город, где живет дочь. Властная любовь матери вызывает в ней все нарастающее чувство одиночества, собственной никчемности. Девочка растет завораживающе красивой куклой, лишенной какой-либо индивидуальности. Она рано выходит замуж за известного адвоката, человека значительно старше

Актеры К. Адамович в роли зодчего и Дж. Ивашку в роли старца Богумила.

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

ее. В романе он, так же как и мать Елены, олицетворяет активное жизненное начало. Елена попадает в мир людей, представляющих американское правосудие. Трагические контрасты этой совершенно незнакомой и волнующей реальности пробуждают в Елене личность. Она отказывается от судьбы, навязанной ей близкими — матерью и мужем, потому что их жизненные принципы становятся для нее неприемлемыми.

Критика единодушно подчеркивает, что в этом романе с новой силой проявилось необычайно точное ощущение Оутс гнетущей духовной атмосферы современной Америки.

«ВСТРЕЧА С «РАМОЙ»

Так называется новая книга известного американского писателя-фантаста Артура Кларка, творчество которого пользуется у нас в стране заслуженной популярностью. Предыдущая его книга «2001 год», по которой он совместно с видным американским кинорежиссером Стенли Кубриком снял одноименный фильм, принесла ему мировую известность. Как отмечает критика, в своем творчестве А. Кларк опирается на научные теории: как ученого, специалиста по аэронавтике и спутникам связи, его интересуют возможности контроля над будущим, а не пророчества конца света.

Действие его новой книги происходит в 2130 году. В Солнечную систему, заселенную к этому времени людьми, превратившими ее в федерацию планет, вторгается искусственное тело — металлический цилиндр весом в десять триллионов тонн, длиной в тридцать и шириной в двенадцать миль. Люди называют его «Рамой». Ближе всех к «Раме» оказывается межпланетный корабль «Стремление». Его экипажу удается проникнуть в загадочный мир и выяснить, что его обитатели являются биологическими машинами, в функции которых входит наблюдение за людьми и поддержание чистоты среды «Рамы». Пришельцы из неведомых миров, возможно, прилетели в Солнечную систему в поисках нового пристанища. Однако людям не удается выяснить их задачи и установить с ними контакт.

В связи с выходом книги американский журнал «Паблишерз уикли» взял интервью у Артура Кларка, в котором писатель рассказал, что «Встреча с «Рамой» — первая книга задуманной им трилогии. Вторая часть будет названа «Фонтаны рая», третья — «Земная империя». Над последней Кларк работает уже двадцать лет. Чтобы завершить трилогию, писатель оставил сейчас все другие занятия. А. Кларк гордится тем, что пишет фантастику, считая ее самым современным литературным жанром. «Сегодня трудно дать ей точное определение,— сказал он,— особенно учитывая тот факт, что главное его русло ушло в сторону от фактов, прочь от тех явлений, которые угрожают сегодня нашей жизни или обогащают ее». А. Кларк сказал, что в фантастику пришли интересные молодые писатели, особенно выделив Ларри Нивена. Поклонники фантастики считают, что Золотым веком жанра можно считать начало 50-х годов. Однако, по мнению А. Кларка: «Золотой век фантастики лишь занимается. Сегодня мы знаем больше. Взгляд наш стал шире, интерес — глубже».

«ОПАСНОСТИ ДИЛАНОЛОГИИ»

Так озаглавлена статья в английском еженедельнике «Лиснер», повествующая о своеобразных и, очевидно, характерных для века технической революции современных формах поклонения кумиру. На этот раз объектом такого «научного интереса» стал популярный американский поэт и композитор, исполнитель собственных песен, кумир американской молодежи — Боб Дилан. Следуя духу времени, один из поклонников его таланта — Эл Веберман — основал в 1965 году новую «науку» — диланологию и тут же начал читать в местном университете ее курс. Эл Веберман успешно сочетал в своей «научной» деятельности анализ с синтезом. Он собирал все, что касалось как творчества, так и личной жизни Боба Дилана — будь то пластинки кумира или хитроумно добытое содержимое мусорных корзинок в его доме. С Диланом приходилось трудно: более других сверхзвезд он оберегал свою частную жизнь. Узнав о том, что Веберман изучает все, что вышло из-под его пера — стихи, песни, прозу, статьи, интервью, и не догадываясь еще о том, как далеко заходит интерес Вебермана к его личности, Дилан пошутил однажды, что он уже теперь не столько Дилан, сколько Эл Веберман. «Это ты, Эл, Дилан, а не я»,— сказал он.

Веберман заложил свое досье в электронную машину, пытаясь докопаться до «подлинного» смысла творчества Дилана. С той же целью он составил алфавитный каталог словаря Дилана и попытался на основании контекстуального анализа выяснить, например, в каком смысле Дилан употребляет слово «дождь». Электронный и контекстуальный анализы дали «насилие». Дела у Вебермана не ладились не только с лексическим исследованием. Нашлись ученые, которые возмутились тем, что методы, которыми исследуется творчество Шекспира и Блейка, были применены к эстрадному Дилану.

Основатель диланологии посчитал себя даже вправе вмешаться в творческий процесс Дилана, корректировать его мировоззрение, на что Дилан мягко возразил, что имеет право на собственную точку зрения. Вообще «научная» работа увлекла Вебермана, а исследование мусорных ящиков сверхзвезд (к этому времени Веберман распространил свой метод и на других кумиров) побудило Вебермана написать книгу

«Ты — это то, что ты выбросил».

Однако, узнав о своеобразии «научных» приемов Вебермана, Боб Дилан со свойственным ему темпераментом и прямотой при встрече на улице попытался выбить из своего поклонника остатки интереса к своей личности.

В настоящее время окончательно разочаровавшийся в Дилане Эл Веберман решил заняться восходящей звездой — Полом Маккартни. «Пол Маккартни,— пишет в заключение «Лиснер»,— мы тебя предупредили!»

ТУНИС

ПОЭТИЧЕСКИЙ СБОРНИК АШ-ШАББИ

Рано умерший Абу-ль-Касим аш-Шабби (1909—1934) считается крупнейшим тунисским поэтом нового времени. Его романтические, вольнолюбивые стихи стали боевым кличем борцов за национальное освобождение в арабских странах. Первый поэтический диван аш-Шабби был опубликован в Тунисе лишь накануне обретения независимости в 1955 году.

В настоящее время, как сообщает журнал «Аль-Фикр», в Бейруте вышел новый диван поэта, представляющий собой наиболее полное собрание его стихотворений. Книга содержит ценное исследование жизни и творчества поэта, написанное доктором Иззеддином Исмаилом.

ФРАНЦИЯ

НАРОДНЫЙ ТЕАТР

В театральной жизни Франции все большее значение приобретает деятельность тех театральных коллективов, которые принадлежат к направлению, получившему название Народный театр.

Одно из проявлений его общественного признания— исследование Жака Пуле «Народный театр», опубликованное в «Энциклопедиа универсалис».

Основоположником этого направления был замечательный режиссер и актер Жан Вилар, в 50—60-е годы руководитель Национального Народного театра (ТНП).

ТНП Жана Вилара сыграл огромную роль в развитии Народного театра во Франции и в Европе, пишет Жак Пуле. Главная идея Жана Вилара состояла в том, что профессиональный театр должен сделать драматическое искусство, включая классическое наследие и современные произведения, достоянием всего народа, а не только привилегированных слоев общества, должен создавать новую, подлинно демократическую культуру. Именно Жан Вилар начал устанавливать связи театра с рабочими организациями, устраивать спектакли, выступления актеров, дискуссии и обсуждения на заводах, ввел систему дешевых абонементов для трудящихся.

Сейчас методы Жана Вилара, его принципы эстетического воспитания массового зрителя, широкие общественные связи с рабочим классом стали традицией многих театральных коллективов—и прежде всего нового ТНП, которым руководит Роже Планшон, Театра де Виллербанн, где главный режиссер Патрис Шеро, Театра Солнца.

«Развитие Народного театра стимулируется его связями с культурной практикой рабочего класса,— утверждает Жак Пуле.— Многие драматурги в той или иной мере испытали влияние этого процесса, например, англичане Джон Арден и Арнольд Уэскер, немец Петер Вайс, швейца-

Роже Планшон выступает перед рабочими завода Рено.

(Журнал «Нувель критик»)

рцы Макс Фриш и Фридрих Дюрренматт, французы Артюр Адамов и Арман Гатти, алжирец Катеб Ясин, мартиниканец Эме Сезер.

Все больше появляется режиссеров, которые избирают «брехтовскую линию» в драматургии. Служение делу театра они понимают как служение делу народа, ядром которого является рабочий класс».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ 1973 ГОДА

Сезон литературных премий открылся во Франции 6 ноября прошлого года присуждением премии «Ожурдюи» Жану Лякутюру за книгу «Андре Мальро», вышедшую в издательстве «Сёй». Премией «Ожурдюи» обычно награждаются произведения исторического или политического характера. Жан Лякутюр является корреспондентом газеты «Монд» и еженедельника «Нувель обсерватёр» и одновременно возглавляет серию «Недавняя история» в издательстве «Сёй». Он не впервые выступает в биографическом жанре. Его перу принадлежат книги о жизни Хо Ши Мина, де Голля и Насера. В книге о Мальро Лякутюр использовал ряд неизданных материалов, свои собственные репортажи и записи бесед с писателем, а также заметки о местах, где бывал Мальро.

Премия «Гран при» Французской академии была присуждена реакционному писателю Мишелю Деону за его роман «Лиловое такси». Деон выступает на литературном поприще давно. Ранее он работал корреспондентом в ряде журналов, в том числе в крайне правом журнале, издававшемся оасовцами, «Аксьон франсэз». Недаром в настоящее время он живет не во Франции, а попеременно то в Греции, то в Ирландии. Именно последняя избрана местом действия его романа, одна из основных героинь которого, глухонемая девушка, обретает дар речи после автомобильной катастрофы.

Как обычно, наибольший интерес во Франции вызывает присуждение Гонкуровской премии. Основными кандидатами на премию Гонкуров в 1973 году выступали Жак Шессе с его романом «Людоед» (издательство Грассе) и 26-летний писатель Патрик Грэнвилль, написавший свой второй роман—«Опушка». В первых двух турах голосования впереди шел Грэнвилль, однако окончательной победы добился Жак Шессе.

Жак Шессе (1934 г. рожд.) — швейцарский писатель. До сих пор Гонкуровской премии иностранные авторы удостаивались лишь дважды (это были бельгийцы Шарль Плизнье в 1937 г. и Франсис Вальдер в 1958 г.). Правда, Жак Шессе уже у себя на родине в 1963 году стал лауреатом премии Шиллера за книгу «Открытая голова».

Некоторые критики считают, что его роман «Людоед» в известной степени автобиографичен. Герой романа Жан Кальме так же, как и сам Жак Шессе, является преподавателем коллежа в Лозанне. Подавлявшийся всю жизнь отцом-тираном, он пытается после смерти последнего начать новую жизнь, однако влияние отца продолжает тяготеть над ним. После фиаско в любовной интриге с молоденькой девушкой-студенткой видение отца преследует его всюду, отец мерещится ему даже в бернской статуе, изображающей людоеда. Кальме кончает жизнь самоубийством.

Критик литературного приложения к «Монду» Пиатье считает, что Шессе в своем романе «вынес приговор кальвинистскому воспитанию». Другие критики единодушно отмечают, что книга Шессе написана хорошим языком, в строгом классическом стиле, и упрекают его лишь за то, что роман написан слишком традиционно.

Премию Ренодо, присуждавшуюся в тот же день, что и Гонкуровская премия, получила французская писательница Сюзанна Пру (1920 г. рожд.) за свою шестую книгу, озаглавленную «Терраса Бернардини» (издательство Кальман-Леви). В литературном приложении к «Монду» отмечается, что этот роман — первое реалистическое произведение автора, если не считать опубликованного ею в прошлом году очерка о жизни французских мелких лавочников («Маленькая лавка»). Основная тема романа — сложные отношения двух женщин, живущих под одной крышей, из которых одна—вдова, а другая была любовницей погибшего при странных обстоятельствах хозяина дома. Похоже, что он был убит ими совместно.

Критика считает, что это — лучшая книга Пру, типичный французский провинциальный роман в стиле Мориака.

26 ноября 1973 года состоялось присуждение премий «Фемина» и Медичи. Премией «Фемина» был награжден Мишель Дард за роман «Хуан Мальдонн» (издательство «Сёй»). Мишель Дард (1908 г. рожд.), бывший сотрудник ЮНЕСКО, пришел в литературу поздно, «Хуан Мальдонн» — его третий роман. По словам критика «Монда» Боске, роман похож на «набор событий, ничем не связанных между собой, если не считать того, что они происходят в Стамбуле накануне второй мировой войны», а «бесчисленные персонажи Дарда даже не останавливаются перед камерой писателя; они как бы бегут от нее...» Однако известный буржуазный критик Роже Массип в литературном приложении к «Фигаро» считает, что роман Дарда «бесконечно поэтичен».

Премию Медичи этого года получил Тони Дюве, молодой «авангардистский» писатель (1945 г. рожд.) за роман «Причудливый пейзаж» (издательство Минюи). По свидетельству французской прессы, Дюве почти не покидает своей комнаты в Латинском квартале, где он написал уже пять книг. «Юманите» отмечает, что, как и прошлые его романы, «Причудливый пейзаж» не имеет фабулы, это — мир, наполненный

фантазией, в котором преобладающее место занимает эротика. Сам автор откровенно заявил репортерам, что его роман содержит непристойности.

Следует сказать, что, по мнению большей части французской прессы, 1973 год не отличается высоким уровнем литературной продукции.

ШВЕЦИЯ

«НЕТ СТОЯЩИХ РОЛЕЙ»

Известная шведская актриса Ингрид Бергман, много снимавшаяся в Голливуде в 40—50-х годах («По ком звонит колокол», «Касабланка», «Триумфальная арка», «Любите ли вы Брамса?» и др.), последнее время живет в Англии и с успехом выступает в английских театрах.

Как сообщает шведская газета «Афтонбладет», в сентябре этого года в лондонском театре «Олберли» состоялась премьера спектакля «Верная жена» (поставленного Джоном Гилгудом по пьесе Сомерсета Моэма), в котором Ингрид Бергман играет главную роль. Спектакль вызвал огромный интерес публики и стал событием театрального сезона. На пресс-конференции, устроенной по этому случаю, Ингрид Бергман выступила, в частности, против легкости, с какой молодые актрисы соглашаются сниматься обнаженными. «Если бы такая мораль существовала в дни моей молодости, я все равно не стала бы делать на этом карьеру»,— заявила она. Корреспондент «Афтонбладет» замечает при этом, что Ингрид Бергман

Ингрид Бергман и Джон Маккалум в спектакле «Верная жена» по пьесе Сомерсета Моэма.

(Газета «Хувудстадбладет»)

и сегодня «одна из немногих звезд мировой величины, которые могут гарантировать экономический успех любой театральной постановке в любой стране». «Сейчас в кино нет стоящих ролей для женщин моего возраста, — сказала актриса.— Мне предлагают то роли злобных, сварливых баб, то роли убийц или жертв в фильмах «ужасов», а это меня совершенно не интересует».

Как член жюри последнего Каннского кинофестиваля, Ингрид Бергман, по ее словам, имела широкую возможность познакомиться с самой современной кинопродукцией и с грустью заметила, что если технический уровень съемок стал намного выше по сравнению с теми годами, когда она работала в Голливуде, то художественный уровень значительно снизился. «Создается впечатление, что фильмы ставят только ради денег, забывая, что кино — это искусство. А главное, слишком много фильмов, в которых нет настоящей человеческой любви».

◆

Авторы этого номера

ЙОРДАН РАДИЧКОВ (род. в 1929 г.).

Один из наиболее популярных болгарских писателей. Работал корреспондентом газеты «Народна младеж», затем редактором в Студии художественных фильмов, в редакции еженедельника «Литературен фронт», где ныне является членом редколлегии. Его первые рассказы, появившиеся в печати в 50-е годы и вошедшие в сборники «Сердце бьется для людей» («Сърцето бие за хората», 1959), «Простые руки» («Прости ръце», 1961), принесли Й. Радичкову признание читателей и критики, которая отметила, что в болгарскую литературу пришел новый оригинальный талант. В последние годы из-под пера писателя вышло еще несколько сборников рассказов и новелл, в том числе «Жаркий полдень» («Гочещо пладне», 1965), «Водолей» (1967), «Козья борода» («Козята брада», 1967), «Человеческая проза» («Човешка проза», 1971), книжка для детей «Мы, воробышки» («Ние, врабчетата», 1968) и другие произведения.

Советским читателям Й. Радичков знаком по переведенному на русский язык сборнику рассказов «Опрокинутое небо», публиковавшимся в нашем журнале новеллам «Жаркий полдень» (№ 5, 1964) и «Воскресенье» (№ 5, 1969).

За сборник «Пороховой букварь» («Барутен буквар», София, издательство «Български писател», 1969), рассказы из которого публикуются в этом номере, писатель был награжден Димитровской премией.

■

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН — BENJÁMIN LÁSZLÓ (род. в 1915 г.).

Венгерский поэт, дважды лауреат премии имени Кошута, литературной премии имени Атиллы Йожефа. До 1940 года был рабочим. Участвовал в рабочем движении. В 1938 году выпустил первую книгу стихов. В настоящее время — автор около восемнадцати поэтических сборников. В последние годы вышли «В плену морей» («Tengerek fogságában», 1967), «Избранные стихи» («Válogatott versei», 1968) и др.

Стихи Л. Беньямина неоднократно публиковались на русском языке, в том числе в «Иностранной литературе».

Предлагаемые читателю стихи были напечатаны в сборниках «Дым мира» («Világ füstje», Budapest, Szépirodalmi könyvkiado, 1964) и «Наскальные рисунки» («Sziklai rajzok», Budapest, Mogvetö, 1973).

■

ДЮЛА ШИПОШ — SIPOS GYULA (род. в 1921 г.).

Венгерский поэт, журналист, дважды лауреат литературной премии имени Атиллы Йожефа. Начал печататься в 1939 году. Автор девяти сборников стихов — «Говори смело» («Szóljatok bátran», 1954), «Дикие гуси» («Vadludak», 1956), «Плоды и цветы» («Gyümölcs és virág», 1964) и др.

Перу Д. Шипоша принадлежат также романы «Большая ночь» («A nagy éjszaka», 1963) и «На ничейной земле» («A senki földjén», 1970).

Публикуемые стихи взяты из сборника «Горькое опьянение» («Könnyü részegség», Budapest, Szévirodalmi könypkiado, 1969).

■

ЯСУСИ ИНОУЭ (род. в 1907 г.).

Японский писатель. Начал заниматься литературной деятельностью, еще будучи студентом университета в Киото. В 1949 году вышел роман «Бой быков», за который ему была присуждена премия Акутагава. С тех пор писатель издал ряд романов, в числе которых «Черная бабочка» (1956), «Ледяная стена» (1957), «Синий волк» (1960), «Ископаемое» (1966), несколько исторических романов. Издательство «Синтёся» в

1960 году выпустило собрание сочинений Ясуси Иноуэ в 26 томах. В 1964 году он был избран в члены Академии искусств.

Мы публикуем главы из его романа «Сны о России» по книге 1969 года издания.

■

МАРТИН ВАЛЬЗЕР — MARTIN WALSER (род. в 1927 г.).

Немецкий писатель, драматург, публицист (ФРГ). Литературную деятельность начинал как режиссер, автор радиопьес и рассказов; за один из них — «Конец Темплоне» — был удостоен в 1955 году премии «Группы-47».

Перу М. Вальзера принадлежат романы «Супружества в Филиппсбурге» («Ehen in Philippsburg», 1957), «Половина игры» («Halbzeit», 1960), «Единорог» («Das Einhorn», 1966), «Болезнь Галлистля» («Die Gallistl' sche Krankheit», 1972). пьес «Господин Кротт в сверхнатуральную величину» («Uberlebensgroß Herr Krott», 1962), «Черный лебедь» («Der schwarze Schwan», 1964) и др.

Очерк М. Вальзера «Наш Освенцим» напечатан в «Иностранной литературе» (№ 10, 1966 г.). В этом номере мы знакомим читателей с его драматургией, публикуя пьесу «Дуб и кролик» («Eiche und Angora», Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1962), за которую писатель был удостоен премии имени Г. Гауптмана.

Эта пьеса. премьера которой состоялась в 1962 году. представляет собой обвинение нацизму и злую сатиру на гитлеровских последышей, сменивших коричневую форму на более современные одежды. Действие пьесы развертывается на протяжении ряда лет — с апреля 1945 по конец 1960 года.

О творчестве Мартина Вальзера будет опубликована статья в одном из ближайших номеров.

■

ВЕЙО МЕРИ — VEJO MERI (род. в 1928 г.).

Финский писатель. Автор романов «Оторвавшиеся» («Irralliset», 1959), «Это случилось в 1918 году» («Vuoden 1918 tapahtumat», 1960), «Женщина, нарисованная на зеркале» («Peiliin piirretty nainen», 1963), «Опорный пункт» («Tukikohta», 1964), сборников рассказов. Его повесть «Манильский канат» переведена на многие языки, в том числе на русский. За роман «Сын сержанта» Вейо Мери в 1973 году присуждена международная премия Совета северных стран.

Рассказ «Серебряное крыло» был напечатан в сборнике «Обстоятельства» («Tilanteita», Helsinki, Otava, 1969).

■

ЮХА МАННЕРКОРПИ — JUHA MANNERKORPI (род. в 1928 г.).

Финский поэт и прозаик, доктор философских наук. Автор сборников стихов «Тропа фонарей» («Lyhtypolku», 1946), «Ужин под стеклянным колпаком» («Ehtoollinen lasikellossa», 1947), сборника пьес «Чертов кулак» («Pirunnyrkki», 1952), романов «Грызуны» («Jyrsijät», 1958), «Лодка отправляется» («Vene lähdössä», 1961), «Отпечаток» («Jälkikuva», 1965).

Рассказ «Мартышка» взят из сборника «Пила» («Sirkkeli». Helsinki, Otava, 1956).

■

ОЛЛИ (ВЯЙНО АЛЬБЕРТ НУОРТЕВА) — OLLI (VÄJNÖ ALBERT NUORTEVA) (1889—1967).

Финский писатель. Имя Олли широко известно в Скандинавских странах как автора многочисленных коротких рассказов, фельетонов и юморесок. Был редактором ряда газет и периодических изданий, составителем сборников пьес и фельетонов. В 1960 г. ему присуждена почетная премия Финского культурного фонда.

Публикуемые рассказы взяты из первого тома избранных произведений Олли («Valitut Tekoset». Helsinki, Otava, 1964).

■

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО — MIGUEL DE UNAMUNO (1864—1936).

Испанский поэт, романист, философ. (О нем и его творчестве — во вступительной статье И. Тертерян).

■

ГЕРМАН КАНТ — HERMANN KANT (род. в 1926 г.).

Немецкий писатель, публицист (ГДР). В прошлом — электромонтер, солдат, в период с 1945 по 1949 год находился в лагере для военнопленных в Польше, где был одним из основателей антифашистского комитета. Возвратившись на родину, учился на рабоче-крестьянском факультете, после чего работал преподавателем, редактором, выступал в печати со статьями и новеллами. В 1962 году вышел сборник его рассказов «Немножко южного моря» («Ein bißchen Südsee», 1962).

Известность ему принес роман «Актовый зал», который вышел в 1965 году и стал событием литературной жизни ГДР. «Иностранная литература» познакомила советских читателей с этим романом, опубликовав его в №№ 1—3 за 1968 год.

Герман Кант удостоен литературных премий имени Г. Гейне и Свободных немецких профсоюзов. В 1973 году ему присуждена Национальная премия 1-й степени.

Мы печатаем доклад Германа Канта на VII съезде Союза писателей ГДР, проходившем с 14 по 16 ноября 1973 года в Берлине, по тексту, опубликованному в газете «Нойес Дойчланд» от 15 ноября.

ДЖЕЙМС БОЛДУИН — JAMES BALDWIN (род. в 1924 г.).

Американский, негритянский, писатель, драматург, публицист. После войны Д. Болдуин покинул США и поселился в Европе. Там были написаны первые его романы «Идите, поведайте с горы» («Go, Tell It on the Mountain», 1953), рассказывающий о жизни негритянской семьи в Гарлеме, где родился и вырос писатель, «Комната Джованни» («Giovanni's Room», 1958) и книга «Записки сына Америки» («Notes of a Native Son», 1955).

Возвратившись на родину, Дж. Болдуин оказался в центре борьбы за гражданские права негров. Одна за другой вышли его публицистические книги: «Никто не знает моего имени» («Nobody Knows My Name», 1960), «В следующий раз — пожар» («The Fire Next Time», 1963). После убийства расистами Мартина Лютера Кинга писатель вновь уехал из США и ныне живет на юге Франции.

На страницах «Иностранной литературы» была опубликована пьеса Дж. Болдуина «Блюз для мистера Чарли» (№ 1, 1964) и рассказы из сборника «Поехали смотреть на него» («Going To Meet the Man») в № 4 за 1971 год.

В этом номере мы предлагаем читателям отрывки из его новой публицистической книги «Имени его не будет на площади» («No Name in the Street», New York, The Dial Press, 1972).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. А. ГЕРАСИМОВ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, М. И. РУДОМИНО, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, Б. Л. СУЧКОВ, П. М. ТОПЕР, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**
Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 29/XI 1973 г. А 04525. Подписано к печати 10/I 1974 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 28,10.
Тираж 600.000 экз. (1-й завод 1—400.000 экз).

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70894